

МЫСЛЯЩАЯ РОССИЯ

История и теория интеллигенции и интеллектуалов

Под редакцией
Виталия Куренного

Редакционный совет
**ЕЛЕНА КОЗИЕВСКАЯ,
ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ,
ЕЛЕНА ЯЦЕНКО**

Некоммерческий фонд
«НАСЛЕДИЕ ЕВРАЗИИ»
Москва, 2009



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	9
-------------------	---

Сергей Сергеев

ДОСОВЕТСКАЯ РОССИЯ (XVIII — НАЧАЛО XX ВЕКА)	15
---	----

Александр Кустарев

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ: САМООПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ	54
---	----

Виктор Мартъянов

ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ. СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ	72
--	----

Анастасия Ястребцева

ФРАНЦИЯ	96
---------------	----

Александр Михайловский

ГЕРМАНИЯ	116
----------------	-----

Александр Дмитриев

МАРКСИЗМ	163
----------------	-----

Александр Кустарев

МАКС ВЕБЕР	188
------------------	-----

Тимофей Дмитриев

АНТОНИО ГРАМШИ	207
----------------------	-----

Виталий Куренной

КАРЛ МАНХЕЙМ	229
--------------------	-----

Александр Кустарев

ФЛОРИАН ВИТОЛЬД ЗНАНЕЦКИЙ	256
---------------------------------	-----

Александр Филиппов

АРНОЛЬД ГЕЛЕН И ХЕЛЬМУТ ШЕЛЬСКИ	274
---------------------------------------	-----

Олеся Кирчик

ПЬЕР БУРДЬЕ	314
-------------------	-----

CASE STUDIES	335
---------------------------	-----

Андрей Веретенников

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В США: ИСТОРИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	337
---	-----

Дмитрий Rogozin

Публичная социология по Майклу Буравому 351

ОБ АВТОРАХ 366

О ФОНДЕ «НАСЛЕДИЕ ЕВРАЗИИ» 367

Предисловие

Настоящее издание представляет собой историко-теоретическое дополнение к эмпирическому исследованию «Интеллектуально-активная группа: мировоззрение, специфика социальных функций и идеологические дифференциации в контексте постсоветской трансформации», проведенному фондом «Наследие Евразии» в 2008 году в рамках программы «Мыслящая Россия», которую фонд развивает с 2005 года.

Согласно общему замыслу проекта, эта историческая и теоретическая часть является важным структурным элементом исследования в целом. Во-первых, изложенные основные теории интеллигенции и интеллектуалов дают возможность взглянуть на затронутые в эмпирической части работы проблемы¹, исходя из различных концептуально-теоретических перспектив. Одна из основных особенностей социологии интеллектуалов состоит, пожалуй, в том, что эта группа определяется и самоопределяется на основании определенной концептуальной перспективы, поэтому если и возможно какое-то адекватное представление об этом социальном феномене, то оно может быть выражено лишь множеством таких концептуальных перспектив. Во-вторых, динамика этого самоопределения погружена в контекст ее истории. Безусловно, справедливы слова Чарльза Райта Миллса: «Проблемы современности... не могут быть адекватно сформулированы, если на практике не будет последовательно осуществляться идея о том, что история является стержнем обществоведения»². Таким образом, эта книга дает возможность взглянуть на предложенные интерпретации эмпирического раздела как с точки зрения других теоретических подходов, так и в более широкой исторической и страновой перспективе.

Но настоящее издание может рассматриваться и как вполне самостоятельная работа — краткое введение в историю и теорию интеллектуалов и интеллигенции, выполненное в академическом и аналитическом ключе. Надеемся, его по достоинству оценит университетское сообщество, поскольку книга может служить хорошим подспорьем для учебных курсов, затрагивающих проблематику интеллектуалов, равно как и более широкую проблему социальной роли знания. Такого рода работа в отечественной традиции предпринята впервые и, надеемся, послужит стимулом для дальнейшей работы в этом направлении.

Основные теоретические попытки концептуализации феномена интеллигенции, изложенные в настоящей работе, демонстрируют

¹ Интеллектуально-активная группа: эмпирическое исследование. Под ред. В. Куренного. — Серия «Мыслящая Россия». — М.: Фонд «Наследие Евразии», 2008

² Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Издательский дом «Nota Bene», 2001. С. 165.

сложность социологического определения критериев интеллектуальных групп, неоднозначность в оценках их фактической и возможной социальной, культурной и политической роли. Русская традиция обсуждения проблемы интеллигенции — так же, как, например, и французская тематика интеллектуалов — связывает ее, главным образом с определенными социально-дискурсивными стратегиями самоопределения в качестве интеллигенции / интеллектуалов, имеющими ярко выраженный моральный и политический оттенок. И все же необходимо распознать проблему во всей ее полноте: в современном обществе идет более широкий процесс интеллектуализации. Знание в самых различных формах играет в нем все более важную роль, а носителем многообразных форм социально-значимого знания являются различные социальные группы, которые вовсе не обязательно прибегают к стратегии социально-дискурсивного самоопределения себя в качестве интеллигенции или интеллектуалов. Рискнем предположить, что тема конца интеллигенции / интеллектуалов, которая обсуждается не только в России, но также в странах Европы и, не менее активно, в США, указывает не на исчезновение этого социального феномена как такового, а на его структурное усложнение, обусловленное указанным процессом нарастающей интеллектуализации.

Что касается структуры настоящей работы, то она включает обзор истории интеллигенции и интеллектуалов в России, Франции и Германии, а также изложение наиболее влиятельных и известных теорий интеллектуалов. Ее дополняют два сравнительно самостоятельных исследования, одно из которых посвящено истории нейтрализации университетской философии в США, а второе — популярной теме «публичной социологии». На конкретных дисциплинарных примерах эти исследования позволяют взглянуть на сложные отношения, которые могут связывать отдельные интеллектуальные области (сферы знания) и публичное пространство. Тем самым мы выходим за рамки традиционных рамок обсуждения проблемы интеллигенции и обращаемся к более широкой проблеме социальных групп, выступающих носителями определенных видов знания (включая знание научно-дисциплинарное и экспертное).

Разумеется, мы не ставили себе цель представить сколько-нибудь полную историю русской интеллигенции — в силу ограничений сроков и объема проекта. Выполненную в классической исторической манере статью Сергея Сергеева дополняет анализ самоопределяющих практик советской интеллигенции, предпринятый в работе Александра Кустарева. Статья Виктора Мартынова представляет собой социально-теоретическое размышление о судьбах постсоветской интеллигенции в контексте российского проекта модернизации, которое, разумеется, представляет лишь избирательный и даже дискуссионный взгляд на эту проблему.

Хотелось бы выразить благодарность всем вдохновителям и участникам настоящего проекта. К ним, в первую очередь, относится президент Фонда «Наследие Евразии» Елена Яценко и директор по развитию Фонда «Наследие Евразии» Елена Козиевская, обеспечивавшая сложнейшую организацию проведения проекта на всех его этапах.

С большим удовлетворением мы выражаем свою признательность Владимиру Виноградову за талантливое оформление и кропотливую подготовку к печати книг по проекту «Мыслящая Россия», первая из которых была опубликована в 2006 году.

Евгению Телишеву за предоставленную возможность выбрать серию его работ, использованных при оформлении настоящего издания.

Всех авторов мы хотели бы поблагодарить за живой интерес к предложенной идее этой историко-теоретической работы.

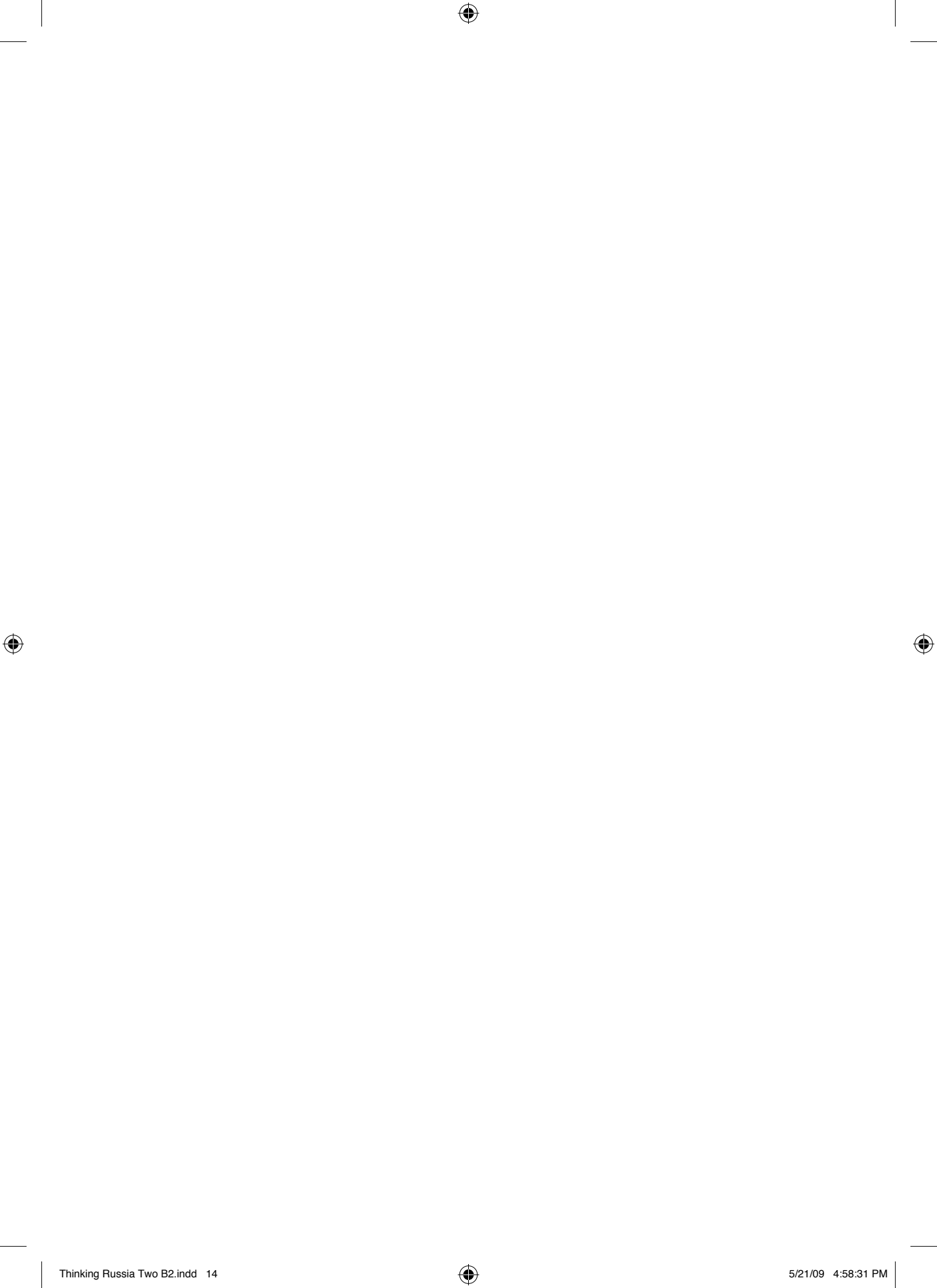
Виталий Куренной

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ





И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ



Сергей Сергеев

ДОСОВЕТСКАЯ РОССИЯ (XVIII — начало XX века)

К вопросу о терминах

В досоветской России понятие «интеллектуалы» отсутствовало. Слово же «интеллигенция» (как обозначение некоей группы, занимающейся интеллектуальной деятельностью, а не как шеллингианская философская категория) входит в широкое употребление с 1860-х годов. Честь его «изобретения», датируемого 1866 годом, в начале XX века приписал себе второстепенный, но весьма читаемый в свое время писатель П.Д. Боборыкин, обозначивший этим термином «высший образованный слой общества». Впрочем, уже в 1863 году в близком контексте понятие «интеллигенция» употребил в одной из своих статей И.С. Аксаков. Зафиксировано оно также в дневниковых записях П.А. Валуева и А.В. Никитенко за 1865 год¹, что говорит о том, что к середине 1860-х годов слово уже было «на слуху». Недавно обнаружено значительно более раннее употребление понятия «интеллигенция» в интересующем нас контексте — в дневнике В.А. Жуковского за 1836 год, характерно, однако, что оно тогда не прижилось.

Строгая дефиниция «интеллигенции» в отечественной культуре чрезвычайно затруднена из-за множества различных смыслов, в это слово вкладываемых. Под интеллигентом, в частности, могут подразумеваться: 1) вообще любой профессиональный «работник умственного труда»; 2) вообще создатель или распространитель неких духовных

¹ «...Общество не есть ни простой народ, ни государство, ни сословие, ни цех, ни корпорация, ни государственный политический орган. Оно даже не собрание, а совокупная деятельность живых сил, выделяемых из себя народом... оно образуется из людей всех сословий и состояний... соединенных общим уровнем образования. <...> Может ли оно быть названо у нас действительным выражением народного самосознания, деятельностью живых сил, выделяемых из себя народом, народной интеллигенцией (выделено мной.— С.С.) в высшем значении этого слова?» (Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М., 2002. С. 392–393). Распространенное мнение о том, что Аксаков употребил слово «интеллигенция» в заглавии (в самом тексте его нет) одной из статей 1861 г. («Отчужденность интеллигенции от народной стихии»), не соответствует действительности. Дело в том, что заголовки

к аксаковским передовицам были придуманы гораздо позднее их первых публикаций — для Полного собрания сочинений Ивана Сергеевича (изданного в 1886 г. уже после его смерти), в первых же публикациях они идут без заглавий, только с датами (см.: День. 1861. № 2, 21 окт.).

Цитаты из Валуева и Никитенко см.: Лейкина-Свицкая В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 5. Не совсем понятно, почему исследовательница полагает, что у Валуева и Никитенко в данном случае речь идет о «представителях администрации». В особенности у Никитенко возможно и «боборыкинское» прочтение: «Народ погружен в глубокое варварство, интеллигенция развращена и испорчена, правительство бессильно для всякого добра». Думается, что администрация здесь обозначена как «правительство», а под «интеллигенцией» подразумевается именно «образованный слой».

ценностей; 3) человек не просто (и даже не обязательно) образованный, а живущий насыщенной духовной жизнью, преданный общественному служению «во благо народа», обладающий «демократическим мировоззрением»; 4) вообще любой высокодуховный, высоконравственный и хорошо воспитанный человек; 5) представитель нового эксплуататорского класса, идущего на смену буржуазии.

Первая из означенных позиций отображена, например, в добротных исследованиях советского историка В.Р. Лейкиной-Свирской, которые включают в себя главы о чиновниках, офицерах, духовенстве, «технических кадрах», медиках и т. д.²

Формально продолжает эту традицию и современный исследователь проблемы К.Б. Соколов, выделяющий категории «художественной», «научной», «военной», «клерикальной» и «чиновнической» интеллигенции³. Но акценты у него существенно иные, он скорее тяготеет ко второй позиции, ибо для него интеллигенция, прежде всего, «социокультурная группа, профессионально занятая формированием, сохранением и развитием общенациональной картины мира и претендующая на решающее право голоса во всех вопросах, так или иначе связанных с выполнением этих функций»⁴. Во всяком случае, эту роль выполняет, так сказать, ядро интеллигенции («эксперты», «духовная элита», «властители дум»), которое транслирует свои ценности через интеллигентов более низких уровней — «пропагандистов» (разнообразные специалисты-гуманитарии) и «исполнителей» («телеграфисты и ветеринары») — схема, во многом заимствованная у П.Н. Миллюкова. То есть технической (как, впрочем, и научно-гуманитарной) интеллигенции в этой концепции отведена заведомо вторичная, передаточная роль по сравнению с интеллигентами-идеологами. Для К.Б. Соколова не важно, какую идеологию формулируют и отстаивают интеллигенты-«эксперты», поэтому в его книге фигурируют славянофилы и западники, консерваторы и либералы, государственники и нигилисты, террористы и черносотенцы (!). Рассматривая интеллигенцию в контексте ее «политической культуры», А.А. Ширинянц, для которого «интеллигенция не только специфическая общественная группа, профессионально осуществляющая деятельность по производству духовных ценностей, но и культурная общность» (хотя и неоднородная), также не отказывает в «интеллигентности» «консерваторам» и выделяет наряду с интеллигентами-«демократами» интеллигентов-«хранителей»⁵.

² См.: Лейкина-Свирская В.Р. Указ. соч.; Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. М., 1981.

³ См.: Соколов К.Б. Русская интеллигенция XVIII — начала XX вв.: картина мира и повседневность. СПб., 2007.

⁴ Указ. соч. С. 81.

⁵ Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX — начала XX века. М., 2002. С. 54, 231.

Ясно, что подобный подход вызвал бы возмущение у тех авторов конца XIX — начала XX веков, которые относили к интеллигенции лишь приверженцев определенных направлений прогрессистского толка — от либералов до социалистов. Классикой здесь можно считать определение, данное В.В. Водовозовым: «К интеллигенции причисляются только лица, сердце и разум которых с народом и которые из факта своего образования за счет народа делают вывод о долге интеллигенции народу. Таким образом, к интеллигенции причисляется только прогрессивная часть образованного общества, а ни в коем случае не служители реакции, хотя бы они были людьми весьма интеллигентными»⁶. В том же русле находится и знаменитая формула Р.В. Иванова-Разумника: «Интеллигенция есть этически — антимещанская, социологически — внесловная, преемственная группа, характеризующаяся творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности»⁷. В наше время Б.А. Успенский как сущностный, конституирующий признак интеллигенции выделяет ее «принципиальную оппозиционность к доминирующим в социуме институтам»; в досоветскую эпоху, следовательно, ее характеризует «оппозиция к царской власти»⁸. Обличители интеллигенции, чаще всего, солидарны с ее апологетами и тоже ограничивают ее состав радикальными прогрессистами. Авторы «Вех» выносят за пределы интеллигенции и самих себя, и всех любезных им деятелей русской культуры⁹. Г.П. Федотов видит «в истории русской интеллигенции основное русло — от Белинского через народников к революционерам наших дней», полагая, что такие крупные величины отечественной культуры, как Ю.Ф. Самарин, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, Н.С. Лесков, И.Е. Забелин, В.О. Ключевский, В.В. Розанов, Н.Ф. Федоров, наконец, Толстой

⁶ В-в В. [Водовозов В.В.] Интеллигенция // Новый энциклопедический словарь. Т. 19. СПб., 1912. С. 537.

⁷ Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Изд. 4-е. Т. 1. СПб., 1914. С. 17.

⁸ Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология. (Россия/Russia. Вып. 2 [10]). М.; Венеция, 1999. С. 12, 13. Любопытно, что крупнейших интеллектуалов-монархистов Успенский тоже причисляет к интеллигентам, так сказать диалектически, из-за их «вторичной оппозиционности, т.е. оппозиционности по отношению к оппозиционности», и «в этом смысле Леонтьев и Розанов — квинтэссенция интеллигенции» (Указ. соч. С. 12). На наш взгляд, это весьма остроумно, но вряд ли научно продуктивно.

⁹ См., например, у П.Б. Струве: «Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди. <...> Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент... а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен... вечно борется в себе с интеллигентским ликом. <...> Владимир Соловьев вовсе не интеллигент... <...> Салтыков... вовсе не интеллигент, но... носит на себе... мундир интеллигента. Достоевский и Толстой, каждый по-разному, срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. <...> Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками» (Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 156–157).

и Достоевский, «не вмещаются в русской интеллигенции»¹⁰. Современный российский историк А.И. Фурсов характеризует интеллигенцию, во-первых, «как группу, в деятельности которой... идеологическая и политическая сторона господствует над специализированной, профессиональной», а во-вторых, как группу «для идейно-интеллектуальной деятельности которой характерна гипертрофия социального критицизма над „полезной профессиональной“... работой». В качестве примеров приводятся А.Ф. Керенский и В.И. Ульянов-Ленин¹¹.

«Этизация» интеллигенции — плод интеллигентской мифологии — более всего распространена в массовом сознании, и вряд ли может быть отнесена к концепциям, заслуживающим научного обсуждения. Однако, как ни странно, оно довольно часто встречается в работах, вроде бы претендующих на академический уровень. Скажем, видный российский филолог и историк культуры Б.Ф. Егоров следующим образом интерпретирует проблему: «Главными признаками интеллигентности следует считать, во-первых, преобладание духовных интересов над материальными... во-вторых, уважительное отношение к «другому» и к «чужому», преходящее в служение людям, т. е. в превышение отдачи себя и своего людям над желанием приобретать что-то для себя (если пользоваться известной поговоркой об одеяле, которое тянут на себя, то интеллигент оставляет себе лишь минимальный кусочек одеяла, а то и просто остается непокрытым...)»¹². Покойный коллега Егорова Ю.М. Лотман утверждал, что интеллигент — антоним хаму¹³. Право же, можно только позавидовать счастливому жизненному опыту почтенных ученых, давшему им основания для подобного оптимистического взгляда на слой, к которому они принадлежат...

Наконец, идея об интеллигенции как о «буржуазном», «паразитическом», «эксплуататорском» классе, выдвинутая еще некоторыми неортодоксальными народниками в 80-х годах XIX века, а в начале XX в. заново артикулированная на марксистской подкладке Я.-В. Махайским (А. Вольским) и Е.И. Лозинским («интеллигенция есть особый класс умственных работников... класс, подымающийся, подготовляющий в ближайшем будущем свое господство»¹⁴). Долгое время она считалась вполне маргинальной, «дегенеративной», но сегодня в свете разработок западной социологии эта концепция, кажется, обретает новую жизнь, например, в работах А.С. Кустарева, полагающего, что,

¹⁰ Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 69, 71.

¹² Егоров Б.Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М., 1996. С. 20.

¹¹ Фурсов А.И. Интеллигенция и интеллектуалы. Предисловие к книге А.С. Кустарева «Нервные люди» (Очерки об интеллигенции) // Кустарев А.С. Нервные люди: Очерки об интеллигенции. М., 2006. С. 63, 64.

¹³ См.: Соколов К.Б. Указ. соч. С. 28.

¹⁴ Лозинский Е.И. Что же такое, наконец, интеллигенция? СПб., 1907. (Репринтное издание. М., 2003). С. 257—258.

«в сущности, и Элвин Гулднер, и Пьер Бурдьё в своих представлениях о «культурбуржуазии» развивают блестящую находку Махайского»¹⁵.

Настоящий очерк ни в коей мере не претендует на создание какой-то новой оригинальной концепции истории русской интеллигенции, однако же без наличия рабочей теоретической гипотезы мы обречены запутаться в терминологических противоречиях, обусловленных указанной выше многозначностью самого понятия «интеллигенция». Для начала придется выбрать наиболее операциональные смыслы последнего. Первым делом конечно же отпадает наивно-мифологизаторское отождествление интеллигента с «вполне хорошим человеком». «Классовый» подход в современной его интерпретации, безусловно, заслуживает внимания, но, как представляется, он недостаточно разработан для того, чтобы стать базовой моделью исследования. В контексте данного издания интеллигенция рассматривается, прежде всего, в связи со своей идеологической функцией, следовательно, расширительное представление о ней, включающее в ее состав чиновников, офицеров, врачей, телеграфистов и т. д., не слишком продуктивно. Сведение «интеллигентности» к «диссидентству» носит очевидный направленчески-партийный характер и провоцирует к занятию той или иной стороны баррикады, совместно воздвигнутой трубадурами и разоблачителями «борцов за народное счастье». *Представляется наиболее продуктивным (или, во всяком случае, наиболее удобным) понимать под интеллигенцией особую внесловесную (здесь надо согласиться с Ивановым-Разумником), автономную от государства и классов социальную группу, профессионально занятую производством и распространением общественно-политических идей и гуманитарных знаний. А «работников умственного труда» вообще (в число которых, естественно, входят «технари», «естественники», «бюрократы» и т. д.) можно обозначить как обобщенный «образованный слой».*

Разумеется, такой подход также сулит немало противоречий. Например, нелепо было бы отказать С.С. Уварову или К.П. Победоносцеву в заметной роли в процессе производства и распространения общественно-политических идей, так кто же они — бюрократы или интеллигенты? Как-то не поворачивается язык величать интеллигентами аристократов А.Д. Кантемира и М.М. Щербатова, А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. Наконец, как быть с духовенством?

Попробуем разрешить эти противоречия с помощью более определенной социологизации интеллигенции как слоя и введения в исследование понятия «интеллектуалы». То есть интеллигенция — это именно профессиональная группа по производству и распространению идей, это их работа, за счет которой они материально существуют. Классические примеры: В.Г. Белинский и Ф.М. Достоевский, М.Н. Катков и

¹⁵ Кустарев А.С. Интеллигенция как тема публичной полемики // Кустарев А.С. Указ. соч. С. 299.

Н.К. Михайловский, В.В. Розанов и А.В. Луначарский (сознательно выбраны представители разных направлений общественной мысли). Но она появляется в России сравнительно поздно, как массовый слой — с конца 1850—начала 1860-х годов, а производство идей осуществлялось и раньше. Почему бы не определить «идеологов» вообще (а не только профессионалов) как *интеллектуалов*? Да, это понятие в русском языке тогда отсутствовало, но и слово «интеллигенция» привилось в нем уже после того, как закончили свой жизненный путь Д.И. Фонвизин и Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев и И.В. Киреевский — те, кого, как правило, безоговорочно причисляют к интеллигентам. Так что анахронизм неизбежен в любом случае.

Итак, «идеологи» и «гуманитарии» вообще — интеллектуалы. *Профессиональные «идеологи» и «гуманитарии» — интеллигенты*¹⁶. Используя теорию интеллигенции А. Грамши, можно констатировать, что любой крупный социальный слой (класс) вырабатывает внутри себя собственных интеллектуалов; создает интеллектуалов для себя и государства. Таким образом, в XVIII — первой половине XIX века в России возникает группа — вначале единая — государственных и дворянских интеллектуалов, занимающихся идеологическим и гуманитарным производством «по совместительству» с основной деятельностью (типичный ранний ее представитель — В.Н. Татищев, прежде всего бюрократ, но и несомненный интеллектуал). М.В. Ломоносов — пример «чистого» государственного интеллектуала, не связанного с дворянским сословием. Начиная с 1760-х годов после относительной автономизации дворянства от государства, закрепленной манифестом о его «вольности» 1762 года и Жалованной грамотой 1785 года, появляются уже «чистые» дворянские интеллектуалы, индифферентные к государству (А.Т. Болотов) или даже оппозиционные по отношению к самодержавию — как «справа» (М.М. Щербатов), так и «слева» (А.Н. Радищев). Рождаются первые независимые печатные органы: от изданий Н.И. Новикова до пушкинского «Современника», считавшегося, как известно, журналом писателей-«аристократов».

При всей интенсивности собственно интеллектуальной жизни «чисто» дворянских интеллектуалов, они, во-первых, не составляли четко очерченного, профессионально выделенного слоя; во-вторых, чаще всего идеологическое и гуманитарное производство не было их основным занятием, а если и было (Карамзин, Пушкин), то не становилось главным источником их доходов. Уж конечно, к ним никак нельзя приложить федотовскую формулу «идейности и беспочвенности». Да и связи с государством оставались очень крепкими — те же Карамзин и Пушкин были официальными историографами и находились с

¹⁶ Разумеется, и в этой, и в последующих классификациях речь идет о веберовских «идеальных типах».

монархами (соответственно с Александром I и Николаем I) в сложных личных отношениях, модель которых определялась кодексом сословного поведения. Что же касается «чисто» государственных интеллектуалов, то они в основном концентрировались в бюрократическом слое (М.М. Сперанский, Д.Н. Блудов, упомянутые выше Уваров, Валуев, Победоносцев) и, следовательно, также «работали» интеллектуалами «по совместительству» (особой группы профессиональных государственных идеологических экспертов тогда не существовало). Ломоносов, занятый только интеллектуальной деятельностью, скорее исключение, чем правило. Немногочисленная университетская профессура (во всяком случае, до феномена Т.Н. Грановского) также не представляла собой особой общественной силы и в целом служила инструментом государства, которое весьма оперативно реагировало на проявление даже очень отвлеченного свободомыслия (достаточно вспомнить «философский» погром университетов в 1819–1824 годах). Конечно же граница между государственными и дворянскими интеллектуалами не была непреходимой даже и в середине XIX века (например, ее неоднократно в разных направлениях пересекал Ю.Ф. Самарин), но все же с течением времени она становилась все определенной.

С выделением интеллигенции как группы интеллектуалов *par excellence* государственные интеллектуалы никуда не исчезают, напротив, число их множится, выделяются их новые страты (например, военные интеллектуалы, среди которых — М.И. Венюков, Д.А. Милютин, Р.А. Фадеев, А.Е. Снесарев и др.). Дворянские же интеллектуалы, несмотря на упадок своего сословия, также не торопятся сойти со сцены. В пореформенное время весьма заметны такие фигуры, как В.П. Мещерский, Е.Л. Марков, С.А. Рачинский, А.А. Фет-Шеншин (не только поэт, но и плодовитый публицист консервативного толка). Своеобразным дворянским интеллектуалом является граф Л.Н. Толстой, чья оппозиционность как правящему режиму, так и основным направлениям интеллигентской мысли имеет, несомненно, аристократическую подкладку, и не только на бессознательном уровне (то, что «Война и мир» — роман, прославляющий в первую очередь русское провинциальное дворянство, а не русский народ в целом, очевидно для всякого непредубежденного читателя)¹⁷. Конечно, мировоззрение позднего Толстого

¹⁷ Американская славистка Кэтрин Б. Фойер в своей работе «Генезис «Войны и мира» (М., 2002) убедительно показала, что возникновение замысла великого романа во второй половине 1850-х годов напрямую связано с резко негативным восприятием Толстым готовящейся крестьянской реформы, как подрывающей социально-политическое положение дворянства. В одном из многочисленных вариантов предисловия к «Войне и миру» писатель прямо и с вызовом заявляет: «...я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его... я аристократ,

и по рождению, и по привычкам, и по положению. <...> Я вижу, что это большое счастье, и благодарю за него Бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отречься от него и не пользоваться им» (Цит. по: Указ. соч. С. 162). Интересна также догадка ученого, что отрицание рационализма, которым пронизан роман, имеет своей изначальной причиной полемику с интеллигентами-разночинцами. Н.Г. Чернышевского в одном из писем 1856 года Толстой называет «клоповоняющим господином» (Указ. соч. С. 175).

существенно отличается от взглядов его молодости и зрелости, но и в нем отчетливо чувствуется, прежде всего, эксцентричность образованного барина, а никак не «гражданская скорбь» профессионального идеолога. Да и лидеры либерального земского движения конца XIX — начала XX веков (граф П.А. Гейден, Ф.А. Головин, князь П.Д. Долгоруков, Н.Н. Львов, В.П. Обнинский, И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, А.А. и М.А. Стаховичи, Д.Н. Шипов и др.) — богатые, а иногда и очень богатые помещики — тоже дворянские интеллектуалы, а никак не интеллигенты¹⁸.

Другие же сословия или классы создать прослойку своих интеллектуалов либо не смогли (например, купечество, хотя отдельные купцы-интеллектуалы вроде В.А. Кокорева¹⁹ известны), либо не успели (буржуазия).

Более сложен вопрос с духовенством. Существует распространенное мнение, основанное на работах М. Вебера и Грамши, о духовенстве, как о так называемой традиционной интеллигенции. Вероятно, в этом есть свой резон, но в данной работе предполагается, что интеллектуализм как дискурс, основанный на культуре рационального критического рассуждения, связан с Модерном, и появляется в России только с реформами Петра I²⁰, а потому духовенство в целом, чей дискурс основан на приоритете веры, ни к интеллектуалам, ни к интеллигенции отношения не имеет. Другое дело, что некоторые представители духовенства иногда выступали в качестве интеллектуалов

¹⁸ Не нужно быть марксистом, чтобы согласиться с выводом весьма компетентного советского историка: «Земский либерализм... был... либерализмом помещичьим. Он формулировал программу дворян-землевладельцев, стремившихся в условиях развивающегося в стране капитализма сохранить экономические преимущества, упрочить и расширить свои политические права» (Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала XX века. М., 1977. С. 3). Материалы, приводимые исследовательницей, красноречиво подтверждают этот вывод. Гласные губернских земских собраний на 87% состояли из потомственных дворян, причем более чем на 60% — из «крупных и крупнейших землевладельцев» (среднепоместные дворяне — 28%, мелкопоместные — 3%) (Указ. соч. С. 86–87). Хороша земская «всесословность»! Пирумова расписала поименно всех либеральных земцев, в том числе и на предмет количества владеемой ими земли, — это производит впечатление...

¹⁹ Между прочим, очень раздражавшего Толстого (см.: Фойер К.Б. Указ. соч. С. 157–159). Из купцов происходил В.П. Боткин, но он совершенно вписался в «элитарную», дворянскую культуру и к «купеческим» интеллектуалам быть причислен

не может. В дореформенной России купеческие дети стремились «одворяниться», в «пореформенное» — «обинтеллигентиться». См. об этом: Захаров В.В. «Обинтеллигентивание» российского купечества в конце XIX — начале XX века // Интеллигенция России: традиции и новации. Иваново, 1997. С. 88–90.

²⁰ «Современная интеллигенция» сложилась на почве культуры Просвещения, она представляет собой «явление, коренным образом отличающееся от форм интеллектуальной жизни домодернистского общества». В случае же с Россией «необходимо принять во внимание... великую национальную революцию, которая произошла, а вернее началась... при Петре I и которую обычно определяют как «западнизацию» или «европеизацию», но лучше называть «модернизацией». <...> Именно с петровской революцией возникает в России на национальной почве, испытавшей потрясения, но не уничтоженной, современная культура на базе институтов (университеты, академии, издательское дело), без которых не могла бы вырасти интеллигенция» (Страда В. Интеллигенция как зеркало европейской революции // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм. С. 30, 31–32).

(ярчайшие примеры — идеолог петровской монархии епископ Феофан Прокопович или московский и петербургский митрополиты екатерининских времен Платон Левшин и Гавриил Попов — последний тем не менее ощущал это неорганичным для себя). Кроме того, существовал феномен околоцерковных интеллектуалов — профессоров духовных академий (Е.Е. Голубинский, В.В. Болотов, Н.Н. Глубоковский и др.), которые трактовали богословские и церковно-исторические вопросы через призму критического научного исследования, и следовательно, были подлинными интеллектуалами, хотя и не интеллигентами.

От «сороковых» — к «шестидесятым»: разрывы и связи

Преемственность между профессиональной интеллигенцией и ранними группами дворянских и государственных интеллектуалов, с одной стороны, очевидна, с другой — неоднозначна. Генеалогия, которую в своей «Истории русской общественной мысли» выстраивает Иванов-Разумник (прямая линия от Фонвизина, Новикова и Радищева — и чуть ли не от Нила Сорского²¹ — к Михайловскому и самому Разумнику) слишком отдает идеологическим мифологизаторством. Разумник явно преувеличил степень социально-политического радикализма дворянских интеллектуалов, даже самый «революционный» из них — Радищев — был в крестьянском вопросе весьма умеренным и совсем не собирался ликвидировать помещичье землевладение, рекомендуя путь к «постепенному освобождению земледельцев», что, в общем, мало чем отличалось от планов Екатерины II и Александра I²². Не обращают обычно внимание на осуждение Радищевым петровской «Табели о рангах», демократизировавшей возможность приобретения дворянского звания²³

²¹ Идея, сегодня подхваченная многими авторами, например, Г.С. Кнабе, видящим в том же Ниле Сорском, Максиме Греке, Вассиане Патрикееве и др. представителей русской «протоинтеллигенции» (см.: Кнабе Г.С. Перевернутая страница // Кнабе Г.С. Избранные труды: Теория и история культуры. М., 2006. С. 1062–1072). Для Кнабе, интеллигент — «это человек, открытый переживанию судеб общества и участию в истории» (Указ. соч. С. 1063). Надо ли говорить, что в этом определении специфика интеллигенции как особого социального слоя становится совершенно неуловимой?

²² См.: О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. (Факсимильное издание). М., 1983. С. 236.

«...Для Радищева крестьянский вопрос сводился в первую очередь к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской собственности на землю, за которую они уплачивали

подушную подать» (Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из глубины... С. 464); «Как и императрица [Екатерина II], он [Радищев] представляет себе освобожденных крестьян мелкими самостоятельными собственниками» (Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. С. 50). Экая «антимещанская» программа!

²³ См. подробнее: Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII — начала XIX века. СПб., 2004. С. 218. Исследователь, в частности, отмечает, что описанное в одной из глав «Путешествия...» («Зайцево») убийство крестьянами своего помещика (на основании чего Радищева представляют как сторонника «чуть ли не социальной революции») имеет весьма интересный подтекст: «Издевавший над крестьянами ассессор не был потомственным дворянином, но получил дворянское звание, выслужив его по

(кстати, не жаловал оную «Табель» и зрелый Пушкин²⁴, по многим принципиальным вопросам диаметрально расходившийся с Радищевым). Так что и автор «Путешествия из Петербурга в Москву», и автор «Путешествия из Москвы в Петербург» оставались вполне представителями и защитниками интересов своего сословия, понимаемых, конечно, иначе, чем заурядными крепостниками. Можно ли представить что-нибудь более далекое от «внесословно-этических» индивидуалистов Разумника, который конечно же записал в интеллигенты не только Радищева, но и Пушкина с Толстым! То же можно сказать и о декабристах, чье движение «было по существу попыткой перевести шляхетские [конституционные] замыслы XVIII века на язык передовой европейской политической мысли XIX века и осложнить и дополнить постановку политических задач проблемами социальными (освобождением крестьян)»²⁵, и даже об «идеалистах» 1830–1850-х годов, в большинстве своем весьма трезво и прагматично смотревших на решение

«Табели о рангах». <...> Именно низкое происхождение ассессора объясняет, по мысли автора, его зверское отношение к подневольным ему крестьянам».

Кроме того, бросается в глаза, что в обоснование необходимости освобождения крестьян Радищев приводит аргументы не только сентиментально-этического характера, но и вполне внятные предостережения о социальной опасности «рабства» для своего сословия, угрозе новой «пугачевщины» («старая» ведь еще была свежа в помещичьей памяти): «Приведите себе на память прежние повествования и увидите, что даже обольщение сотворило яростных рабов на погубление господ своих. Прельщенные грубым самозванцем... они не щадили ни пола, ни возраста. <...> Гибель приближается постепенно, и опасность уже над головами нашими» (О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. С. 234). См. также основательные аргументы против представления о Радищеве как о «радикале»: Ширинац А.А. Указ. соч. С. 61–63.

²⁴ «Парадоксальным образом Пушкин упрекает русскую монархическую власть—в революционности. <...> В замечательном разговоре с вел. кн. Михаилом Павловичем (в споре с ним о ценности наследственного дворянства по поводу указа о почетном гражданстве, последствием которого должно было быть затруднение доступа в дворянство по службе; великий князь был против этой меры) Пушкин не стесняется сказать ему: „Вы пошли в вашу семью, все Романовы—революционеры и уравниатели“ (на что явно неприятно задетый великий князь ответил иронической благодарностью за то, что „пожалован“ Пушкиным в якобинцы). В шутильной форме Пушкин

высказал свою мысль, стоящую в связи с его... взглядом на общественное значение дворянства как носителя культурной непрерывности и свободного общественного мнения и культурного творчества. Поэтому он резко высказывается против петровской „Табели о рангах“, в силу которой лица из низших слоев в порядке службы проникали в дворянство. „Вот уже 150 лет, как Табель о рангах выметает дворянство, и нынешний Государь [Николай I] первый установил плотину, еще очень слабую (Пушкин имеет в виду упомянутый указ о почетном гражданстве), против наводнения демократии, худшей, чем в Америке“ („О дворянстве“). „Наследственные преимущества высших классов общества суть условия их независимости. В противном случае они становятся наемниками“ (ib.)» (Франк С.Л. Пушкин как политический мыслитель // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 245).

²⁵ Струве П.Б. Исторический смысл русской революции... С. 464. См. также у Федотова: «Декабристы были людьми XVIII века по всем своим политическим целям, по своему социальному оптимизму и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их портретов в галерею русской революции, видишь, до чего они по сравнению с будущим еще почвенны. Как интеллигенция своего века, они тесно связаны со своим классом и с государством, Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. <...> Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. <...> На них в последний раз в истории почил дух Петра» (Федотов Г.П. Указ. соч. С. 84).

крестьянского вопроса и не собиравшихся жертвовать в пользу «меньшей братии» сословными выгодами²⁶. Даже А.И. Герцен не воспользовался возможностью освободить своих крестьян, которая была у помещиков начиная с 1803 года («Указ о вольных хлебопашцах»).

Создателя легенды о перманентно «антимещанской» интеллигенции подобные низменные материи не интересовали, для него 1820–1840-е годы — время, когда происходит «новое зарождение» интеллигенции, «еще сословной по составу, но по-прежнему бессословной и внеклассовой по целям и уже вскормившей на груди такого великого представителя интеллигенции, каким был разночинец Белинский»²⁷. Безусловно, идеологическая связь между дворянскими интеллектуалами второй четверти XIX века и пореформенными интеллигентами-разночинцами существует, как существует связь *всей* последующей отечественной культуры с теми культурными ценностями, которые были созданы в эту эпоху, ценностями, обретшими статус классики. Но *социально* это совершенно разные группы. И очень характерно, что раскол в некрасовском «Современнике» во второй половине 1850-х годов совершенно четко прошел не только по эстетическому («чистое

²⁶ См., например, содержательный разбор проектов об отмене крепостного права лидера славянофилов А.С. Хомякова в кн.: Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. М., 1992. Вып. 2. С. 29–38. Особенно впечатляют рекомендации певца «соборности» по взиманию с крестьян выкупных платежей (1859 год): «Считаю своим долгом прибавить, что взыскание годовой уплаты по совершенным выкупам должно быть с миров и производимо с величайшей строгостью, посредством продажи имущества, скота и т.д., особенно же посредством жеребьевого рекрутства с продажей квитанций не с аукциона (ибо это унижительно для казны), но по положенной цене, с жеребьевым розыгрышем между покупателями. В случае крайней неисправности должно допустить выселение целых деревень в Сибирь, с продажей их земельного надела; но таких случаев почти не может быть. В этом деле неумолимая и, по-видимому, жестокая строгость есть истинное милосердие» (Указ. соч. С. 35–36). В крестьянском вопросе, комментирует А. Валицкий, проекты Хомякова «явно противоречили основным принципам славянофильской утопии: вопреки ее антикапиталистическому духу Хомяков не ставил вопроса, как предотвратить развитие капитализма в России, но заботился лишь о том, чтобы это развитие было по возможности менее неблагоприятным для помещичьего дворянства. <...> Таковую же позицию заняли в крестьянском вопросе славянофильские деятели, непосредственно занятые подготовкой реформы,—Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев

и В.А. Черкасский» (Указ. соч. С. 36). См. на эту тему также насыщенные обширным фактическим материалом монографии Е.А. Дудзинской «Славянофилы в общественной борьбе» (М., 1983), «Славянофилы в пореформенной России» (М., 1994), автор, правда, преувеличивает «буржуазные тенденции» у славянофилов.

Парадоксальна, но заслуживает внимания оценка отмены крепостного права у В.В. Леонтовича: «...создается впечатление, что законы от 19 февраля 1861 года главным образом направлены были на то, чтобы освободить не крестьян от господ, а наоборот, возможно скорее избавить господ от крестьян, от всех тех обязанностей, которые выпадали на долю хозяина поместья, населенного крепостными крестьянами. <...> Я очень склоняюсь к тому, чтобы считать Манифест 19 февраля в первую очередь не освобождением крестьян, а вторым освобождением дворян (первое имело место в 1762 и в 1785 году). 18 февраля дворяне освобождены были от обязанностей государственной службы. 19 февраля 1861 года они избавлены были от обязанностей общественно-правового характера в отношении своих поместий» (Леонтович В.В. Указ. соч. С. 147). Стоит напомнить, что реформа 1861 года была разработана и проведена под идейным и практическим руководством передовых дворянских интеллектуалов—как славянофилов, перечисленных выше Валицким, так и западников (К.Д. Кавелин, Н.А. Милютин).

²⁷ Иванов-Разумник Р.В. Указ. соч. С. 240.

искусство» против «ангажированного»), но и по «классовому» признаку: от журнала отошли либеральные дворяне П.В. Анненков, Д.В. Григорович, А.В. Дружинин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.А. Фет и другие, а тон стали задавать радикальные разночинцы Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, М.А. Антонович, Н.Г. Помяловский, Н.В. Успенский, Ф.М. Решетников и др. Интересно, что между двумя этими группами началась настоящая литературная война за противоречивое, позволяющее разные прочтения наследие Белинского; каждая сторона попыталась представить себя как единственного законного душеприказчика покойного критика²⁸. И «неистовый Виссарион» действительно давал повод для такой борьбы, являя собой *переходный тип*: социально типичный разночинец, он вращался исключительно в кругу дворянских интеллектуалов, был пропитан их культурой (как и другие его современники-интеллектуалы из поповичей — критик Н.И. Надеждин, историк и писатель П.Н. Кудрявцев), и еще неизвестно, какой выбор бы сделал, дожив до раскола «Современника».

Не менее показательно, что такой весьма политически радикальный представитель «поколения 40-х годов», как Герцен, не смог найти общего языка с «новыми людьми» и разошелся с Чернышевским. Вообще, Герцен при всей огромной важности его идей для формирования левоинтеллигентского дискурса едва ли может быть причислен к интеллигентам. Сначала богатый помещик, затем (за границей) состоятельный рантье, живший отнюдь не за счет своей литературной деятельности, а напротив, ее финансировавший, он, как и Толстой, продолжал традицию дворянского вольномыслия, отрицая как догматизм ценностей официальной России, так и догматизм России революционной. Недаром его имя использовали в дальнейшем не только социалисты, но и либералы и даже консерваторы вроде К.Н. Леонтьева. И многие сочинения Александра Ивановича, особенно «С того берега» и «К старому товарищу», дают к тому основания. Нельзя все сводить к социальному

²⁸ «...Борьба за Белинского... приобрела новый и особый характер. Не отталкивание от Белинского, а привлечение его в союзники будет характерно для многих так называемых либералов. А. Дружинин, В. Боткин, П. Анненков будут упорно именовать себя „кругом Белинского“. Тургенев именно Белинскому и явно в пик революционерам-демократам обновленной редакции „Современника“ посвятит свой роман „Отцы и дети“. Как своего предшественника будет толковать Белинского Дружинин. Свое право, так сказать, наследования, он, хотя и скромно, подчеркнет и напоминанием о личном знакомстве, чем молодые деятели „Современника“, естественно, похвастаться уже не могли» (Скатов Н.Н. А.В. Дружинин — литературный критик // Дружинин А.В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С. 27). Добавим, что не то что

«личным знакомством» с Белинским, а дружбой с ним могли «похвастаться» и другие «так называемые либералы» — Анненков, Боткин, Тургенев, о существовании же Чернышевского и Добролюбова Виссарион Григорьевич даже не подозревал. Можно вспомнить и еще одного известного персонажа из «круга Белинского» — М.Н. Каткова, в журнал которого «Русский вестник» перешли практически все «либералы», ушедшие из «Современника». Что же касается общественно-политической позиции Некрасова, то она не была столь однозначно-радикальной, как у прогрессистов-поповичей, но Николай Алексеевич, будучи прежде всего гениальным литературным дельцом, вовремя сумел почувствовать, куда «ветер дует», и сделал ставку на новое перспективное движение.

положению, но резонно предположить, что среди прочих причин материальная обеспеченность и аристократическое происхождение и воспитание Герцена могли повлиять на относительную умеренность его революционности (и даже отказ от нее в конце жизни). Между тем как близкий его друг М.А. Бакунин в силу своей полной деклассированности — уже типичный «антимещанин» Иванова-Разумника (как ни странно, не уделившего ему большого внимания) — «бессловный и внеклассовый».

Таким образом, пореформенная профессиональная, «массовая» интеллигенция, будучи новой социальной группой, воспользовалась богатейшим идейным багажом, созданным дворянскими интеллектуалами в дореформенный период, выступив в роли их «преемника». Основные положения практически всех интеллигентских общественно-политических концепций (как прогрессистских, так и консервативных) были сформулированы в 1830–1840-х годах, в период «великого ледохода русской мысли»²⁹. Но наследие «сороковых» в интерпретации интеллигентских идеологов претерпевало весьма заметную деформацию, обусловленную приспособлением к новым социокультурным реалиям, а именно к динамичному процессу демократизации общества и культуры. На крайне левом фланге интеллигентской мысли эта деформация поначалу выразилась в кричаще радикальной форме — в так называемом нигилизме, отрицавшем большинство ценностей «барской» культуры и пытавшемся создать нечто вроде своей особой «контркультуры»³⁰ с псевдоевангелием в виде «Что делать?»

²⁹ Гершензон М.О. История молодой России // Гершензон М.О. Избранное. Т. 2. Молодая Россия. М.; Иерусалим, 2000. С. 10.

³⁰ См. на эту тему содержательную статью В.М. Живова «Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции» в его книге «Разыскания в области истории и предистории русской культуры» (М., 2002. С. 685–704), трактующего «шестидесятничество» как «субкультуру» или «контркультуру». Один из главных источников — «маргинальная культура предшествующего периода, прежде всего культура духовенства, которой был присущ глубокий *ressentiment* по отношению к элитарной [дворянской] культуре». То, что среди идеологов «шестидесятничества» преобладали поповичи, — общее место. Гораздо интереснее увидеть неслучайность этого факта. См. размышления на эту же тему у С.Н. Дурылина (1930 год): «П.И. Бартенев: „Чувство изящного слабо развито вообще у лиц происхождения духовного...“ Мы встречаемся... с какой-то органической слепотой и тугою на ухо целого сословия «белого» духовенства. <...> Люди с наследственной слепотой и глухотой на прекрасное... передали — с напористостью и упрямством, свойственными

их сословию, — свою глухоту и слепоту целому поколению, заразивши ими целую эпоху. Вот откуда истоки пресловутого «разрушения эстетики»: от этого порока целого сословия поповичей и дьяковичей; в детстве они наследственно не примечали слонов миров[ого] искусства, среди которого жили, а в юности последовательно в «детской резвости», которую напрасно принимают за социальное бунтарство, «колебали треножник» величайших художников. Само это сословие — одно-единственное из всех — не дало ни одного поэта, ни одного композитора и ничтожное число художников (вспоминаются одни Васнецовы), но зато огромное число экономистов, публицистов, всяческих «проза-торов»... <...> Это было самое позитивное, самое физиологическое сословие старой России» (Дурылин С.Н. В своем углу. М., 2006. С. 778, 781–782). (Сам Дурылин происходил из купцов, но в начале 1920-х годов принял священство.) В.М. Живов пишет: «Преемственный характер имеет и эстетическая позиция шестидесятников. Не входя в рассуждение о том, какое место занимает красота в православной духовности вообще, отмечу, что в условиях европеизации и секуляризации элитарной культуры духовенство

Чернышевского, поношением Пушкина, культом «полезности» и свободы от «условностей». Из предшествующей эпохи были подняты на щит лишь «социально близкий» Белинский и весьма произвольно толкуемый Гоголь. Но характерно, что уже начиная с 1870-х годов целостность этой «контркультуры» дает трещины. Властитель дум следующего поколения радикальной интеллигенции Н.К. Михайловский уже в 1874 году называет отрицание Пушкина «варварством», а позднее настаивает на том, что «грубая и жестокая операция» Д.И. Писарева над Пушкиным или В.А. Зайцева над Лермонтовым — это лишь «нелепая хула», которая не воспринимается теперь интеллигенцией как некий догмат³¹. Иванов-Разумник включает в свою «Историю русской общественной мысли» (первое издание — в 1906 году) главу о Пушкине и Лермонтове, с уважением пишет о славянофилах, вершина русской мысли для него — третиравшийся «шестидесятниками» Герцен, чья главная заслуга оказывается в синтезе двух основных идеологических направлений «сороковых» — западничества и славянофильства. Наконец, весьма показателен пример литературных пристрастий Ленина, которого, как известно, «Что делать?» в молодости «перепахало», — тем не менее он ценит Пушкина, Тютчева и даже Хомякова, восхищается «Войной и миром», разгромленной некогда в пух и прах «шестидесятником» Н.В. Шелгуновым.

Конечно, культура дворянских интеллектуалов трактуется радикальными интеллигентами в русле собственных идейных предпочтений, на что уже выше обращалось внимание; подчеркивались, так сказать, «демократические», «свободолюбивые», «оппозиционные» элементы этой культуры. Но во всяком случае, постепенно создавался некий общенациональный консенсус по вопросам культуры, хотя бы в отношении некоторых ключевых фигур прошлого, ибо Пушкина признавала классиком и официальная пропаганда, и литературная критика «почвеннического» направления (А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский). Последняя сделала больше всего для придания

не могло не настаивать на том, что эстетические ценности не обладают самостоятельным существованием, но находятся в зависимости от ценностей религиозных (что, скажем, икона остается иконой вне зависимости от качества исполнения, а „Мадонна“ Рафаэля не может быть священным предметом, несмотря на всю свою красоту). В определенном преломлении такой подход к эстетике сближался с утилитарным. <...> У шестидесятников место религии занимает научный прогресс, и эстетические ценности оказываются противопоставлены этому новому кумиру. Таким образом, и на концептуальном уровне культура „новых людей“ оказывается продолжением и трансформацией маргинальной культуры» (Указ. соч. С. 693).

³¹ См.: Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 113; Петрова М.Г. Михайловский Н.К. // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 103. Конечно, если доводить социологизаторский подход до абсурда, можно вспомнить, что Михайловский — «из дворян» и даже сын жандармского офицера. Но тут важнее другое — то, что его «реабилитация» Пушкина была воспринята интеллигентской молодежью, в общем, без протеста. Значит, изменился культурный климат в интеллигентской среде в целом. Главный «гонитель» Пушкина Д.И. Писарев был тоже из дворян, но прекрасно вписался в «семинаристскую» «контркультуру», которая в «шестидесятых» задавала тон.

автору «Евгения Онегина» статуса «национального поэта» (знаменитая формула Григорьева — «Пушкин наше все»), но при этом также творила «своего» Пушкина. Поэт и здесь «демократизировался», лишился своего аристократического этоса и становился выразителем общенародных, православных идеалов. Законченное завершение «почвеннический» пушкинский миф явил в знаменитой речи Достоевского 1880 года, которая конечно же больше говорит о мировоззрении ее автора, чем ее предмета. Таким образом, совместными усилиями «справа» и «слева» дворянская культура, культура очень узкого социального слоя, адаптировалась для более широкого потребления.

От «сороковых» «шестидесятым» досталось и столь принципиальное для русской культуры восприятие писателя как духовного учителя общества. И. Берлин в специальной работе традиционно настаивает на приоритете в создании этой идеологии Белинского (воспринявшего ее от сен-симонистов), убедительно показывая его влияние на Достоевского, Тургенева, Толстого³². Но думается, не менее важное значение имел здесь оппонент «неистового Виссариона» и адресат его пресловутого письма 1847 года Н.В. Гоголь с его «Выбранными местами из переписки с друзьями», жестоко изруганных критиком, но, в сущности, хотя и иным, религиозно-пророческим языком провозглашающими ту же учительскую функцию писателя³³. На Достоевского и Толстого «Выбранные места...» оказали не меньшее, если не большее влияние, чем статьи Белинского (именно в связи с этой книгой Толстой назвал Гоголя «нашим Паскалем»), во всяком случае, их понимание роли писателя (как моралиста-проповедника или даже как пророка своего народа, преображающего людские души, а не как обличителя общественных язв, борющегося за социальные реформы), несомненно, ближе к гоголевскому. «Единство и противоположность» Белинского и Гоголя — весьма симптоматичный факт культуры «сороковых».

Кроме идейного наследства, «сороковые» передали пореформенной эпохе и не менее важное наследство материальное. Именно тогда создаются условия для возможности жить одним литературным трудом. «Для того чтобы разночинец нашел свое место в обществе...

³² См.: Берлин И. Обязательства художника перед обществом. Русский вклад в мировую культуру // Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001. С. 44–84.

³³ Друг Пушкина критик П.А. Плетнев, один из немногих по достоинству оценивший значение «Выбранных мест...», назвал их в письме к Гоголю «началом собственно русской литературы». Ср. мнение литературоведа русского зарубежья К.В. Мочульского: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути

Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может» (Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 37).

нужна была, прежде всего, сама возможность независимого существования. Появилась она в России не ранее второй четверти XIX века. До этого времени „свободных профессий“ в России не было. <...> С конца 30-х — начала 40-х годов XIX века положение изменяется. <...> С появлением больших „коммерческих“ журналов — сначала „Библиотеки для чтения“ [в 1834 г.] Сенковского, затем „Отечественных записок“ Краевского [в 1839 г.] и Некрасовского „Современника“ [в 1847 г.] — коренным образом изменяется положение литератора. Черновая журнальная работа — обзоры, статьи, переводы — становятся возможным источником существования. <...> Белинский не мог бы стать властителем дум в 20-х или 10-х годах XIX века: ему нечем было бы прокормиться. Скудная выдача в журнальной кассе уничтожила горькую необходимость государственной службы или меценатства»³⁴.

От «шестидесятых» — к «семнадцатому»: расцвет и гибель интеллигенции

В пореформенной России «свободная пресса» стремительно преумножается. В 1859 году (на русском языке) выходило 55 литературно-политических периодических изданий, в 1882 — 154, в 1900 — 212, в 1915 — 697 (128 журналов и 569 газет). Петербургская перепись 1869 года учла 302 писателя, журналиста, переводчика и издателя. В Московской переписи 1882 г. литераторов, корреспондентов, редакторов, переводчиков и прочих было зарегистрировано 220 человек. По Всеобщей переписи 1897 года ученых и литераторов насчитано 3296 человек. За десять лет (1896–1905) общее число авторов только изданий либерально-демократического толка составило 2500 человек. К 1917 году количество литераторов видимо превышало 10 000 человек. Вот некоторые данные по отдельным изданиям. В Некрасовском «Современнике» за 1847–1866 годы по сохранившимся гонорарным ведомостям сотрудничало 505 человек. Газета «Голос» за первые 15 лет существования имела около 280 сотрудников. В «Русском богатстве» в 1893–1911 годы участвовало свыше 880 авторов. В «Мире Божьем» в 1892–1901 годах — 450 авторов. В «Русской мысли» за 1900–1904 годы — 460 авторов. В нелегальных органах «Народной Воли» ответственные статьи писали 20–25 публицистов. Редакция большевистской газеты «Вперед» состояла из 23 человек. С декабря 1900 по 1907 год в большевистской печати работало 237 авторов, к октябрю 1917-го в ней участвовало уже 760 редакторов и сотрудников³⁵.

Именно независимые как от государства, так и от старых условий литературы и стали интеллектуальным и социальным ядром

³⁴ Вердеревская Н.А. О разночинцах // Из истории русской культуры. Т. 5. С. 459–461.

³⁵ Цифры даются по: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 217, 230–232; Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. С. 123–127.

профессиональной интеллигенции, именно в этой среде рождались и конкретизировались все новые идеологические конструкции, именно оттуда исходили идейные импульсы, охватывающие затем все образованное общество. Русские литераторы во второй половине XIX — начале XX века являли собой нечто вроде аналога французских «писателей» накануне Великой Революции, во всяком случае, в изображении А. де Токвиля: «Каждая общественная страсть обращалась... в философию; политическая жизнь была насильственно вытеснена в литературу, и писатели, взяв на себя руководство общественным мнением, в какой-то момент оказались на том месте, которое в свободных странах обычно занимают партийные вожди»³⁶. Слой литераторов стал действительно вполне «бессословным и внеклассовым», пополняясь из деклассированных элементов старых сословий, в первую очередь духовенства, дворянства, чиновничества, купечества, в гораздо меньшей степени — мещанства и крестьянства (до М. Горького не удастся припомнить ни одного значительного «владельца дум», вышедших оттуда). Этот слой структурировался как, говоря языком современных социологов, «кроссословный социальный агломерат (конгломерат)», который, однако, «не кристаллизовался как сословие», «как единое целое на основе адекватно понятых классовых интересов»³⁷. Автономизировавшись от государства и старых сословий, интеллигенция не стала и «буржуазной», ибо буржуазия в пореформенной России только формировалась и даже к 1917 году не была подлинно ведущей общественной силой. Социальное «свободное парение» русской интеллигенции добавляло ее идейным поискам еще больше радикализма³⁸ — большинство литераторов тяготело не к классическому либерализму, а к разным вариантам социализма.

Впрочем, неверно считать, что интеллигенция состояла сплошь из прогрессистов, консервативный ее сектор, хоть и был количественно невелик, заставлял с собой считаться интеллектуальным весом отдельных фигур, достаточно вспомнить имена И.С. Аксакова, М.Н. Каткова³⁹,

³⁶ Токвиль А. [де] Старый порядок и революция. СПб., 2008. С. 129. На данное сходство в свое время обратил внимание В. Страда, проведя остроумный эксперимент: выбрав фрагменты из Токвиля о «писателях», он заменил это слово на «интеллигенцию», «Францию» на «Россию», а «Англию» на «Запад». В результате создалось впечатление, что мы читаем текст, принадлежащий «какому-нибудь [русскому] либеральному или консервативному критику интеллигенции», например, извлеченному из «Вех» (Страда В. Указ. соч. С. 28–29).

³⁷ См.: Кустарев А.С. Указ. соч. С. 249–252.

³⁸ В России «демократизация культуры носит опережающий по отношению к политической, социальной и экономической демократизации

характер и задает одну из основных коллизий последующей интеллектуальной российской истории вплоть до настоящего времени» (Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений / Под ред. В. Куренного. М., 2006. С. 13).

³⁹ Который обычно воспринимается как рупор дворянских или бюрократических интересов. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что, напротив, Катков пытался использовать и правительство, и дворянство в своих видах (отсюда его многочисленные столкновения с теми или иными бюрократами). Именно в лице Каткова, по мнению его зарубежного биографа М. Каца, «Россия могла оказаться на грани возникновения независимой печати» (см.: Ванеян С.С. Катков М.Н. // Русские писатели. 1800–1917. Т. 2. М.,

Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева⁴⁰, В.В. Розанова... «Правая» интеллигенция была не менее «кроссословна», чем «левая». Наряду с родовитыми дворянами Аксаковым, Леонтьевым, Ю.Н. Говоруха-Отроком, В.Г. Авсеенко можно вспомнить консервативных поповичей (В.И. Аскоченский, Н.П. Гиляров-Платонов, Н.Н. Страхов, Е.Н. Погожев-Поселянин), купеческих (Д.В. Аверкиев, А.А. Дьяков-Незлобин), чиновничьих (Катков, Розанов, М.О. Меншиков) и даже крестьянских детей (И.Ф. Романов-Рцы). Достоевский — сын врача в больнице для бедных, выслужившего потомственное дворянство. Л.А. Тихомиров — сын военного врача, выходца из духовного сословия. А.С. Суворин — сын государственного крестьянина, героя Бородинской битвы, получившего потомственное дворянство. А В.А. Грингмут — и вовсе, можно сказать, потомственный интеллигент, сын преподавателя в частных пансионах. Консерваторы более зависели от государства, но все же, как правило, не сливались с «официозом» и старались вести свою независимую линию, за что им попадало от цензуры едва ли не больше, чем прогрессистам. И.С. Аксакова называли «страстотерпцем цензуры всех времен и направлений»; в 1880 году имевшая значительный читательский успех проправительственная газета «Берег» закрылась под давлением «сверху»; в «реакционную» эпоху Александра III были прекращены славянофильские газеты «Русский курьер», «Восток» и «Русское дело»; ряду репрессий подверглась газета Гилярова-Платонова «Современные известия» и т.д. «Правой» печати часто не оказывалось своевременной поддержки «сверху». В конце 1890-х годов правительство (и лично Победоносцев) дало погибнуть лучшему консервативному журналу того времени «Русское обозрение» и газете «Русское слово», которая была продана за бесценок издателю И.Д. Сытину, сделавшего позднее из нее боевой либеральный орган. В 1906 году тихой смертью скончался некогда прославленный, основанный Катковым «Русский вестник». Сотрудники многих «правых» изданий в прямом смысле слова бедствовали (исключение — суворинское «Новое время»)⁴¹. Тем не менее перебежчиков

1992. С. 512). Сегодня Катков нередко воспринимается как один из создателей «четвертой власти» в России наряду с другими «консерваторами» — И.С. Аксаковым и А.С. Сувориным.

⁴⁰ Страстно не желавшего вливаться в интеллигентские ряды, предпочитавшего роль сословного или государственного интеллектуала, но все же объективно вынужденного вести жизнь литературного поденщика.

⁴¹ Маргинальное положение консервативной прессы и писателей-консерваторов — одна из постоянных тем Розанова, знавшего ситуацию не понаслышке (в 1890-х годах он был постоянным автором «Русского вестника», «Русского обозрения» и «Русского слова» и не всегда мог

получить гонорар за свои статьи). «...Пока роль цензуры чисто анархическая: 1) Всю революцию пропустила (журналы „Дело“, „Русское Богатство“, „Отечественные Записки“). 2) Все национальное запретило (журнал „почвенников“, „Время“, с издателями и сотрудниками — Достоевским... Н.Н. Страховым, Ап. Григорьевым). 3) Щедрина и Некрасову, Благосветлову и Михайловскому писать можно. 4) Каткову (история запретных на него кар), Ив. Аксакову, Ив. и П. Киреевским — нельзя» (Розанов В.В. Историко-литературный род Киреевских // Розанов В.В. Собрание сочинений. Признаки времени. Статьи и очерки 1912 г. М., 2006. С. 220–221).

«Стоит сравнить тусклую, загнанную, „где-то в уголку“ жизнь Страхова, у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его

«слева направо», было несравнимо больше, чем наоборот, во всяком случае, эти имена хорошо известны: петрашевец Достоевский, сотрудник Герцена В.И. Кельсиев, один из лидеров «Народной воли» Тихомиров; в той или иной степени «отступниками» являлись Катков, Суворин, В.П. Буренин, Дьяков-Незлобин, Говоруха-Отрок, Меньшиков.

Другой значительной группой интеллигенции была университетская профессура и приват-доцентура. После принятия университетского устава 1863 года университеты получили значительную автономию, и потому преподаватели в них обрели относительную независимость от государства (в отличие, скажем, от гимназий, поэтому гимназических учителей в целом мы к интеллигенции не относим — характерны, между прочим, карикатурные образы Беликова и Передонова у Чеховца и Сологуба). «Либеральный профессор» — весьма репрезентативная фигура для пореформенной интеллигенции (наиболее яркие примеры М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков). В то же время университеты оставались государственными учреждениями, и радикализм ученых мужей был куда ниже, чем литературский (показательна, скажем, двойственность позиции В.О. Ключевского, довольно оппозиционно настроенного по отношению к самодержавию и в то же время произносящего патетическую речь памяти Александра III). Из университетских преподавателей не вышло ни одного крупного политического деятеля «левее» кадетов⁴². Не менее репрезентативен, кстати, и тип «реакционного профессора» (сподвижники Каткова П.М. Леонтьев и Н.А. Любимов, цивилист П.П. Цитович, философ и психолог М.И. Владиславлев). Профессорская среда была одним из важных источников для пополнения бюрократии новыми кадрами: обер-прокурор Св. синода Победоносцев, министр финансов И.А. Вышнеградский, министры просвещения Л.А. Кассо и А.Н. Шварц, член Совета министра внутренних дел, директор Бюро печати, ближайший советник П.А. Столыпина И.Я. Гурлянд — выходцы из этой среды⁴³.

пришедшему приятелю, — с шумной, широкой, могущественной жизнью Чернышевского и Добролюбова... стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стоят только извозничьи дворы и обитают по комнатушкам проститутки, — с жизнью женатого на еврейке-миллионерке Стасюлевича в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и „оппозиционная“ редакция „Вестника Европы“; стоит сравнить жалкую полужизнь, — жизнь как несчастье и горе, — Кон. Леонтьева и Гилярова-Платонова, с жизнью литературного магната Благовестлова („Дело“) и наконец — жизнь [Л.Ф.] Пантелеева, в палатце которого собиралось „Герценовское Общество“ (1910–1911 гг.) с его более чем сотнею гостей-членов, с жизнью „Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны [Розановых]“, чтобы понять,

что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где „раки зимуют“, и побежали к „золоту“» (Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй и последний // Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 457–458).

⁴² Некоторые либеральные профессора и приват-доценты одновременно являлись и среднепоместными землевладельцами (В.И. Вернадский, Е.В. Де-Роберти, Д.А. Корсаков, А.С. Посников, Б.Н. Чичерин).

⁴³ См. известный пассаж у Чехова в письме И.И. Орлову от 22 февраля 1899 года: «Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную,

Литераторов в правительство работать не приглашали. В 1902 году во всех университетах работало около 830 человек, в 1914 году — 1322, в 1917 году — 1877⁴⁴. Только после революции 1905 года, в 1908 году, был основан первый частный Московский городской университет имени А.Л. Шанявского (впрочем, и он не был вполне свободен от предписаний Министерства народного просвещения).

Наконец, еще одна интеллигентская группа — так называемый «третий элемент», работники земских учреждений. К 1912 году там трудилось около 150 тысяч учителей, врачей, инженеров, агрономов и статистиков⁴⁵. Безусловно, к интеллигенции в нашем понимании относилась только их небольшая часть — земские интеллектуалы, участвовавшие в идеологическом производстве, но определить их количество, даже приблизительно, здесь не представляется возможным. В земствах работали многие публицисты и писатели народнического толка: Н.М. Астырев, С.Я. Елпатьевский, И.П. Белоконский, В.В. Воронцов, П.П. Червинский и др. Земским статистиком начинал ведущий публицист «Русского богатства» А.В. Пешехонов, земским врачом был один из основателей кадетской партии А.И. Шингарев, о земском враче А.П. Чехове знают все...

Большой и сложный вопрос — следует ли считать отдельной интеллигентской группой студенчество. С одной стороны, во второй половине XIX — начале XX веков российское студенчество являлось одной из наиболее идеологически заряженных страт общества. Более того, по остроумному замечанию Розанова, студенческая интеллектуальная субкультура была в каком-то смысле определяющей для всего прогрессистского дискурса⁴⁶. Но все же студенчество — не создатель этой субкультуры, а лишь ее важнейший потребитель, поэтому

фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр» (Переписка А.П. Чехова: В 3 т. Т. 3. М., 1996. С. 500). Профессор Серебряков в «Дяде Ване» — персонаж чрезвычайно отталкивающий.

⁴⁴ Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. С. 96.

⁴⁵ Курченко В. Феномен земства // Слово \ Word. 2007. № 56 [<http://magazines.russ.ru/slovo/56/ku30/html>].

⁴⁶ «В 16–27 лет каждый, т.е. почти каждый русский бывает не только парламентаристом или республиканцем — этого еще мало, — он непременно бывает дарвинистом, позитивистом, социалистом...<...> Некоторый род духовного казачества переживает... каждый из нас в соответствующую фазу возраста. <...> Для этого духовного казачества, для этих потребностей возраста у

нас существует целая обширная литература. Никто не замечает, что все наши так называемые «радикальные» журналы... это просто «журналы для юношества», «юношеские сборники», в своем роде «детские сады», но только в печатной форме. <...> Всякий талантливый русский профессор есть... создание не культуры, не обстановки, не мысли, выраженной в университете (ее вовсе нет), но индивидуальных своих усилий и искры Божией, его чела коснувшейся. <...> Студенчество вечно одолевает кафедру, одолевает в культуре своей; и профессора, эти бедные и бесприютные профессора, ни к чему не принадлежащие, ни к чему не относящиеся, если они не развивают из себя, как [Ф.И.] Буслаев, свою культуру, — они льнут к этому же студенчеству, как взрослые, голые дикари льнут к детским кострам, однако несомненным, однако действительно горящим» (Розанов В.В. О студенческих беспорядках // Розанов В.В. [Сочинения.] Т. 1. Реалигия и культура. М., 1990. С. 122–123, 127–128).

правильнее видеть в нем некую питательную среду интеллигенции, а не один из ее фрагментов.

Р. Пайпс выделяет пять интеллигентских «учреждений» (институтов), которые «сводили... вместе единомышленников, позволяли... им делиться мыслями и завязывать дружеские отношения на основе общих убеждений»: салон, кружок, университет, толстый журнал, земство⁴⁷. В принципе, с этим списком можно согласиться, сделав некоторые уточнения.

Салон — «учреждение» еще «доинтеллигентской» эры, связанное с культурой интеллектуалов-аристократов. Наиболее известны: салон княгини З.А. Волконской в 1825–1829 годах, среди его посетителей А.С. Пушкин, Д.В. Веневитинов, Е.А. Боратынский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков; салон А.П. Елагиной (матери братьев Киреевских) в 1830–1850-х годах, среди посетителей те же П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Е.А. Боратынский, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, братья Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен и др., здесь происходили словесные баталии между западниками и славянофилами; встречались представители обоих направлений в те же годы и на «пятницах» Д.Н. Свербеева, а также на «вторниках» и «четвергах» супругов Н.Ф. и К.К. Павловых. Все эти салоны конечно же действовали в центре дворянской антибюрократической, «антипетербургской» оппозиции Москве. Ко всем ним применима характеристика Кавелина, данная свербеевскому салону: многие годы там «соединялась вся мыслящая часть русского общества, жившая или бывавшая проездом в Москве»⁴⁸. В пореформенную эпоху салоны, в принципе, не исчезли, но уже не играли прежней роли.

Практически одновременно с салонами возникли и первые интеллектуальные кружки. В 1823–1825 годах в Москве происходили заседания шеллингианского Общества любознательности (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский и др.). В 1830-х годах в Москве собирался гегельянский кружок, душой которого был Н.В. Станкевич, а среди его членов — В.Г. Белинский, М.А. Бакунин, К.С. Аксаков, М.Н. Катков, Т.Н. Грановский. Чуть раньше вокруг Герцена возникает сен-симонистский кружок (Н.П. Огарев, Н.И. Сазонов, В.В. Пассек, Н.Х. Кетчер и др.). В 1840-х годах в виде кружков формируются западничество и славянофильство, многие из приверженцев обоих направлений до этого участвовали в каком-либо из кружков, перечисленных выше⁴⁹. В 1840-х годах в Петербурге на «пятницы» М.В. Бутаевича-Петрашевского собираются молодые поклонники фурьеризма — А.Н. и

⁴⁷ Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 343–347.

⁴⁸ Цит. по: Щемелева Л.М. Свербеев Д.Н. // Русские писатели. 1800–1917. Т. 5. М., 2007. С. 505.

⁴⁹ Чичерин метафорически определил кружки «со-роковых» как «легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль» (Воспоминания Б.Н. Чичерина // Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. 2. М., 1991. С. 11).

В.Н. Майковы, Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский, М.Е. Салтыков-Щедрин и др. В 1849 году большинство петрашевцев постигли суровые правительственные кары. Во второй половине XIX века тип философского кружка почти исчезает, видимо, в связи с общей антифилософской атмосферой господствующей разночинской культуры, наиболее значительные мыслители этого времени — одиночки (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров). Зато обильно плодятся разного рода революционные организации («Земля и воля», «Народная расправа», «Народная воля», «Черный передел» и др.). Возрождение интереса к философской и даже религиозно-философской проблематике, произошедшее в начале XX века, сразу вызывает к жизни сначала петербургские Религиозно-философские собрания (1901–1903; вдохновители — В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Н.М. Минский, Д.В. Filosofov), а позднее — Московское религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева (1905–1918; председатель — Г.А. Рачинский, секретарь — С.Н. Дурылин, члены-учредители — Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, В.Ф. Эрн и др.) и Петербургское религиозно-философское общество (1913–1917; председатель — А.В. Карташев, товарищ председателя — Д.В. Filosofov, члены совета — Д.С. Мережковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк). Следует также отметить «Кружок ищущих христианского просвещения» (1907–1918; учредители — М.А. Новоселов, Ф.Д. Самарин, В.А. Кожевников и др., среди участников — Дурылин, Булгаков, Флоренский, Трубецкой, Эрн, Л.А. Тихомиров и др.), более чем другие подобные общества ориентированный на догматическое православие.

О роли университетов многое уже было сказано выше. Следует добавить (вернее, продолжить цитированную мысль Розанова), что, являясь первостепенным научным центром (скажем, классика русской историографии и филологии практически вся создана университетскими профессорами: достаточно назвать имена С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, Ф.И. Буслаева, А.Н. Веселовского), университеты никогда не были центром идеологическим. Основные идеологические концепты формировались в кружках, а позднее в журналах. Даже для развития отвлеченной философии университеты дали сравнительно мало, тем более это касается общественно-политической мысли. Такое «отставание» объясняется, прежде всего, активным государственным вмешательством в университетскую жизнь. Те преподаватели, которые хотели более свободно исповедовать свои неортодоксальные идеологические предпочтения, вынуждены были уходить в журналистику (Н.И. Костомаров, В.С. Соловьев, П.Н. Милюков), в свободное творчество (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, В.И. Семевский⁵⁰),

⁵⁰ После увольнения из Петербургского университета приват-доцент Семевский читал лекции у себя дома, эти лекции были чрезвычайно популярны среди молодежи, в числе прочих их

посещали Александр и Анна Ульяновы (см.: *Лейкина-Свирская В.Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. С. 195).

земскую или общественную деятельность (С.А. Муромцев, О.Ф. Миллер), работать за границей (М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов). Попытки ограничения университетской автономии даже умеренно консервативного С.М. Соловьева вынудили подать в отставку. Можно констатировать, что университет был важным, но далеко не единственным путем интеллектуальной вообще (и интеллигентской, в частности) карьеры (что касается дворянских интеллектуалов, то университетское образование стало популярно среди них только с 1830-х годов). И.С. Аксаков, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, Н.А. Добролюбов, Ф.М. Достоевский, Р.В. Иванов-Разумник, В.Г. Короленко, П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров, К.Н. Леонтьев, М.О. Меншиков, Н.К. Михайловский, Г.В. Плеханов, А.С. Суворин, П.Б. Струве, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, С.Л. Франк, А.И. Эртель и многие другие «властители дум» либо заканчивали другие учебные заведения, либо недоучивались в университетах, либо заканчивали их чисто формально.

Литературно-политические журналы (и газеты) были куда более важным идеологическим институтом. Несмотря на цензурные «репрессалии», они довольно отчетливо и адекватно отражали на своих страницах суть тех или иных общественно-политических направлений: славянофильства («Москвитянин», «Русская беседа», «День», «Русь»), почвенничества («Время», «Эпоха», «Заря»), государственнического и дворянского консерватизма («Русский вестник», «Московские ведомости», «Гражданин»), нигилизма («Русское слово» и «Дело»), умеренного либерализма («Вестник Европы», «Голос», «Русские ведомости»), «легального» народничества («Русское богатство»), «легального» марксизма («Мир Божий», «Начало»), «нового религиозного сознания» («Новый путь» / «Вопросы жизни») ... Некоторые издания меняли свою ориентацию: например, «Отечественные записки» то были органом воинствующего западничества, то умеренного консерватизма, то классического народничества; «Русская мысль» начиналась как умеренно славянофильский журнал, потом эволюционировала в умеренно либеральное издание, а в последние годы существования сделалась пропагандистом «веховского» национал-либерализма; даже при одном и том же издателе Н.А. Некрасове физиономия «Современника» в конце 50-х стала принципиально иной (о чем говорилось выше). Но, меняясь, без «направления» никакое уважаемое издание не оставалось⁵¹.

⁵¹ Следует также отметить, что журналы и газеты инициировали такую своеобразную форму интеллигентской «взаимности», как «литературные обеды», бывшие в конце XIX века «популярнейшей формой писательского общения, так как все другие формы были сопряжены с затруднениями и опасностями. <...> „Русское богатство“... устраивало раза два-три в зиму обеды для „взаимного ознакомления“ сотрудников и друзей журнала, на которых собиралось 25–35 человек,

плативших в складчину по 2–3 рубля с лица. На таких обедах, конечно, провозглашалось много тостов — простых и с многозначительными намеками (В.И. Семеvский обыкновенно поднимал бокал „за мою красавицу“ — и все знали, что он пьет за конституцию). Эти тосты и эти намеки и составляли главную привлекательность таких собраний» (Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М., 2002. С. 80). По воспоминаниям П.Н. Милюкова, редактор либеральной

Земство было не столько идеологическим центром интеллигенции, сколько подготовительной площадкой для формирования политических партий, в которых наряду с либеральными помещиками, интеллигенты⁵² сыграли ведущую (кадеты) или второстепенную («октябристы») роль. «Матрицей» правых партий стал своеобразный культурно-исторический и общественно-политический клуб «Русское собрание» (основан в 1901 году), где тон задавали такие консервативные интеллектуалы, как В.Л. Величко, В.А. Грингмут, Б.В. Никольский.

Разумеется, не существовало никаких общеинтеллигентских институтов, которые могли регулировать отношения между разными секторами интеллигентского «агломерата» или тем более между отдельными их представителями. Тем не менее попытки создания таких учреждений предпринимались. В 1896 году образовался Союз взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе, где первую скрипку играли литераторы-прогрессисты, не слишком скрывавшие свою идейную пристрастность. Показательно, что Чехова из-за его противоречившей народническому представлению о деревне в повести «Мужики» избрали членом Союза только незначительным большинством голосов. При Союзе был создан суд чести, рассматривавший случаи нарушения некоей неписаной писательской этики. Например, в 1899 году суд чести рассматривал дело А.С. Суворина в связи с его статьями, направленными против организаторов студенческих волнений, и вынес осуждение его «литературным приемам»⁵³. В 1914 году Петербургское религиозно-философское общество осудило антисемитские и антиреволюционные статьи В.В. Розанова и исключило его из числа своих членов. Практиковались и менее формализованные средства общественной обструкции, например, так называемое исключение из литературы, т.е. литературный бойкот. Ему, скажем, подвергся в начале 1860-х годов Н.С. Лесков за свою антинигилистическую прозу и публицистику. Идеологическая нетерпимость радикальной интеллигенции — общее место умеренно либеральных и консервативных авторов

«Русской мысли» В.А. Гольцев прославился прежде всего «в роли застольного оратора»: его «речь текла плавной, „без помарок“, мысль его излагалась гибко и четко, со всеми необходимыми публицистическими оттенками и намеками, дышала чувством, и все построение речи вело к неизбежному логическому концу, который преподносился, даже если был довольно банален, в изящной форме, в виде неожиданного сюрприза. И это свойство Гольцева составляло основную сущность его общественной функции: смело выражать общественную мысль в те годы безвременья, когда другие пути выражения были для нее преграждены». Когда в 1895 году Милюкова выслали из Москвы, Гольцев устроил в честь него банкет и закончил свою речь пожеланием, чтобы Павел Николаевич сделался историком

падения монархии (Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 113, 121). Таким образом, почва для пресловутой «банкетной кампании» конца 1904 года (когда либералы, выпивая и закусывая в ресторанах, требовали конституции) была хорошо унавожена в «те годы дальние, глухие».

⁵² «Передаточным звеном» между ними стали такие своеобразные «промежуточные» интеллигенты-землевладельцы, как публицист и редактор либеральных изданий К.К. Арсеньев, историк русской культуры Д.И. Шаховской, университетские ученые В.И. Вернадский, Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Муромцев.

⁵³ См.: Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. С. 136–138.

второй половины XIX — начала XX веков, тот же Лесков воспроизвел в одной из своих статей 1862 года следующую формулу «либерального деспотизма»: «Если ты не с нами, так ты подлец!»⁵⁴

В начале XX века интеллигенция если и не монополизировала идеологическую сферу полностью, то, безусловно, в ней доминировала. Интеллектуалы-бюрократы не могли противопоставить ей практически ничего, дворянские интеллектуалы в большинстве примкнули к ее либеральному сектору. После недолгого взлета в 1880–1890-х годах «правый фланг» интеллигенции потерпел явное крушение и оказался совершенно в маргинальном положении (одиноким его бастионом продолжало оставаться суворинское «Новое время», но тираж газеты падал, и она явно проигрывала своим либеральным конкурентам, прежде всего сытинскому «Русскому слову»). Господствующая позиция прогрессистов способствовала их более сложной идейной дифференциации. Скажем, выделяются свои «консерваторы» — национал-либералы («веховцы»), которые успешно «приватизируют» самую ценную часть культурного багажа «старых правых» — наследие славянофилов, Достоевского, Леонтьева и т. д. (см. работы Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, С.Л. Франка и др.)⁵⁵. Добившись интеллектуальной власти, прогрессисты заявили свои претензии и на власть политическую. Интеллигенция в это время, по сути, выступает как «альтернатива бюрократии» или «контрбюрократия»⁵⁶. Собственно, эти претензии были заявлены еще в 1860–1870-х годах, но они не обрели тогда массовой социальной поддержки. Революция же 1905 года (в особенности Всероссийская политическая стачка) показала, что положение самодержавия и царской бюрократии крайне шатко. После падения монархии в феврале 1917 года разные группы прогрессистов вступают друг с другом в борьбу за власть, в результате побеждают большевики — партия, несмотря на все ее претензии называться пролетарской, верхушку которой составляли вполне классические интеллигенты (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский, Г.В. Чичерин, С.М. Киров, Г.Я. Сокольников, да и И.В. Сталин тоже)⁵⁷. Большевик «есть логическое

⁵⁴ Лесков Н.С. [Деспотизм либералов] // Лесков Н.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1993. С. 77. Ср. у Чичерина, также в 1862 году: «Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. <...> Терпимости к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни, от него не ожидайте. <...> Отличительные черты уличного либерала те, что он всех своих противников считает подлецами» (Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997. С. 41).

Так, консервативный публицист Н.М. Соколов в работах «Чей же Герцен?» (1905) и «Герцен и наши дни» (1906) пытался развенчать «лживую легенду о западничестве» автора «Былого и дум» и показать в нем «чистокровного славянофила» (см.: Александров С.М. Соколов Н.М. // Русские писатели. 1800–1917. Т. 5. С. 710). Но силы были слишком неравны.

⁵⁶ См. Кустарев А.С. Указ. соч. С. 270–271.

⁵⁵ Бывали, правда, попытки «приватизации» неоднозначных фигур русской мысли и «справа».

⁵⁷ Можно также вспомнить не занимавших в партийной (или позднее советской правительственной) иерархии первостепенных мест, но весьма значимых идеологически А.А. Богданова,

завершение интеллигента как социального агента. И как крайняя форма он с необходимостью есть (само)отрицание и самопреодоление интеллигенции (отсюда — презрительное отношение большевиков и Ленина к интеллигенции)»⁵⁸. Возникшая после гибели русской интеллигенции «совинтеллигенция» — уже совсем другая история.

Краткая картография интеллектуальных направлений

Либерализм

Идейная «суть либерализма в России была совершенно тождественна с сутью западного либерализма» — «осуществление свободы личности»⁵⁹. Но исторические условия существования русского либерализма принципиально отличались от контекста западной жизни. Русский либерализм (во всяком случае, до начала XX века) — явление исключительно элитарное, не имеющее глубоких исторических корней и широкой социальной базы. Фактическое отсутствие сильной буржуазии, заинтересованной в осуществлении либерального проекта⁶⁰, заставляла многих его адептов из числа дворянских интеллектуалов долгое время возлагать все свои надежды на «единственного европейца в России» (Пушкин) — самодержавие. Тем более что первоначально либерализм возникает как идеология просвещенной монархии и его первым документом можно считать «Наказ» Екатерины II (1767), густо замешанный на Монтескье и Беккариа. «Дней Александровых прекрасное начало», проекты Сперанского, Великие реформы Александра II — все это давало основательные поводы для подобных надежд. Радикально-оппозиционный самодержавию дворянский либерализм, выразившийся отчасти у Радищева, а наиболее последовательно в декабризме, в 1830–1840-е годы сходит на нет, точнее, его приверженцы (Герцен и Бакунин) эволюционируют к социализму. Классический же русский либерализм, ярко выразившийся в *западничестве*, носил политически более чем умеренный характер.

А.М. Коллонтай, М.С. Ольминского, М.М. Покровского, М.А. Рейснера, Д.Б. Рязанова, И.И. Скворцова-Степанова и др.

⁵⁸ Фурсов А.И. Указ. соч. С. 64.

⁵⁹ Леонтович В.В. Указ. соч. С. 3, 1.

⁶⁰ Характерна тоска по буржуазии у «идеалистов сороковых». В.П. Боткин в письме к П.В. Анненкову (12 октября 1847 года) восклицает, полемизируя с Герценом: «...дай Бог, чтобы у нас была буржуазия!» (цит. по: Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 286). Белинский

в одном из своих последних писем (к Анненкову 15 февраля 1848 года): «Когда я, в спорах с Вами о буржуазии (так у Белинского. — С.С.), называл Вас консерваторм, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной... теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1982. С. 714).

Некорректно распространять понятие «западничество» на всех русских «европеистов» (а затем «американистов») — от Святополка Окаянного до Е.Т. Гайдара. Западничество — конкретно-историческое явление русской общественной мысли 1840–1850-х годов, кружок русских либералов (П.В. Анненков, В.Г. Белинский, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, И.С. Тургенев, Б.Н. Чичерин и др.), группировавшийся вокруг журналов «Отечественные записки», «Атеней» и «Современник». В пореформенное время кружок распался, хотя его отдельные представители продолжали жить и творить, а его идеологические наработки использовались следующими поколениями русских либералов. Западники выступали за отмену крепостного права, введение гражданских свобод и конституционное ограничение самодержавия (ни один «классический» западник всерьез не ратовал за республику), секуляризацию и гуманизацию культуры. Россия воспринималась западниками как органическая и неотъемлемая часть Европы, в силу неблагоприятных исторических (или природных) условий отставшая от «передовых стран», но вполне способная их догнать (и даже перегнать). Национальный нигилизм в целом западникам не был присущ («католикофилы» Чаадаев⁶¹ и В.С. Печерин не входили в состав западнического кружка и не разделяли его идеологии), напротив, в их сочинениях и переписке легко найти вполне отчетливые националистические ноты⁶². Историки и юристы-западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин) заложили основы государственной школы⁶³, вероятно, наиболее разработанной концепции отечественной исторической и политической мысли. В дальнейшем ее продолжателями были В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов и др. Ключевой идеей «государственников» было понимание русской монархии как главной творческой силы в русской

⁶¹ Чаадаева невозможно отнести к какому-то определенному направлению русской мысли, он одиночка, чьи идеи стали важнейшим «бродильным» элементом ее развития, благодаря публикации первого «философического письма» спровоцировав спор славянофилов и западников и предвосхитив (в «Апологии сумасшедшего») важнейший миф отечественной культуры (нашедший последний чекан в Пушкинской речи Достоевского) о «всечеловеческой» миссии России.

⁶² Например, у Белинского: «Наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях... <...> В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль... в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово». Или у Боткина в замечательном письме Тургеневу во время польского восстания (июль

1863 года): «Какова бы ни была Россия — мы прежде всего русские и должны стоять за интересы своей родины. <...> Прежде всякой гуманности и отвлеченных требований справедливости идет желание существовать, не стыдясь своего существования» (см. подробнее: Сергеев С. Русская Европа // Москва. 2006. № 12; Он же. «Не хочу быть даже французом...» Виссарион Белинский как основатель либерального национализма в России // Фигуры и лица. Приложение к «Независимой газете». № 11 (74). 14 июня 2001; см. также специальную главу о национализме западников в монографии В.Г. Шукина «Русское западничество. Генезис — сущность — историческая роль» [Лодзь, 2001]).

⁶³ В сжатом виде идеология государственной школы содержится уже у Пушкина, а некоторые ее элементы — у близкого славянофилам М.П. Погодина.

истории. Первоначально, исходя из общенациональных интересов, она провела «закрепощение сословий», затем, следуя духу времени, она же осуществляет их «раскрепощение» и постепенно производит переход к гражданскому обществу⁶⁴.

Начиная со второй половины 1860-х годов либералы группировались вокруг журнала «Вестник Европы» (редактор-издатель — профессор-историк М.М. Стасюлевич, главные сотрудники — К.К. Арсеньев⁶⁵, А.Н. Пыпин, Л.З. Слонимский). В конце 1880-х с журналом начал сотрудничать В.С. Соловьев, тем самым закладывая основы «христианского либерализма» (до этого, во всяком случае после Радищева, либерализм в России носил подчеркнуто секулярный характер). С конца XIX века либералы становятся по отношению к монархии «непримиримой» оппозицией. С одной стороны, они потеряли надежду на естественную эволюцию самодержавия к конституционализму, с другой же — после воцарения Николая II они почувствовали ее слабость и обрели надежду на приход к власти. В начале XX века последователи Соловьева (С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.) вместе с государственниками типа П.Б. Струве образовали в интеллектуальном смысле весьма весомую новую версию относительно умеренного либерализма (национал-либерализм), манифестом которой стал знаменитый сборник «Вехи» (1909). Но эта группа не играла первой скрипки в либеральной политике, там продолжали заправлять жесткие оппозиционеры вроде П.Н. Милюкова, лидера главной русской либеральной партии — кадетов. Однако строго проводить либеральную линию в революционной ситуации у кадетов не получалось, они вынуждены были даже на уровне программных положений (не говоря уже о вопросах тактики) идти на компромисс с более популярными социалистическими партиями⁶⁶. Но на этом поле либералов мог ждать только проигрыш.

⁶⁴ См. подробнее о государственной школе: Медушевский А.Н. Гегель и государственная школа русской историографии // Вопросы философии. 1988. № 3; Киреева Р.А. Государственная школа: историческая концепция К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004.

⁶⁵ Который также был и одним из редакторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (а позднее — Малого энциклопедического и Нового энциклопедического словарей), превративший переводное издание в оригинальное и придавший ему характер либерального идеологического проекта. У современников волей-неволей напрашивалась параллель с Энциклопедией французских просветителей. См. саркастическую реплику Суворина: «Энциклопедия Дидро и Д'Аламбера — не то что энциклопедический лексикон Брокгауза и Ефрона, дополненный плохенькими цифрами и тухлыми еврейчиками» (Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Лондон; М., 1999. С. 513).

⁶⁶ На основании этого Леонтович вообще отказывает кадетам в титуле «либеральной партии» (в программе кадетов отсутствовало упоминание в числе основных прав ключевого для либерального сознания права собственности), полагая, что его достойны только октябристы (см. Леонтович В.В. Указ. соч. С. 477–488).

См. характерное рассуждение о проблеме собственности у одного из главных кадетских теоретиков П.И. Новгородцева: «Правосознание нашего времени выше права собственности ставит право человеческой личности и во имя свободы устраняет идею неотчуждаемой собственности, заменяя ее принципом публично-правового регулирования приобретенных прав с необходимым вознаграждением их обладателей в случае отчуждения» (цит. по: Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез. М., 2004. С. 131). Ю.С. Пивоваров, комментируя этот пассаж, настаивает на двух линиях в русском либерализме по вопросу о собственности: «античастнособственнической»

Консерватизм/традиционализм

Русский консерватизм рождается как аристократическая оппозиция либеральным планам Екатерины II («О повреждении нравов в России» М.М. Щербатова) и Александра I («Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина). И хотя во втором из указанных сочинений по сути сформулированы все основополагающие принципы консервативного мировоззрения (приоритет традиции над рационалистическим новаторством, неприятие «великих переломов», подчеркивание самобытности русского исторического пути, призыв исправлять нравы, а не учреждения), оно не может считаться первоисточником последующих концепций, ибо, не будучи в свое время опубликовано, не находилось «в свободном доступе» (первая публикация — за границей в 1861 году, в России — в 1900 году). Скорее, питательной почвой консерватизма 1830–1850-х годов следует считать теоретически неизощренную, но весьма бойкую публицистику «русской партии» эпохи 1812 года (А.С. Шишков, С.Н. Глинка, Ф.В. Ростопчин и др.). В начале 1830-х годов оформляется консервативная идеология режима Николая I (знаменитая уваровская триада «Православие, Самодержавие, Народность»), теоретически разработанная М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым. В 1840-х годах расцветает славянофильство — консервативная идеология, оппозиционная «западническому», «петербургскому» абсолютизму (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и др.). Несмотря на ряд точек соприкосновения с официозным консерватизмом, славянофилы четко отделяли себя от него (среди прочих различий — отношение к Петру I, резко критическое у славянофилов и восторженно-культовое у того же Погодина). Так же как и «западничество», понятие «славянофильство» часто используют расширительно, как общее обозначение всех идеологов, отстаивавших идею самобытности России — от старообрядчества до «суверенной демократии». Для научного исследования такой подход малопродуктивен, в нем теряется своеобразие славянофильства как особого направления. В отечественной историографии существует влиятельная точка зрения на славянофильство как своеобразную форму русского либерализма⁶⁷. Здесь нет возможности вдаваться в полемику, но представляется, что можно говорить только о либеральных элементах в мировоззрении славянофилов, в целом же оно безусловно консервативно⁶⁸. Без славянофильства русский консерватизм интеллектуально немыслим, именно в рамках этого

линии Кавелина — Новгородцева и линии Чичерина — Струве, «полностью построенной на социальной необходимости частной собственности, на ее социальном примате» (См. там же).

⁶⁷ См. наиболее репрезентативный пример: Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986.

⁶⁸ Убедительную аргументацию см.: Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого (в особенности вып. 1, с. 124–130; вып. 2, с. 60–73, 185, 198). См. также: Сергеев С.М. Некоторые аспекты изучения славянофильства 1880–1890-х гг. // Судьба России в современной историографии. М., 2006. С. 355–370.

направления получили разработку важнейшие его концепты: «соборность» православия; крестьянская община как социальная проекция «соборности»; «цельное знание» как альтернатива рационализму; идея «истинной монархии», опирающейся не на бюрократию, а на «народное мнение» и т. д.

В пореформенную эпоху классическое славянофильство хотя и продолжало существовать, но «по угасающей». Его различные элементы использовали новые направления русской мысли, причем не только консервативные (например, народничество). В свою очередь традиционалисты нередко «импортировали» некоторые идеи либералов и социалистов. Почвенничество Аполлона Григорьева, Достоевского и Страхова признавало относительную правду западничества и необходимость реформ Петра I. Катков и Константин Леонтьев акцентировали творческую роль русского государства в противоположность славянофильской «общинности», но в согласии с государственной школой. Леонтьев подхватил герценовскую критику европейского мещанства и выдвинул элитистски-аристократическую идею «социалистической монархии». Победоносцев использовал в своих самых известных антилиберальных статьях «Великая ложь нашего времени» и «Печать» раскавыченные тексты Макса Нордау и т. д.

Важнейшим приобретением консервативной мысли стала теория «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, дававшая ей важнейшие аргументы в неприятии либерализма, как продукта чуждого России «германо-романского мира». Тот же мыслитель придал консерватизму «органицистски-биологизаторскую» окраску, которая еще больше усиливается у Леонтьева и достигает апогея у Розанова и Меньшикова. Последней крупной фигурой русского консерватизма стал экс-народоволец Тихомиров, попытавшийся в своей «Монархической государственности» (1905) дать некий синтез всех его основных направлений. Он предлагал соединить монархическое единовластие и народное представительство, формирующееся на основе сословных и профессиональных корпораций. Но эту теорию на практике осуществлять было уже некому.

Социализм/коммунизм

Распространение социалистических идей (в сенсимонистской вариации) в России начинается в 1830-х годах, причем ими увлекаются (или, как минимум, живо интересуются) не только «радикалы» Герцен и Огарев, но и будущие либералы-западники (Боткин), и даже будущие славянофилы (братья Киреевские). В 1840-е годы сенсимонизм сменился фурьеризмом (петрашевцы) и пестрой смесью идей Прудона, Леру, Жорж Санд и немецких левогегельянцев, популярной в кругу Герцена — Бакунина — Белинского. Лишь в конце 1840-х годов Герценом были сформулированы кардинальные положения оригинального «русского

социализма», в основе которого — представление о русской крестьянской общине как своего рода архаической «матрице» социализма, ибо в ней отсутствует частная собственность на землю. Анархический извод этой идеологии позднее был предложен Бакуниным⁶⁹, экономико-социологическую аргументацию в ее пользу выдвинул Чернышевский. Указанные три фигуры (Герцен, Бакунин и Чернышевский) и явились отцами-основателями *народничества* — наиболее популярного направления в досоветской русской общественной мысли.

Народники не составляли некоего «нерушимого блока», но все они верили в то, что «Россия может „проскочить“ капиталистическую стадию развития, превратив крестьянские общины и свободные кооперации ремесленников в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые станут зародышем нового, социалистического общества»⁷⁰. Разногласия в основном касались вопросов тактики. «Бакунисты» ратовали за немедленную народную революцию. Последователи П.Л. Лаврова, выдвинувшего идею «уплаты долга» интеллигенцией народу⁷¹, шли «в народ», чтобы просвещать его в социалистическом духе и готовить к той же революции. После провала «хождения в народ», когда восторженные идеалисты-революционеры убедились на личном опыте, что, по сильному выражению С.М. Степняка-Кравчинского, «социализм отскакивал от народа, как горох от стены», популярность обрела концепция П.Н. Ткачева о необходимости перво-наперво захватить государственную власть и направить государственную машину против неизбежной контрреволюции. «Ткачевизм» стал идейным базисом для террористической деятельности «Народной воли», после разгрома которой народничество вынуждено было отказаться от политической практики. Как литературно-публицистическое явление, центром которого являлся журнал «Русское богатство» (руководители Н.К. Михайловский⁷² и В.Г. Короленко), оно формировало определяющее для русской интеллигенции умонастроение «народопоклонства». Так называемые либеральные народники (Я.В. Абрамов, В.П. Воронцов, И.И. Каблиц, С.Н. Кривенко, Н.Ф. Даниельсон, П.П. Червинский, С.Н. Южаков) обосновывали ту или иную реформистскую версию народнической теории и практики (либо приспособление к существующим реалиям, либо их эволюционное преобразование в духе

⁶⁹ Анархизм Бакунина — прежде всего, теория политического действия. У П.А. Кропоткина анархизм уже обосновывается как естественно-научное мировоззрение, оппозиционное по отношению к дарвинизму (главный фактор эволюции в животном мире — взаимопомощь, а не борьба). Своеобразной формой анархизма можно назвать и «толстовство».

⁷⁰ Берлин И. Русское народничество // Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001. С. 322.

⁷¹ «Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем» (Лавров П.Л. Исторические письма // Лавров П.Л. Философия и социология. Т. 2. М., 1965. С. 86).

⁷² Михайловский стал основателем так называемого субъективного метода в русской социологии, акцентирующего этическую оценку общественно-исторических явлений.

социалистического идеала). Значительную популярность получила пропаганда «малых дел», т. е. призыв честно работать на своем месте для народного блага, тем самым постепенно приближая наступление социализма. В начале XX века на народнические традиции опирались партии социалистов-революционеров (эсеров), главный теоретик которой В.М. Чернов начинал как публицист «Русского богатства», и народных социалистов (энесов), в ее ряды состоял уже весь цвет «Русского богатства» — Н.Ф. Анненский, С.Я. Елпатьевский, С.П. Мельгунов, В.А. Мякотин, А.В. Пешехонов.

В начале 1890-х в России стремительно растет интеллектуальная мода на марксизм, завоевавший место под солнцем в ожесточенной полемике с народниками. Так называемая «легальная» его ветвь в лице П.Б. Струве заявила в 1894 году о неизбежности и необходимости прохождения Россией капиталистической фазы развития. Марксисты-эмигранты (группа «Освобождение труда» во главе с Г.В. Плехановым) положили начало меньшевистскому варианту русского марксизма (лидер Ю.О. Мартов), более «ортодоксальному», ориентированному на опыт западноевропейской социал-демократии, отвергавшему союз пролетариата с крестьянством и, напротив, склонявшемуся к временному союзу с либеральной буржуазией. «Еретическая», большевистская интерпретация Марксова наследия, предпринятая Лениным, совершенно в духе Ткачева ставила во главу угла вопрос о власти и с типичным для всех направлений русской мысли пафосом (русские опережат Европу именно потому, что они пока отстают от нее, т. е. они молодой, свежий народ; ср. с аналогичной ключевой установкой германской мысли) настаивала на победе социализма в России («слабом звене в цепи империализма») раньше, чем на Западе. Нацеленность на скорейший захват политической власти обуславливала создание централистски организованной «партии нового типа» и союз с «беднейшим крестьянством»⁷³. Эти установки в дальнейшем доказали свою политическую эффективность⁷⁴.

⁷³ Среди идей, отвергнутых большевистским мейнстримом, нельзя не отметить попытку придать большевизму квазирелигиозную окраску, предпринятую так называемыми богостроителями (А.В. Луначарский, В.А. Базаров, М. Горький), а также эмпириомонизм (соединение марксизма и махизма) и тектологию (теорию построения будущего общества, основанную на методах точных наук) А.А. Богданова.

⁷⁴ Вероятно, наряду с либерализмом, консерватизмом и социализмом следует сказать несколько слов и о национализме. Многие авторы не считают его особой идеологией. Действительно, типологически он не похож на вышеперечисленную «большую тройку». Национализм сам по себе не выдвигает какого-то особого, одного

ему присущего проекта общественно-политического устройства, он обречен «вписываться» в подобные проекты, содержащиеся в традиционных идеологиях. В этом смысле национализм — субидеология. Но с другой стороны, он же способен вместить в себя любой социально-политический проект, полезный с его точки зрения, нации как целому. Тогда он предстает уже как суперидеология. В русской мысли национализм как субидеология проявляется в декабризме, западничестве, славянофильстве, государственничестве Каткова, почвенничестве (особенно у Аполлона Григорьева), консерватизме конца XIX — XX века (прежде всего, у Тихомирова, а также в программах «Черной сотни»), национал-либерализме Струве. В качестве же суперидеологии он начал развиваться в публицистике

Тезис о «второсортности» (или маргинальной экзотичности) русской мысли XVIII — начала XX века по сравнению с западноевропейской широко распространен в интеллектуальном сообществе⁷⁵. Конечно, этот тезис сложно оспаривать. Но все же следует отметить, что в высших своих проявлениях русская мысль достигала европейского уровня и, находясь в русле общеевропейского интеллектуального развития, нередко оказывалась в роли его первопроходца, одновременно с самыми новаторскими прорывами на Западе (или даже раньше их): А.И. Герцен и «философия жизни», Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, К.Н. Леонтьев и Ф. Ницше, В.В. Розанов и З. Фрейд.

Дискуссии об интеллигенции в конце XIX — начале XX в.

Первыми осмыслять феномен интеллектуалов / интеллигенции, вероятно, начали славянофилы (в наибольшей мере И.С. Аксаков) в контексте проблемы социокультурного отрыва «образованного общества» от остального народа. В том же духе размышляли на эту тему и почвенники, призывая (скажем, в Пушкинской речи Достоевского) к «смирению» интеллигенции перед «народной правдой» — православием. «Слева» Д.И. Писарев в 1865 году выдвинул применительно к своим единомышленникам термин «умственный пролетариат». В конце 60-х — начале 70-х П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский характеризовали интеллигентов-«прогрессистов» как «людей критической мысли», чье «сердце и разум» с народом.

Развенчивание (или даже разоблачение) интеллигенции «справа» было довольно обычным явлением, наиболее жестко и

суворинского «Нового времени» (прежде всего, в статьях М.О. Меньшикова). Подробнее см.: Сергеев С.М. Русский национализм и империализм начала XX века // *Нация и империя в русской мысли начала XX века*. М., 2004. С. 5–20.

⁷⁵ Навскидку мнения совершенно разных авторов.

«Все, чем жила тогда мысль, как правило, завозилось из-за границы, и вряд ли хоть одна из ходовых в России XIX века политических или социальных идей родилась на отечественной почве. Может быть, лишь толстовский принцип непротivления злу так или иначе русский — это до такой степени оригинальный вариант христианского учения, что в устах Толстого он возымел силу подлинно новой идеи. В целом же, насколько могу судить, Россия не внесла в сокровищницу человечества ни одной новой социальной или политической мысли: любую из них легко не просто возвести к западным корням, но к той или иной конкретной доктрине, исповедовавшейся на Западе восемью, десятью, а то и двадцатью годами раньше» (Берлин И.

Рождение русской интеллигенции // *Берлин И. История свободы*. Россия. М., 2001. С. 19).

«Россия произвела великую художественную литературу, музыку, театр, глубокую религиозную мысль и т.д., но я не знаю великой российской политической философии, во всяком случае — сопоставимой с той, которую дали Германия, Англия, Франция, в отдельные периоды своей истории Италия... Некоторые наши мыслители делали глубокие и оригинальные политические умозаключения, были проницательными и чуткими политическими наблюдателями, но лучшие явления подобного рода можно найти скорее в их эссе, мемуарах, путевых заметках или романах, чем в политических трактатах» (Политическая теория. Беседа [Виталия Куренного] с Борисом Капустиним // *Мыслящая Россия*. М., 2006. С. 69).

«...У России на протяжении всей ее истории не было обществоведческих школ мирового класса... главной русской философией была русская литература...» (Фурсов А.И. Указ. соч. С. 61, 70).

прямолинейно оно звучало у Каткова, писавшего в статье, направленной против Бакунина (1870): «На долю нашим революционерам достается честь служить орудиями ненависти против своего Отечества и в придачу дикий сумбур понятий, который не заслуживает называться даже безумием и может иметь значение положительно только для недоростков или для круглых дураков»⁷⁶. Тем интереснее, что в 1870-х годах критика интеллигенции стала неотъемлемой частью и «левого» дискурса, причем ее зачинателем был именно Бакунин, со свойственной ему «страстью к разрушению», яростно обличавшего «привилегированных представителей нервного труда», «аристократов интеллигенции», «попов науки», притязающих на власть над народом⁷⁷. В 1875 году на страницах народнической еженедельной газеты «Недели» появляется серия статей публициста П.П. Червинского, доказывающих, что интеллигенция, смотрящая на русскую жизнь «сквозь европейские очки», должна не столько учить народ, сколько учиться у него общинности и нравственным качествам⁷⁸. На защиту своего слоя встал Михайловский, подчеркивая необходимость его просветительской миссии среди крестьянства, в быту которого сохраняются множество «отвратительных явлений», и настаивая на том, что интеллигент далеко не всегда обязан покоряться всякому народному волеизъявлению⁷⁹. Другой публицист «Недели» И.И. Каблиц (Юзов) (впоследствии перешедший к консерваторам) в книге «Интеллигенция и народ в общественной жизни России»

⁷⁶ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 258. Тонкой, но недостаточно разработанной была мысль К.Н. Леонтьева об интеллигенции как «грамматократии».

⁷⁷ Особенно красочны страницы из «Государственности и анархии» (1873): «Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному разврату, и главный порок его — это превозношение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов — что за судьба для человечества! Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками. <...> Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры... необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука... составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой

день революции новая общественная организация должна быть создана... единственно диктаторскою властью этого ученого меньшинства, будто бы выражающего народную волю» (Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 435, 437–438). Бакунин метил прежде всего в Маркса, но заодно досталось и Лаврову.

⁷⁸ См.: Балуев Б.П. Споры в конце XIX века о роли интеллигенции в исторических судьбах России // В раздумьях о России (XIX век): Сборник статей. М., 1996. С. 305. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, мы будем пользоваться материалами этой чрезвычайно содержательной работы и давать ссылки на нее в тексте.

⁷⁹ Именно в этом контексте прозвучал следующий знаменитый пассаж: «У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень, очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и людям деревни; я буду драться, если у меня не будут связаны руки» (Балуев. Указ. соч. С. 308). Неожиданный кошмар русского интеллигента-народника!

(1885), а позднее в обобщающем двухтомнике «Основы народничества» (1888–1893) противопоставлял подлинному, «альтруистическому» народничеству, старающемуся понять то, чем народ действительно «дышит», «интеллигентско-бюрократическое» лженародничество, претендующее на представительство народных нужд, не утрудив себя ни малейшим их изучением. Оно ведет к «торжеству бюрократического режима, сущность которого нисколько не изменится от более возвышенной формы этого режима, при которой бюрократия будет состоять из людей, действующих не по традициям, а по последним словам науки»⁸⁰. Каблиц полагал, что «русская интеллигенция и русский бюрократизм вполне неразделимы друг от друга», с другой же стороны, «буржуазность современной интеллигенции — несомненный факт» и потому «идейная борьба народничества с наступающим господством интеллигенции, действующим под знаменем „демократизма“, вполне аналогична с борьбою против господства капитала». Задача «лучшей части» интеллигенции в том, чтобы помочь народу «избавиться от вредного влияния самой интеллигенции»⁸¹. Со стороны Михайловского, которого Каблиц отнес к числу «интеллигентно-бюрократических народолюбцев», последовала резкая и не вполне корректно отражающая позицию оппонента реплика.

В 1895–1896 годах в консервативном журнале «Русское обозрение» тему интеллигенции поднял народник-«ренегат», ставший теоретиком «монархической государственности» Тихомиров, который в 1882 году, будучи революционером, писал об интеллигенции в совершенно апологетическом духе⁸². Теперь он спорит со своей собственной прежней позицией и со статьей В.А. Гольцева в «Русской мысли», по сути ее воспроизводящей⁸³. Тихомиров пишет, что, присваивая себе

⁸⁰ Ср. с пассажем из письма А.И. Эртеля 1892 года: «Большей частью наши протестанты сами не отдают себе отчета, почему их возмущает произвол, насилие, бесцеремонность власти. Потому что, возмущаясь этим в данном случае, они этим же самым восторгаются в другом случае — лишь бы вместо Победоносцева был представлен Гамбетта или кто-нибудь в таком же роде. <...> Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра. Воображаю, что бы натворили „Феденьки“ на месте Победоносцевых и Д. Толстых... О, горек, тысяча раз горек деспотизм, но он не менее горек, если вместо того, чтобы проистекать от А., будет исходить от Б.» (Эртель А.И. «... Жизнь нельзя ввести в оглобли». / Предисл. и подгот. текста С. Сергеева) // Москва. 2008. № 2. С. 218–219, 221). Характерно, что позднее наследие Эртеля было поднято на щит «веховцами».

⁸¹ Балугев. С. 313–316. См. также: Дронов И.Е. Консерваторы и социалисты (www.voskres.ru/idea/dronov9.htm).

⁸² Его опус так и назвался «В защиту интеллигенции», там опровергалось мнение, что интеллигенция — это особое сословие со своими корыстными интересами, и провозглашалось, что «общественное благо — вот цель, одушевляющая духовных отцов современной интеллигенции» (Балугев. С. 312).

⁸³ «...Наша интеллигенция... стоит вне классов. <...> Сознание интеллигенции может быть только национальным, потому что сама она есть продукт, и притом единственный чистый и беспримесный продукт, национального сознания. <...> Ей... приходится... не служить какому-либо общественному классу, а учить — учить и юношество, и взрослых людей разных общественных классов, и самый народ. Интеллигенции у народа учиться нечему. Она, собственно говоря, есть его освещенное знанием сознание» (цит. по: Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 582).

роль единственного выразителя национального сознания, интеллигенция тем самым «сводится к могущественному правящему сословию, опекающему нацию не только с какой-либо внешней стороны, но уже в самых глубинах ее духовной жизни. Это нечто вроде своеобразной теократии, как ясно понимал О.Конт». При этом прогрессисты исключают из своих рядов целые пласты образованного слоя, не соответствующие их направлению,— разве в этом не виден совершенно очевидный «узкий классовый дух», «дух особого сословия». Для многочисленного «умственного пролетариата» «ничто не сулит лучшей социальной карьеры, как именно идеалы интеллигенции. <...> Строй, осуществление которого составляет объединительную идею нашей „интеллигенции“ [т.е. социалистический], строй, за отрицание которого человек, хоть и самый умный, знающий и честный... исключается из ее рядов, без сомнения, очень выгоден для нее. Никакой другой не способен дать столько „мест“, влияния, доходов, легкого труда насчет массы народа всем этим сочинителям и представителям „народной воли“ или „национального сознания, просвещенного светом знания“». Интеллигенции как отдельному изолированному, монополистскому слою интеллектуалов Тихомиров противопоставляет идею «образованного слоя», равномерно разлитого «повсюду как составная часть всех слоев и сословий, тесно с ними связанная»⁸⁴ (нечто вроде «органической интеллигенции» Грамши). Другой консервативный публицист Н.М. Соколов в книге «Об идеях и идеалах русской интеллигенции» (1904) утверждал, что «самый характерный признак русской интеллигенции в ее „разрывах“. Главных разрывов на ее знамени пять: 1) разрыв с государством; 2) разрыв с церковью; 3) разрыв с народом; 4) разрыв с наукой и 5) разрыв с прошлым» (Балуев С. С. 324). Это почти дословно основные тезисы «Вех»!

Марксистская критика интеллигенции исходила из ее «буржуазности». Скажем, М.Мандельштам в книге «Интеллигенция как категория капиталистического строя» (1890) доказывал, что интеллигенция «живет на распределение прибавочной стоимости». На этой почве возникла враждебная марксизму «махаевщина», для теоретиков которой (Я.-В. Махайского (А. Вольского) и Е.И. Лозинского) марксизм, собственно, и был средством вовлечения рабочих в борьбу ради достижения интеллигенцией (эксплуататорского по отношению к пролетариату классу) власти. Против «махаевщины» выступили авторы самого разного толка: естественно, социал-демократы; идеолог «антимещанской, внесословной» интеллигенции Иванов-Разумник (книга 1908 года «Что такое „махаевщина“? К вопросу об интеллигенции»); «веховцы» (Струве, с оговорками — С.Н. Булгаков).

Пиком дискуссий об интеллигенции стали 1909–1910 годы, когда развернулась полемика вокруг сборника «Вехи» (участники

⁸⁴ Тихомиров Л.А. К вопросу об интеллигенции // Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 585, 590, 593–594.

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк). Одних только «антивеховских» сборников было выпущено пять: «В защиту интеллигенции», «По „Вехам“», «Интеллигенция в России», «„Вехи“ как знамение времени», «Куда мы идем». Большинство «веховских» обвинений в адрес интеллигенции (интеллектуальная узость, сектантство, отрыв от «почвы», квазирелигиозность, народопоклонство, политический радикализм, «государственное отщепенство», неуважение к праву и т.д.) не было оригинально и уже в той или иной форме высказывалось в русской публицистике⁸⁵. Но в таком концентрированном виде они артикулировались впервые, да еще к тому же интеллигентами с солидным «послужным списком». Критические отзывы на сборник были, как правило, слишком идеологизированы: «слева» его ругали за «реакционность», «справа», напротив, за нее хвалили. Относительно более взвешенный по тону, стремящийся к академичности кадетский сборник «Интеллигенция в России», в особенности статья П.Н. Милюкова «Интеллигенция и историческая традиция», содержал немало дельных замечаний: «веховцы» сами отмечены многими родовыми чертами интеллигенции, которые они обличают; в европейской жизни существуют явления, однородные русскому интеллигентскому радикализму; неправильно противопоставлять духовную жизнь личности внешним формам общежития и т.д.⁸⁶ Но случившаяся вскоре катастрофа 1917 года, понятая как прямое последствие интеллигентского радикализма, как бы «канонизировала» «Вехи», придав им статус неслышанного пророчества⁸⁷.

Завершать данный очерк, видимо, придется репликой по поводу главной дискуссии о русской интеллигенции, активно продолжающейся и поныне,—о ее уникальности (или неуникальности). На эту тему написано так много, что страшно за нее браться. Детальное историческое изучение проблемы показывает: представление о том, что русская интеллигенция нечто единственное и неповторимое,—миф. И социально, как группа, и интеллектуально, как ряд идеологий,—русская интеллигенция аналогична западноевропейским. Даже «учительство» русских писателей имеет аналог в европейской культуре, достаточно вспомнить прижизненный статус Вольтера и Руссо, Шиллера и Гете, Гюго и Жорж Санд. Другое дело, исторический контекст («догоняющая» модернизация России, слабость буржуазии, преобладающее влияние дворянской культуры и т.д.), в который попала русская

⁸⁵ Кроме примеров, приведенных выше, см.: Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996. С. 310–318.

⁸⁶ Развивая некоторые тезисы Милюкова, современный исследователь небезынотересно трактует «Вехи» и полемику вокруг нее как «статусный конфликт», «статусно-престижное препиратель-

ство между двумя «типоразмерами» интеллигенции» (Кустарев А.С. Дискуссии об интеллигенции в 90-е годы: тематика и теории // Кустарев А.С. Указ. соч. С. 331).

⁸⁷ Конечно, революция произошла не из-за радикализма интеллигенции, а из-за крайней дряхлости монархии.

интеллигенция и который сделал ее (во всяком случае, большую ее часть) действительно «беспочвенной». Своеобразие (не уникальность) русской досоветской интеллигенции носит не сущностный, а конкрет-но-исторический характер.

Литература

- Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848 // Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1989.
- Анти-Вехи. [Интеллигенция в России. «Вехи» как знамение времени]. М., 2007.
- Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX–XX веков. М., 1995.
- Балуев Б.П. Споры в конце XIX века о роли интеллигенции в исторических судьбах России // В раздумьях о России. (XIX век). М., 1996.
- Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции. М., 1997.
- Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990.
- Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001.
- Вехи. Из глубины. М., 1991.
- Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках... / Сост. В.И. Кейдан. М., 1997.
- Герцен А.И. Былое и думы. (Любое издание).
- Гершензон М.О. История молодой России // Гершензон М.О. Избранное. Т. 2. М.; Иерусалим, 2000.
- Гершензон М.О. Исторические записки (о русском обществе) // Гершензон М.О. Избранное. Т. 3. М.; Иерусалим, 2000.
- Голлербах Е.А. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000.
- Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982.
- Живов В.М. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // Живов В.М. Разыскания в области истории и предистории русской культуры. М., 2002.
- Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модернизация России: От сороковых к девяностым годам XIX века. М., 1997.
- Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября. Л., 1988.
- Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Изд. 4-е. Т. 1, 2. СПб., 1914.
- Иванов-Разумник Р.В. Что такое «махаевщина»? К вопросу об интеллигенции. СПб., 1908.
- Итенберг Б.С., Твардовская В.А. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? М., 1999.
- Из истории русской культуры. Т. 5 (XIX век). М., 1996.
- Интеллигенция — власть — народ. Русские источники современной социальной философии: Антология. М., 1992.
- Интеллигенция России: уроки истории и современность. Иваново, 1994.
- Интеллигенция России: традиции и новации. Иваново, 1997.
- Кнабе Г.С. Перевернутая страница // Кнабе Г.С. Избранные труды: Теория и история культуры. М., 2006.
- Кофре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М., 2003.
- Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996.
- Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: Картография современных интеллектуальных направлений. / Под ред. В. Куренного. М., 2006.
- Кустарев А.С. Интеллигенция как тема публичной полемики // Кустарев А.С. Нервные люди: Очерки об интеллигенции. М., 2006.
- Кустарев А.С. Дискуссии об интеллигенции в 90-е годы: поиски тематики и теории // Кустарев А.С. Нервные люди: Очерки об интеллигенции. М., 2006.
- Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971.
- Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах. М., 1981.
- Лавров П.Л. Исторические письма // Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1. М., 1965.
- Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М., 1995.
- Лозинский Е.И. Что же такое, наконец, интеллигенция? Критико-социологический очерк. СПб., 1907. (Репринтное издание. М., 2003).
- Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993.
- Милюков П.Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902.
- Милюков П.Н. Воспоминания. 1859–1917. М., 1991.
- Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. М., 1995.
- Нация и империя в русской мысли начала XX века: Антология / Сост. и вступ. ст. С.М. Сергеев. М., 2004.

- Овсянко-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. Итоги русской художественной литературы XIX века. Ч. 1–2. М., 1906–1907. (Фрагменты: Овсянко-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2-х т. Т. 1. М., 1989).
- Олейников Д.И. Классическое российское западничество. М., 1996.
- Опыт русского либерализма: Антология. М., 1997.
- Пайпс Р. Струве: Биография. Т. 1–2. М., 2001.
- Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996.
- Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX века. М., 1986.
- Российские консерваторы. М., 1997.
- Российские либералы. М., 2001.
- Русская интеллигенция: История и судьба. М., 1999.
- Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология // Россия / Russia. Вып. 2 [10]. М.; Венеция, 1999.
- Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь / Гл. ред. П.А. Николаев. Т. 1–5. М., 1992–2007. (Издание продолжается).
- Русский консерватизм XIX столетия: теория и практика / Под ред. В.Я. Гросула. М., 2000.
- Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников / Вступ. ст. Н.И. Цимбаева). М., 1989.
- Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. 1. Записки А.И. Кошелева. Ч. 2. Воспоминания Б.Н. Чичерина / Вступ. ст. Н.И. Цимбаева) М., 1991.
- Славянофильство и западничество: Консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Вып. 1–2. М., 1992.
- Славянофильство: pro et contra: Антология / Сост. В.А. Фатеев. СПб., 2006.
- Соколов К.Б. Российская интеллигенция XVIII — начала XX вв.: картина мира и повседневность. СПб., 2007.
- Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. М.; СПб., 1995.
- Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции // Степун Ф.А. Сочинения. М., 2000.
- Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / Сост. В.Н. Жуков и А.П. Поляков. М., 1997.
- Тихомиров Л.А. Критика демократии / Сост. М.Б. Смолин. М., 1997.
- Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб., 1991.
- Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Минск, 2006.
- Фурсов А.И. Интеллигенция и интеллектуалы // Кустарев А.С. Нервные люди: Очерки об интеллигенции. М., 2006.
- Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986.
- Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб., 2007.
- Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX — начала XX века. М., 2002.
- Щукин В.Г. Русское западничество. Генезис — сущность — историческая роль. Лодзь, 2001.

Александр Кустарев

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ: САМООПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

После революции слово «интеллигенция» стало собирательным именем (соционимом) для одной из агентур советского социального космоса наряду с соционимами «рабочие», «крестьяне», «служащие», разного рода «бывшие» и «деклассированный (включая преступный) элемент».

С самого начала советской власти вокруг понятия «интеллигенция» разгорелась острая дискуссия. У нее было два корня. Для авторов и реализаторов коммунистического проекта понятие «интеллигенция» оказалось проблематичным, потому что с первых же дней существования советского социального космоса встал вопрос о лояльности этому космосу оказавшихся в нем агентур — практически всех, кроме «рабочего класса». Для тех же, кого привычно относили к интеллигенции, это «понятие» стало проблематично несколько позднее, когда равные между собой граждане нового общества обнаружили, что не безразличны к самоопределению и самоназванию.

Нелояльным агентствам в коммунистическом проекте не было места. Впрочем, проблема лояльности (нелояльности) старых классов («бывших») решалась просто — их изживанием. Это должно было как будто случиться само собой, коль скоро «эксплуататорские классы» лишались своей функции и базы существования, крестьянство превращалось в рабочий класс в ходе индустриализации и стирания разницы между городом и деревней, а «деклассированный элемент» исчезал с полной занятостью и, таким образом, изживанием условий, благоприятных для преступности. Не все, конечно, шло так гладко, как хотелось бы, но цель была ясна и средства для ее достижения тоже.

С интеллигенцией дело обстояло гораздо сложнее. Ее функция, а вместе с ней и она сама была неустранима. Общество нуждалось в специалистах («спецах»), и их нужно было все больше. И отсюда исходили две угрозы гармонии советского социального космоса.

Во-первых, интеллигенция в привычно-обыденном понимании (образованные люди) была носителем старой культуры и системы ценностей, а стало быть, воспринималась как потенциальный агент реставрации и, по меньшей мере, как консервативная сила. Но эта опасность не выглядела роковой — во всяком случае, на бумаге. Проектировалось создание (воспитание) новой «рабоче-крестьянской интеллигенции». Была принята широкая программа народного образования, и даже стало казаться, что эта часть проекта удается.

Другая опасность выглядела более призрачной, но зато более страшной. Отчасти именно в силу своей призрачности о ней не хотелось и было трудно говорить вслух. А отчасти из-за того, что она казалась не ослабевающей (как первая), а нарастающей. Бдительные визионеры, видевшие эту опасность, концептуализировали интеллигенцию не как дериват старых классов или реликт их интеллигенций, а как новый класс или сословие. Эта традиция восходит к Вацлаву Махайскому (А. Вольскому)¹ и затем долго поддерживалась (правда, не в самой России) троцкистами (до Дж. Бернхэма и Дж. Оруэлла) и неомарксистами (Д. Конрад и И. Шеленьи)². Наиболее разработанный и политически нейтрализованный ее вариант предложил в 1979 году Алвин Гулднер³.

Эти две опасности и породили поначалу очень сильное умственное напряжение в раннем советском обществе. При этом обнаружилось большое разнообразие взглядов. Парадом этого разнообразия был, судя по всему, диспут в Политехническом музее, где выступили тогдашние главные идеологи нового общества и обрисовалась основная тематика проблемы⁴.

А. Залкинд и Вольфсон объявляли интеллигентов рабочими. Б. Горев (полуменьшевик) готов был с этим согласиться, но считал интеллигента, так сказать, «несознательным», поскольку он был испорчен «индивидуализмом». В. Полонский настаивал, что интеллигенция это класс, т. е. развивал взгляд, близкий к «махаевщине», как это тогда называли⁵.

Н. Бухарин и А. Луначарский не считали, что интеллигенция — это особый общественный класс, но тем не менее рассматривали ее как особую «сущность».

При этом Луначарский подчеркивал значительную имущественную неоднородность интеллигенции, но одновременно сближал ее с «мелкой буржуазией». Бухарин был с этим не согласен и склонялся к ярлыку «менеджмент».

Луначарский опасался, что «из нашей интеллигенции выработается как бы известный (? — А.К.) класс»⁶. Бухарин таких опасений не высказывал.

Особенно же интересно другое разногласие между ними. По словам Бухарина, «бросить попа и инженера в одну кучу нельзя». Но Луначарский считает, что «можно», и объясняет: «Поп был раньше

¹ См.: Вольский А. Умственный рабочий. Международное литературное содружество, 1968.

² Konrad G., Szelenyi I. Intellectuals on the road to class power. NY, 1979.

³ Gouldner A. The Future of the Intellectuals and the Rise of the new Class. L., 1979

⁴ См.: Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий 1923–1925 годов / Ред. В. Соскин. Новосибирск, 1991. Материалы диспута сохранились не полностью; о некоторых выступлениях теперь можно судить только по пересказам в печати или косвенно по другим публикациям участников.

⁵ Указ. соч. С. 12–13.

⁶ Указ. соч. С. 27.

организатором идеологии, только старой, а этот новой»⁷. Иными словами, исполнители общественной функции приходят и уходят, а функция остается. Смутное опасение, что на смену одного функционального блока придет другой блок с той же предрасположенностью к доминированию, обнаруживается здесь вполне.

Бывший кадет и сменовеховец Ю. Ключников предвосхитил тему, ставшую потом магистральной для тех, кто саморекрутировался в интеллигенцию. Он характеризовал «интеллигента» как антипода «мещанина», т. е. как «психологический тип», как носителя «комплекса душевных устремлений», неожиданно обвиняя при этом Америку в том, что там «мещанство подменило демократию»⁸, что можно понимать как раннюю негативную реакцию на культуру массового потребления.

Ю. Потехин (сменовеховец) и беспокойный марксист-еретик А. Богданов считали советскую власть интеллигентской; в их интерпретации интеллигенцией *par excellence* была ркп⁹. Это было очень близко к пониманию Антонио Грамши (см. ниже).

Пожалуй, наиболее разработанную концепцию предложил М. Рейснер — в то время один из самых интеллектуально оснащенных и смелых теоретиков «нового общества» в России да и, видимо, вообще в Европе. Свои взгляды на проблему интеллигенции в советском обществе он изложил еще раньше на страницах журнала «Печать и революция»¹⁰.

Прежде всего, Рейснер обнаруживает несколько неожиданную для правоверного марксиста того времени склонность приписывать «надстройке» роль независимой силы в общественном процессе: «Как призма, преломляющая хозяйственный процесс в классовой, а затем и национальной идеологии, интеллигенция всегда накладывала свою печать на общественные формы»¹¹.

Далее, Рейснер не хочет считать интеллигенцией тех, кто, так сказать, не зарегистрирован в этой роли на бирже труда: «Мыслитель, поэт, даже изобретатель, который осуществляет духовную деятельность лишь в себе и для себя, не может быть причислен к интеллигенции как общественной категории... меньше всего они могут быть названы профессионалами, то есть людьми, которые живут со своей духовной работы или приобретают путем ее отчуждения необходимые средства к жизни... Интеллигент, с этой точки зрения, не есть просто деятель духа, отдающий плоды своей работы обществу, но это есть

⁷ Указ. соч. С. 52.

⁸ Указ. соч. С. 44–46.

⁹ Указ. соч. С. 17, 159.

¹⁰ Рейснер М. Интеллигенция как предмет изучения в плане научной работы // Печать и революция. 1992. № 1.

¹¹ Рейснер М. Указ. соч. С. 93. В этом месте, как и в нескольких других, в интерпретациях Рейснера можно усмотреть влияние Макса Вебера. Это может, конечно, быть и простым отражением тогдашнего *Zeitgeist*'а. Но не исключено и прямое влияние. Рейснер Вебера читал — это точно.

деятель-профессионал, техник-специалист, который добывает средства существования путем эксплуатации своих способностей, знаний и опыта, отдаваемых на общественное дело»¹².

Далее, Рейснер выдвигает тезис, который, вероятно, привел бы в ужас активистов позитивного интеллигентского нарратива в России полвека спустя: «Наша русская практика приучила нас к противопоставлению понятия интеллигента понятию бюрократа... против этого мы решительно возражаем... бюрократия является только одним из видов интеллигенции вообще»¹³.

После этого не удивляет такая сентенция: «Под влиянием учения народников была выдвинута теория о революционном призвании работников духа — с таким понятием интеллигента мы не можем согласиться, потому что оно совершенно не научно»¹⁴.

Интеллигенция, считает Рейснер, по-разному участвует в жизни общества и по-разному включена в его структуру. Он сравнивает интеллигенцию в кастовом, сословном и чисто классовом обществе, располагая их вполне в марксистском духе в диахроническом порядке, т. е. как ступени в поступательной эволюции, в конце которой — бесклассовое общество.

В кастовом обществе интеллигенция выступает в роли объединителя и стабилизатора общества, т. е. как консервативная сила. В древнем обществе (оно же у Рейснера «кастовое») ее интеллектуальный продукт — мистика и религия. «В сословном обществе борьба сословий активизирует ее работу в духовной сфере... С торжеством романтики, военной доблести и светского права... ее продуктом становятся живое слово и яркий образ... В классовом обществе интеллигенция уже очень продуктивна, но оказывается в зависимости от рынка и власти буржуазии... Последний шаг — появление рационального мышления, но классовый порядок с его внутренней ложью ведет к метафизике, нагромождению признаков и фикций, к замене индукции логически мыслящей фантазией»¹⁵.

Наконец, «с падением классового общества интеллигенция разрушается как профессиональная группа и растворяется в массе культурного и просвещенного населения»¹⁶. И дальше должно быть полное слияние науки и деятельности, мысли и труда.

Рейснер не уточняет, как скоро удастся превратить весь народ в интеллигенцию, хотя вряд ли он думал, что это произойдет легко и быстро. Более того, он вовсе не думал, что это случится само собой. Дело может обернуться по-всякому: «Интеллигенция может дать нам и монопольную касту идеологического творчества, и ремесленную

¹² Указ. соч. С. 94.

¹⁵ Указ. соч. С. 102.

¹³ Указ. соч. С. 95.

¹⁶ Указ. соч. С. 101.

¹⁴ Там же.

корпорацию, и чисто хозяйственное объединение тружеников духа». А в очень отсталом обществе, говорит Рейснер, очевидно, имея в виду именно Россию, «при слабости крупного капитала группа интеллигентов может даже выдвинуться на положение псевдо-класса, который, будучи по существу лишь профессиональной организацией, на самом деле получает вид, характер и значение подлинного класса-хозяина. В этих случаях интеллигенция, образуя правящую касту, придает кастовый характер всему обществу»¹⁷.

Как избежать этой опасности, в программной статье Рейснера не говорится. Хуже того, его видение будущего интеллигенции само чревато опасностями, которых он хотел бы избежать.

Уже его отказ считать интеллигенцией только тех, кто получает общественное признание в этом статусе, дискриминирует потенциальных претендентов на этот статус, а их при расширенном общем и высшем образовании должно бы становиться все больше. К 1960-м годам статусный (или даже классовый?) конфликт между лицензированным протагонистом культурно-интеллектуального продукта и самодеятельным, чей продукт не получал официального признания, стал одним из главных противоречий общества «развитого социализма». Причем именно эта внесистемная агентура определяла себя как «интеллигенцию».

Но еще более показательна типология интеллигенции Рейснера: «Интеллигенция выполняет свою профессиональную задачу при помощи трех функций: первая — изобретение новых духовных ценностей, вторая — приспособление их к жизни, и третья — непосредственное сохранение и приведение идеологических и культурных форм в практической деятельности. На основании такого разделения труда создается разделение самой интеллигенции на три профессиональных типа — изобретателей, приспособителей и исполнителей, причем каждая из групп вырабатывает своеобразную психику, приспособленную к ее роду деятельности»¹⁸. Станный проект для человека, который боится превращения интеллигенции в касту экспертов. В сущности, это проект кастового общества.

Вторая половина этого проекта как будто бы должна устранить этот парадокс: «Самый же процесс перестройки общества, то есть замены старых отживших форм новыми, совершается при помощи борьбы трех указанных групп между собою. В историческом процессе мы наблюдаем постепенное сужение... исполнительской функции, а с нею интеллигентов-исполнителей в пользу развития творческой деятельности, а с нею вместе интеллигентов-изобретателей»¹⁹.

Это значит, что в «новом мире» все станут не только интеллигентами, но еще и творцами-изобретателями. Излишне комментировать

¹⁷ Указ. соч. С. 98.

¹⁹ Там же.

¹⁸ Указ. соч. С. 105.

нереалистичность этой надежды. Но, скорее всего, Рейснер так и не думал. Он просто хотел чем-то сбалансировать свой проект деления интеллигенции на три фактические касты. Но интереснее всего, что эта идея стала навязчивой идеей самой советской интеллигенции. Использование понятия «творчество» было очень интенсивно в последующих самоопределятельных статусных практиках в советском обществе. С помощью этого понятия строилась важная вертикальная статусная стратификация советского общества, и все хотели считать себя «творцами».

Не трудно заметить, что сама по себе тематика начавшейся было дискуссии об интеллигенции политически оказалась еще опаснее, чем обсуждение опасностей, бывших предметом дискуссии. Особенно политически опасной была дискуссия об интеллигенции как особом и новом общественном классе, поскольку образ интеллигенции как нового господствующего класса легко переносился на саму партию как «передовой отряд трудящихся» и неизбежно возникало подозрение, что новое общество—это не высшая форма демократии, как говорила официальная политическая теория, а «партократия».

Поэтому дискуссия была прекращена. В результате в советском обществоведении «интеллигенция» как агентура советского социального космоса обозначена мало и совсем не проблематизирована. На протяжении очень длительного периода никаких содержательных рассуждений на эту тему после бурных дебатов 1920-х годов не было. Официальный нарратив и академический дискурс вокруг этой темы оставался рудиментарным как по объему, так и по содержанию. Это поразительный факт добровольного самоослепления уже хотя бы по той причине, что политика в сфере образования рассматривалась как важнейшая часть социальной политики советского общества.

Санкционированные академией исследования по теме «интеллигенция» свелись исключительно к «летописи существования» некоторых профессиональных групп, именовавшихся «художественная», «научная» или «инженерно-техническая» интеллигенция.

Инициатива в обсуждении всей этой проблематики перешла к устной традиции и артикулировалась в самоопределятельных практиках. В неофициальном (чтобы не сказать подпольном) «публичном дебате» («public debate» Джона Дьюи) и, так сказать, «народном обществоведении» понятие «интеллигенция» надолго стало одним из центральных, если вообще не единственным, вдохновлявшим «социологическое воображение» весьма обширной агентуры, породившей массивный «социологический фольклор» и определявшей эмоционально-интеллектуальную атмосферу советского гражданского общества.

Советская художественная литература как вершина айсберга дает некоторое представление об этой массивной устной традиции. Даже тогда, когда обществоведение совершенно не касалось проблемы «интеллигенция», беллетристика продолжала ее тематизировать.

Типичным персонажем первоначальной советской беллетристики был колеблющийся интеллигент, которому предстояло сделать выбор и, в конце концов, встать на сторону революции. Тема «интеллигенция и революция» — неизменный элемент литературы «социалистического реализма». Классические образцы — вошедший в школьные учебники литературы роман А.Н.Толстого «Хождение по мукам» или обязательная для всех театров пьеса Погодина «Кремлевские куранты». В более позднем бытовом советском романе стандартным персонажем стал интеллигент, преодолевающий свой индивидуализм («буржуазный»).

Со времен «оттепели» (конец 1950-х) намечается, а с конца 1960-х годов широко практикуется совершенно иная драматургия и стилистика в изображении «интеллигента». Беллетристический мейнстрим начинает изображать «интеллигентного человека» лестно-любовно. В литературный обиход вводятся персонажи с повышенной «культурностью». В особенности педалируется «интеллигентность» самого автора с помощью стилистических деталей²⁰ — вариант «показного» (Веблен) потребления культуры.

Но одновременно оформилась и контртенденция. Такие писатели, как В.Кочетов или И.Шевцов, предпочитали изображать типичного интеллигента нелестным образом. В отличие от ранней советской литературы они не интересовались проблемами «перевоспитания» интеллигента; они подчеркивали его неисправимость как антиобщественного элемента, его чужеродность здоровому советскому коллективу (обществу), даже чужеродность народу.

Но это все было на поверхности. Намного более интенсивны, изощренны и богаты оттенками были разговоры об «интеллигенции» в «салоне» (в курилке, на кухне, как называли этот институт сами его активные агенты). Они отражали групповые интересы, социальные патологии и специфические комплексы заинтересованных социальных групп и индивидов. Иными словами, были манифестацией реальных социальных конфликтов в советском обществе и сигнализировали о существовании неких общественных движений в нем²¹.

Советское общество конструировалось как бесклассовое и бессословное. Тенденция к имущественному расслоению в общем была блокирована (если не считать «левой экономики») целенаправленной социальной политикой. Были отменены все легальные сословия, но тенденцию к спонтанному образованию сословных корпораций предотвратить было намного труднее и даже попросту невозможно. Какие кому платить зарплаты — это власть могла решить. Но как разные

²⁰ См.: Кустарев А. Советская литература как ярмарка интеллигентского тщеславия // «22» (Тель-Авив). 1984. № 36; эта статья переиздана в сборнике: Кустарев А. Нервные люди. Очерки об интеллигенции. М., 2006.

²¹ Кустарев А. Интеллигенция как тема публичной полемики; Кустарев А. Советская интеллигенция: поиски самоопределения и идеологии в 60-е — 80-е годы // Русский исторический журнал. 1999. № 2. Оба эти очерка помещены в книгу «Нервные люди. Очерки об интеллигенции».

группы в обществе будут оценивать себя и друг друга, она решить не может, даже если занимается интенсивным воспитанием масс. Советских людей воспитывали очень интенсивно, но все воспитательные усилия оказались не только малоэффективны, но даже имели прямо противоположный эффект.

Имущественное уравнивание не только не подавляло престижные самоопределяющие практики, но, наоборот, их разогревало. Оно подталкивало индивидов и группы к интенсивному поиску других «различий», что находило выражение в тенденции к *конвертированию любой горизонтальной дифференциации в вертикальную структуру*, если не материальную, то символическую, каковы бы ни были глубинно-психологические корни такой потребности в различительном самоопределении («distinction» Бурдьё).

Самоопределяющая практика всегда самоутвердительна. Агент самоопределения всегда интерпретирует себя как элиту, используя для этого любые ресурсы, которые он контролирует,— от богатства и знаний до нищеты и невежества. У групп с высоким статусом эмоциональная потребность в такой практике и массивность самой практики, видимо, меньше, но никак нельзя сказать, что она отсутствует вообще. У групп с низким статусом эта потребность сильнее, поскольку они нуждаются в компенсации. Можно допустить, однако, что сильнее всего она у групп с неустойчивым и противоречивым статусом, поскольку им нужна не только компенсация; они еще не теряют надежды на то, чтобы изменить иерархию престижей. Именно такая статусная неопределенность и «статусные гонки» долгое время были характерны для советского социального космоса.

В советском обществе при построении самоопределяющих нарративов наиболее востребованной оказалась этикетка «интеллигенция». Объясняется это рядом обстоятельств. Во-первых, агентурой самоопределения в данном случае был тот, кто и по конвенциональным (аскриптивным) характеристикам относился к интеллигенции — профессионал умственного (немускульного) труда. В силу своей культурности-образованности он же был способен к дискурсу и ощущал себя обязанным заниматься дискурсивными практиками, сублимируя таким образом свою внутреннюю потребность в форме интеллектуального продукта. Во-вторых, эта агентура была предрасположена к особенно интенсивной самоопределяющей рефлексии, поскольку именно ее статусное положение в советском социальном космосе было самым неопределенным, что обременяло сознание агента комплексами неполноценности и превосходства в их неустранимом синкретизме. Уже М. Рейснер предвидел эту коллизию. В докладе на диспуте в Политехническом музее (известен в пересказе) он так характеризовал тогдашнюю интеллигенцию: нищая богема, страдающая всеми болезнями и уродствами старой интеллигенции, т. е. жадной привилегий, карьеризмом, охотой за дипломами. Чтобы ликвидировать эту взрывоопасную

коллизии, Рейснер советовал наркомпросу отказаться от проповеди идеализма и религиозной аскезы²². Наркомпрос же в то время руководствовался, видимо, соображениями, близкими к идеологии раннего пуританства. Там полагали, что приобщение к знаниям и культуре есть само по себе достаточное вознаграждение индивиду, приобщенному к «благодати знания». И надеялись на то, что индивид тоже будет ставить культуру выше богатства.

Вопреки предостережению Рейснера эта политика, хотя уже и лишенная горячей пуританской страсти, по рутине, по причине вечного дефицита средств и в силу «физиократического синдрома» советской власти, порождавшего подозрительное отношение ко всякому «непатериальному продукту», продолжалась и, как и следовало ожидать, разжигала все более интенсивную рефлексию на само понятие «интеллигенция» в общественной жизни²³. Обширные агентуры, относившие себя к интеллигенции, углубились в размышления о том, «что значит быть интеллигентом». Дефиниция «интеллигенция» стала на какое-то время буквально спортом. Наблюдатель насчитал около трехсот таких дефиниций²⁴.

В этой атмосфере и на этом субстрате сложились несколько авторитетных нарративных традиций, представляющих собой гибрид профанного, научного и политического дискурсов.

Во-первых, апологетическое самоопределение интеллигенции. Вот образцовый пример: «Специфика профессиональной активности интеллектуалов понуждает их больше, чем других людей, ценить истину... Интеллектуалы больше других групп ценят все, что связано с политической свободой... Интеллектуалы больше других групп ценят

²² Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий 1923–1925 годов / Ред. В. Соскин. Новосибирск, 1991. С.15–16.

²³ После 1990 года все накопившееся в устной традиции было мобилизовано в письменной форме — как публицистической, так и академической. Публицистика на эту тему необозрима. Ее обилие сильно маскируется малотиражностью, типичной для новых российских издательств, в сущности представляющих собой легализованный самиздат. Приблизительное представление о круге авторов и тем этой публицистики можно найти в работе: Корупаев А. Очерки интеллигенции России Ч. 1. М., 1995. С. 119–134. Обзорные статьи (с зачатками библиографии) по 1990-м годам содержатся также в томе «Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии» (Иваново, 1995). См. также обзор и библиографию во «Введении» к работе: Беляев В.А. Отечественная интеллигенция и ее роль в политике. Казань: Изд-во Казанского университета, 2005. В 1990-е годы активизируется и

академия. Интерес к интеллигенции без малого вытеснил доминировавший ранее интерес к другим агентствам советского социального космоса. (Меметов В., Олейник О., Олейник И. Интеллигенция в формулировках тем диссертационных исследований (1954–1994 гг.) // Интеллигенция России: традиции и новации. Иваново, 1997. С. 39–40). Активисты этой тематики даже говорят об особой области знания, которую они именуют «интеллигентоведение». Я упоминаю здесь этот литературный массив исключительно потому, что он есть главным образом документация гораздо более раннего интеллектуального фольклора. Разумеется, в атмосфере 1990-х годов и тем более в настоящее время топик «интеллигенция» обогатился новыми аспектами и акцентами, но это уже другая тема.

²⁴ Корупаев А. Указ. соч. С. 17. Эти наблюдения сделаны по публикациям начала 90-х годов, но, как я все время подчеркиваю, это был выход на поверхность уже давно накопившегося фольклора.

плюрализм, разнообразие, динамизм социальной жизни и творческую сторону деятельности... Интеллектуалы придают большее значение культурным ценностям, а эстетические ценности наряду с другими проявлениями человеческого духа вообще прерогатива интеллектуалов... Интеллектуалы защищают не столько ценности, существенные для их творческой активности, сколько ценности, которые считают жизненно важными для других людей»²⁵.

Агентура этой версии называла себя «интеллигенция» и в этом качестве претендовала на то, что это она «ум» и «совесть» общества. Второй вариант («совесть») получил особенно широкое распространение, поскольку в его распоряжении была более ранняя авторитетная литературная традиция и он допускал саморекрутирование в «интеллигенцию» кого угодно — от домохозяек до паханов в законе или генералов к.г.б. Это хорошо известная интерпретация интеллигенции как «морального ордена» (или «секты») в мире, который воспринимался как хаос аморализма и имморализма.

Определять себя как «ум общества» для интеллигенции, казалось бы, естественно, поскольку интеллигенция и есть «ум общества» по определению. Но в советских условиях это было чревато осложнениями, поскольку на роль «мозга общества» было больше одного претендента. В этом случае агентура самоопределения ставит (намеренно или нет) интеллигенцию на место упраздненного церковного священства (на это обратил внимание в Германии Гельмут Шельски)²⁶ и вступает в конкурентные отношения с самой «партией». Последнее особенно важно.

Антонио Грамши в рамках своей концепции «органической интеллигенции» заметил, что классовые политические партии и есть, в сущности, интеллигенция соответствующих классов. К этой точке зрения в начале 1920-х годов в России был близок А. Богданов. В бесклассовом («одноклассовом») советском обществе партия, согласно такому пониманию, становилась интеллигенцией всего народа. И хотя она себя так не именovala, она все же писала на плакатах фразу «КПСС — ум, честь и совесть...», а, как мы уже заметили, кто «ум», тот и интеллигенция. Та же претензия содержалась и в самом ленинском проекте партии как «передового отряда», хотя в российских условиях первоначально она состояла из интеллигенции как будто бы внешней по отношению к рабочему классу и крестьянству. Интеллигенции, впрочем, «пролетароидной», что и облегчало ее вождям возможность позиционировать себя как органическую часть рабочего класса. И все

²⁵ Шляпентох В. Интеллектуалы как носители специфических моральных ценностей: там и здесь // «22» (Тель-Авив). 1986. № 49. С. 165–166. Позднее В. Шляпентох опубликовал книгу, где выражается осторожнее: *Shlapentokh V. Soviet Intellectuals and Political Power: Post Stalin Era*. NY, 1990.

²⁶ Schelsky H. Die Arbeit tun die Anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. Westdeutscher Verlag, 1975. S. 99.

же партия, хотя и не называла себя «интеллигенцией», инстинктивно не могла примириться с тем, что рядом с ней существует какая-то другая интеллигенция.

Отсюда враждебное отношение к старой интеллигенции, особенно обострившееся даже не в ходе ленинской радикализации революции, когда старая интеллигенция оказалась преимущественно на «белой» стороне, а, наоборот, именно тогда, когда у этой старой интеллигенции обнаружилось намерение перейти на сторону советской власти. Это ярко иллюстрирует эпизод со «сменовеховством». Партийные идеологи явно растерялись и боялись, что возвращение в СССР интеллигентов из эмиграции чревато усилением конкуренции за «лидерство» в обществе.

Это опасение легко просматривается в сентенциях крупных советских идеологов М. Покровского и Н. Мещерякова. Например: «Наша интеллигенция всегда была заражена по отношению к рабочим и крестьянским массам тем ядом, который иные называют „генералином“». Понимай так: наша интеллигенция всегда хотела командовать народом — относилась к народу „как старший брат к младшему“»²⁷, — и на сторону контрреволюции ее отбросила, как пишет М. Покровский, «обида вождя, вдруг очутившегося в хвосте своей армии»²⁸.

В этом же духе высказывается и Н. Мещеряков: «Авторы „Смены вех“ остаются типичными русскими интиеллигентами. Они по-прежнему думают, что интеллигенция — соль земли, что революцию делали не трудовые классы, а интеллигенция»²⁹.

Итак, одна интеллигенция против другой. Но если в ранней фазе строительства нового общества «партия» была свежей силой (Вебер назвал бы ее интеллигенцией «пророческого» стиля), а старая интеллигенция была (вместе с попами) «священством» старого общества, то к 1960-м годам сама партия превратилась в «священство», а в недрах «мирского» (согласно той же схеме Вебера) советского общества забродили новые «пророческие» силы. В советском обществе появилась агента, считавшая, что партия, вообразившая себя «старшим братом», теперь превратилась в консервативную (если не контрреволюционную) силу и должна быть вытеснена.

Но в условиях, когда власть оставалась авторитарно-несменяемой, это противопоставление «интеллигенции» и «партии» как двух интеллигенций или как двух партий развилось в оригинальную политизированную версию, где интеллигенция стилизуется как постоянная оппозиция. И эта оппозиционность в сочетании с моральной безупречностью рассматривается как необходимая и достаточная доблесть, дающая право на принадлежность к интеллигенции-ордену.

²⁷ Покровский М. Кающаяся интеллигенция // Интеллигенция и революция. М., 1922. С. 75.

²⁹ Мещеряков Н. Новые вехи // Интеллигенция и революция. М., 1922. С. 98.

²⁸ Указ. соч. С. 77.

Стилизирующая себя таким образом «аристократия духа» наследует народнической традиции, сложившейся в середине XIX века, но вот ирония — одновременно дезавуирует своих предшественников, стилизовавших себя точно так же. Она использует при этом в основном риторику знаменитого сборника «Вехи». С середины 1960-х годов влияние «Вех» на интеллектуальную атмосферу советского общества неуклонно возрастает. Вот типичный пример позднего продукта этой тенденции, где интеллигенция объявляется носителем «тоталитарного менталитета»: «черты тоталитарного менталитета во многом совпадают с типологическими особенностями сознания дооктябрьских поколений российской интеллигенции (описанными в «покаянном» документе той эпохи — сборнике «Вехи») и, естественно, их преемника во времени — сегодняшней интеллигентской страты». И далее: «Пафос героического авантюризма и пренебрежение повседневностью, кропотливой культурной работой, дефицит терпимости и экзальтированная готовность жертвовать настоящим во имя будущего, революционаристское презрение к «умному» консерватизму и суверенитету личности»³⁰.

В другой версии критерии интеллигентности перемещаются в сферу потребления, т. е. в классическую сферу статусного самоопределения. Интеллигенция интерпретируется как хранитель подлинно высокой культуры и хорошего вкуса. В этой версии агентура, самоопределяющаяся как «интеллигенция», выбирает себе положительной референтной группой либо бывшее дворянское сословие, либо дореволюционное образованное барство (заметим, кстати, что ту же самую склонность Макс Вебер обнаруживает в Германии у тех, кого он называл «литераты»). В качестве негативной референтной группы вместо партии здесь становится нецивилизованный плебс, позднее главным образом «псевдоцивилизованный» массультурный плебс — «дипломированные мещане», кого истерически-элитистски настроенная Марина Цветаева с презрением заклеила как «читателей газет», а Ю. Ключников (см. выше) как американизированное «мещанство». Интересно, что точно так же клеймила английское мещанство английская раннемодернистская литературно-салонная элита на рубеже XIX–XX веков³¹.

Была еще одна возможность самоопределения интеллигенции как носителя «научной» рациональности в противовес власти как носителю иррационального «идеологического» (предрассудочного) начала. Однако в советских условиях использование этого варианта было затруднительно. Из-за того, что сама власть прокламировала себя как «научную», агентура, определявшая себя как «антивласть», не могла воспользоваться этим уже присвоенным ресурсом. Тем более что ей не

³⁰ Смирнова Н. Интеллигентское сознание как предтеча тоталитарного менталитета // Полис. 1993. № 4. С. 125.

³¹ Carey J. The Intellectuals and the Masses. Pride and Prejudice among the literary Intellegentsia, 1880–1939. London, 1992.

было позволено обсуждать правильность поведения власти и соответствие этого поведения «науке». К тому же чтобы разоблачить «антинаучность» власти, нужно было представлять, как могла бы выглядеть «научная» власть, что было не так просто сделать. Из-за этого интеллигенция, наоборот, попала под влияние антисциентистской традиции, влиятельной в России с конца XIX века. Этот антисциентизм в самых наивных формах заполнил умственную прессу первых перестроечных лет, смешавшись по ходу дела с «паранаукой» и язычески-пантеистическим умствованием (с экологическим оттенком).

Еще один вариант апологетической самоопределяющей практики был занят качественной сортировкой и внутренней иерархизацией интеллигенции. В этой практике отражается индивидуальная и групповая конкуренция между разными профессиональными группами работников умственного труда и реакция на инфляцию статуса сертификата об образовании. Здесь самоопределяющая агентура хотела отделить себя от тех, кто обладал теми же статусно-релевантными признаками, но кого она не считала себе равней. В этой зоне самоопределяющей активности были в ходу такие понятия, как «творческая» интеллигенция или «интеллектуалы» как верхний слой над обширным нижним слоем «рядовой» интеллигенции.

Типичный пример: «Интеллектуалы — меньшинство интеллигенции, занятое творческим трудом... тогда как массовая интеллигенция занята в основном выполнением рутинных функций»³².

Когда М. Рейснер в 1922 году «назначил» три категории интеллигенции, он вряд ли предполагал, что у него окажется такое количество последователей среди самой интеллигенции и что потребность отнести себя к «творческой» интеллигенции будет такой настоятельной и массовой в советском обществе.

Эта потребность была особенно сильна у двух весьма разных агентур. Это либо маргинализированные научные и артистические кадры — богема, андерграунд. Либо отряд внутри высших кадров академической корпорации, где оставшиеся на вторых ролях конкуренты неизменно подозревали успешных карьерных ученых в научной стерильности и конформизме по отношению к бюрократии. Нельзя сказать, что у них не было для этого совсем никаких оснований, но также очевидно, что «внесистемники» свой «творческий потенциал» преувеличивали³³. Уверенность в том, что, раз их оттесняют, значит, они «выше качеством» и, стало быть, «подлинная элита», сильно их дезориентировала и подвела в годы перестройки, когда они могли взять реванш, но так и не сумели этого сделать.

³² Шляпентох В. Указ. соч.

³³ Здесь, как и во всех случаях самоопределяющих претензий любой агентуры, нас интересует только сама символика их самоопределяющих практик, а не их обоснованность или необоснованность — это другая тема.

Рядом с апологетической самоопределяющей практикой существовала, однако, тоже очень мощная обличительная, где понятие «интеллигенция» приобретает уже пейоративный, уничижительный смысл.

Левомарксистская традиция, готовая трактовать партию как интеллигенцию у власти, а реальную советскую систему как диктатуру интеллигентского класса, или диктатуру менеджеров, конечно, заглохла.

Ее место заняли две прямо противоположные друг другу риторики. Лоялисты, стилизующие себя как национал-консерваторы, разоблачали интеллигенцию как подрывную силу. А диссиденты, наоборот, обвиняли интеллигенцию в продажности и сервильности в отношении власти.

Обвинения интеллигенции в продажности, предательстве и аморальности объединяют крайних лоялистов-почвенников и радикальных диссидентов.

Виртуозами этой традиции были как раз рафинированные интеллигенты Н.Я. Мандельштам и Аркадий Белинков. Н.Я. Мандельштам, чей образ сильно слился с образом легендарного мученика-поэта Осипа Мандельштама, сама стала культовой фигурой. Гораздо более язвительный и блестящий А. Белинков никогда не был так широко известен, а при выходе этой традиции из подполья и вовсе потерялся³⁴. Их инвективы в адрес «продажной интеллигенции» повторялись снова и снова³⁵.

Еще один вариант артикуляции конфликта между разными группами интеллигенции (по аскриптивным характеристикам) — это интерпретация «интеллигенции» как «экспертной мафии» и закрытой касты. С этой критикой интеллигенции выступали ранние советские идеологи, например, тот же М. Рейснер. Тенденция, которой они так опасались, была реальной. Противоречия между лицензированными интеллектуалами-монополистами и самостоятельной интеллектуальной периферией нагнетались повсюду в мире.

Каким образом обличительный нарратив оказывается на самом деле тоже самоопределяющей практикой и кто его агентура? Негативистская риторика этого нарратива, конечно, никого обмануть не может. То, что это самоопределяющая практика через обличение предполагаемого антипода (негативной референтной группы), вполне очевидно.

Но обличительной риторики все же недостаточно для самоопределяющей практики. Она требует, чтобы агентура самоопределения назвала себя и объявила бы свои собственные характеристики. Это, оказывается, не так просто сделать.

³⁴ К сожалению, его книга «Юрий Олеся: сдача и гибель советского интеллигента» осталась собранием фрагментов, но от этого ее документальная ценность, как мне кажется, только возрастает.

³⁵ Как водится, их приписали более авторитетному источнику. Это весьма распространенный случай «дефольклоризации» некоторых социально важных тривиальностей, имеющих широкое хождение в разговорных практиках.

Назвать себя, чтобы отличаться от дезавуируемой «интеллигенции», например, «мещане» или «буржуа» было слишком рискованно. На это решались только отчаянные эпатеры³⁶. Называть себя «рабочий класс» никто не хотел. Называя обвиняемого «интеллигенция», обвинители компрометировали само это понятие и лишали себя возможности называться «настоящая интеллигенция», хотя подсознательно именно это они и имели в виду — что же еще.

«Агентурный пул» апологетической и обличительной самоопределяющих практик с использованием понятия «интеллигенция» в советском обществе был один и тот же. Только этот «агентурный пул» находился в «текущем» состоянии и был расколот. Значительную его часть составляли также индивиды, постоянно менявшие точку зрения и амбивалентные — иногда почти до шизофреничности. О чем, например, свидетельствует облюбованный Солженицыным ярлык «образованцы»? Что это — сарказм в адрес образованных? Как будто да. Но в то же время Солженицын — очевидный «веховец» и обрушивается на «полуобразованных». Более того, его гнев, в сущности, оказывается направлен на тех, кто более образован, чем он, но третирует он их как менее образованных.

Расколотый характер советской интеллигенции и амбивалентность ее сознания обнаружил и спор вокруг понятий «физики» и «лирики». Эту терминологию общественности, похоже, навязал своим афористическим стихотворением (1965 год) поэт Борис Слуцкий, хотя, конечно, статусное напряжение между выпускниками технических и гуманитарных факультетов висело в воздухе. Открытый разговор о «физиках» и «лириках» развернулся на страницах «Литературной газеты» и журнала «Техника — молодежи», но захватил все общество и продолжается, судя по Интернету, до сих пор. Он представлял собой метаморфизированную почти до неузнаваемости тематику споров об интеллигенции, подавленных с середины 1920-х годов. Его «надводная» часть канализировалась в сторону обсуждения сравнительных особенностей интеллекта у «физиков» и «лириков». Но даже в этой «надводной» части нетрудно было обнаружить беспокойство по поводу того, какие именно свойства интеллекта «лучше», «важнее», «выше».

Что же касается «подводной» части этой дискуссии, то она, безусловно, энергетически стимулировалась статусной озабоченностью интеллигенции и поисками компенсаторной мифологии.

Статусная озабоченность гуманитариев имела несколько объяснений. Во-первых, всегда существовало подозрение, что гуманитарные знания практически бесполезны. Во-вторых, гуманитарные науки

³⁶ С началом перестройки эта самоопределяющая практика стала распространяться вширь, и многие уже охотно и демонстративно предпочитали называть себя «мещанами», поскольку появились возможности обогащения и им нужна

была своя легитимизация. Самоназванием «интеллигенция» удобно было горделиво оправдывать нищету. Состоятельность как будто бы не нуждается в оправдании, но интеллигентская ментальная традиция требует оправданий и тут.

в глазах технологов ассоциировались с идеологией. В-третьих, сложилось мнение, что гуманитарное образование легче получить, потому что оно не требует много мозгов и усилий. Об этом как будто бы говорила и глубокая феминизация целого ряда профессий.

Но ученые-технологи тоже не были уверены в себе. Гуманитарные знания сохраняли инерционную престижность, доставшуюся им в наследство от старых времен, когда изысканная культура и всякое «бесполезное» знание определенно принадлежали досужему классу. И это становилось все важнее по мере того, как престиж потребления в советском обществе повышался, а престиж производства падал. Обладание ими было аристократично именно в силу своей бесполезности. К тому же серьезные общественные карьеры и выход из анонимности оказались явно более доступны интеллектуалам-генералистам (и артистам), чем «технарям»-специалистам. Взаимная ревность гуманитариев и естественников подогревалась и тем, что обе эти категории оплачивались плохо и нуждались в негативной референтной группе для самоуважения.

Самоопределятельная практика из собственного поля перемещалась в поле чистой политики, хотя и виртуальной в советских условиях. В этом случае всем, кто самоопределяется как «интеллигент», предлагалось выбрать позиции по разным проблемам и конфликтам, создать собственную (виртуальную, латентную) политическую партию. В этих попытках, в сущности, агенты самоопределения надеялись на переход из виртуальности в реальность. Но когда эта надежда вдруг осуществилась и «партия интеллигенции» в условиях перестройки могла воплотиться, оказалось, что путь от самоопределятельной практики к корпоративной материализации в поле политики не прост, а некоторым агентствам самоопределения он вообще наглухо закрыт. Именно в силу выбранной ими стратегии самоопределения.

Самоопределятельная практика с использованием понятия «интеллигенция» в советское время была также перенесена в национальный нарратив. Это — миф об уникальности русской интеллигенции. Он — важный элемент национального самоопределятельного мифа в обоих его вариантах, вдохновляемых комплексом неполноценности или комплексом превосходства. В обоих этих вариантах используется «интеллигенция» и «интеллектуал» — оба со знаками «плюс» и знаками «минус». В первом варианте российско-советская интеллигенция с ее «духовностью» — это гордость нации, а западный интеллектуал с его бездуховностью — это позор нации. В другом варианте западный интеллектуал с его рационализмом и добросовестным исполнением прозаических обязанностей — это главное достояние Запада, а русская интеллигенция с ее беспредметной духовностью (травестируемой как «духовка»), ленью и обструкционизмом — это главное несчастье нации. В обоих вариантах интеллигенции нет на Западе, а интеллектуалов нет в России с обычными ссылками на популярную сентенцию Бердяева,

что «интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой».

На самом деле структура образованного слоя и место соционима «интеллигенция» («интеллектуалы») в поле самоопределяющих практик, как и само это поле в целом, в XX веке выглядят во всех исторически важных случаях — России, Германии и Франции — очень похоже. Россия и Ирландия в этом отношении попросту тождественны. Англо-американский социальный космос выглядит на первый взгляд иначе, но и его отличие от европейско-континентального сильно преувеличено. Различий, конечно, не может не быть, но их наблюдение и систематизация требует гораздо большей тонкости, чем та, на которую способна сейчас социология, тем более российская. Можно ли ждать в будущем конвергенции или дивергенции национальных традиций манипулирования соционимами «интеллигенция» и «интеллектуал», сказать трудно, и над этим стоит задуматься.

Стоит задуматься и над тем, какова будущая судьба самого соционима «интеллигенция». Самоопределяющая практика пользуется либо теми соционимами (собирательными именами — «этикетками», как это называл Бурдьё), которые уже циркулируют в данном обществе, либо реставрирует старые и изобретает новые. Последнее — один из самых обычных видов социального творчества. В словаре соционимов не счесть.

Когда-то советский проект состоял в том, что в коммунистическом обществе интеллигенцией будут все. Судьба коммунистического общества оказалась проблематичной, но вот превращение широких масс в интеллигенцию по аскриптивным критериям начала XX века идет полным ходом. Так вот, либо критерии принадлежности к интеллигенции должны быть изменены, либо это слово на самом деле утратит свой различительный потенциал. Многие риторические фигуры самоопределяющих практик с использованием понятия «интеллигенция» и «интеллектуал» уже не адекватны внутренней структуре нового «универсального, но расколотого класса» (Гулднер), а также социальным конфликтам и, если угодно, классовой борьбе на новых фронтах будущего. Будущего, которое на самом деле, как говорится, уже наступило.

Как мы видели, этикетка «интеллигенция» в советском обществе была востребована и могла использоваться с разным знаком. Она была более популярна среди тех, у кого она вызывала положительные эмоции. В ходе перестройки этот баланс, похоже, изменился; популярность этикетки «интеллигенция» как пейоративной явно возросла. Она теперь инструментальна не только для агентур, которые самоопределяются как «народ», но и для агентур, которые предпочитают себя определять как «профессионалы», «менеджеры», «предприниматели» с их самоопределяющими практиками триумфалистского оттенка.

Эти новые агентуры, однако, могут идти дальше и вообще не соотносить себя с «интеллигенцией». Кажется, у них есть свой мифологический антипод. Например, «бюрократия». Или, если угодно, «совок». Это, впрочем, роднит их с агентурой, самоопределяющейся как «интеллигенция», и поэтому само это понятие еще может быть повторно востребовано. Так или иначе, структура поля самоопределятельных практик в российском обществе меняется и усложняется.

Изучение поля самоопределятельных практик, и в частности набора соционимов-этикеток (коллективных имен), разумеется, не самоцель. Самоопределятельные практики—это настоящее творчество масс, т. е. «культура», а ей, естественно, соответствует «структура». Поле самоопределятельных практик соотносится с полем межгрупповых и межличностных отношений—кооперации (Кропоткин), господства (Маркс и Вебер), гегемонии (Грамши), конкуренции (Дарвин), имитации (Тард).

Виктор Мартьянов

ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ. СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Интеллигенция после модерна: в поиске новых функций

Массовую российско-советскую интеллигенцию как социальную группу породила форсированная модернизация России 1860–1950-х годов, переход от традиционного ко все более сложноорганизованному индустриально-городскому обществу. Именно данный период можно рассматривать как взлет и упадок хрестоматийной интеллигенции в ее привычном понимании как а) отдельной и однородной социальной группы, б) локомотива модернизации российского общества, в) почти монопольных производителей и носителей общественных ценностей и идеалов. В постсоветский период интеллигенция как посредническая группа власти и народа исчерпала свои функции в рамках проекта классического классово-индустриального Модерна по причине его реализации в советской России: «Задача советской интеллигенции состояла в легитимации советской власти и обеспечении поддержки режима. Последнее достигалось с помощью образования, прежде всего, готовившего функционеров. Унифицированные модели этого образования исключали возможности для индивидуального разнообразия, вариативности, выбора, конкуренции, личного достижения. Культурные ресурсы социальной системы исчерпались довольно быстро. Их хватило на первичную индустриализацию, военную модернизацию и, с громадным напряжением, на восстановление ущерба и разрушений, вызванных Второй мировой войной. Дела двигались до поры, пока была догоняющая индустриализация. Но едва начался период постиндустриализма, рассчитанный на преобладающую роль науки и воспроизводство знаний, страна остановилась. Начался склероз внутреннего развития образованного общества»¹.

Тем не менее и глобальный, и российско-советский вариант Модерна², породивший интеллигенцию как особое явление, продолжает развиваться и в XXI веке. Появились популярные концепции «другого Модерна» как «общества риска»³ или «второго», «позднего» Модерна

¹ Фирсов Б. Интеллигенция и интеллектуалы в конце XX века // Звезда. 2001. № 8.

³ Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

² Подр. об особенностях «советского Модерна»: Мартьянов В. Метаморфозы российского Модерна. Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2007. С. 270–332.

(Э. Гидденс). В то же время постмодернисты при всей глубине критики дисциплинарности и тоталитарности практик Модерна не смогли предложить альтернативного проекта, обладающего позитивной концептуальностью и такой же степенью эгалитарности. Поэтому Модерн далек от исторического завершения, продолжаясь и изменяясь. Основное качество второго этапа Модерна заключается в его глобальности. Это своего рода проект политической надстройки над капиталистической миросистемой. Ее особенность в том, что национальное здесь все более уступает, согласно У. Беку, космополитическому или мирополитике⁴.

Возникает закономерный вопрос: возможно ли возрождение или «последствие» интеллигенции как «особого класса» в условиях уже реализованного в России проекта классического Модерна, для форсирования которого она и возникла? Какие социальные изменения, задачи, функции и цели могут способствовать образованию новой общности интеллигенции из разрозненных интеллектуалов? Какие могут быть у интеллектуалов общие интересы? И вообще, нужна ли нынешней России подобная интеллектуальная общность с высокой степенью организационной и идеологической монополизации?

В свое время в соответствии с задачами модернизации эгалитарная массовая интеллигенция действительно смогла прийти на смену потомственной аристократии, составлявшей 2 % населения Российской империи и полностью исчерпавшей свои исторические функции. Позже интеллигенция функционировала как естественный критический противовес советской номенклатуре, значительно более эгалитарной и открытой, чем потомственная аристократия. Но нуждается ли в интеллигенции современное российское общество, которое формально добилося поставленных ранее целей: открытых элит; более быстрой социальной мобильности и лифтов вверх; более широкого участия населения в политике; снятия различных ущемляющих цензов и ограничений для тех или иных групп населения; всеобщее равенство перед универсальным законом; применение более эгалитарных правил отбора лучших; распространение образовательных, технологических, управленческих возможностей, которые уже доступны, но косное общество и старые элиты не стремятся ими воспользоваться. В подобной ситуации есть ли место в обществе если не для социального класса интеллигенции, то для сообщества интеллектуалов, которое критически легитимировалось бы именно отсутствием всего перечисленного?⁵

Представляется, что скорее да, поскольку однажды достигнутые свободы, права и возможности для всего населения не являются

⁴Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.

⁵Поскольку интеллигенция в постсоветский период более не может претендовать на статус

относительно однородной онтологической социальной группы со своими особыми классовыми интересами, понятия «интеллигенция» и «интеллектуалы» далее используются для обозначенного периода как взаимозаменяемые синонимы.

после своего достижения гарантированными на некий обозримый исторический период. Их постоянное удержание, реализация и развитие являются перманентным общественным процессом, нуждающимся в своем социальном субъекте. Ю. Лотман в постсоветский период пронизательно указал на то, что «интеллигентский дискурс есть своего рода метаязык русской культуры, порожденный ею, гомоморфный ей и семантически от нее зависимый»⁶. Согласно такой исходной структуралистской позиции, базовый бинарный код русской культуры как интеллигентского — антиинтеллигентского дискурса становится чуть ли не ключевой дихотомией всей русской культуры последних трех веков. А все попытки вывести интеллигенцию на периферию общества трактуются как необходимая часть двойного кода самобичевания-самовозвышения, свойственного самой же интеллигенции.

Тем не менее интеллигенция в привычном виде как разночинцы и совокупный агент культурной и экономической модернизации российского общества с социологических, а не культуртрегерских позиций в настоящее время является скорее *преходяще-исторической*, нежели *актуальной* социальной группой российского общества, имеющей в российской истории как вполне определенное начало, так и обусловленный конкретными обстоятельствами упадок. В ключевых европейских странах, где плавная модернизация, либерализация и «капитализация» общества были растянуты на столетия, выделения интеллигенции как особой социальной группы не произошло. Появление российской интеллигенции как социальной группы стало именно результатом быстрых перемен и вынужденной догоняющей модернизации, растянутой в российском обществе почти на век (1860–1950-е годы), которое до тех пор исторически менялось очень медленно, практически незаметно. Выстраивалась новая экономическая и социально-политическая инфраструктура, появлялись новые социальные группы, шел слом привычных сословий, менялись ценности и сама картина быстро урбанизирующегося мира. Быстрые ротации и массовые перемещения интеллектуалов в структуре меняющегося советского общества позволяли интеллигентам более глубоко увидеть протекающие в нем изменения и формулировать более универсальные, прогрессивные, эгалитарные позиции и ценности, которые могут разделяться более широкими слоями общества, нежели те ограниченные задачи, которые в условиях капиталистической революции способна формулировать сословно-аристократическая элита либо советская номенклатура, удовлетворенная статус-кво.

Оставляет ли в таком случае тотальная трансформация постсоветских общественных структур привычное место для интеллигенции?

⁶ Лотман М. Интеллигенция и свобода // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: История и типология. М.: О. Г. И., 1999. С. 148–149.

Может ли интеллигенция в постсоветском обществе оставаться хотя бы теоретическим субъектом, выполняющим идеологическую функцию для других социальных групп и (или) общества в целом? На наш взгляд, это возможно, если интеллигенция будет претендовать только на статус профессионально-идеологической, а не социально-онтологической общности, как это было до развала СССР. В условиях недемократии, свертывания публичной политики и консервации статус-кво публичные столкновения политических перспектив невозможны, а есть лишь механизм вытеснения политической патологии как не-нормы за пределы нормативного политического пространства ценностей. Власть идей возрастает только во времена «большой политики»⁷, захватывающей все общество в целом, когда идеи действительно становятся материальной силой. Это периоды революций и социальных трансформаций, взрыва статус-кво. После утверждения нового властного равновесия, наблюдаемого сегодня, интеллигенция неизбежно утрачивает активную социальную и идеологическую функцию, снова возвращаясь к обслуживанию интересов значимых политических субъектов. Легальный политический режим, эффективно контролирующей обстановку в стране, не нуждается в интеллигенции как самостоятельной социальной группе. Власти требуются лишь интеллектуалы, выполняющие технико-манипуляционные задачи управления обществом.

В данной ситуации интеллигенция вряд ли может рассчитывать на роль самостоятельного социального / идеологического субъекта. Если в СССР интеллигенция официально поддерживалась как реальная социальная группа, то в российском обществе интеллигенция исчезла, что, впрочем, не означает исчезновения интеллигентов. Растворение интеллигенции как социального типа, его «невписываемость» в социальную структуру постсоветского общества приводит к тому, что «интеллигентность» остается не как массовый социальный тип, а как качество отдельной личности, которое не объединяет в особую общественную группу.

«Смерть интеллигенции» как коллективного субъекта и особой социальной группы в постсоветском политическом пространстве иллюстрирует две вещи. Первое — интеллигенция как социально-политический субъект была уникальным феноменом российско-советского общества. В том числе странным рудиментом, призванным выполнять функции псевдо-аристократии в идеократическом обществе периода СССР. Второе — распад интеллигенции как социальной / идеологической группы лишает интеллигента большей части его символического капитала, превращая в обычного западного интеллектуала. И наблюдаемые ныне процессы подтверждают то, что Россия не обладает

⁷ Капустин Б. Удержаться на плоскости современности: Интервью // [http://www.politstudies.ru/universum/esse/11kap.htm].

какой-либо особостью, а движется в русле тех общественно-исторических закономерностей и тенденций, которые можно наблюдать в развитых странах. И историческая роль особого класса была здесь скорее эффективным (и эффективным) исключением, нежели общим правилом.

Явление интеллигенции исторически исчерпано, и сейчас распавшаяся интеллигенция является пустым означающим, не имеющим за собой социальной онтологии. Свою функцию интеллигенция давно выполнила, историческую линию от разночинцев к советской интеллигенции можно считать законченной. Интеллигенция уже не социальная, а виртуальная группа. Ее правопреемник — экспертное сообщество — выполняет функции правильного объяснения, критики и легитимации властно-политического порядка. И подобный ограниченный функционал не может дать экспертному сообществу превратить свое особое положение в социально-политических и идеологических координатах конкретного общества в некую более универсальную социальную позицию, выходящую за пределы профессионального сообщества и востребованную обществом как таковым.

Из псевдоаристократической прослойки современные российские интеллектуалы стали массовым явлением. Безусловно, если в конце XIX века социальные поля людей с высшим образованием, элиты и интеллектуалов почти полностью пересекались, то интеллектуалам начала XXI века недостаточно просто иметь высшее образование. Всего за сто лет омассовленное высшее образование превратилось из верного признака принадлежности к элите в нечто вроде общеобязательной социальной нормы, каковой в конце XIX века выступала обычная грамотность. Разросшаяся группа людей с высшим образованием скорее стала выступать интеллектуальной средой, нежели группой с общими интересами. И эта среда индустриальным способом скорее усваивает и воспроизводит массовую культуру общества потребления, нежели производит новое знание, идеи, идеологии. Это занятие как всегда остается уделом немногих, уделом собственно интеллектуалов.

Ко второй половине XX века российская модернизация в целом завершилась, ее задачи были выполнены, общество преобразилось, а просвещенческая функция интеллигенции оказалась исчерпана. Уже позднесоветское общество стало современным, урбанизированным, высокообразованным. Поэтому интеллигентское просвещение «темного царства несвободы» стало более неуместно. Образованные люди общества Модерна в большинстве своем вышли из эпохи кантовского несовершеннотлетия и более не нуждаются в интеллектуальном менторстве. Более того, сама модель управления обществом «электронной демократии» все чаще описывается как предельно прямое взаимодействие власти и вышедших на арену публичной политики масс, не нуждающихся более в неких общественных посредниках: «Сегодняшнее острое ощущение деградации слоя „культурных людей“, „интеллигенции“, „образованного сообщества“ и т. п., происшедшее в последние

15 лет, связано не только с их неслышностью или невлиятельностью, но и с исчезновением отчасти — воображаемого, отчасти — действительного их внутреннего противостояния дряхлеющей тоталитарной власти. Широко распространенное принятие, если не одобрение ельцинского и еще больше — действующего режима лишило „интеллигенцию“ внутреннего самооправдания, разрушив старую идеологему „власть — интеллигенция — народ“, которая придавала видимость морального смысла существованию „образованных“. Сегодня мало кто из „элиты“ (включая и культурную) готов или хочет, как раньше, идентифицировать себя с защитой бедных и обиженных, нести просвещение, выполнять функции представительства народа перед властью, говорить о своей совестливости, сочувствии, о „добром сердце“ и прочем. Эти игры кончились»⁸.

Всплеск интереса к роли интеллигенции в российском обществе произошел в новую эпоху перемен, в 1980–1990-е годы, когда советское общество пережило очередную радикальную трансформацию. «Тихая революция» вновь породила множество людей, выбитых из привычной повседневности, социальной и профессиональной среды. Однако шоковые перемены уже не породили мощной и влиятельной волны новых разночинцев, поскольку советское общество и так было демократично и эгалитарно само по себе. И сами общественные перемены были связаны скорее с распадом старой социальной структуры, чем с формированием новых интегральных ценностей. Соответственно социальные трансформации конца XX века не нуждались в отдельном и влиятельном социальном агенте модернизации, по принципу «ломать — не строить». Такого агента и не могло быть, поскольку советское общество стало обществом массовым. Это общество потребления, предельно урбанизированное и индивидуализированное. Здесь действуют не социальные группы и классы эпохи классического индустриального Модерна, но скорее аморфные группы населения. Поэтому такое общество уже не имеет ярко выраженных социально-политических коллективных субъектов с внятными интересами и функциями, представленных в виде привычных классов индустриального общества образца XIX века. Трансформация классического Модерна размывает российское общество на классово, методологически и структурно-функционально неопределимые «элиты», «массы», «средний класс» и т. п. Привычные исторические категории вроде «буржуазии», «рабочего класса», «крестьянства» во многом утратили свою релевантность и объяснительную способность.

В урбанизированном обществе, в пространстве постиндустриальных мегаполисов и городской культуры апелляция к интеллигенции

⁸ Гудков Л. Невозможность морали // Независимая газета. 2008. 9 апр. [http://www.ng.ru/ideas/2008-04-09/14_moral.html].

может быть только моральным алиби чьих-то далеко не универсальных интересов. В демократической среде интеллигенция теряет свои привычные функции. Организация интеллектуалов в некую общность лишает их индивидуальности, свободы выбора, автономии и «лица не общего выражения». Независимая позиция интеллектуала прямо противоречит его слиянию с другими интеллектуалами. Его символический капитал основан на обособлении от социальных классов и любых коллективных позиций. В противном случае мы получаем образец «эксперта с ограниченной ответственностью» (С. Ушакин), легитимирующего и популяризирующего *уже принятые властью* решения. В любом случае позиция интеллектуала может иметь значение для общества, лишь попав в публичную повестку. Все это предполагает власть над умами посредством идей, достижимую, если только интеллектуал занимается публичной деятельностью и открыто претендует на власть. Поэтому степень его независимости от классов и общества в целом, от содержания самой повестки, волнующей общество, оказывается преувеличенной.

Тем не менее в открытом информационном обществе значимость интеллектуальной гегемонии растет, а борьба интеллектуальных позиций актуализируется. Вместе с тем открытое общество все менее нуждается в прямолинейном интеллигентском миссионерстве и прогрессорстве. Растет ценность способностей и возможностей интеллектуалов выдвигать в публичной сфере идеи, отвечающие требованиям «общезначимости» (К. Манхейм). Если в эпоху буржуазных революций на способность синтезировать общественные интересы претендовала буржуазия, то позже выявлялась ее все большая моральная ограниченность. Выдвигались все новые группы, претендующие на продуцирование общезначимости в новые времена, когда отсутствует неизменная аристократическая иерархия общества и его ценностей: отчужденные от результатов своего труда рабочие, студенты, маргиналы, интеллектуалы, эксперты, «креативный класс» и т. п.

В актуальных условиях интеллектуалы как люди, зарабатывающие своим умом, но претендующие на нечто большее, чем профессиональная самореализация, имеют внятную нишу — это функция *профессионального экспертного сообщества*. Фактически интеллигенция преобразуется в сеть профессиональных и любительских экспертных сообществ, претендующих на роль носителей некоего эталонного, нормативного знания об обществе. Причем эти знания, принципы и ценности могут различаться до полной противоположности. Однако востребованность независимых экспертов обществом и властью остается проблематичной. Условием востребованности в современной России выступает развитое публичное пространство, связанное с наличием многих реальных центров политической силы, гражданским обществом, независимым бизнесом, самостоятельными регионами, партиями и профсоюзами. Например, без публичной политики резко падают

статус и значение общественных наук, а их основные функции в обществе сводятся к идеологическим.

При этом государство традиционно продолжает поддерживать иллюзию, что трансляция неких миссионерских идей в искусстве, кино, литературе, образовании, науке является особой задачей интеллигенции, вырывающей ее из различных индивидуальных и профессионально-корпоративных контекстов. Иными словами, спланирует ее общностью задач общенационального, государственного уровня как особый «идеологический класс», который затем можно использовать в интересах класса правящего. Облегчает подобный самообман и власти, и общества то обстоятельство, что в России общественный «миф об интеллигенции» уже исторически сложился. Поэтому вывод его из латентного состояния и активное технологическое использование представляется для действующей власти весьма несложной задачей, как показывает, например, опыт создания Общественной палаты.

В таких условиях интеллигенция не может быть сформирована в виде самостоятельной социальной группы, а соответственно, и выступать в качестве генератора социальных перемен или коллективного интеллектуального механизма по поиску согласия между разными социальными группами и (или) центрами политических сил. Фактически наличные экспертные структуры используются для легитимации интересов их собственников. Роль экспертных групп функционализируется. Из агентов общественной модернизации эксперты-интеллектуалы превращаются в стагнаторов, апологетов статус-кво, профессионально отстаивающих некие идеологические позиции. Тем не менее государство поддерживает сохранение интеллигенции в качестве влиятельной социальной группы и привилегированного идеологического субъекта, так как правящему классу необходима идеологическая легитимация, исходящая от интеллектуалов.

Таким образом, интеллигенция в капиталистическом обществе Модерна немислима как самостоятельный субъект политики, хотя иногда и делаются попытки интерпретировать ее как единственный социальный слой, способный продуцировать не обусловленные классовой позицией идеи. В свое время К. Манхейм утверждал, что «свободное парение» является условием способности интеллигенции выйти за пределы классовых интересов: «воля к синтезу всегда свойственна... тем средним классам, которым грозит опасность сверху и снизу и которые поэтому в силу своего социального инстинкта всегда ищут среднего положения между крайностями...»⁹. Однако эти люди не выразители интересов среднего класса или мелкой буржуазии: «подобную постоянно экспериментирующую, развивающую в себе острую социальную восприимчивость, направленную на динамику и целостность позицию

⁹ Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 131.

может занимать не находящийся в некоем среднем положении класс, а только тот слой, который сравнительно мало связан с каким-либо классом и не имеет слишком прочных социальных корней»¹⁰. И все же тезис об онтологической бесклассовости интеллигенции, оборачивающийся преимуществом ее неангажированности некими коллективными интересами, представляется спорным.

Это показывает интеллектуальный опыт Г. Маркузе, который оказался наиболее радикален в поиске свободных людей без «социальных корней», которые только и могут вытащить «одномерное общество» из тупика потребительского «овещнения», расцениваемого им как безусловное зло. Оказалось, что наиболее «синтетичными» являются маргиналы, не адаптированные к обществу и стремящиеся к его революционному изменению. Свободно парящая интеллигенция превращается в действительности в нечто иное: «Под консервативно настроенной основной массой народа скрыта прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветов кожи, безработных и нетрудоспособных. Они остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь являет собой самую непосредственную и реальную необходимость отмены невыносимых условий и институтов»¹¹. Но исторический опыт революционных утопий убедительно показал, что маргиналы, как деклассированные, так и интеллектуальные, выкинутые из «системы общества», вовсе не превращаются автоматически в положительную для социальных преобразований силу. Скорее сложившаяся система приручит, адаптирует и нейтрализует эти разрозненные группы быстрее, чем те смогут (и смогут ли) составить ей действительную альтернативу.

Иначе формулируется неомарксистская аксиома С. Жижека, согласно которой любой прорыв мышления к универсальному, всеобщему и синтетичному начинается с честного осознания своей партикулярности, которую можно лишь искусно маскировать, но которую никогда нельзя преодолеть окончательно: «Нужно уметь признавать свою партикулярность. Единственный путь к универсальности проходит через партикулярность. Вопрос в том, как сделать вашу партикулярность универсальной. За этим стоит то, что я называю борьбой за гегемонию. За нее всегда приходится бороться. Универсальность никогда не нейтральна... в тот момент, когда вы, претендуя на универсальность, пытаетесь элиминировать позицию, из которой вы говорите, вы проиграли»¹².

С другой стороны, доведенная до логического завершения классовость и партийность любого общества является предельной теоретической абстракцией, фактически не позволяющей провести разницы

¹⁰ Манхейм К. Указ. соч. С. 132.

¹¹ Маркузе Г. Одномерный человек. М.: REFL-book. 1994, С. 335.

¹² Жижек С. Левые должны открыть для себя подлинно героический консервативный подход... Интервью // [http://russ.ru/politics/docs/levye_dolzhy_vnov_otkryt_dlya_sebya_podlinno_geroicheskij_konservativnyj_podhod#comments].

между демократическим и кастовым обществами, сводя первое к последнему исключительно классовым видением. А крайняя партикулярность приводит к отрицанию общества, его подмене набором абсолютно автономных граждан, среди которых встречаются и интеллектуалы. В модернистском обществе переплетение экономических интересов, статусов, идентичностей, непрерывающаяся горизонтальная и вертикальная мобильность, перманентные трансформации общественных структур, сложности биографических переходов и траекторий множества личных судеб всегда сложнее определенных теоретических схем. Собственно неопределенность и нередуцируемая сложность жизненного мира и предопределяют динамическую взаимообусловленность партикулярных социально-политических видений и идеологических картин мира. А следовательно, и возможность синтеза, а также субъекта синтеза.

Интеллигенция как паллиатив среднего класса?

Может ли интеллигенция в постсоветском обществе стать политической силой, синтезирующим субъектом, не примыкающим к какому-либо классу? Иными словами, существует ли интеллигенция сегодня как особый класс или хотя бы внеклассовая социальная группа, общность или «прослойка»? Ответ неутешителен. Без искусственной внешней поддержки советского государства интеллигенция раскололась на профессиональные группы: врачей, учителей, ученых, служащих, профессиональных экспертов, представителей свободных профессий, интересы которых в публичной политике все чаще редуцируются к периодическому лоббированию узкопрофессиональных интересов, вытесняющих целостную перспективу политики. Такая перспектива могла быть оформлена только в виде идеологии, принадлежащей некой реально существующей (онтологической) социальной группе как коллективному политическому субъекту и закрепляющей ее интересы, выходящие за пределы данной группы и претендующие на форму выражения тотального и всеобщего интереса общества. Это попытка превратить некую партикулярную ценность или социальную позицию во всеобщую и политическую, доказать ее универсальность. Собственно в этом и заключается любая политика в условиях демократии как постоянной борьбы партикулярных позиций, а потому характеризуемой как борьбы постоянной и принципиально незавершенной¹³. Поскольку любая идеология становится «политической» тогда, когда формулируется не на профессиональном и узкогрупповом, а на классовом, национально-государственном уровне.

¹³ Анкерсмит Ф. Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфликту и компромиссу // Логос. 2004. № 2. С. 15–40.

Несмотря на исчерпание привычных функций и резкий антиинтеллектуальный срыв российского общества постсоветского периода, теоретические дискуссии об актуальной роли интеллектуалов продолжаются. Интеллигенция все чаще трактуется как эрзац так и не сформированного в постсоветской России, идеологически воображаемого властью среднего класса, основной политико-мифологической функцией которого является естественно-экономическое и ценностное скрепление социальных антагонистов: низшего и высшего класса, масс и элит¹⁴. Предполагалось, что власти и населению посредники больше не нужны — достаточно стабилизирующего общество среднего класса, в который входит и интеллигенция. Очевидно, что средний класс как воображаемый отстойник, функционально уравнивающий людей из совершенно различных кругов общества, является мифом, но он продуктивен телеологически, являясь идеологическим мерилем успешности общества, в котором составляет большую долю¹⁵.

Однако вопреки ожиданиям из советской интеллигенции не получилось не то что протобуржуазии, но даже основы «нормального» среднего класса. Тем не менее господствующему дискурсу новейшего политического режима не остается ничего иного как переформатировать ныне маргинальную и неуловимую интеллигенцию в «особый» российский средний класс, сплоченный не экономически, а функционально-идеологически. То есть той политически опосредующей ролью, которая предполагает создание в обществе понятного для всех здравого смысла и ценностей, хоть как-то выходящих за границы разнообразных классово-ограниченных перспектив. Даже если окажется, что это ценности не культурной элиты, а всего лишь обычного потребительского мещанства, наиболее референтные для актуального российского общества.

Проблема, однако, состоит в том, что условием успешного выполнения интеллигенцией функции генерации и воспроизводства интегрирующих ценностей является открытая публичная коммуникация, характерная для периода модерна: «Переход коммуникации с бумажных носителей — книг, прессы — на электронные — телевидение, Интернет — привел к неожиданному расширению публичной сферы действия средств массовой коммуникации и к беспримерному уплотнению коммуникационных сетей. Публичная сфера, в которой интеллектуалы плавали как рыбы в воде, стала более всеохватной, а общественный диалог — более интенсивным, чем когда-либо прежде»¹⁶. И здесь на современной российской почве возникают два осложнения.

Во-первых, избыток коммуникаций тоже опасен для интеллектуалов: право что-то сказать не работает без права быть услышанным,

¹⁴ Сабуров Е. Разбухающая прослойка // Неприкосновенный запас. 2006. № 3. ¹⁶ Хабермас Ю. Первым почуять важное // Неприкосновенный запас. 2006. № 3.

¹⁵ Шанкина А. Средний класс в России: охота на Несси // полис. 2003. № 1. С. 103–111.

которое теряется в тотальном информационном гуле, в котором привлечь к чему-то внимание без опоры на крупные медиа-холдинги оказывается практически невозможно. Кроме того, поскольку именно интеллигенция во многом формирует общезначимый дискурс о российском обществе и своей роли в нем, ее искаженная роль оказывается всегда важнее, нежели то значение, которое отведено интеллигенции в наличном властно-государственном распределении реальных гегемоний и иерархий. Во-вторых, в России публичная политика и властные коммуникации сжимаются как шагреновая кожа и все чаще лишь симулируются. Поэтому осуществлять самостоятельную функцию, связанную с синтезом частных интересов разных социальных групп в политическое всеобщее, интеллигенции становится все сложнее. Тем более что сами интеллектуалы все обширнее распределены в «смазанных» классовых координатах все более неравного и неоднородного российского общества в сравнении с обществом советским.

Статус и идентичность постсоветского интеллектуала не определяемы ни социальной принадлежностью, ни иерархическим положением, ни доходом, ни образованием, ни профессией. В результате фактически основная функция нынешней интеллигенции вполне в марксистском духе сводится к воспроизводству и переводу наличного культурно-экономического распределения и классового статус-кво в легитимные для правящего класса символические формы — литература, наука, искусство и др.¹⁷ Соответственно привилегированность людей, чья функция начинает сводиться к обслуживанию правящего гегемона, резко падает. Сохранившаяся с позднесоветского периода самоидентификация интеллигенции как престижной социальной «общности» если не в экономическом, то в символическом плане, перестает быть ценной для ее возможных носителей. Поэтому происходит трансформация, заключающаяся в том, что социально-онтологическая общность интеллектуалов все активнее дифференцируется и распадается, превращается в исторический миф¹⁸, ограниченный советским периодом. Основания же новой общей идентичности интеллектуалов преимущественно закрепляются в области функционально-идеологической. Новый класс интеллектуалов социально менее привилегирован, так как если ранее он мог символически воспроизводить социальное целое однородного советского общества, то теперь общество стало разнородным, и даже за государственным дискурсом слишком явно проступают гегемонистские интересы частных групп. Кроме того, если у советской интеллигенции была, по сути, негласная монополия на символическое производство, ограниченная идеологической цензурой, то в формально демократическом и «открытом» обществе постсоветского периода право

¹⁷ Ушакин С. Интеллигентность сквозь призму интересов // полис. 1998. № 4. С. 35.

¹⁸ Куренной В. Теория мифа // Неприкосновенный запас. 2006. № 3.

производить «всеобщие и общезначимые» ценности и позиции по определению не может являться привилегией какой-то одной группы общества.

От знания к власти: интеллигенция как русская форма публичной политики

Одним из важных критериев самоидентификации российской интеллигенции и наработки символического капитала была ее критическая функция, связанная с противопоставлением государству. В настоящее время эта функция в связи с рядом обстоятельств вновь востребована. Востребованный возврат к прежним практикам интеллигенции инакомыслящей *versus* государство все чаще трактуется как вынужденная замена для всей российской публичной сферы во вновь восстановленных привычных условиях доминирования государства над гражданским обществом, когда под риторикой «стабилизации» общество становится вторично по отношению к государству, а его постсоветская траектория снова превращается в типично карамзинскую «Историю государства Российского».

Следует отметить, что в условиях революций и трансформаций, в период «оттепели», либеральных реформ или перестройки, монополия русского государства ослабевает. Интеллигентская энергия социальных преобразований и утопий временно выходит на первый план, чтобы затем вновь впасть в привычное оцепенение в ходе актуальной «подморозки» общественной жизни, легитимированной к тому же одобрительным «молчанием масс»¹⁹ (Ж. Бодрийяр). Причем новая «подморозка» входит в недвусмысленное противоречие с обретенными чуть ранее правами, возможностями и свободами, столь ценными для интеллектуалов и гораздо менее значимыми для большинства. При этом нынешний правящий класс всеми силами стремится нейтрализовать накопленную потенциальную энергию социальных изменений, приручить критических интеллектуалов, «подрезав» тем или иным способом их властные амбиции: «Государство вынужденно смиряется с побочной активностью профессионалов и старается перевести ее в формы, соответствующие принципам своего устройства и относительно безопасные для себя. Активность образованных людей, преобразованная недемократическим государством в приемлемые для него формы... называется интеллигентностью, а активисты — интеллигентами»²⁰.

Тем не менее не стоит впадать в крайности, приписывая российской интеллигенции то тотальную критику любого политического режима и государства, то исключительно обслуживание интересов

¹⁹ Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного университета, 2000. С. 6–72.

²⁰ Кордонский С. Интеллигенция в роли национальной интеллектуальной элиты // Пределы власти. 1997. № 1. [<http://old.russ.ru/antolog/predely/1/kord.htm>].

наличных гегемонов, то отождествление собственных корпоративных интересов с потребностями общества как таковыми. Служение власти, демонстративное отстранение от нее в виде «нейтральности» и аполитизма или же оппозиция власти представляли всего лишь различные тактики присвоения, накопления ею символического капитала и выполнения идеологической роли в полном соответствии со структурно-функциональным положением в обществе конкретных интеллектуалов. Тем более что любое поколение интеллигенции исторически стремилась превратить свою образовательную, просвещенческую, критическую или экспертную роль в функцию превосходства. В первую очередь это проявлялось в морализации политики. Причем именно интеллигенция объявлялась носителем моральных норм и весьма смутно определяемой «общественной совести», что «как бы» само собой дает ей право указывать, что объективно хорошо для всего общества, а что плохо. Но дело в том, что если с точки зрения должного задача политики состоит в достижении наибольшего блага для всех граждан (Аристотель), то реальная политика всегда связана с принципом наибольшей эффективности государственных законов и практики управления (Макиавелли). Во избежание большего зла любая власть обязана иногда поступаться чьим-то благом, т.е. быть этически небезупречной. При этом интеллигентская критика власти, осуществляемая из сферы морали, как бы освобождает самого «истца» от действия этих правил и ответственности.

Представляется, что в постсоветский период, когда ключевые задачи модернизации были решены, новой чертой, дополнительно сплачивающей российскую интеллигенцию, является ее воля к власти. Именно волей к власти, к господству над обществом и его символическими системами конституируется постсоветское интеллигентское самосознание. Здесь ответственность не только за себя, но и за общество в целом легко перерастает в чувство своей личности. Интеллигентность в советский период несла остаточные черты утраченной в советском обществе аристократии, руководствовавшейся принципом чести. Именно на эту роль метила советская интеллигенция, приумножая свой культурный капитал и не довольствуясь ролью наемных интеллектуалов, производящих некий продукт, востребованный обществом и государством.

Постсоветский опыт «отменил» советскую интеллигенцию с ее завышенными претензиями и мессианством, указав ее довольно скромное место в новой общественной структуре. Новое общество и политический порядок показали, что могут обходиться без интеллигенции. С другой стороны, изменение структуры постсоветского общества, стремительное сокращение классического пролетариата и аграриев, увеличение городского населения, ставшее практически обязательным высшее образование в крупных городах неизбежно ведут к превращению интеллектуалов в одну из заметных групп трансформирующегося

российского общества. Даже без хрестоматийного марксистского осознания общих интересов и сокращения публично-политического пространства российская интеллигенция сегодня способна влиять на политику. Достаточно провести простой сравнительно-статистический анализ результатов последних циклов выборов в критически мыслящих российских мегаполисах, где информационная повестка обычно складывается из конфликта разных идеологических позиций, и сельской России, в которой преимущественно господствует домодерновое, иерархическое, патерналистское сознание.

Проблема современного периода еще и в том, что борьба модернистских идеологий, где каждому социальному субъекту соответствовал субъект теоретический, в обществе потребления закончена. Глобализирующаяся политика как конфликт «великих идеологий» и классов во многом исчерпана. Власть в условиях политической апатии и социальной аномии масс уже не связана демократическими формами обратной связи: ни корпусом избирателей — выборами, опросами, ни социальными классами — борьбой за институционализацию интересов, ни гражданским обществом — правовым диалогом с властью. Генерация всеобщего в публичной сфере возможна только путем преодоления частных и особых интересов, обусловленных положением субъекта в обществе и претензиями на нечто большее. Роль же и функция интеллектуалов-экспертов самодостаточны. Они изначально не предполагают рискованной цели выйти за пределы своей престижной социально-идеологической ниши.

Вместе с тем решенные задачи «великой трансформации» Модерна требует новых социальных субъектов, способных преодолеть свои партикулярные позиции. И наиболее явными претендентами на подобное преодоление остаются интеллектуалы. С другой стороны, новых революционных изменений в российском обществе пока не предвидится. Поэтому субъекты — катализаторы общественных изменений не востребованы ни обществом, ни государством. Былое интеллигентское миссионерство вырождается в технологический и более частный по своим задачам политический пиар, манипулирование потребителем обществом, легитимацию экономических и политических интересов правящего класса и прочие функциональные задачи интеллектуалов.

После советского периода вернулась классическая буржуазия, показав, «кто в обществе главный»; каковы новые ценности и цели; закрепив структуру российского общества, качественно не отличающуюся от аналогичных общественных структур европейских стран. Соответственно и места для традиционной интеллигенции в этой новой структуре не зарезервировано, как и особой функции. Новому буржуазному обществу интеллигенция как класс не нужна, оно обходится интеллектуалами. Хотя причисление к интеллигенции по инерции кажется престижным в символическом плане для части общественных деятелей, представителей науки и культуры.

Сегодня интеллигенция закономерно отодвинута на периферию общественной жизни. Интеллигенция в советском обществе пыталась обосновать свою особую роль, активно участвуя в формировании общественного мнения. Предполагалось, что в авторитарных условиях независимость от власти сама по себе является достаточным основанием объективности и морального авторитета любых позиций. Причем интеллигенция в своей посреднической функции претендовала на изъятие как народных чаяний, их выражение и транскрипцию, так и на «чтение между строк», объяснение властных импульсов «для народа». Но в постсоветский период публичная политика стала всеобщим достоянием. Соответственно отпала необходимость в специальном «идеологическом классе».

Еще в советское время, оформляясь в «культурную элиту», постепенно отказываясь от соотнесения своих интересов с общественными задачами, от приоритета последних над первыми, интеллигенция одновременно утрачивала свое символическое влияние, основанное на лидерстве в политической морали и обосновании необходимости перманентного движения к более эгалитарному и справедливому обществу. Окончательная утрата влияния и распад социальной группы произошли тогда, когда интеллигенция отказалась от морального лидерства в российском обществе. Поэтому постсоветская интеллигенция утрачивает привилегию разговора с властью на равных, превращаясь в типичную категорию «белых воротничков», интеллектуалов, чье сознание в лучшем случае корпоративно, а устремления ограничены профессиональной самореализацией. Что вполне устраивает и общество потребления, и его реальную элиту, интересы которой интеллектуалы обслуживают вполне добровольно.

Траектория постсоветских интеллектуалов: осознание «нового класса» или выработка общественного согласия?

В постсоветский период произошел своего рода возврат закрытой России в мировую историю, в капиталистическую миросистему, из которой она в период СССР была частично выключена. И этот возврат обусловил ряд неприятных интеллектуальных открытий, реакцией на которые стала попытка возврата части интеллектуалов к трактовке России как автономного пространства, не испытывающего влияний извне и не вписывающегося в более общие мировые закономерности. В результате «культура страны, вставшей посередине между Европой и Азией, предстает в образе непостижимого Сфинкса, в виде соединения несоединимого, которое нет смысла ни оценивать, ни анализировать. „Исключительность“ России — это тезис, подтверждающий сам себя и не нуждающийся ни в каких доказательствах, ибо выступает в качестве исходной аксиомы мышления — для того чтобы осознать

эту исключительность, русскую историю и социальную практику первым делом исключают из контекста „общего“ повествования. Одно дело — сказать, что мы „не нормальная страна“, или, наоборот, заявить, что у нас своя, особая, им недоступная норма. А другое дело — осознать, что общие нормы включают и наш опыт как частный случай. Просто норма не такова, как кажется...»²¹.

В XXI веке национальные культурные миры все ощутимее становятся недостаточными, интеллектуально вторичными и производными от глобального интеллектуального пространства. Любое интеллектуальное производство в пределах только национального заранее обрекает себя на вторичность. В условиях глобализации конкуренции на рынке товаров было бы наивным не замечать тех же процессов борьбы за глобальное интеллектуальное лидерство на рынке идей.

После возврата России в мировую историю российские интеллектуалы получили возможность открыто исследовать мир в целом. Это избавило интеллектуалов от многих иллюзий, но пока не привело к новым концептуальным обобщениям, интересным внешнему миру. Ключевая борьба внутри интеллектуального сообщества связана либо с консервативной дилеммой возврата к привычной закрытости и выработки рецептов, которые применимы только в России (национализм, цивилизационная парадигма, апология российского своеобразия — «Умом Россию не понять»). Либо с оппонирующими ей попытками интернационализации российского общественнознания (космополитизм, миросистемный анализ, неомарксизм и др.). Возникает вопрос: стоит ли вновь уходить в национальный тупик развития, каким оказался в итоге опыт СССР, обосновывая собственные уникальные ценности и цели? Однако никаких особых секретов развития в современном мире нет, а глобальные ценности лежат в открытом доступе.

На этом фоне приобретают особую популярность проекты желательных изменений российского общества, связанных с постиндустриальностью, обществом знаний и информационным обществом, где ведущую роль станут играть именно интеллектуалы как творцы нового знания и возникает система, которая «характеризуется небывалой оторванностью высшего класса от низших социальных групп и автономностью информационного хозяйства от труда»²². Возможно, конечно, зависимость новых элит и интеллектуалов от труда и материального производства падает, но настолько ли, чтобы быть свободными от него? Или новая элита обладает уже не только постматериальными ценностями и стимулами, но и постматериальным телом?

Между тем все более явная профессиональная, экономическая, культурная дифференциация российского общества активно

²¹ Казарлицкий Б. Разгадка сфинкса // Русская жизнь. 2008. 27 авг. (№ 16).

²² Иноземцев В. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий XXI века // Постчеловечество. М.: Алгоритм, 2007.

превращает интеллектуалов в ремесленников и узких специалистов, которые вне сферы профессиональной компетенции теряют представление об обществе и мире в целом. И причины данной тенденции очевидны: растущее образовательное и экономическое неравенство; региональные различия и разрывы по линии центр — периферия; ценностный конфликт поколений; завышенные ожидания молодежи и фатализм старших возрастов; архаизация национального самосознания; мифология о неэффективном и враждебном государстве; деполитизация общества потребления и т. п.

Представляется, что в этой ситуации настоящие интеллектуалы скорее тяготеют к полюсу всеохватного дилетантизма, который позволяет формулировать интегральные, всеобщие суждения, чем к «профессиональному кретинизму», когда люди знают все больше о все меньшем, более не претендуя на продуцирование всеобщих ценностей, норм, истин. Таким образом, дробление интеллектуального поля в постсоветский период работает против общего интеллектуального языка и базовых ценностей, все же наличествовавших в советский период.

Рост всех видов неравенств и автономизация различных социальных слоев в российском обществе приводит к эрозии ценностей и затруднению общественного диалога. Субъекты воспроизводства ценностей становятся все менее универсальными и эгалитарными, групповые и особенные ценности начинают превалировать над всеобщими. В публичной повестке споры все чаще идут о коллективных правах обособленных сообществ (бюджетники, «коренные народы», пенсионеры, инвалиды, дети, молодежь, чиновники и т. д.), стремящихся к особым правам, либо компенсациям, либо неким естественным привилегиям. Такова, например, исходная антиинтеллектуальная позиция мультикультурализма как стратегии слоев и сообществ, не способных или не желающих встроиться в общество на равных условиях с остальными группами. В результате каждая коллективность продуцирует особые моральные стандарты: а) для своей особой группы и б) для всех остальных. Все эти процессы разрушают как общее публичное пространство, так и морально-этические основания, благодаря которым оно возможно. Соответственно, функция интеллектуалов как разработчиков и трансляторов всеобщих культурных и моральных образцов оказывается невостребованной. Стратегия конформной адаптации интеллектуала к распадающемуся обществу начинает преобладать над попытками это общество «собрать», продуцируя некие ценности и знания.

С другой стороны, параллельно существует и иная, более оптимистическая позиция. Она связана с тем, что все негативные издержки социальных трансформаций постсоветского периода искупаются состоянием демократии, когда обществу заранее не предзаданы всеобщие цели, единая иерархия ценностей и т. п. Поэтому пугающая многих интеллектуалов ситуация интеллектуального анархизма и предельного разнообразия позиций, интересов, групп, ценностей и объединений

вовсе не является свидетельством кризиса всеобщего интеллектуального поля, предназначенного для поддержания ценностного и коммуникативного консенсуса. Это, наоборот, не распад, а возможность свободного формирования нового языка, ценностей и интеллектуальных иерархий: «Только свобода, основанная на возможности выбора, конститутивно присутствующая и после принятия решения, позволяет принять подлинное решение»²³. Соответственно ключевой вопрос заключается лишь в том, смогут ли российские интеллектуалы выдержать испытание свободой—своей и чужой—либо откажутся от свободы в обмен на привычную прозрачность, определенность и стабильность, в обмен на удовлетворение неких групповых интересов и ценностей, заведомо закрывающее пути к универсальному и всеобщему?

Представляется, что справедливы обе позиции, так как демократия как естественная среда новейшей российской политики неизбежно порождает сама в себе «проклятую сторону вещей»: «Антидемократизм—это попытка части демократического же общества справиться со своими социально-психологическими проблемами теми средствами, которые предоставляет именно демократия. Он порожден тоской по ясному (иерархическому, коллективно-монолитному и т. д.) порядку и страхом той неопределенности, которую переживает индивид, оказавшийся в демократической ситуации и, следовательно, принужденный к постоянному автономному действию. Одна из основных примет антидемократизма—стремление индивида определить себя через принадлежность к некоей общности (нации, народу, церкви, расе и т. д. и т. п.), которой придается некая безусловная онтологическая значимость. Принадлежность к этой общности гарантирует тому, кто не способен совладать с ситуацией постоянной неопределенности, чувство онтологической безопасности и защищенности... Собственно демократическое сознание исходит, напротив, из того, что оно должно воспроизводить социальный порядок путем приложения постоянных усилий, поскольку ничто не гарантирует его устойчивого существования»²⁴.

В данной логике неоправданным представляется само стремление интеллектуалов актуального периода выделиться в некий новый класс. Поскольку не обернется ли заранее поражением осознание себя как ограниченного класса, обладающего особыми интересами, для интеллигенции, претендующей на выражение через партикулярные позиции универсального и всеобщего? Тем более что сегодня интеллектуалы свободно могут занимать практически любые социальные позиции в социальной стратификации общества. Более эффективное единство интеллектуалов теперь может быть достигнуто именно посредством их общественных целей и функций, связанных с производством

²³ Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 138.

²⁴ Куренной В. Интеллектуалы // Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных направлений. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2006. С. 12–13.

упомянутых выше моральных, культурных, социальных идеалов и образцов, которые не тождественны работающим автоматически стандартам и нормам социума: «люди, сильные духом, деятели, как называл их Белинский, склонны придавать своей особой позиции всеобщее значение. И это хорошо, пока уверенность в своей правоте имеет действительное историческое содержание, и это плохо, когда она расходится с объективной истиной. Но если человек с самого начала не претендует на всеобщее содержание своих идей, а хочет только выкроить себе особое видение рядом с другими видениями—это всегда плохо. Релятивизм, как называется эта теория, есть верный признак разброда умов, а где вы видели, чтобы в такой среде рождались сильные индивидуальности?»²⁵

В условиях демократии люди придерживаются различных ценностей, поэтому проблема их компромисса в обществе является перманентной для функционального сохранения этого общества. Как интегрировать верующих и атеистов, эгоистов и альтруистов, традиционалистов и обновленцев, общинников и индивидуалистов? Каждому свойственно выдавать свои ценности за аксиоматичные, всеобщие, самоочевидные. Но публичная сфера, являющаяся сферой конфликта и компромисса интересов, обнаруживает, что дело сложнее, чем представляется на первый взгляд. И выявить сферу всеобщего интереса, которая выходит за пределы частных, частных пространств людей, можно только посредством общественных дискуссий и конфронтации, путем выявления господствующих интересов и нормативных представлений. Причем постоянная трансформация обществ приводит к тому, что любые нормы подвергаются коррекции, а самоочевидные ранее запреты (например, христианский запрет на ссудный процент) перестают выполняться в новых общественных практиках, и соответственно теряют силу те законы, которые были призваны их поддерживать. Если закон нарушается большинством, значит, он более не соответствует общественной морали и нуждается в коррекции или отмене.

Таким образом, функциональное единство постсоветских интеллектуалов заключается в перманентной включенности в публичные общественные дискуссии, в участии в выработке консенсуса, легитимирующего справедливость устройства, и законов того или иного общества. И этот консенсус представляется важнее того, на каких основаниях и какими коммуникативными средствами он будет достигнут. В современных сложносоставных обществах причины и доводы в пользу консенсуса у разных социальных групп могут различаться диаметрально. Поэтому общественное согласие не всегда способно выдержать разрушительного для него рационально-критического анализа.

²⁵ Лифшиц М. На деревню дедушке // Либерализм и демократия: Философские памфлеты. М.: Искусство — XXI век, 2007.

А критерии согласия разных людей с обществом, во многом лежащие в области морали, а не рациональные основания и экономической выгоды, являются методологически и исторически изменчивыми. И если тоталитаризм постоянно претендует на мировоззренческий консенсус, в основе которого лежит идеология, то нынешняя демократия может довольствоваться мягким «технологическим консенсусом», опирающимся на публичные дискуссии, интеллектуальные позиции, комментарии экспертов, выборы, референдумы, соцопросы и т. п.

Любое государство существует как нормативная саморепрезентация общества в виде институтов, традиций, практик, законов. В России эта презентация почти всегда получает статус автономного явления, которое часто встает над обществом, огосударствует последнее через поглощение автономных частных сфер публично-общественной, которая затем тоже монополизирована. Одна из возможных ключевых задач постсоветских интеллектуалов — ограждать демократическое общество модерна от традиционного для России огосударствления. В этой перспективе интеллигенция по определению критична или, по крайней мере, независима от государства, как *одного из* центров силы в публичном пространстве. Но для роли одного из центров силы интеллектуальной активности недостаточно, чтобы поддерживать плодотворный конфликт с другими центрами силы. Для этого необходима поддержка общества, которой можно заручиться, опираясь только на более эгалитарные и универсальные ценности, чем государство. Не случайно извечной темой интеллигентского дискурса являются отношения с государством. Может ли интеллигент-интеллектуал быть одновременно чиновником, или он автоматически превращается в идеолога и конформиста, меняющего статус на способность к объективации и критической рефлексии? Поскольку последнее содержит автоматическую опасность утраты его интеллектуальной автономии.

Заключение

Каким будет постсоветское поколение интеллектуалов, родившееся после 1980 года, чья социализация началась уже после СССР? Станут ли они очередным поколением интеллигенции или тихо растворятся в треугольнике «элиты», «средний класс», «эксперты» в условиях космополитической меритократии как социальной утопии ближнего прицела? Кто и как сможет подняться над локальными ценностно-коммуникативными системами и кодами (власть, знание, экономика), чтобы предложить коммуникативно-ценностные основания для глобальной «системы общества»? Не станет ли, наконец, конвенциональным «общим местом» отнесение интеллигенции как класса к социальному мифу, поскольку в современном сложносоставном обществе не существует фундаментальных, онтологических критериев принадлежности к ней, связанных с образованием, уровнем дохода, кругом

чтения, классовым самосознанием или родом занятий. Круг интеллектуалов становится все более разнообразен и включает все большую часть общества посредством образования, предельной демократизации и общедоступности электронных и иных массовых коммуникаций. В результате интеллектуалы обнаруживаются где угодно: и в армии, и на студенческой скамье, и в бизнесе, и во власти. Но что тогда их объединяет? Имеет ли вообще смысл абстрагировать всех интеллектуалов в некую социальную общность, объединенную некими целями и ценностями? И не станет ли эта редукция социальной сложности редукцией к абсурду?

Наконец, какая интеллектуальная стратегия будет превалировать: поиск и присоединение к некой близкой общности или всеобщая оппозиция, связанная с индивидуальной свободой? Многое в ответах на эти вопросы зависит от эволюции российского общества в ближайшем будущем. В частности, теория постоянного повышения ценности в глобальной экономике такого ресурса, как знание подразумевает усиление влияния интеллектуалов, способных производить искомое уникальное знание. Утопия постиндустриального и даже «постматериального общества» фактически не только неизбежно выдвигает как новый доминирующий класс интеллектуалов, но и делает их все более независимыми от остального общества, так как привычная парадигма конфликта по поводу средств производства уже не работает. В соответствии с этой утопией «люди, составляющие сегодня элиту, вне зависимости от того, как ее называть — новым классом, технократической прослойкой или меритократией,— обладают качествами, не меняющимися под воздействием внешних социальных факторов. Не общество и не социальные отношения делают человека представителем господствующего класса и не они дают ему власть над другими людьми; сам человек формирует себя как носителя качеств, делающих его представителем высшей социальной страты»²⁶. Получается, что космополитический «креативный класс»²⁷ интеллектуалов вообще явно никого не эксплуатирует, просто он в силу своих знаний и способностей имеет недоступные прочим возможности. И этот разрыв будет усиливаться, как и независимость нового «креативного класса» от элит и общества в целом, основанная на его профессиональной компетенции. Но этот процесс, если он действительно возобладает, как раз и означает предпосылку превращения интеллектуалов впервые в истории в новый и довольно массовый класс будущего глобального общества. В более ограниченной постсоветской перспективе успешность интеллектуалов зависит от более приземленных критериев: «Конверсия интеллигенции в интеллектуалов зависит

²⁶ Иноземцев В. On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий XXI века // Постчеловечество. М.: Алгоритм, 2007.

²⁷ См.: Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. М., 2005; Лэндри Ч. Креативный город. М., 2006; Гнедовский В. Проблемы развития постиндустриального общества в городах США // Экология культуры. 2005. № 2.

от целого ряда внешних условий, и прежде всего от высоких гарантий независимости интеллектуалов от государства. Эти гарантии тем выше, чем большей властью обладает капитал произведенного интеллектуалами знания. Следующее условие: профессионализм и сознательный отказ от чисто просветительских и воспитательных функций по отношению к „незрелому“ народу. Наконец, важна материальная возможность существовать за счет интеллектуального труда в качестве самостоятельного работника»²⁸.

Тем не менее попытка структурно-функциональной целевой классификации интеллектуалов как нового влиятельного класса будущего постиндустриального или информационного общества влечет вопрос о незаменимых и не передаваемых другим социальным слоям функциях, которые может выполнять эта группа. Но все доказательства наличия подобных незаменимых функций, их общественной необходимости и полезности, а также незаменимости выполняющего их класса интеллектуалов оказываются весьма проблематичными²⁹. Более того, функции постсоветских интеллектуалов убедительно и с тем же успехом могут быть оценены не только как необходимые и полезные, но и как деструктивные и вредные, в зависимости от идеологических позиций оценивающего³⁰.

Российские интеллектуалы и их роль остаются, хоть и в меньшей степени, чем интеллигенция, зависимы от того целевого и ценностного контекста, в который их помещают. Это свидетельствует об отсутствии устоявшегося консенсуса в самой среде интеллектуалов по поводу их задач и возможностей в нынешнем российском обществе, их реальной роли как в интеграции общества, так и в разделении общественного труда и его результатов, материальных и символических. Интеллектуалы как реальная общественная инстанция, как класс выгодно политизированным интеллектуалам, которые стремятся заработать дополнительный символический капитал, преобразуя свои знания, статусы и компетенцию в известность, деньги и власть. Также существование «класса интеллигенции» как непрерывного и по сей день длящегося исторического мифа объективно выгодно российскому правящему классу, который испытывает общий дефицит доверия и моральной легитимности. Соответственно легитимация политического режима от имени интеллигенции как наиболее моральной части общества во многом выводит правящую элиту из ситуации «морального коллапса», где воля к «властесобственности» не замаскирована никакими иными целями и ценностями. Для этого создаются специальные органы интеллигентского вещания, типа Общественной палаты и ее

²⁸ Фирсов Б. Интеллигенция и интеллектуалы в конце XX века // Звезда. 2001. № 8.

³⁰ См. например: Кара-Мурза С. Интеллигенция на пепелище родной страны. М.: Былина, 1996.

²⁹ См.: Ушакин С. Функциональная интеллигентность // Полис. 1998. № 1. С. 21.

субъектов, транслируются мнения профессиональных представителей «интеллигенции», «науки», «искусства» и иных персонализированных носителей «совести нации». Но в любом случае подобная мифоинтеллигенция является рудиментом индустриализирующихся обществ, нуждающихся в учителях, поводырях, вождях и прочих элементах «внешней совести». А вот явная необходимость и незаменимость интеллектуалов для актуального российского общества в публичной повестке пока не самоочевидна. Что обусловлено как архаизирующими факторами отчасти демодернизированного постсоветского общества, так и все хуже работающим советским функционально-интеллигентским архетипом, от которых, однако, отечественному интеллектуальному сообществу предстоит избавляться еще очень долго.

Анастасия Ястребцева

ФРАНЦИЯ

Интеллектуал — это образованный человек, творец или посредник, который с необходимостью является человеком политическим, производителем или потребителем идеологии.

Паскаль Ори¹

Интеллектуалы во всем их разнообразии составляют особенную категорию социальной и политической жизни Франции — именно во Франции в конце XIX столетия появилось само понятие «интеллектуал» в современном смысле этого слова. Историю французских интеллектуалов принято начинать с конца XIX века. Ее исходным пунктом является дело капитана Альфреда Дрейфуса, в дискуссии вокруг которого понятие «интеллектуал» приобрело политический смысл². Выражая свое отношение к делу Дрейфуса, писатели, люди искусства и университетские преподаватели оказались массово вовлечены в политику. Дело Дрейфуса определило социальную функцию интеллектуалов: их главная задача виделась в том, чтобы вступать в диалог с властью и сообщать ей истину от лица тех, кто нуждается в защите. За подписью интеллектуалов одна за другой подавались петиции, при их непосредственном участии устраивались манифестации и организовывались ассоциации по борьбе за права человека³. Вызвав широкий общественный резонанс, дело Дрейфуса способствовало консолидации интеллектуалов, борьба которых в конечном итоге принесла свои плоды. Капитан Дрейфус был оправдан, освобожден и реабилитирован. И, как отметил В. Дата, именно тогда «французские интеллектуалы стали моделью для интеллектуалов всего мира»⁴.

Становление интеллектуального сообщества как социальной группы происходило во Франции на фоне депрессии, в которую была

¹ Ory P., Sirinelli J.-Fr. *Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours*. P.: Colin, 1986. P. 10.

² Jennings J. and Kemp-Welch A. (eds.) *Intellectuals in Politics. From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie*. London: Routledge, 1977. P. 7.

³ Например, Лига по защите прав человека и гражданина, созданная в 1898 году. Во главе

этой Лиги стояли пять сенаторов, но в нее входило также множество университетских преподавателей (Э. Дюкло, А. Гири, П. Мейер, Ш. Сейнобос и др.).

⁴ Noiriel G. *Penser avec, penser contre*. P.; Berlin, 2003. Послесловие «Жажда истины» («Un désir de vérité»).

погружена Европа в конце XIX века. Спад экономики стимулировал процесс становления национальных европейских государств и вызвал кризис либеральной идеологии. Потребность в обеспечении социальной безопасности вела к усилению роли государства в различных сферах общественной жизни. В процессе централизации власти стали формироваться различного рода социальные и профессиональные организации, целью которых была защита интересов граждан и профессионалов в той или иной области. Рост различных форм протеста и социальной борьбы конкретизировал социальную позицию этих организаций, выявив необходимость в легитимации и артикуляции их интересов. Оппозиционные политические воззрения, характерные для политического и идеологического спектра XX столетия, приобретают в это время свою законченную форму: «левым», ориентированным на решение социальных проблем, противостоят «правые», видящие свою главную задачу в отстаивании национальных интересов. Этот же политический разлом обнаружился и в связи с делом Дрейфуса.

Если «левые» интеллектуалы, для которых характерно совмещение ролей ученого и политического критика, придерживались прогрессистских взглядов, то многие «литераторы», напротив, стояли на консервативных позициях и тем самым примыкали к «правым». В этот период, как отмечает М. Винок в работе «Век интеллектуалов», антиинтеллектуализм стал основным элементом консервативного дискурса⁵. Если левые критиковали власть, отстаивая права человека и поддерживая протестные социальные движения, то правые были враждебно настроены по отношению к попыткам демократизации французского общества, отстаивая идею защиты национального единства и усиления государственной власти.

Основные тезисы, которые консерваторы противопоставили левым интеллектуалам, легли в основу националистической доктрины, разработанной антидрейфусаром М. Барресом. Он выдвинул тезис о необходимости защиты французского народа, используя при этом понятия «агрессора» и «жертвы». Поскольку дело Дрейфуса имело ярко выраженный антисемитский характер, то под «агрессорами» понимались прежде всего евреи, которые представляют, по мнению Барреса, угрозу для безопасности французских граждан и национальной идентичности. Второй тезис следовал из первого: интеллектуалы, защищавшие «чужеродных» (например, еврея Дрейфуса), являются их сообщниками. Баррес изобличал интеллектуалов как «аристократов мысли», которые живут в богатых кварталах и полностью погружены в свои книги, презирая «инстинкты обездоленных»⁶. Он иронично назвал эту новую «благородную касту» «сверхлюдьми», которые критикуют актуальные

⁵ Winock M. La Siècle des intellectuels. P.: Le Seuil, 1997.

⁶ Sterhell Cf. Z. Maurice Barrès et le nationalisme français. Bruxelles: Complex, 1985. P. 246–281.

действия власти только потому, что им кажется, будто они сами обладают неким универсальным знанием⁷.

Баррес задается следующим вопросом: на каком именно типе знания основывают интеллектуалы ту истину, которую они хотят донести до власти? Этот вопрос играет важнейшую роль на всем протяжении дальнейшей истории интеллектуалов во Франции. В процессе кристаллизации интеллектуального сообщества в связи с делом Дрейфуса этот вопрос решался двояким образом. С одной стороны, речь шла о политическом изобличении тех аспектов государственной политики, которые противоречили республиканским идеалам. Средством такого изобличения была журналистика. В деле Дрейфуса Э. Золя был одним из активных сторонников этой идеи, для обоснования которой было достаточно одного его авторитета: «Если Золя об этом написал, значит, это правда». Именно с открытого письма Э. Золя президенту Франции Ф. Форю, которое главный редактор газеты «Литературная, артистическая, социальная заря» (*L'Aurore littéraire, artistique, sociale*) Ж. Клемансо сопроводил подзаголовком «Я обвиняю»⁸, интеллектуал во Франции выступает как глашатай республиканизма.

С другой стороны, выражая свое мнение в отношении дела Дрейфуса, преподаватели, исследователи, студенты оказались вовлечены в общественный конфликт, не располагая при этом политическими средствами борьбы. Обратив на это внимание, М. Баррес и Ф. Брюнетьер обрушили на интеллектуалов всю мощь своих саркастических замечаний. В еженедельнике «Газета» (*Le Journal*) от 1 февраля 1898 года вышла статья Барреса «Протест интеллектуалов» (*La Protestation des intellectuels*), в которой автор определил этот протест как инициативу «злобного и жалкого духа». Интеллектуал-республиканец (или, как его также называли правые, моралист-кантианец) представлялся Барресу символом социального разложения и уничтожения национального единства. В «Романе о национальной энергии» (*Roman de l'énergie nationale*, 1897–1902) он создал язвительный портрет современного ему интеллектуала — профессора философии Поля Бутейе, превратившегося в парламентария-оппортуниста. Фигуре интеллектуала — носителя и защитника республиканских ценностей — он противопоставил интеллектуала, стоящего на страже национально-государственных интересов.

Единственная же возможность для университетских интеллектуалов-дрейфусаров быть услышанными состояла, по Барресу, в том, чтобы предложить свою личную концепцию истины, которая основывается не на противопоставлении справедливости и несправедливости, равенства и неравенства, а на различении истинного и ложного. Именно это отличие в трактовке истины радикальным образом отличало

⁷ Там же. P. 277.

⁸ Zola E. J'accuse // *L'Aurore littéraire, artistique, sociale*. 13 janvier 1898.

ученого от политика. И тогда дело Дрейфуса должно рассматриваться не с точки зрения справедливого / несправедливого антисемитизма, а с точки зрения приговора, вынесенного на основании *ложных*, поддельных документов, сфабрикованных с целью обмана правосудия. А поскольку в эту эпоху главным методом гуманитарных наук являлся метод критического анализа текстов, то единственный способ обосновать невиновность капитана Дрейфуса состоял в доказательстве факта этой фальсификации. Наука и правосудие шли здесь рука об руку. Для университетских преподавателей и исследователей это и было свидетельством того, что в условиях современного общества наука служит не только приращению знания, но еще и выполняет социальные функции. В общественном сознании образ интеллектуала начал устойчиво ассоциироваться с преподавателями университетов и дипломированными исследователями.

Дрейфусарский активизм молодых преподавателей и ученых способствовал их вхождению в политику, в итоге сформировалось целое поколение «социалистов-дрейфусаров», хотя и не все защитники Дрейфуса примкнули к этому лагерю. Возникли первые социалистические журналы: «Социалистическое движение» («Le Mouvement socialiste»), «Двухнедельные тетради» («Les Cahiers de la Quinzaine»), «Свободные страницы» («Pages libres»).

В лагере антидрейфусаров наряду с М. Барресом действовал и другой яркий представитель французского политического консерватизма — Ш. Моррас. Они оба входили в состав так называемой Романской школы, созданной еще в 1890-е годы⁹. Этих авторов объединяла идея возврата к «почве», к исконным национальным ценностям в виде абсолютизма, церкви и семьи. В 1898 году профессором философии А. Вожуа и молодым литератором М. Пюжо, стоявшими на антидрейфусарских позициях, было создано националистическое и монархическое политическое движение «Аксьон Франсэз» («Action Française»), идеологом которого и стал Ш. Моррас. Ш. Моррас создал политическую доктрину «интегрального национализма». От традиционного монархизма ее отличало сочетание «национализма», который, вплоть до дела Дрейфуса, был, по сути, синонимом «республиканизма», с роялизмом и католицизмом.

В контексте описанных процессов можно говорить о нескольких основных социальных смыслах понятия «интеллектуал» во Франции, наметившихся уже в связи с делом Дрейфуса. Первый — более широкий — касается социального статуса интеллектуала и его самоидентификации в социальном и профессиональном пространстве. Второй — более узкий — является идеологическим и связан с критическим характером этого феномена. В первом случае понятие «интеллектуал»

⁹ Среди других ее известных членов были также Ж. Мореас и М. Дюплесси.

отсылает нас к определенному роду профессии, тогда как во втором — к его призванию и предназначению. Однако спровоцировавшее широкие дискуссии об интеллектуалах и интеллектуализме во Франции дело Дрейфуса вместе с тем обнаружило и третью возможную срединную трактовку «интеллектуала», не сводящуюся ни к одному из двух указанных значений. Принадлежность к интеллектуальному сообществу определяется в этом ракурсе не социальным статусом индивида и не его социальной ролью, а его участием в политической жизни и в политических дискуссиях. Иначе говоря, интеллектуал — это не тот, кто только мыслит, но тот, кто сообщает о своей мысли, оказывая, таким образом, публичное влияние через подачу петиций, участие в общественных прениях, написание эссе, трактатов и т. п. При этом высказываемые им идеи должны быть концептуально обоснованы посредством абстрактных понятий¹⁰.

Идентичность интеллектуала, в свою очередь, обнаруживает себя в двух формах — профессии и приверженности определенным идеям. Профессионал в области искусств, гуманитарных или естественных наук основывает свою легитимность в качестве интеллектуала и приобретает определенную известность в политической сфере как носитель определенных ценностей и представитель интересов определенных социальных групп (например, как защитник угнетенных). Еще одно измерение интеллектуализма — это само общественное поле дискуссий, которое позволяет интеллектуалу проявить себя и свои убеждения. С социологической точки зрения, интеллектуал предстает как активный участник социальных отношений, публичный деятель¹¹, тогда как для историка интеллектуал — это прежде всего исторический субъект, который определенным образом соотносит свою волю с коллективным благом и коллективным опытом¹². Таким образом, идентичность интеллектуала структурируется в трех различных измерениях: профессиональная компетентность, политические устремления и значение этой политической позиции в дискуссионном общественном пространстве как поле легитимации интеллектуала.

Огромную роль в становлении французского интеллектуального сообщества сыграли пресса и издательское дело как важнейшие коммуникативные институты. Р. Дебре в работе «Интеллектуальная власть во Франции»¹³ на основании структурного подхода выделил три этапа в истории французских интеллектуалов: «университетский период» (1880–1920), «издательский период» (1920–1960) и «медийный период» (1968). Эта история немыслима без участия директоров

¹⁰ Ory P., Sirinelli J.-Fr. Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours. P.: Colin, 1986. P. 9.

¹¹ Leclerc G. Sociologie des intellectuelles. P.: PUF, 2008. P. 8.

¹² Ory P., Sirinelli J.-Fr. Les intellectuels en France, de l'affaire Dreyfus à nos jours. P.: Armand Colin, 1986. P. 10.

¹³ Debray R. Pouvoir intellectuel en France. P.: Ramsay, 1979. Переизд.: P.: Folio/Essai, 1986.

издательств, главных редакторов, секретарей редакций. Важен и профессиональный сдвиг: уже в 1880–1890-х годах, как пишет Дебре, практически сформировалась профессия журналиста, занявшего место прежнего публициста и писателя (в изданном в 1858 году «Словаре профессий» («*Dictionnaire des professions*») Ж. Шантрона статья о «Журналисте» по-прежнему отсылала к статье «Писатель»).

Дело Дрейфуса стало судьбоносным не только для политизации университетской среды, но и для взаимоотношений интеллектуалов и издательств. После того как более 150 книг и брошюр было издано издательством «Сток» («*Stock*») в защиту Дрейфуса, другие издательства также стремились воспользоваться этим шансом для развития. Левые и правые интеллектуалы отличались по своим издательским стратегиям. Как отмечает Ж. Понти, те, кто считали Дрейфуса виновным, предпочитали средства массовой информации (газеты, журналы) в качестве арены для политических баталий, тогда как дрейфусары предпочитали эссе и книги¹⁴. С развитием издательств ученый и исследователь — человек пера — получил возможность эффективно сочетать свои профессиональные компетенции с политическим действием¹⁵.

Французская интеллектуальная жизнь последующего периода располагается между полюсами, обозначившимися в ходе дела Дрейфуса, — социализмом и консерватизмом националистического толка. Однако как левый, так и правый полюса в этот период приобретают все более выраженный дисперсный характер. Католические и монархические формы консерватизма утрачивают свое влияние, тогда как набирают популярность течения фашистского толка¹⁶. В период оккупации, однако, политика немецких властей вызывала неприятие у сторонников французского национализма, что лишило опоры позиции французского фашизма. Но и попытки национальной консолидации, предпринятые после поражения в войне с Германией маршалом

¹⁴ Ponty J. *La Presse devant l’Affaire Dreyfus. Contribution à une étude sociale d’opinion publique*: Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 3 цикла. Высшая практическая школа, 1971.

¹⁵ Забегая несколько вперед, стоит заметить, что после 1945 года медийная ситуация изменилась. Радио стало главным источником информации для французов, предоставляя возможность для выражения различных политических позиций. Так, в 1946 году была создана дискуссионная программа «Парижская трибуна» («*La Tribune de Paris*»), в рамках которой велись жаркие политические дискуссии. Эти споры имели место и в целом ряде известных изданий, таких как, например, «Новое время» («*Les Temps Modernes*»), «Как есть» («*Tel Quel*»), «Дух» («*Esprit*») и «Новая критика» («*La Nouvelle Critique*»). В период

между двумя мировыми войнами обычной стала практика, когда директорами крупных издательств становились представители университетской среды. Таковы известные издательства Flammarion, Hachette, Grasset, Gallimard, PUF, Seuil.

¹⁶ В 1936 году Ж. Дорио была основана Народная французская партия (*Parti Populaire Français*), которая хотя и приняла с самого начала фашистские символы и идеологические принципы, но имела собственную программу, поставившую ее на самый левый фланг фашистских движений Европы. Существовали и другие фашистские группировки, например, группа «литературных фашистов» (Бразильяк, Селин, Дрие ля Рошель) — французский аналог немецких национал-социалистских литераторов направления «Крови и почвы» («*Blut und Boden*»).

Петеном и режимом «Виши», не имели успеха. Лишь генералу де Голлю в мае 1943 года удалось консолидировать основные политические и интеллектуальные силы Франции, включая коммунистов, в форме Национального совета Сопротивления (Conseil National de la Resistance).

Политические трансформации привели и к переосмыслению роли интеллектуала. Так, ставший символом политически ангажированного интеллектуала Ж.-П. Сартр писал в «Ситуациях X»: «До войны я рассматривал самого себя лишь как индивида и не видел какой-либо взаимосвязи между своим индивидуальным существованием и обществом, в котором я жил. Однако по выходе из Нормальной школы я вскоре создал целую теорию: я был „одиноким человеком“, то есть индивидом, находящимся в оппозиции к обществу благодаря независимости своего мышления, которое при этом ничем не обязано обществу и по отношению к которому это общество бессильно, так как индивид является свободным... В течение всего довоенного периода у меня не было политических взглядов, я даже не голосовал»¹⁷. Однако в ходе Второй мировой войны к Сартру пришло осознание социальной миссии интеллектуала. Осенью 1945 года в «Представлении» к первому выпуску «Les Temps Modernes» он высказался против социальной безответственности многих писателей и провозгласил, что «писатель находится в ситуации своего времени: каждое его слово имеет последствия. Как и безмолвие». Иначе говоря, каждый писатель, по убеждению Сартра, придает смысл своему времени, способствуя необходимым трансформациям. Сартр утверждает, что настоящий писатель обязан быть политически ангажированным. Сам Сартр стал своего рода символом такого интеллектуала, который активно выступал против колониальных войн, посещал с идеологическими лекциями Советский Союз, Кубу, Китай, стал Нобелевским лауреатом, но отказался от премии, был кумиром бунтующей молодежи в 1968 года и пр.

Политическая нестабильность как во внутренней, так и во внешней политике Франции после Второй мировой войны стала основанием для нового активного вовлечения французских интеллектуалов в политическую жизнь. Война в Индокитае (1946–1954), завершившаяся подписанием Женевских соглашений, и процесс деколонизации африканских стран вызвали волну публикаций и публичных выступлений французских интеллектуалов. Ж.-П. Сартр, П. Видаль-Наке, Ж. Вержес, Ф. Жансон, М.Т. Машино, Б. Стора заявляли о своей солидарности со странами третьего мира. В результате мирного процесса деколонизации Марокко и Тунис обрели независимость, в отличие от Алжира, где военный конфликт продолжался с 1954 по 1962 год¹⁸.

¹⁷ Sartre J.-P. Situation X. P.: Gallimard, 1976. P. 194–195 (Пер. на рус.: Ситуации / Сост. и предисл. С. Великовского, комм. С.Н. Зенкина. М.: Ладомир, 1997).

¹⁸ Именно он стал фатальным для Четвертой республики (1946–1958), и уже в 1958 году была принята ныне действующая Конституция Пятой республики.

Ни XX Съезд КПСС, ни венгерская осень не изменили основную структуру идеологического спектра во Франции. Интеллектуалы-гошисты¹⁹ составляли после 1956 года большинство, марксизм некоторое время сохранял доминирующие позиции. Только с приходом нового поколения и разворачиванием широких политических дискуссий по вопросам колониализма начались серьезные идеологические трансформации. Прежде всего, смена поколений повлекла за собой период идеологической депрессии, выразившейся в молчании правых и бессилии левых на фоне постепенного уменьшения влияния марксизма, хотя еще в 1960 году Ж.-П. Сартр в Предисловии к «Критике диалектического разума» писал о марксизме как «непревзойденной философии нашего времени»²⁰. Этому в немалой степени способствовала антикоммунистическая активность США.

После освобождения Франции от немецко-фашистской оккупации в 1944 году Французская коммунистическая партия стала наиболее крупной политической силой страны. Ее основными чертами была лояльность и подконтрольность КПСС. Однако стремление США помешать распространению влияния Советского Союза на основные французские политические силы привело к появлению целой группы проамериканских интеллектуалов, в числе которых самыми заметными фигурами были Р. Арон и М. Крозье. Их основной задачей было создание антикоммунистической идеологии, которая могла быть востребована в Европе в одинаковой степени как консервативными правыми, так и реформистки настроенными левыми. С началом «холодной войны» для сдерживания роста коммунистических партий в Европе американское правительство развивало интервенционистскую политику, опираясь на деятельность спецслужб. С одной стороны, речь шла о подготовке проамериканской элиты, а с другой стороны — о финансировании интеллектуалов-антикоммунистов.

Так, в 1950 году в Германии была создана организация Конгресс в защиту свободы культуры (Kongress für Kulturelle Freiheit), объединившая многих европейских интеллектуалов под лозунгом всеобщей модернизации и федерализации Европы. Вплоть до 1967 года деятельность этой организации тайно финансировалась CIA — Центральным агентством разведки (Central Intelligence Agency)²¹. Конгресс

¹⁹ Гошист (от фр. gauche — левый) — человек, придерживающийся левых взглядов. Термин «гошизм» изначально появился в словаре марксистов и активно использовался коммунистами для дискредитации экстремистских тенденций рабочего движения. Гошизм представляет собой смешение элементов бланкизма, троцкизма, анархизма, утопизма и маоизма. В 1965–1968 годах, когда в США, а затем и по Западной Европе прокатилась волна движений протеста в университетских кругах, это понятие стало

употребляться в более широком смысле, став синонимом протеста, сопротивления современным общественным структурам, законам их функционирования и т. д.

²⁰ Sartre J.-P. La Critique de la raison dialectique. P.: Gallimard, 1960. P. 9.

²¹ Kauffer R. La CIA finance la construction européenne // Historia, 27 Février 2003.

являлся ударной силой послевоенной американской культурной дипломатии. Интеллектуалы, писатели, журналисты, художники объединились с целью низвержения идеологического господства марксизма. Публикации в антикоммунистических журналах, участие в теле- и радиопрограммах, организация научных семинаров, исследовательских проектов, выделение учебных стипендий способствовали росту авторитета этой организации в университетских, политических и творческих кругах.

Основные идеи Конгресса были заложены в книге Дж. Бернхем 1941 года «Менеджеральная революция, или Что происходит в мире»²². Автор провозглашает экономический и идеологический крах Советского Союза, а марксистской идее классовой борьбы противопоставляет идею наступления «эры менеджеров». Как на Западе, так и на Востоке, согласно Бернхему, новый правящий класс директоров осуществляет контроль и за государством и за предприятиями, политически важные решения принимаются отныне не в Парламенте, а в кабинетах управленцев. Эта концепция была поддержана многими интеллектуалами, предсказывающими будущее «без левых, без правых» (Р. Арон), целью которых стало сплочение консерваторов и левых интеллектуалов, которые не относили себя к коммунистическому лагерю.

Р. Арон был выпускником Высшей нормальной школы в Париже и мечтал об университетской карьере. Однако, несмотря на успешно защищенную в 1948 году докторскую диссертацию по философии, он не получил места ни в Сорбонне, ни в Высшей административной школе, ни в Институте политических исследований в Париже. Это не помешало ему стать известным журналистом, печатающимся в таких крупных еженедельниках, как «Figaro» и «L'Express». Если еще в начале Второй мировой войны Арон был социалистом, то уже в 1945 году он стал членом правого правительства генерала Ш. де Голля. А его вступление в Конгресс в защиту свободы культуры окончательно определило его правые взгляды. Личным примером Р. Арон стремился подтвердить определение интеллектуала как искателя истины в противоположность приверженцам ложной очевидности догматизма. Еще в 1946 году была опубликована книга Арона «Человек против тиранов» («L'homme contre les tyrans»), в 1948-м — «Великий раскол» («Le Grand Schisme»), ставшие манифестами французских консерваторов, а в 1955-м — работа «Опиум для интеллектуалов» («L'opium des intellectuels»), вдохновленная идеями Дж. Бернхема.

Французские интеллектуалы, члены Конгресса, публиковались в журнале «Доводы» («Preuves»). Отбор статей осуществлялся нью-йоркским интеллектуалом, парижским делегатом от Конгресса Д. Бэллом. Он также распределял учебные стипендии и исследовательские

²² Burnham D. The managerial revolution or what is happening in the world now. New York, 1941.

кредиты США среди молодых европейских интеллектуалов в обмен на их лояльность и антикоммунистическую активность. В числе таких молодых интеллектуалов оказался М. Крозье. Известность пришла к нему в начале 1950-х годов в связи с успешной публикацией в журнале «Новое время» («Les temps modernes»), которым руководил Сартр. В этой статье под названием «Человеческая инженерия» он обрушился с критикой на «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта, направленный на преодоление Великой депрессии. Он выступил против вербовки ученых и их патронажа. Статья носила антиамериканский ультра-левый характер. Крозье стал участником группы «Социализм и варварство» («Socialisme et barbarie») под руководством К. Касториадиса и основал «Народную трибуну» («La tribune des peuples») — журнал о странах третьего мира при поддержке французского троцкиста Д. Герена. Однако уже в 1953 году Крозье рвет с французскими троцкистами и входит в состав редколлегии журнала «Дух» («Esprit»), в котором публикует критическую статью в адрес левой интеллигенции. Эта кардинальная смена политических воззрений М. Крозье произошла благодаря его встрече в 1956 году с Д. Бэллом, который обеспечил ему получение стипендии для обучения в Стэнфорде²³. В 1957 году он сделал доклад на конгрессе в Вене о французском синдикализме, который был опубликован в том же году в «Preuves». Затем Крозье участвовал в комиссиях по модернизации и стал наряду с Ароном одним из наиболее влиятельных сторонников концепции «третьего пути»²⁴. Он был соавтором знаменитого «Манифеста клуба Жана Мулена»²⁵, основные идеи которого сводились к отказу от каких-либо идеологий, достижению политической рациональности, участию рабочих в управлении предприятиями, уменьшению роли парламента и стимулированию технократии. В 1967 году благодаря поддержке С. Хофмана (коллеги Крозье по журналу «Esprit» и создателя Центра европейских исследований) Крозье получил пост в Гарварде. Он познакомился с известным американским дипломатом Г. Киссинджером, бывшим советником президента США Г. Трумэна Р. Нейштадтом и другими известными американскими политиками и дипломатами. Однако в 1967 году в Европе разразился громкий финансовый скандал, когда в прессе появилась информация о скрытых источниках финансирования деятельности Конгресса, в том числе CIA²⁶. В результате этого скандала Конгресс быстро утратил свое влияние и был переименован в Международную ассоциацию по защите свободы культуры, которая в 1975 году прекратила свое существование. В целом благодаря деятельности Конгресса в Европе в ходе «холодной войны»

²³ Crozier M. Ma belle époque. Mémoires. P.: Librairie Arthème Fayard, 2002.

²⁵ Manifeste du Club Jean Moulin «L'État et le citoyen». P.: Seuil, 1961.

²⁴ Речь идет о популярной в Европе идеологии «третьего пути», или «консервативной революции», противопоставленной как левым, так и правым.

²⁶ Saunders Fr. St. Qui mène la danse? La CIA et la guerre froide culturelle. P.: Éditions Denoël, 2003.

были созданы каналы финансирования американскими фондами французских интеллектуалов — сторонников идеи «третьего пути».

Новым поворотным моментом в истории французских интеллектуалов стали революционные события мая 1968 года, основными участниками которых были представители интеллигенции — студенты и преподаватели лицеев, колледжей и университетов. В Нантерре, а затем и в Сорбонне проходили митинги и студенческие столкновения. Выступления студентов были спровоцированы не столько общей политической и экономической стагнацией Франции, сколько кризисом системы французского высшего образования, построенного на принципах трехсотлетней давности²⁷. Их протест совпал с широкими выступлениями рабочего класса, не удовлетворенного конкретными условиями жизни и труда. Эти события отразили необходимость и готовность французского общества к демократическим преобразованиям.

Влияние мая 1968 года на развитие последующей культуры в развитых странах было огромным, сопоставимым, по мнению многих исследователей, со значением крупнейших политических революций современности. При этом идеологическое содержание мая 1968 года представляло собой весьма зыбкое сочетание между двумя догматическими и вместе с тем непримиримыми концепциями — марксизмом и анархизмом, которые господствовали в университетской среде в 1960-х годах. Один из основных факторов этих событий — массовизация высшего образования. Если в 1961 году во Франции насчитывалось порядка 230 000 студентов, то к 1968 году это число увеличилось вдвое. Этот лавинообразный рост был вызван бумом рождаемости 1945–1950-х годов, который привел к увеличению студенчества в 1960-х годах.

Активисты мая 1968 года черпали свою энергию не только в демографических, но и в интеллектуальных источниках. Конец 1960-х годов отмечен апогеем влияния литературы на общественное сознание, а также важным изменением интеллектуальной атмосферы, которую можно определить как демистификацию идеи гуманизма. Образ человека мысли, рожденный в эпоху между Бейлем и Кантом, которым еще вдохновлялись дрейфусары, был дискредитирован. Этому способствовали такие интеллектуальные инновации, как новая интерпретация Маркса французскими марксистами, например, Л. Альтюссером — руководителем научных исследований в Высшей нормальной школе в Париже; а также критика фрейдизма, в процессе которой сформировалась школа французского психоанализа во главе с Ж. Лаканом.

²⁷ Если образование на естественных и технических факультетах сводилось к получению практических навыков высококвалифицированного рабочего, то на гуманитарных — к запоминанию огромного количества фактов, теорий, взглядов, не имеющих отношения к реальной жизни. Дипломы доставались в результате каторжного

труда (лекции иногда длились по 10–12 часов в день, тогда как многие студенты были вынуждены работать параллельно с учебой). В конечном итоге во Франции курс заканчивала только четверть из тех, кто начинал учебу в университетах. На некоторых факультетах диплом получал лишь один из десяти студентов.

Парадоксальное во многом сочетание фрейд-марксизма стало определять научный горизонт нового интеллектуального поколения (поколение «структуралистов»).

В событиях мая 1968 года приняли активное участие многие известные интеллектуалы, например, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, Ж.-Л. Годар, Ф. Солерс и др. Именно Сартр стал кумиром бунтующей молодежи. В журнале «Интернациональный Идиот» («L'Idiot international») ²⁸ было опубликовано развернутое интервью с Сартром, в котором он выступил в поддержку студентов, «быстро осознавших,— по его мнению,— истинную проблему: из них стремятся сделать оплачиваемых работников во имя сохранения капитала». А поскольку, согласно Сартру, «интеллектуал... в нашем обществе приобретает определенный смысл, только находясь в постоянном противоречии, делая то, что не соответствует его желаниям настолько, что это уничтожает его как интеллектуала», то необходима новая система его воспитания и воссоздания его облика. В своей «Речи в защиту интеллектуалов» ²⁹ Сартр выделил в интеллектуальной истории три периода: период «знающего специалиста», период «несчастливого сознания» и период «радикализованного компаньона общественных сил», который, к сожалению, рассматривается «объективно как массовый враг».

Для студентов, принявших участие в событиях мая 1968 года, Сартр произнес знаковую речь в амфитеатре Сорбонны 20 мая, а для всех желающих — 21 октября 1970 года перед входом на завод «Рено» в Биланкур. Здесь он сформулировал утверждение «Мы имеем право возмущаться» — тезис, которого он будет придерживаться до конца жизни. Это положение Сартра разделяли многие влиятельные интеллектуалы, например, журналист М. Клавель, философ М. Фуко и поэт Ж. Жене. Как заметил один из известных общественных наблюдателей того времени журналист Ж. Даниель, «без мая 1968 года и сложности интерпретации майского скандала „Флобер“ Сартра лишился бы многих своих аспектов, не было бы ни „Кто отчужден?“ Клавеля, ни „Анти-Эдипа“ Ж. Делеза и Ф. Гваттари, ни текстов М. Фуко и М. де Серто» ³⁰.

Эти годы были взлетом гошизма. В киосках продавались сразу несколько крайне левых ежедневных газет, среди них «Красный» («Rouge») и «Красное человечество» («Humanité rouge»). Руководители крупных изданий и издательств (например, Ж. Даниель, Ф. Масперо, К. Дюран, Ж. Жьюйар и др.) продолжали играть определяющую роль в интеллектуальной и общественной жизни Франции в 1960–1970-е годы. Созданное в июне 1971 года под патронажем Клавеля и Сартра печатное

²⁸ Sartre J.-P. L'ami du peuple // L'Idiot international, № 10, septembre 1970; B. Pingaud. Faut-il rééduquer l'intellectuelle? // La Quinzaine littéraire. № 104. du 16 au 31 octobre 1970; D. Mascolo. Contre les idéologies de la mauvaise conscience // La Quinzaine littéraire. № 107. 1^{er} — 15 décembre 1970. ²⁹ Sartre J.-P. Plaidoyer pour les intellectuels. P.: Gallimard, 1972. ³⁰ Daniel J. Le Temps qui reste. P., 1973.

агентство «Либерасьон» (Libération), служившее своеобразной лабораторией интеллектуального поколения 1960-х, в то же время издавало под тем же названием ежедневную газету. Это агентство имело успех, не сравнимый с другими подобными попытками левых, объясняемый, в частности, наличием периодической газеты.

Вплоть до середины 1970-х годов гошизм определял умонастроения большинства французов. Однако уже в 1973 году была запрещена Коммунистическая лига (троцкисты), а пролетарская Левая лига (маоисты) самораспустилась. Кроме Федерации анархистов и Лиги революционных коммунистов все крайне левые течения, рожденные маем 1968-го, постепенно растворились или влились в более умеренные партии. Марксизм окончательно исчерпал свое влияние на французских интеллектуалов, а разоблачение «тоталитаризма» стало новым категорическим императивом.

Однако после событий мая 1968 года заметное ослабление социальной активности французских интеллектуалов поставило вопрос об их легитимности, поскольку большинство из них заняли позицию невмешательства в дела государства и не оказывали сколько-нибудь заметного влияния на реальный политический процесс (что было само по себе не совместимо с моделью интеллектуальной позиции, сформировавшейся в период дела Дрейфуса). Уже в начале 1970-х годов одна за другой выходят статьи о политической ангажированности интеллектуалов-гошистов, в том числе статьи Б. Пинго и Д. Масколо в «Литературном магазине» («Le Magazine Littéraire») и «L'Idiot international»³¹. В 1972 года была опубликована «Речь в защиту интеллектуалов» Ж.-П. Сартра, в журнале «Арка» («L'Arc») развернулась дискуссия М. Фуко и Ж. Делеза³² по поводу социальной роли интеллектуала и необходимости его социальной интеграции.

В исторической и исследовательской литературе бытуют неоднозначные оценки «интеллектуального характера» событий мая 1968 года. В целом ряде работ история интеллектуалов никак не вписывается в эти события, более того, между интеллектуализмом и студенческими выступлениями 1968 года не обнаруживается никаких серьезных пересечений. О мае 1968 года даже не упоминается, например, в первом издании «Словаря интеллектуалов» Ж. Жульера и М. Винока³³. Имена известных нам французских интеллектуалов не называются в ряду основных действующих лиц этих событий и в сборнике «1968,

³¹ Sartre J.-P. L'ami du peuple // L'Idiot international, N° 10, septembre 1970; Pingaud B. Faut-il rééduquer l'intellectuelle? // La Quinzaine littéraire. N° 104. du 16 au 31 octobre 1970; Mascolo D. Contre les idéologies de la mauvaise conscience // La Quinzaine littéraire. N° 107. 1^{er} — 15 décembre 1970.

на рус.: Интеллектуалы и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002. (Серия «Новая наука политики»). С. 66–80).

³³ Julliard J. et Winock M. Dictionnaire des intellectuels. P.: Seuil, 1996.

³² Entretien entre G. Deleuze et M. Foucault. Les intellectuels et le pouvoir // L'Arc. N° 49. 1972 (Пер.

анализ французского мая»³⁴. Противоположная позиция отстаивалась такими авторами, как П. Комб в работе «Литература и события мая 1968 года»³⁵, Ж.-Л. Вьоле в книге «Архитекторы и май 68-го»³⁶, Ж. Лебланк и Д. Фару в работе «Май 68-го, или Незаконченное кино»³⁷. Эти три работы объединены тем, что в них май 1968 года рассматривается как переломный момент в истории самоосмысления французских интеллектуалов, которые отныне все больше сосредотачивают свои усилия в рамках той или иной профессиональной сферы.

После событий мая 1968 года радикальным образом изменились и отношения интеллектуалов с масс-медиа. Обозначив в работе «Интеллектуальная власть во Франции» последний этап истории интеллектуалов, начавшийся в 1968 году, как «медийный», характеризующийся расцветом СМИ, увеличением их влияния на общественное сознание и приоритетное их использование интеллектуалами для сообщения своей политической позиции, Дебре заметил, что «аудиовизуальность сегодня—это в каком-то смысле предательство (ученых), поскольку она является главным инструментом господства»³⁸. Дебре таким образом, с одной стороны, указал на все увеличивающийся разрыв между ученым и политиком, а с другой — высказал опасение по поводу последствий тотальной медиатизации интеллектуального пространства, призывая к пристрастности и бдительности. Выполняя задачу распространения «французской культуры» и общественного просвещения, радио и телевидение задействовали ее представителей, приглашая к обсуждению актуальных проблем сотрудников университетов, функционеров, литераторов, художников и т. п. Однако приглашение интеллектуалов поучаствовать в той или иной передаче объяснялось теперь необходимостью представить зрителю нейтральное с точки зрения политических предпочтений техническое мнение эксперта по актуальным вопросам здоровья, семьи, труда, окружающей среды, психологии, прав человека. Причем стиль общения с экспертом не предполагал отныне обращения к его личности.

Логика большинства культурных программ строилась на различении «человека культуры» и ангажированного «интеллектуала», ученого и политика. При этом доступ к микрофону зависел не только от политических факторов, поскольку большое значение имели личные отношения, что также зачастую становилось проявлением своеобразной, но довольно жесткой «цензуры». Тем не менее, несмотря эти перипетии и ограничения, сотрудничество интеллектуалов с масс-медиа

³⁴ 1968, exploration du mai français: actes du colloque Acteurs et terrains du mouvement social de mai-juin 1968, les 24 et 25 novembre 1988. P.: Harmattan, 1992.

³⁵ Combes P. La Littérature et le mouvement de mai 1968. P.: Seghers, 1984.

³⁶ Violeau J.-L. Les Architectes et mai 68. P.: Recherches, 2005.

³⁷ Leblanc G. et Faroult D. Mai 68 ou le Cinéma en suspens. P.: Festival Résistance et Ed. Syllepse, 2007.

³⁸ Debray R. Pouvoir intellectuel en France. P.: Ramsay, 1979. P. 203 (Перевод: Folio/Essai, 1986).

показывает, что вне зависимости от политических расхождений существовал некий консенсус элит, основанный на общей литературной культуре. Немалую роль в достижении этого единения сыграли такие литературные и исторические передачи, как «Художественная литература» («Belles Lettres»), «Кто вы?» («Qui êtes vous?»), «Час французской культуры» («L'Heure de culture française»), «Рентгеноскопия» («Radioscopie»), «Апострофы» («Apostrophes»).

Именно «Apostrophes» в 1970-х годах сыграла ключевую роль в создании медийного портрета так называемых новых философов (Б.-А. Леви, Ж.-П. Долле, А. Глюксман, К. Жамбе, Г. Лардрю, Ж.-М. Бенуа и др.), избравших СМИ в качестве главного средства трансляции своих идей. Это способствовало возникновению теории медиократии, большой вклад в развитие которой позднее внес Р. Дебре в «Трактате о медиологии» («Traité de médiologie», 1979) и подготовительных тетрадях к нему «Интеллектуальная власть во Франции» («Le Pouvoir intellectuel en France», 1979), где он представил общую теорию интеллигенции и вывел тип «непродажного» для прессы интеллектуала. «Новая философия» подверглась резкой критике со стороны многих интеллектуалов по причине, с одной стороны, популяризации философского знания, а с другой — из-за отказа «новых» от прошлых завоеваний интеллектуалов, к каковым относятся вера в общечеловеческий прогресс и отказ от каких-либо действий, могущих привести к установлению деспотизма и тоталитаризма.

Как уже было сказано выше, идеологически движение мая 1968 года состояло в синтезе двух разнородных идеологий: анархизма и марксизма. В 1970 году некоторые молодые интеллектуалы-гошисты склонялись к анархической логике. Тогда же возникла группа «Да здравствует революция» («Vive la Révolution»), издательский орган которой «Все!» («Tout!») был первым из радикальных левых изданий, сделавших вопросы феминизма и гомосексуализма широко обсуждаемыми на своих страницах. Кроме того, молодые гошисты, вышедшие из марксизма, обратились к вопросам культуры и психоанализа, переосмысленные ими в революционном контексте. В 1970-е годы кумирами нового интеллектуального сообщества стали Ж. Делез и Ф. Гваттари, в соавторстве написавшие работу «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» («Capitalisme et schizophrénie: Anti-Oedipe», 1970)³⁹, вызвавшую широкий общественный резонанс. Активистскую повестку дня конца 1977 года С. де Бовуар резюмировала, например, следующим образом: «9 января, воззвание в пользу испытывающей трудности «Politique pebdo»; 23 января, обращение против репрессий в Марокко; 22 марта, письмо председателю суда Лавалья в защиту Ивана Пино, обвиненного

³⁹ Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

в том, что отослал свой военный билет; 26 марта — протест против ареста певца в Нигерии; 27 марта — призыв к свободам в Аргентине; 29 марта — петиция, обращенная к конференции в Белграде против репрессий в Италии; 1 июля — протест против обострения политической ситуации в Бразилии»⁴⁰.

Особенность этой эпохи состоит в радикализации многих ранее использованных интеллектуалами методов. Ж.-П. Сартр выступил в июне 1970 года гарантом при создании Фонда красной помощи, организации взаимопомощи и немедленного реагирования для рабочих. М. Фуко, который изучал пенитенциарные учреждения и социальные процедуры и механизмы заточения, бросал «вызов угнетающей власти, когда та скрывает свое истинное лицо под другим именем — справедливости, техники, науки, объективности»⁴¹. Совместно с Сартром и историком П. Видаль-Наке Фуко сотрудничал с Группой информации по тюрьмам. Многие интеллектуалы-активисты подвергались достаточно суровым репрессиям, если их не поддерживала рука более или менее известного человека, в том числе влиятельного интеллектуала.

Постепенно увеличивался раскол между различными направлениями в рамках гошизма, который положил конец уже на стадии разработки множеству новых проектов, газет и организаций. Некоторые интеллектуалы 1960-х в начале 70-х годов объединились вокруг так называемого *специального* гошизма, который можно определить как движение в защиту интересов потребителя, защиту окружающей среды и защиту разного рода меньшинств (феминизм, регионализм, сексуальные меньшинства и т. д.). М. Лебри основал в 1972 году газету «Нищета» («La Gueule ouverte») — первое во Франции радикально-экологическое издание, которое, однако, просуществовало лишь в течение года. Другой пример — феминистское движение во Франции, одной из основательниц которого была С. де Бовуар. К числу ее сторонников обычно относят М. Кардиналь, А. Леклерк, Б. Гру. Весьма репрезентативна для этого типа активизма гошистов история либерализации абортов. Начало процессу было положено в 1971 году так называемым «Манифестом 343», который утверждал право женщины на «нелегальный» аборт как меру, направленную на отмену законодательства, запрещающего легальные аборты. Кульминацией этой истории стал процесс в Бобини 1972 года, во время которого было снято обвинение в уголовном преступлении с женщины, совершившей аборт.

В конце 1970-х годов во французском обществе все чаще стали звучать пессимистические прогнозы по поводу перспектив существования интеллектуального сообщества и их социальной и политической роли. Как правило, ее актуальное состояние описывалось как «кризис», «закат», «молчание». Уход из жизни многих наиболее влиятельных

⁴⁰ Beauvoir S. de. Cérémonie des adieux. P., 1981.

⁴¹ Анонимное введение к «Intolérable. Enquête dans 20 prisons», 1971.

интеллектуалов питал ностальгический дискурс о «конце поколения». В 1980 году скончался Ж.-П. Сартр и Р. Барт, в 1981-м — Ж. Лакан, в 1983-м — Р. Арон, в 1984-м — М. Фуко, в 1980 году покончили жизнь самоубийством политолог Н. Пулантзас и философ Л. Альтюссер, в 1986-м — Ж. Делез. В сентябре 1986 года со страниц французского ежегодника «Новый наблюдатель» («Le Nouvel Observateur») прозвучал призыв П. Бурдьё «Сначала необходимо защитить интеллектуалов», поначалу иронично воспринятый интеллектуальным сообществом. Появлялись работы, в которых произведения и деятельность многих интеллектуалов XX столетия подавались исключительно с негативными комментариями⁴².

В 1983 году Ж. Липовецки опубликовал работу под названием «Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме» («L'Ere du vide: essais sur l'individualisme contemporain») ⁴³, где говорил о наступлении новой фазы общества потребления «невозмутимого и не бурного». В том же году журнал правых «Элементы» («Eléments») констатировал «интеллектуальную пустоту» французских дебатов. Естественно, этот тезис касался по преимуществу левых, которые доминировали в кругу интеллектуалов в течение нескольких десятилетий. Летом 1979 года несколько политических газет и журналов (в том числе «Le Monde» и «Le Nouvel Observateur») заявили о возникновении «новых правых», которые и стали главным действующим лицом в работе А. де Бенуаста «Видимый справа» («Vu de droite», 1977). Французский писатель попытался вернуть на политическую арену две великие прогрессивные и универсальные идеологии прошлого — марксизм и либерализм. Платформой для популяризации этой позиции стал журнал «Фигаро-магазин» («Figaro-Magazine»), который возглавлял Л. Пууэлс.

Весной 1981 года в «Le Monde» вышла статья Ж.-Д. Бредена, в которой он констатировал, что уже к началу 1980-х годов большинство французских историков пришли к выводу, что интеллектуалы-гошисты перестали играть сколько-нибудь значимую социальную и историческую роль. Это подтверждали и вышедшая 26 июля 1983 года в «Le Monde» статья министра М. Гало «Интеллектуалы, политика, современность» и статья журналиста Ф. Бодрийяр «Молчание левых интеллектуалов». В полемику включился Ж. Бодрийяр, в ряде статей повторив основную мысль своей книги 1982 года «В тени молчаливого большинства, или конец социального» («A l'ombre des majorités silencieuses, ou le fin du social») ⁴⁴. Он сделал вывод об исчезновении человеческого типа, который до сих пор претендовал на то, чтобы говорить от имени «бессловесных», но при этом заинтересованных в политической жизни

⁴² См., например: Burnier M.-A. L'existencialisme et la politique (1966); Le testament de Sartre (1982).

⁴³ Липовецки Ж. Эра пустоты: Эссе о современном индивидуализме / Пер. с фр. В.В. Кузнецова. СПб.: Владимир Даль, 2001.

⁴⁴ Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. Екатеринбург: Издательство Уральского государственного университета, 2000.

общностей. Бодрийяр утверждал, что чем больше социальности и больше общества, тем больше истории и интеллектуалов. А потому исчезновение интеллектуалов является свидетельством социального кризиса.

Можно ли говорить о «конце» интеллектуальной истории во Франции? Начиная с Великой французской революции вся история интеллектуалов свидетельствует о постепенно нарастающем разладе между политической и духовной властями. Равновесие между силой и духом было нарушено. В этой ситуации интеллектуалам отводится критическая роль, именно они претендуют на то, чтобы выступать гарантами универсальных ценностей, провозглашенных прежде всего в Декларации прав человека. М. Фуко, написавший ряд статей о судьбах французской интеллигенции и их политической функции, выделил два основных типа интеллектуал: универсальный интеллектуал и интеллектуал-специалист. Первый тип ассоциируется прежде всего с образом писателя как «всеобщей совестью, свободным субъектом», «носителем значений и ценностей, которые любой человек может счесть своими». Этот тип интеллектуала сформировался еще в период дела Дрейфуса и фактически доминировал вплоть до 1950-х годов. Для второго типа характерны исчезновение «писательства как сакрализующего признака» и совершенно новый тип политизации: по типу горизонтальных связей «от знания к знанию, от одной точки политизации к другой». Интеллектуал перестает быть связан с конкретной профессией (писатель), и теперь любая профессия (преподаватель, государственный служащий, ученый, врач, психиатр, инженер и т. д.) представляет собой «пункт обмена», точку пересечения политизированных коммуникаций. Как пишет Фуко, такой интеллектуал-специалист появился после Второй мировой войны, когда «интеллектуал впервые подвергся преследованиям со стороны политической власти не за общие рассуждения, но из-за конкретного знания, носителем которого он являлся, ибо как раз именно на этом уровне он представлял политическую опасность»⁴⁵.

Однако критическая функция интеллектуала по-прежнему является основной. Она может быть дополнена органической функцией (А. Грамши). Последняя состоит в идеологическом обосновании доминирования определенного класса. Но в настоящее время классовое понимание общества нередко ставится под сомнение. В этой новой ситуации критически оценивается и роль институализированных интеллектуалов, функционеров духа: «Нет ничего хуже институционализации интеллектуальной функции»⁴⁶. В таком случае, как пишет М. Винок, интеллектуальная власть в обществе должна стать рассеянной,

⁴⁵ Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 1. / Под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002. С. 202.

⁴⁶ Winock M. Le siècle des intellectuels. P.: Le Seuil, 1997. P. 772.

анонимной; она не может принадлежать ни отдельной личности, ни какой-либо определенной группе. Ее служение обществу не может больше сводиться к идеологическим акциям — всевозможным петициям и манифестам. Интеллектуальная функция должна реализовываться непрерывно — через различные механизмы воспитания и образования, которые в действительности являются своего рода «теневой властью», одновременно критической и органической в условиях демократии, где этические основания общества, стремящегося к лучшей жизни, не являются больше чьей-то монополией. Таким образом, исчезновение классической фигуры интеллектуала, оказывающего заметное влияние на общественное сознание, не означает еще «конца» самой интеллектуальной истории.

Вместе с тем оправданы и некоторые опасения пессимистов. В частности, механизм формирования интеллектуальной элиты является французский университет, массовый характер которого с 1960-х годов делает все более проблематичным саму возможность формирования группы интеллектуалов. Исторический пессимизм в отношении будущего интеллектуалов стимулирует и конфликт ценностей, являющийся неотъемлемой особенностью современного общества (очевидно, однако, что конфликт ценностей имел место и в конце XIX столетия, что не мешало развитию интеллектуальной истории, а потому не может служить достаточным основанием для констатации ее завершения в начале XXI столетия). Наконец, современные СМИ дискредитировали просвещенческий проект массового образования и воспитания масс.

Несмотря на эти неоднозначные оценки и прогнозы нам, однако, представляются справедливыми слова К. Шарля, который считает, что новые интеллектуалы «ответственны за воспроизводство традиции европейских культур и за их развитие, ощущая на своих плечах политическую ответственность перед лицом как неонационализма, так и безудержного неолиберализма», а потому они должны «придумать и предложить социуму объединяющий всех культурный проект, способный заполнить это новообразовавшееся публичное пространство...»⁴⁷.

⁴⁷ Шарль К. Интеллектуалы во Франции. Вторая половина XIX века. М.: Новое издательство, 2005.

Литература

- Aron R. L'Opium des intellectuels. Paris: Calmann-Lévy, 1955.
- Audier S. La pensée anti-68: essai sur une restauration intellectuelle. Paris: La Découverte, 2008.
- Barrès M. Scènes et doctrine du nationalisme. Vol. 2. P.: Plon, 1925.
- Bourdieu P. D'abord défendre les intellectuels // Le Nouvel Observateur, N° 1140, 12 au 18 septembre 1986.
- Bourdieu P. Homo academicus. Paris: Ed. de Minuit, 1984.
- Bourdieu P. La noblesse de l'Etat. Paris: Minuit, 1989.
- Brillant B. Intellectuels: l'ère de la contestation // Le Débat, 2008, N° 149. P. 37–51.
- Charles Ch. Intellectuels et élites en France (1880–1900), thèse d'Etat, Paris I, 2 tomes, 1985.
- Debray R. Pouvoir intellectuel en France. P.: Ramsay, 1979.
- Dosse Fr. La marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. Paris: La Découverte, 2003.
- Dosse Fr. Paysages intellectuels: changement de repères // Le Débat, «20 ans». N° 110. mai—août 2000. P. 67–91.
- Hamon H., Rotman P. Les Intellocrates. Expédition en haute intelligentsia. P.: Jean-Pierre Ramsay, 1981.
- Havard de la Montagne R. Histoire de l'Action française. P., 1950.
- Jennings J. and Kemp-Welch A. (eds.) Intellectuals in Politics. From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie. Londre: Routledge, 1977.
- Le Goff J. Les intellectuels au Moyens Age. Paris: Ed. du Seuil, 1985.
- Leymarie M., Sirinelli J.-Fr. L'histoire des intellectuels aujourd'hui. P.: PUF, 2003.
- Maurras Ch. Mes idées politiques. P., 1937.
- Negroni Fr. de. Le Savoir-vivre intellectuel. P.: Olivier Orban, 1985.
- Noiriel G. Les fils maudits de la République. Paris: Fayard, 2005.
- Noiriel G. Penser avec, penser contre. Paris: Belin, 2003.
- Nora P. Que peuvent des intellectuelles? // Le Débat. N° 1. mai 1980.
- Ory P. L'Entre-deux-Mai. Histoire culturelle de la France, mai 1968—mai 1981. P.: Le Seuil, 1983.
- Ory P., Sirinelli J.-Fr. Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours. Paris: Colin, 1986.
- Paugam J. L'âge d'or du maurrassisme (1899–1908). P.: 1971.
- Pinçon M. et Pinçot-Charlot M. Voyage en grande bourgeoisie. Paris: PUF, 1997.
- Pour une histoire comparées des intellectuels / Sous dir. de Trebitsch M. et Granjon M.-Ch. Paris: Ed.Complex, 1998, coll. «Histoire d'un temps présent».
- Rémond R. Les droites en France. P.: Aubier, 1982.
- Sartre J.-P. Plaidoyer pour les intellectuels. P.: Gallimard, 1972.
- Sirinelli J.-Fr. Le hasard ou la nécessité? Une histoire en chantier: l'histoire des intellectuelle // Vingtième siècle. Révue d'histoire. N° 9. janvier—mars 1986. P. 97–108.
- Suleiman E.N. Les élites en France. Grands corps et grands écoles. Paris: Seuil, 1979.
- Thibaudet A. République des professeurs. P.: Grasset, 1927.
- Winock M. Le siècle des intellectuels. P.: Le Seuil, 1997.
- Моррас III. Будущее интеллигенции. М.: Праксис, 2003.
- Пэнто Л. Эскиз философского поля Франции в 1960–80-е годы // Логос. N° 3/4. 2004. С. 205–230.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002.
- Шарль К. Интеллектуалы во Франции. Вторая половина XIX века. М.: Новое издательство, 2005.

Александр Михайловский

ГЕРМАНИЯ

К проблеме описания

«Интеллектуалы формулируют мировоззренческие ценности, выступают за рациональную организацию социального порядка и систематизацию индивидуальных жизненных моделей» — так, опираясь на Макса Вебера, определяет миссию интеллектуалов Гандольф Хюбингер¹. Интеллектуалы служат общественному идеалу, истолковывают мир, производят и транслируют смыслы. Вплоть до конца XIX века за социальное опосредование ценностных представлений в Германии отвечала «государственная интеллигенция», образованная буржуазия (*Bildungsbürgertum*), которая в отличие от Франции с ее рожденными Просвещением *hommes de lettres* была представлена прежде всего университетскими профессорами. Некий прототип интеллектуала — в соответствии с либеральной моделью *политического интеллектуала* как гражданина — можно обнаружить в фигуре ученого, выступавшего от имени нации во Франкфуртском парламенте. Несмотря на неудачу революции 1848 года, «политика ученых», олицетворяемая такими фигурами, как Якоб Гримм и Иоганн Дройзен, свидетельствовала о формировании совершенно новой по сравнению с домартовской Германией общественной среды. Тем самым впервые появлялась возможность для различения речи профессора *ex cathedra* и речи публичной, которая помимо базового опыта рефлексии предполагала связь с центрами власти и могла рассчитывать на общественный резонанс.

Вместе с тем примерно с 1871 года Германия проделывает путь, который во Франции привел к созданию литературного поля и «профессионализации» тех, кто вступил в борьбу за символическую и культурную власть — прежде всего, писателей и журналистов². Можно утверждать, что на рубеже столетий из *Bildungsbürger'a* *вырастает интеллектуал*. Формированию этого нового исторического типа духовной деятельности способствовала ускоренная урбанизация, которую в 1903 году зафиксировал и описал Георг Зиммель³: преобладание рассудочного начала, рост числа мировоззренческих систем,

¹ Hübinger G. Die Intellektuellen im wilhelminischen Deutschland. Zum Forschungsstand // Hübinger G., Mommsen W. (Hg.). Intellektuelle im deutschen Kaiserreich. Frankfurt a. M., 1993. S. 202.

такие исторические прототипы интеллектуала, как «*homme de lettres*» («литератор»), «*artiste*» («художник»), «*savant*» («ученый») и «*savant et l'écrivain*» («ученый и писатель») (p. 20–37).

² См.: Charle C. Naissance des «intellectuels» 1880–1900. Paris, 1990. На материале французской интеллектуальной истории XIX века автор различает

³ Simmel G. Die Großstädte und das Geistesleben // Simmel G. Das Individuum und die Freiheit. Berlin, 1984. S. 192–204.

дифференциация индивидуальных биографий приводят к трагическому расколу между «жизнью» и «культурой», к «кризису культуры». Особого внимания заслуживает такой важный социологический фактор, как перепроизводство людей с университетским образованием. Школы, университеты, государственное управление — классические сферы занятости «образованной буржуазии» — не могли больше вместить всех выпускников гуманитарных и, в особенности философских факультетов, которые становились «свободными писателями», т.е. уходили в публицистику. Плюралистически организованная сфера публичности давала людям-интеллектуалам шанс найти и сохранить за собой адекватную позицию в культурном пространстве. При этом литераторы начинали доминировать над университетскими профессорами, традиционными распорядителями знания⁴. Ситуация осложнялась тем, что профессор приравнялся прусским государством к тайному советнику, тогда как «люди пера» не могли даже в самой отдаленной перспективе рассчитывать на признание и уважение, гарантированные высоким статусом государственного служащего (*Beamte*). Именно здесь, видимо, следует искать истоки, с одной стороны, глубокой вражды, которую академический истеблишмент до сих пор питает к публичной фигуре интеллектуала, а с другой — презрительного отношения самих «людей пера» к профессорам-«мандаринам». Появлению интеллектуалов также во многом способствовала эрозия неогуманистического образовательного идеала. Требовалось выработать новые, специфические формы коллективного вмешательства в публичную сферу, каковыми стали воззвание, манифест, открытое письмо и прочие виды интеллектуального высказывания (протеста).

К условиям рождения этой отличной от ученого фигуры, в которой объединяются *писатель, публицист и политик*, можно отнести 1) общество массовой коммуникации, 2) массовый рынок духовной (интеллектуальной) продукции, 3) новые слои читателей, 4) профессиональные средства массовой информации (газеты и журналы), 5) массовый политический рынок, на котором имеют место публичные конфликты. Начиная с рубежа XIX–XX веков интеллектуалы создают «картины мира», транслируют смыслы, «расставляют вехи» в жизненных порядках. Однако выступают они теперь не только как «социальные пророки», но и как пропагандисты «национальной идеи». Интеллектуалы становятся неотъемлемой частью структурных изменений публичной политической сферы, вызванных модернизацией европейского общества. В результате «коммуникативной революции» либеральные элиты с их идеалом рациональной публичной аргументации и деятельности «во благо нации» трансформировались в массовое демократическое общество, разделенное по партийному принципу и интеллектуально

⁴ См.: Ringer F. K. Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933. München, 1987.

неоднородное. Рожденные новой эпохой «дикие публицисты» (Карл Краус) были одинаково готовы как к «расколдовыванию», так и новому «заколдовыванию» мира.

Отсюда вытекают две противоположные функции интеллектуалов — «критика власти» и «стабилизация власти», которые можно условно обозначить как «критика» и «мандат»⁵. В своей знаменитой речи «Политика как призвание и профессия» Макс Вебер описывает отношение интеллектуалов в революционные месяцы 1918–1919 годов к вопросу политической ответственности. Его приговор сводится к тому, что очарование романтикой интеллектуальных игр, лишенное какого бы то ни было чувства ответственности, оборачивается революционным «карнавалом». Вебер же пытается донести до своей академической аудитории мысль о необходимости сочетать «страсть» со «службой делу» и сознанием «политической ответственности». Таким образом, здесь идет речь об интеграции интеллектуалов в гражданское общество посредством участия в политических институтах. Эта либеральная модель образованного ученого-гражданина играет в германской интеллектуальной истории важную роль, однако конкретное историческое исследование невозможно без взятия в скобки этой нормативной характеристики, без учета самых разных форм и социально-политических условий деятельности интеллектуала.

Таким образом, «критика» является важнейшей, но не единственной сферой духовной деятельности интеллектуалов. Под критикой здесь понимается «систематическая рефлексия по поводу предпосылок и ценностей собственной мысли и поступков», равно как и «проблематизация политических и социальных порядков»⁶. Понятие «мандата» предполагает участие в политической власти как таковой, будь то в форме политической ответственности министра (пример Вальтера Ратенау), в роли депутата парламента (Фридрих Науманн и Теодор Хойс), функционера в сфере администрации или высшей школы (некоторые интеллектуалы в годы нацизма) или в качестве организаторов коммуникативных сетей, в которых действуют литераторы-публицисты как организаторы публичного пространства (кружок Науманна, консервативно-революционные объединения в годы Веймарской республики или социал-демократические интеллектуалы 1960-х годов). В этой перспективе следует говорить не только о том, какие политические роли играли германские интеллектуалы, но и о том, какие организационные формы и средства массовой информации использовались ими для целенаправленного политического влияния.

С одной стороны, «конкуренция за культурную легитимацию», в которую вступили интеллектуалы, позволяла сохранить им свой

⁵ Hübinger G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. Intellektuelle in der Deutschen Politik. Stuttgart: Deutsche Verlag-Anstalt, 2000. S. 21 ff.

⁶ Ibid. S. 21.

символический капитал по отношению к политике. Ведь интеллектуалы обладают обеспеченной «печатным капитализмом» (Б.Андерсон) властью слова, не беря на себя прямой политической ответственности за вытекающие отсюда поступки. Более того, их ценность для общества заключается прежде всего в том, что они выступают как тормозящий фактор, как профессиональные критики. С другой стороны, интеллектуалы вынуждены в той или иной степени переступать ту тонкую грань, которую принято обозначать как *sacrificium intellectus*. Это принесение автономии духа в жертву политической активности; «измена по отношению к интеллекту» означает готовность покинуть сферу чистой теории и попытаться придать идеальным порядкам социальную значимость.

С зазором между двумя этими — подчеркнем еще раз — довольно искусственно фиксируемыми ролями связана и описанная Д.Берингом история «бранного слова интеллектуал»⁷. Она берет начало с получившего европейский резонанс дела Дрейфуса, которое поляризовало французскую общественность и коренным образом изменило Третью республику. В Германии отношение населения и, в частности, «политического класса» и интеллектуалов было амбивалентным. Так, «Новый Брокгауз» 1938 года определял интеллектуала, во-первых, как «человека с глубоким гуманитарным образованием (*geistige Bildung*)», а во-вторых, как «односторонне развитого рассудочного человека, у которого характер и душа (*Gemüt*) отходят на второй план». Похожую дефиницию дает и послевоенное издание «Брокгауза» 1954 года. Словарь отражает реальный узус слова в немецком языке и показывает, что называться интеллектуалом в Германии было намного проблематичнее, чем во Франции с ее республиканскими традициями. Политики платили писателям, философам и публицистам той же монетой, крайне неохотно вступая с интеллектуалами в разговор.

На примере немецкой истории интеллектуалов можно неоднократно наблюдать столкновение между интеллектуальной нормой, заданной французским видением интеллектуала, и культурной действительностью. Так, слова о «свободно парящей интеллигенции» (Альфред Вебер) могут прочитываться и как положительная (неотъемлемое достоинство интеллектуала), и как отрицательная характеристика (недостаточная укорененность «универсального духа»). Действительно, стереотип «свободного парения» духа, означающий свободу от групповых интересов и заботу об общем благе, в дискуссиях вокруг понятия интеллектуала часто имел пренебрежительный оттенок⁸.

⁷ См. фундаментальное исследование: Bering D. Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes. Stuttgart: Klett-Cotta, 1978.

⁸ В книге «Немецкий дух в опасности» (1932) философ Э.-Р. Курциус, полемизируя с социологом К. Маннгеймом, писал: «Свободное парение — это

переходное состояние... Если дух и его носитель, интеллектуал... хочет жить полной жизнью, он должен где-то приземлиться... Кто думает удержаться в свободном парении, оказывается в комичной ситуации аристофановского Сократа, сидящего в своей мыслильнице» (цит. по: Bering D. Die Intellektuellen. S. 297).

Далеко неоднозначно и морально нагруженное понятие интеллектуала, приравнивающее его к «профессиональному критику» (М. Райнер Лепсиус). Иначе говоря, в очерке интеллектуальной истории Германии нельзя не учитывать сложного семантического поля понятия «интеллектуал», включая как позитивные, так и негативные коннотации. В отличие от той же Франции применительно к интеллектуальной истории Германии отсутствуют наработанные схемы описания, а потому с использованием понятия интеллектуала как аналитического инструмента возникают определенные сложности, вызванные, в частности, оценочными коннотациями этого понятия.

Еще одна проблема, с которой приходится иметь дело исследователю немецкой истории интеллектуалов,— это отождествление «интеллектуалов» и «левых». Политическая активность социал-демократических писателей из «Группы 47» смогла изменить отношение власти к интеллектуалам, однако в то же время способствовала утверждению восходящей еще к 1920-м годам квазимонополии левых на звание «интеллектуала». Редактор «Тагесцайтунг» К. Хартунг как-то сказал: «Ничто так не повредило критически настроенной интеллигенции, как обращенное к духу требование *держаться левой стороны* (Die-Geist-steht-links-Haltung)». Вопрос встал со всей остротой в особенности после развала блоковой системы в мировой политике. Произошла релятивизация интеллектуальных позиций, более того, левые фактически оказались в ситуации идейного банкротства. Стало очевидно, что идентификация «левых» и «интеллектуалов» — попросту заблуждение.

В этом очерке интеллектуальной истории Германии мы стараемся принимать во внимание сразу несколько планов рассмотрения проблемы: 1. С точки зрения идеологии необходимо учитывать вопрос о роли интеллектуалов в поляризации право- и леворадикальных движений, борьбу элит за различные политические и социальные проекты, которые могут стоять либо под знаком «класса», либо под знаком «народа». 2. С точки зрения истории сми — вопросы о том, как создавался и укреплялся тип выносящего общие суждения публициста или эксперта-аналитика. 3. С точки зрения относительной автономии интеллектуала — вопрос о конкуренции мировоззренческих систем и придании им политического (институционального) веса.

В начале XX века немецкие интеллектуалы пробуют играть самые разные политические роли: 1. Интеллектуалы не довольствуются ролью профессионального критика культурных ценностей и социального порядка, а пытаются использовать условия массового политического рынка для прямого политического влияния — социалистическое рабочее движение (Карл Каутский). 2. В ходе Первой мировой войны образованная либеральная буржуазия также начала примерять на себя одежды интеллектуала и включилась в партийную борьбу. Пример — теолог и культур-философ Эрнст Трёльч, который в 1917 году организовал Народный союз за свободу и Отечество (в оппозиции к правой Deutsche

Vaterlandspartei — Германской партии Отечества) и некоторое время занимал пост в прусском министерстве культуры. 3. В эпоху Веймарской республики идейной консолидации общества способствовали не столько демократические группы, сколько интеллектуалы, представлявшие различные «консервативно-революционные» движения (например, «младоконсервативные» клубы, кружок «Tat» — «Дело»).

Бесспорно, ключевым периодом для германских интеллектуалов (как, впрочем, и для европейских интеллектуалов) была первая треть XX века. В «эпоху мировой гражданской войны»⁹ они были той социальной группой, которая сделала идеологическую борьбу важнейшей частью своей духовной жизни. Эта эпоха продолжалась до тех пор, пока консервативно-революционные проекты авторитарного государства и представления о харизматичном лидере не столкнулись с реальностью национал-социалистической революции. Кто-то покинул страну, кто-то ушел во «внутреннюю эмиграцию», кто-то подвергся физическому уничтожению. Gleichschaltung, включение интеллектуалов в национал-социалистическое «движение», означало сведение их роли к минимуму. Фигура интеллектуала фактически оказалась оттеснена на периферию типом партийного функционера, боровшегося за «чистоту немецкой культуры».

После военно-политического крушения Германии в 1945 году многие правые интеллектуалы сопротивлялись, с одной стороны, «вестернизации» и «американизации», а с другой, «большевизации» страны, стремясь воплотить в жизнь проекты «другой Германии». В этом смысле необходимо критически взглянуть на принятое в либеральной историографии противопоставление левых интеллектуалов, которые хотели настоящего демократического развития, и «эры Аденаура», которую также называют «эпохой реставрации». Показательно, что в 1950–1960-е годы многие левые также признавали, что правые (наиболее яркий пример — Карл Шмитт) ставили после войны более актуальные вопросы. Обычно изложение интеллектуальной истории Германии в первое десятилетие после Второй мировой войны («ранняя Федеративная Республика») ограничивают выдающимися социал-демократическими интеллектуалами вроде Карло Шмидта. При этом право-консервативные умы практически выпадают из поля зрения. Конечно, они с трудом вписываются в понятие политического интеллектуала и свободны от дилеммы «критика или мандат». Тем не менее они, несомненно, оказали глубокое воздействие на интеллектуальный климат послевоенной Германии, наложив серьезный отпечаток на дискуссию по основополагающим проблемам общественно-философской мысли. В частности, они развернули глубокую критику индустриального общества (Х. Фрайер),

⁹ Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм / Пер. с нем.; посл. С. Земляного. Москва: Логос, 2003.

прессе как идеологического инструмента (Ф. Зибург), техники и массовой демократии (Ф.Г. Юнгер, М. Хайдеггер, К. Шмитт).

Вторая половина 1960-х годов была ознаменована всеобщей политической мобилизацией левых интеллектуалов, сопровождавшейся ростом значения сми. Наиболее показательной в этом отношении является поддержка Г. Грассом и другими молодыми литераторами из «Группы 47» Социал-демократической партии Германии и ее кандидата на пост канцлера Вилли Брандта. Большой общественный резонанс получили также радикально-демократические проекты переустройства социума. Здесь основным интеллектуальный тон задавал Франкфуртский институт социальных исследований, точнее два поколения школы — ре-мигранты М. Хоркхаймер и Т. Адорно и представитель молодого поколения Ю. Хабермас (сотрудник школы с 1964 года).

Время после 1968 года характеризуется возрастанием влияния интеллектуальных групп на общественную жизнь. Появляются новые возможности для диалога между властью и интеллектуалами. В то же время меняются традиционные роли и функции правых и левых интеллектуалов, релятивируются прежде доминирующие позиции, трансформируется медийный ландшафт.

Политическая мобилизация интеллектуалов привела к формированию критической общественности в Германии, которая в разные периоды убедительно демонстрировала готовность обсуждать вопросы «немецкой вины», холокоста, исторической памяти, единства Германии, европейской интеграции и т. д. Между тем неолиберальные взгляды, распространившиеся в обществе после крушения блоковых систем, привели к эрозии традиционной роли и идентичности интеллектуала. На его месте все чаще стал появляться «эксперт»; наконец, усилившаяся медиализация вызвала к жизни фигуру постполитического интеллектуала. С одной стороны, широкий процесс деполитизации и сложная дифференциация современного общества открывает перед тем, кто хочет называться «интеллектуалом», возможность выбора — стать экономическим или политическим советником, имиджмейкером, консультантом по выбору различных стилей жизни, наконец, просто шоуменом. С другой стороны, кризисные явления современного общества указывают на пределы такой деполитизации и вновь требуют от интеллектуала политического самоопределения.

Идеи 1914 года

В отличие от всех предыдущих войн, Первую мировую войну можно с полным правом назвать «война интеллектуалов». Статьи и публичные лекции, манифесты и воззвания придавали грандиозному столкновению индустриальных держав характер «войны за культуру» и ставили своей целью повлиять как на германскую, так и на мировую общественность.

Мировая война дала европейской культуре новый *опыт обретения смысла, всеобщей национальной мобилизации*. На основании живого переживания войны осмысление национального происходило в первую очередь в Германии и России — двух государствах с тесно переплетенной культурной историей¹⁰. «Kriegserlebnis» по воздействию на немецких ученых, философов и публицистов можно сравнить с яркой вспышкой, высветившей ключевые вопросы национального самосознания, положения Германии в мире, дальнейшей судьбы европейской цивилизации. При этом «тотальная мобилизация» Первой мировой войны включала и во многом была реализована благодаря «мобилизации интеллектуальной»¹¹.

В сентябре 1914 года писатель Людвиг Фульда составил «Призыв к культурному миру», более известный как «Манифест девяноста трех», названный так по числу подписавших манифест крупных писателей и ученых. Среди тех, кто выразил свою солидарность с «воюющим за культуру» народом Германии, были Адольф фон Гарнак и Эдуард Майер, Фридрих Науманн и Луио Брентано, Макс Либерманн и Макс Клингер, Вильгельм Виндельбандт и Ульрих фон Вилламовиц-Мёллендорф. Наиболее активную общественную позицию занимали психолог Вильгельм Вундт, который выступил в поддержку национальной идеи с текстом «Об истинной войне» (1914), и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1908 год Рудольф Ойкен. «Эта война по своему масштабу и размаху сил превосходит все известные войны мировой истории, она привела в движение целые народы, затронув глубочайшие слои жизни в целом и судьбу каждого человека в отдельности», — писал Ойкен в брошюре с весьма современным названием «Духовные вызовы современности»¹². Одним из противопоставлений, высвеченных войной и сформулированных Ойкеном, стало противопоставление «культуры труда» и «культуры наслаждения». «Культура, — утверждал автор, — производит самостоятельным творчеством собственный мир», а потому достичь самостоятельности можно лишь став «инструментом творческой жизни»¹³. Так, Ойкен с позиций философии жизни интерпретировал восходящую к Ф.М. Достоевскому и популяризованную А. Мёллером ван ден Бруком идею, что германский народ — это «народ юношеской свежести», перед которым раскрывается огромное поле возможностей (об этом см. ниже). Наконец, предъявленные современностью вызовы были сформулированы так: 1) необходимо признать уникальную ценность собственной нации как духовной сущности, 2) и вместе

¹⁰ Об интеллектуальной мобилизации в связи с Первой мировой войной в России см.: Михайловский А.В. Пещера Фафнира и чудо Пятидесятницы. Идея русского миссионизма в политической публицистике Е.Н. Трубецкого // Вопросы философии. 2007. № 11. С. 45–55.

¹¹ См.: Flasch K. Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch. Berlin, 2000.

¹² Eucken R. Die geistigen Forderungen der Gegenwart. 3. durchges. Aufl. Berlin: Otto Reichl Verlag, 1918. S. 5.

¹³ Ibid. S. 19, 23.

с тем провести основательную ревизию всего германского культурного наследия, 3) в будущем должна увеличиться роль государства, и 4) возрасти значение широких народных масс.

Стало быть, мировая война изначально рассматривалась не просто как война национальная, а борьба мировоззрений, «война за культуру». Формула, провозглашенная Эрнстом Трёлльчем (который придерживался вполне умеренных политических взглядов) в речи 1 июля 1915 года, стала своего рода ответом на вопрос историка Отто Хинтце о «смысле войны». Речь шла не только о справедливой войне, но и о необходимости положить конец «всемирному господству Англии», о формировании собственной, совместимой с национальной традицией «мировой политики». Если в Великобритании и Франции экспансионистская идеология подкреплялась лозунгами из арсенала Просвещения («человечество», «права индивида», «цивилизация», «демократия»), то германская «идеология идентичности» обосновывала войну стремлением защитить свою «общность», «культуру», «историческое право» в новых условиях.

Тезис о «1789» и «1914» годах как «символических годах в истории» был выдвинут в 1915 году в докладе социолога Йоханна Пленге. Мировая война завершила эпоху Французской революции, сама же война постепенно обнаруживает в себе революционные черты, а в ее недрах вызревает новая «идея». При этом Пленге опирался на уже существовавшее представление о том, что империя в центре Европы призвана вести борьбу с «торгашескими идеалами» Запада (прежде всего, Англии) и «деспотизмом» Востока с целью добиться равновесия (или синтеза в гегелевском смысле) между свободой и порядком, правом индивида и правом целого.

Еще радикальнее выглядели идеи общественного переустройства. Пленге относился к ярким сторонникам идеи «национального социализма», полагая, что развитие промышленности вынуждает капитализм трансформироваться в «организаторский социализм». В этом его поддерживал другой представитель идей «1914 года», социолог Вернер Зомбарт, который утверждал, что милитаризм готовит почву для охватывающего весь народ героического порядка. В памфлете «Торгаши и герои»¹⁴, написанном в первые месяцы войны и посвященном «молодым героям, сражающимся с врагом», Зомбарт по культурным, экономическим, социальным и политическим позициям противопоставляет немцев англичанам с их утилитаризмом и позитивизмом. Не менее горячо высказывался за ведение войны и молодой философ Макс Шелер, который не смог отправиться на фронт по причине слабого здоровья. В работе «Гений войны» (1915) он трактовал мировую войну как начало

¹⁴ Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота / Пер. Д.В. Кузницына // Зомбарт В. Собрание соч.: В 3 т. Т. 2. СПб., 2005.

духовного возрождения человека и явление распада капиталистической системы. В этом смысле наиболее подходящим для Германии выбором, считал Шелер, мог бы стать христианский социализм или солидаризм.

Примечательным образом путь к социализму через военную экономику казался вполне реальным и сторонникам социал-демократии. Несмотря на иные, чем у Пленге и Зомбарта, мотивы, они также мало сомневались в конце либеральной эры и делали ставку на эталистскую традицию Германии и социалистическую организацию.

Главным представителем этих воззрений был журналист Пауль Ленш. С 1915 года Ленш и двое его единомышленников — Хайнрих Кунов и Конрад Хениш — публиковались в журнале «Колокол» («Die Glocke»), который, кстати, финансировался русским социалистом Александром Гельфандом-Парвусом и оказывал немалое влияние на программу сдпг. Идея «консервативно-социалистического альянса» имела среди социалистов горячих приверженцев. «Колокол» выходил до 1925 года и служил серьезной площадкой для обсуждения исторической роли германского рабочего — «подлинного носителя» идей нации и социализма¹⁵.

К сторонникам «идей 1914» можно отнести и раннего Томаса Манна (до написания «Волшебной горы»). Его блестящий публицистический труд «Размышления аполитичного» (1918) не только придал окончательный вид формуле «культура против цивилизации», но и стал важной вехой в формировании консервативно-революционного мировоззрения¹⁶. Манн строго противопоставляет «дух» и «политику», он считает, что «бюргер» (не «буржуа») остается носителем «духовности» и как таковой не приемлет «демократии»¹⁷. Но в действительности это публичное выступление немало способствовало именно «политизации немца». Пример Томаса Манна показателен тем, что здесь успешный писатель (к тому времени Манн уже был широко известен как автор семейной саги о Будденброках) начинает выдвигать притязание на формирование общественного мнения по общественно значимым вопросам, широко пользуясь своей культурной автономией.

¹⁵ В 1920-е годы более радикальную форму этим идеям придали Август Винниг и Эрнст Никиш. Социал-демократ Август Винниг одно время был уполномоченным германским правительством для Прибалтийских земель, а затем обер-президентом в Восточной Пруссии, но лишился своего поста из-за нескрываемых симпатий к капповскому путчу. Впоследствии сблизился с национал-большевиком Эрнстом Никишем и его движением «Сопrotивление». Национал-революционную борьбу за независимость, направленную против империализма и нацеленную на утверждение национальной идентичности, Эрнст Никиш хотел связать с социал-революционным переустройством во внутренней политике, которое подразумевало устранение остатков буржуазных ценностей и

укрепление наиболее национального слоя, рабочих. Образцом ему служил Советский Союз, вместе с которым Германия должна была сформировать «антиверсальский фронт» революционных народов.

¹⁶ Mohler A., Weißmann K. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Graz: Ares Verlag, 2005. S. 65–71.

¹⁷ Mann T. Betrachtungen eines Unpolitischen // Mann T. Reden und Aufsätze, 4. Bd. xii. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. 2., durchges. Aufl. Frankfurt: S. Fischer, 1974. S. 30–31.

Эпоха кризиса либерализма

Иной тип интеллектуала воплощает собой Вальтер Ратенау. К нему, как представителю старшего поколения, идеально подходит обозначение «классический тип интеллектуала вильгельмовской эпохи». Вальтер Ратенау (1867–1922) — промышленник (после смерти отца в 1915 году возглавил концерн АЕГ), эссеист и политик. С 1921 года занимал должности министра восстановления и министра иностранных дел в кабинете Вирта и был убит 24 июня 1922 года праворадикальными террористами. В фигуре Ратенау, который изучал философию и естественные науки в Страсбурге и Берлине, боролись два начала — управленца и литератора. Подумывая об уходе из совета директоров АЕГ, он мечтал купить небольшую виллу где-нибудь в Мекленбурге и «посвятить себя философии». Желание заняться литературной деятельностью не помешало ему сделать карьеру промышленника. Но он всегда культивировал в себе художественные задатки (он приходился кузеном живописцу Максу Либерманну). Два архитектурных Gesamtkunstwerk'a — вилла в Берлине-Грюневальде и дворец Фрайенвальде — были перестроены по его собственным эскизам, выполненным в стиле прусского классицизма Шинкеля и Шадова. Но что характеризовало Ратенау как собственно интеллектуала, так это многочисленные публицистические выступления по всем вопросам культурного и политического развития Германии в эпоху перехода от империи к республике¹⁸. Подобно многим другим он считал, что наивная вера в безраздельное господство просвещенного разума подошла к концу. Однако из скепсиса по поводу значимости традиционных форм и связей у него вытекал не пессимизм, а творческая вера в «живой дух» и «новые идеи». Ратенау по праву считается подлинным творцом и основоположником «критики эпохи», в жанре которой будут позднее выступать такие разные авторы, как Шпенглер и Юнгер, Ясперс и Кайзерлинг¹⁹.

В его довоенных теоретических работах осмыслился переход к глобальной экономике, которая — при регулярном вмешательстве государства — должна была привести к нравственно обогороженному обществу. Ближе к концу войны футурологическая программа Ратенау приобрела черты гильдейского социализма. В работах «Новая

¹⁸ В берлинском издательстве «Фишер» вышли пять томов эссеистики и публицистики Ратенау: *Walther Rathenau. Gesammelte Schriften*. Bd. 1–5. Berlin: S. Fischer, 1925. (Zur Kritik der Zeit. Bd. 1. Zur Mechanik des Geistes oder Vom Reiche der Seele. Bd. 2. Von kommenden Dingen. Bd. 3. Reflexionen und Aufsätze. Bd. 4. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Bd. 5.)

¹⁹ В 1916 году Ратенау предложил один из классических примеров критики техники. «Прагмати-

ческое мышление, собирание и распределение сил, подвижность масс и умов, — писал он, — достигли невиданных прежде размеров. Однако механизация начинает представлять угрозу там, где неодухотворенная сила начинает овладевать жизнью, где движение выходит из-под контроля и делает человека, господина машины, рабом собственного творения. Здесь источники несвободы, бессмысленных усилий, вражды и духовного умирания» (*Rathenau W. Von kommenden Dingen*. Bd. 3. S. 53).

экономика», «Новое государство» и «Новое общество» он предлагал создавать профессиональные союзы и объединения ремесленников, приступить к построению государственного социализма и «полностью социализированного (vollsozialisiert) общества».

В начале войны Ратенау не разделял восторга и энтузиазма большинства своих современников. Однако позднее, в роли советника Эриха Людендорфа, он начал выступать за решительные военные действия. В августе 1916 года он поддержал Гинденбурга и Людендорфа, заявив, что «наша германская экономика способна поставить столько военной техники, сколько потребуется, и даже больше». Однако вскоре ему пришлось расстаться с этой ролью закулисного эксперта, поскольку ему не удалось убедить Людендорфа в ошибочности решения о неограниченной подводной войне. Именно здесь он оказался не готов пожертвовать своими интеллектуальными убеждениями ради политического влияния. Вместе с тем провозглашенный Ратенау в последние дни войны призыв к *levée en masse*, созданию народного ополчения, был воспринят уставшим от войны обществом как предательство по отношению к универсальному принципу гуманизма. Единственной целью политика-интеллектуала было улучшение позиций Германии к началу мирных переговоров; и хотя эти усилия были перечеркнуты внезапным предложением Людендорфа о перемирии 3 октября 1918 года, сам Ратенау мог рассматривать себя как одинокого борца за общенародное дело в прусской традиции Шарнхорста и Гнейзенау.

Парадоксальным образом фигура Ратенау, занявшего в правительстве Веймарской республики пост министра иностранных дел, стала символом измены и в глазах многочисленных правых радикалов. Еще в начале войны он выступил с заявлением, где говорилось, что «ни одна из великих держав не доживет до конца войны; и если бы кайзер вошел бы в столицу через Бранденбургские ворота как победитель, то мировая история потеряла бы свой смысл»²⁰. Эта фраза, часто цитировавшаяся после войны, служила для противников Веймарской республики своего рода подтверждением популярной «легенды об ударе кинжалом в спину» (*Dolchstoßlegende*): будто немецкая армия потерпела поражение не в борьбе с превосходящими силами противника на фронте, а в результате внутренней измены. Фигура Вальтера Ратенау, авторитетного публициста и общественного деятеля, сфокусировала на себе весь ресентимент молодого поколения фронтовиков, которые видели в нем лишь «бесхарактерного представителя еврейской интеллигенции» и «предателя национального духа Германии». Такой образ внутреннего врага, созданный в правой публицистике веймарского периода, вошел отдельной главой в историю бранного слова «интеллектуал»²¹.

²⁰ Цит. по: Sabrow M. Zwischen Geist und Macht: Zeitkritik als Integrationsleistung bei Walther Rathenau und Maximilian Harden // Hübinger G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 51. ²¹ Bering D. Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes. S. 94 ff.

Другой крупный интеллектуал кайзеровской Германии, Максимилиан Харден (Феликс Эрнст Витковски, 1861–1927), играл, скорее, роль профессионального критика, отказавшегося от претензий на политическую власть. Он выступал как публицист и критик, был основателем (в 1892 году) и редактором литературно-политического еженедельного журнала «Die Zukunft» («Будущее»). Издание с первоначальным тиражом 6000 экземпляров очень скоро стало явлением европейского масштаба и в течение тридцати лет служило трибуной автору, избравшему для себя девиз: «Je ne juge pas, je constate» («Я не даю оценок, я констатирую»). В первые годы своего существования журнал активно поддерживал Бисмарка в борьбе с «единоличным царствованием» кайзера Вильгельма II. Бисмарк отблагодарил журналиста коротким, но весьма лестным отзывом: «Жаль, что я не познакомился с Харденом раньше, я сделал бы его министром». Даже после того, как отношения старого канцлера и кайзера улучшились, Харден продолжал оставаться в жесткой оппозиции к *roi parvenu* (королю-выскочке), который «дергается как марионетка» и проводит «политику гала-представлений и цирковых пантомим»²². В 1907 году «Die Zukunft» сумел спровоцировать серьезнейший внутривнутриполитический кризис, наметив на гомосексуальные связи графа Филиппа цу Ойленбурга, одного из приближенных кайзера и представителя придворной камарильи. Судебные преследования против журналиста окончились ничем, тираж «Die Zukunft» вырос до 70 000 экземпляров, а Ойленбург с позором ушел с политической сцены.

В случае Максимилиана Хардена конфликт между духом и властью в годы мировой войны имел несколько иной характер, чем в случае Ратенау. После воодушевления первых месяцев войны и призыва исполнить «патриотический долг» редактор «Die Zukunft» резко вернулся к роли критика. В годы Веймарской республики его журнал постепенно растерял почти всех читателей, а сам Харден, поначалу приветствовавший революцию, но так и не получивший никаких значимых постов в демократической Германии, стал яростным критиком «бездуховного и безыдейного» социал-демократического правительства Шейдеманна.

Примеры Хардена и Ратенау, связанных на протяжении всей их жизни отношениями «любви-ненависти», демонстрируют двусмысленность понятия «интеллектуал». Уже здесь мы встречаемся с *двойной негативной коннотацией*. В глазах правых интеллектуал — человек, лишенный веры в немецкий дух; сам же Ратенау отрекся от интеллектуалов, понимая под ними «класс безответственных болтунов». В то же время Харден обвинял Ратенау в предательстве по отношению

²² Цит. по: Hellige H.-D. Rathenau und Harden in der Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs. Eine sozialgeschichtlich-biographische Studie zur Entstehung neokonservativer Positionen bei Unter-

nehmern und Intellektuellen // Hellige H.-D. (Hg.). Walther Rathenau — Maximilian Harden. Briefwechsel 1897–1920, München, 1983. S. 160 f.

к интеллектуалам и карьеризму. Выше мы уже сказали о том, что морально нагруженное понятие интеллектуала как «профессионального критика» или «совести нации» оправдано далеко не всегда. Так, Харден, провоцируя политический скандал, во многом рассчитывал на рост своей популярности и увеличение тиражей издания. Ратенау же совмещал в одном лице экономического теоретика и практика, выступая как своего рода *system builder*.

Помимо отношения между «критикой» и «мандатом» интересно взглянуть на двойной пример Ратенау и Хардена с точки зрения судьбы эмансипированных евреев в Германии. В этом смысле они представляют еврейскую буржуазию в Германии «на полпути между интеграцией и исключением»²³. Будучи эмансипированными интеллектуалами, порвавшими с еврейской общиной, они как будто колеблются между долгом и склонностью, между необходимостью зарабатывать на хлеб и литературным призванием. В 1911 году Ратенау писал: «В юности каждый германский еврей переживает один момент, который он потом с болью вспоминает всю свою жизнь. А именно когда ему впервые становится ясно, что он родился гражданином второго сорта и никакие усилия, никакие заслуги не способны изменить этой его роли»²⁴. Именно этим во многом объясняется своеобразная смесь консерватизма и протеста, критической дистанции и оппортунизма.

«Критика эпохи» Хардена, и прежде всего — Ратенау, остается важным вкладом в немецкую историю культуры рубежа столетий. Вместе с тем их биографии — это хрестоматийный пример либеральных интеллектуалов вильгельмовской эпохи в эпоху кризиса культуры. Было бы не совсем верно видеть в описанных выше колебаниях «между критикой и мандатом» лишь выражение успешной «ассимиляции сверху»²⁵. Здесь, на наш взгляд, речь идет о чем-то большем, а именно, о роковом несоответствии категорий и ценностных представлений, сложившихся в годы кайзеровской Германии и перенесенных в Веймарскую республику под видом «высокоморального буржуазного идеализма», и новых требований послевоенной действительности.

Эрнст Юнгер, молодой и яркий представитель правых интеллектуалов Веймарской республики, в статье 1930 года «Тотальная мобилизация» едко замечал, что «прогрессивный журналист» Харден не постеснялся «согласовывать свою публичную деятельность с целями Большого Генерального штаба», а потом «театрально изображал радикализм войны с таким же успехом, с каким позднее — радикализм революции»²⁶. С гораздо большей симпатией Юнгер отзывался о «трагической фигуре» Вальтера Ратенау. Анализируя причины поражения

²³ Sabrow M. Zwischen Geist und Macht. S. 66.

²⁵ Sabrow M. Zwischen Geist und Macht. S. 69.

²⁴ Rathenau W. Staat und Judentum // Rathenau W. Gesammelte Schriften. Bd. 1. Berlin, 1925. S. 139.

²⁶ Юнгер Э. Тотальная мобилизация // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Пер. А.В. Михайловского. СПб.: Наука, 2000. С. 464–465.

Германии в войне, которое, по его мнению, было связано с неспособностью буржуазного общества к проведению «тотальной мобилизации», он пишет: «Как возможно, что Ратенау, который был в значительной мере затронут мобилизацией, играл роль в организации вооружения и еще незадолго до краха развивал идею народного ополчения, вскоре после этого мог сформулировать известное высказывание о мировой истории, потерявшей бы,— как говорил он,— свой смысл, если бы представители рейха вошли в столицу через Бранденбургские ворота как победители? Здесь отчетливо видно, как мобилизация подчиняет себе технические способности человека и все-таки не в состоянии проникнуть в его сердцевину... Ведущее поколение, воспитанное либо в прогрессивном духе, либо в стиле вильгельминизма, странным образом пронизанном жилками прогрессивных элементов, предоставило в распоряжение страны недостаточный фундамент для ведения войны. Насколько великим был недостаток в силах веры, обозначилось уже в оборонительных или сдерживающих лозунгах, в той позиционной войне идей, во времена которой началась и окончилась сама борьба. Очевидным это стало к моменту краха»²⁷.

Тот самый внутренний разлад, не укрывшийся от взгляда проницательного современника, хорошо прослеживается на примере истории кружка Фридриха Науманна (1860–1919), который просуществовал с 1879 по 1919 год и насчитывал несколько сотен человек.

Консервативно-протестантский кружок молодых теологов в середине 1890-х годов принял форму оппозиционно-либерального движения, став «одной из первых кузниц современного типа интеллектуала в Германии»²⁸. Он представлял собой площадку для встреч университетских преподавателей и ученых, свободных писателей, экспертов и просто образованных граждан, которые беседовали между собой и участвовали в публичных дискуссиях. Здесь коренится важное с современной точки зрения понимание интеллектуала, которое приписывает ему компетентное участие в процессе формирования общественного мнения. При этом в понятие компетенции входит не только отстаивание универсальных идей, ценностей и «идеальных порядков», но и

²⁷ Последний абзац не вошел в более позднюю редакцию, с которой выполнен цитированный выше русский перевод статьи. Перевод приводится по изданию: *Jünger E. Politische Publizistik 1919 bis 1933. Hrsg., komm. und mit einem Nachwort von Sven Olaf Berggötz. Stuttgart: Klett-Cotta, 2001. S. 574–575.* В изложении Юнгера последовательность событий изменена: в действительности отрезвляющая фраза о конце истории была произнесена Вальтером Ратенау в первые дни войны, когда все германское общество ощущало прилив энтузиазма; консультантом Людендорфа он стал позднее и таким образом дал повод подозревать его в лоббировании интересов

собственной компании. Возможно, хронологическая неточность у Юнгера объясняется тем, что автор сам находился под влиянием мифа об «ударе кинжалом в спину», хотя и не считал, в отличие от национал-социалистов, что «внутренняя измена» стала главной причиной поражения Германии в мировой войне. Как бы то ни было, Юнгера — пусть ценой невольной подмены фактов — удалось схватить противоречивость фигуры Ратенау.

²⁸ *Krey U. Demokratie durch Opposition: Der Nauemann-Kreis und die Intellektuellen // Hübing G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 74.*

вынесение экспертных суждений. Интеллектуалы из кружка Науманна связывали сознание социальной ответственности интеллектуала с практическими следствиями для их деятельности и совершили важное движение навстречу широким слоям населения, заинтересованным в равноправном политическом содействии власти.

Важно отметить, что для оказания влияния на общественное мнение в кружке Науманна задействовались церковные институты и партии, газеты и книги, письма и выступления. Особенно важным механизмом трансляции политических идей являлся доклад. При этом необходимо учитывать, что в то время произнесенное с трибуны или кафедры слово имело гораздо больший вес, нежели теперь, а умелый оратор мог непосредственно убедить значительную аудиторию подготовленных слушателей.

С 1894 года начал выходить еженедельный журнал «Die Hilfe» («Помощь») с программным подзаголовком «Божья помощь, самопомощь, государственная помощь, братская помощь» и общим тиражом 12 000 экземпляров (в 1902 году подзаголовок поменялся на «Политика, литература, искусство»). Распространению идей кружка способствовали три книги Науманна «Демократия и власть кайзера» (1900), «Новая германская экономическая политика» (1902) и «Центральная Европа» (1915). Книги прошли незамеченными в академических кругах, но у широкой читающей публики вызвали жаркие дискуссии.

Еще одним важным средством формирования общественного мнения стал основанный в 1896 году Национально-социальный союз, который вошел в историю германского либерализма как единственная попытка участников кружка Науманна основать партию в полном смысле этого слова. Цель союза состояла в том, чтобы объединить германских рабочих вокруг демократических идей в сочетании с конституционной монархией. Такой либерализм выходил за рамки чисто буржуазного либерализма, поскольку политически и идейно охватывал рабочий класс и буржуазию. Концепция Национально-социального союза послужила своего рода примером для партийного строительства в России в 1905 году.

Название союза хорошо отражает новые установки германского либерализма на рубеже веков, который формировался одновременно с Пангерманским союзом и подобными организациями. Вслед за Вольфгангом Моммзенем их можно назвать «либеральный империализм»²⁹. Не приемля пангерманскую агрессивную шовинистическую риторику и выступая против «колониальных злоупотреблений», «либеральные империалисты» попытались утвердить идею экспансии

²⁹ Mommsen W.J. Wandlungen der liberalen Idee im Zeitalter des Imperialismus // Liberalismus und imperialistischer Staat. Hrsg. von K. Holl und G. List. Göttingen, 1975. См. также статью: Мак-

саковская Е.Д. «Мировая политика» и германский либерализм в конце XIX — начале XX веков // Международный исторический журнал. 1999. №4.

на новом фундаменте³⁰. В частности, согласно Науманну, осознание либеральной буржуазией того факта, что Германия должна играть активную роль на мировой арене, является необходимой предпосылкой возрождения либерализма в качестве широкого движения, выражающего интересы нации. Ослабляет страну также противостояние промышленников и рабочих, а потому они должны осознать, что их общей целью является мощное и промышленно развитое германское государство, находящееся в центре Европы. В 1895 году журнал «Die Hilfe» опубликовал восторженный отзыв о знаменитой Фрайбургской речи Макса Вебера, манифесте «либерального империализма», где говорилось о могуществе германского государства. А в программе Национально-социального союза были такие слова: «Мы стоим на национальной почве, поскольку считаем необходимым распространение экономической и политической власти немецкого народа за пределы государства... в то же время мы убеждены в том, что внешнеполитическое влияние не может сохраняться без поддержки со стороны проникнутых национальным духом народных масс. Поэтому мы хотим проведения политики силы вне государства и внутренней политики, ориентированной на социальные реформы. Мы выступаем за внешнюю политику, которая служила бы делу распространения немецкой экономики и немецкого духа»³¹. После поражения союза на выборах 1903 года Науманн продолжил заниматься партийной политикой вместе с либералом старой закалки Теодором Бартом, разработав концепцию либеральной партии «нового типа» — массовой организации с разветвленной структурой и строгой партийной дисциплиной.

Первая мировая война вызвала раскол в национал-либеральной среде. Сам Науманн в 1915 году отказался выступать на тему «Война и германские идеалы культуры», фактически признав, что война окончательно разрушила ценности гуманизма, индивидуализма, свободной торговли и взаимопонимания наций. В годы Веймарской республики Фридрих Науманн стал первым председателем Германской демократической партии, а его репутация была настолько велика, что его выдвигали на должность рейхспрезидента. Таким образом, очевидно, что основы политической культуры Веймарской республики закладывались в годы кайзеровской Германии. Но к 1918 году они уже были подточены идейным кризисом либерализма, обострившимся в результате войны. В современной перспективе Федеративной Республики Германия деятельность интеллектуалов из кружка Науманна можно рассматривать как несомненный успех, ведь они активно участвовали в политических дебатах, смело брали на себя социальную и политическую

³⁰ Впрочем, германская национальная идея носила агрессивный и почти имперский характер еще в 1848 году. На эту мысль наводит знакомство с речами депутатов Франкфуртского национального собрания вроде демократов К. Фогта или А. Руге.

³¹ Treue W. Deutsche Parteiprogramme. München, 1964. S. 84.

ответственность и способствовали формированию публичного пространства. Однако, несмотря на всю свою харизматичность, Фридриху Науманну не удалось справиться с основной своей задачей — сплотить германских рабочих вокруг идеи национального социализма на базе либеральных ценностей. Аудитория Науманна складывалась скорее из представителей образованных слоев, молодых выпускников университетов, а не из рабочих, что, с одной стороны, можно объяснить жесткой сословной структурой кайзеровской империи, а с другой — свидетельствовало о *дефиците социально-политической репрезентации интеллектуалов* вильгельмовского извода.

Одним из самых заметных представителей либерального истеблишмента Веймарской республики был Теодор Хойс (1884–1963). Его удачно характеризует восходящая к А. де Токвилю формула «литератор в роли политика». После войны глава Франкфуртской школы Теодор В. Адорно не колеблясь присвоил Хойсу звание «интеллектуала», которое в этом случае неразрывно связано с «политической социализацией». До войны наставниками Хойса были социал-либералы, в круг его знакомых входили богослов Адольф Гарнак, молодой писатель Герман Гессе и философ Альберт Швейцер. Будучи Bildungsbürger'ом по происхождению, Хойс совмещает в себе роли журналиста, преподавателя и свободного писателя — три «основные профессии» современного интеллектуала³². С 1920 по 1933 год Хойс выступал как «политический педагог» в основанной Науманном Высшей школе политики. В меморандуме по случаю основания школы он выступил за формирование политически ответственного гражданина. Стремясь разрушить имидж «аполитичного немца», он стремился установить связь между наукой и политическим образованием и искал способы решения «проблемы вождя»³³ в рамках «современной демократии».

Хойс относился к числу наиболее заметных ораторов в германском рейхстаге, в его речах встречались не только цитаты из швабских поэтов, но и ссылки на таких социальных теоретиков, как Вильфредо Парето или Жорж Сорель. На примере Хойса можно выделить три классических средства формирования буржуазного common sense в республиканском лагере: 1) рациональный дискурс, 2) символический образовательный капитал и 3) эстетическое мировосприятие³⁴. В то же время его риторическая топика предполагает как раз тот канон культурного знания, который фактически утратил свою значимость к 20-м годам XX века. В 1932 году Хойс выступил как политический

³² См., например: Schumpeter J. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Tübingen/Basel, 1993. S. 237.

³³ Так называемая Führerproblem — одна из ключевых тем германских политических дискуссий 1920-х годов. Ее решения предлагали и социал-демократы, и младоконсерваторы, и национал-большевики, и национал-социалисты.

³⁴ Hertfelder T. Das symbolische Kapital der Bildung: Theodor Heuss // Hübing G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 106.

публицист и писатель, опубликовав исследование «Путь Гитлера»³⁵ с критикой национал-социалистов. В книге, в частности, развенчивалась «новая» экономическая программа НСДАП, в которой автор усматривал следы «очень старого мышления», а именно, «комбинации германской романтики и утопического социализма в духе Вейтлинга и Прудона». Такая трактовка национал-социализма как повторения старых идей напоминает приемы критики историзма в духе Дильтея — а именно, эта интерпретационная модель была вполне естественна для немецкого интеллектуала, получившего гуманитарное образование на рубеже столетий. Однако обвинения в эпигонстве, которые прослеживаются и в его полемике с Геббельсом и Гитлером в журнале «Ди Хильфе» (Хойс являлся редактором этого журнала), отражали скорее ложную установку *Bildungsbürger'a* в отношении реалий немецкой политики, который был склонен к недооценке национал-социалистического режима.

В годы Третьего рейха Теодор Хойс работал фельетонистом «Франкфуртер альгемайне», написал несколько исторических биографий. Та исключительная роль, которую он играл в последние 20 лет своей жизни, во многом объясняется дефицитом политической культуры в послевоенной Германии. Символический капитал таких личностей, как Теодор Хойс или Карло Шмидт, возрастал в цене по мере того, как «другая Германия» перед лицом оккупационных властей осознавала необходимость дать деморализованному населению какие-то политические и социальные ориентиры³⁶. В 1949 году он был избран первым федеральным президентом Германии. Этот писатель-политик принципиально не принимал позицию «свободного парящего интеллектуала». В то же время его интеллектуальная автономия вызывала уважение у культурных элит (в том числе скептически настроенных представителей Франкфуртского института социальных исследований). Таким образом, в период консервативной «эры Аденауэра» Хойс воплощал собой тип традиционного интеллектуала, выступая как своего рода *связующее звено* между Веймарской республикой и Федеративной Республикой Германия.

Консервативная революция

Под «консервативной революцией» (кр) принято понимать сложный идеологический комплекс, связанный с борьбой немецких националистов против Веймарской республики и версальской системы послевоенного устройства Германии. Этот комплекс идей отличается такими установками, как антилиберализм, антиэгалитаризм, антидемократизм, антима르크сизм и антикапитализм. Перед германской

³⁵ Heuss T. Hitlers Weg. Eine historisch-politische Studie über den Nationalsozialismus. Stuttgart, 1932.

³⁶ Об этом периоде см.: Eschenburg T. Jahre der Besatzung 1945–1949. Stuttgart, 1983.

республикой стояла задача наверстать длившийся в Западной Европе многие десятилетия процесс демократизации за несколько лет. В частности, требовалось превратить суверенитет в коллективное понятие, государство должна была представлять не личность, а организации. Поэтому-то консервативные революционеры воспринимали Веймарскую республику как «фикцию государства» и ставили перед собой задачу строительства нового сильного (авторитарного) государства.

Одним из главных вдохновителей КР был Артур Мёллер ван ден Брук (1876–1925)³⁷. Теодор Хойс называл Мёллера литератором³⁸, относя его тем самым к социальной группе, которую после 1900 года все чаще называли «интеллектуалами». Впрочем, само выражение «политика литераторов», которое используется с явно презрительным оттенком, требует критического отношения. Оно относится к литераторам-«романтикам», которые имеют политические амбиции, но не способны к серьезным и ответственным поступкам³⁹. Оно сохраняет свою силу применительно к иерархическому, не предлагающему выбора альтернатив гражданскому обществу до-модерна, где бытует специфическое понятие свободного романтического субъекта. Но в обществе модерна со смещенным центром и сложной социальной структурой литераторы и интеллектуалы открывают для себя самые разные возможности для политического влияния. Поэтому после Первой мировой войны «политика литераторов» на самом деле перестает быть просто маргинальной политикой и начинает влиять не только на отдельные события, но и вызывает структурные изменения.

В биографии Мёллера как бы соединилось наследие вильгельмовской эпохи, включая «идеи 1914 года», с интеллектуальным потенциалом «нового лагеря», сформировавшегося после войны. Принадлежа к «молодому» поколению, Мёллер был готов порвать с традициями и условиями «буржуазно-христианского» мира и творить совершенно новую культуру, не противоположную научно-технической, а являющуюся выражением «воли времени». Таким образом, его нельзя причислять ни к «культурпессимистам», ни к антимодернистам. Мёллер — «футурист avant la lettre»⁴⁰ (Ш. Бройер).

Мёллер принадлежал к кругам артистической богемы, был другом писателей Франца Эверса и Теодора Дойблера, графика и скульптора Эрнста Барлаха. Сам он создал себе имя прежде всего как критик. Особо следует отметить тот огромный резонанс, который получило издание Полного собрания сочинений Достоевского, предпринятое

³⁷ Schwierskott H.-J. Arthur Moeller van den Bruck und der revolutionäre Nationalismus in der Weimarer Republik. Göttingen, 1962.

³⁹ Ср. у Макса Вебера в докладе «Политика как призвание и профессия» (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 644–706).

³⁸ Heuss T. Die Politisierung des Literaten (1916) // Stark M. (Hg.) Deutsche Intellektuelle 1910–1933. Aufrufe, Pamphlete, Betrachtungen. Heidelberg, 1984. S. 93–102.

⁴⁰ До появления самого понятия (фр.).

Мёллером вместе с Д. Мережковским⁴¹. В частности, в предисловиях к отдельным томам он популяризовал заимствованные из «Дневника писателя» идеи «молодого народа» и «протестующего рейха». С тех пор они прочно вошли в интеллектуальный арсенал националистических публицистов Веймарской республики.

Приверженность к модернизму в искусстве (Мунк, Гоген, Барлах) сочеталась у него с преклонением перед «Прусским стилем» (книга, которая, как признавался, например, Эрнст Юнгер, повлияла на его духовное становление). Сам Мёллер писал о «необходимости традиции»⁴²: если XIX век был веком эксперимента, то XX век снова станет веком традиции, что будет означать «включение в широкую духовную взаимосвязь, отторжение всего рудиментарного и фрагментарного».

Парадокс, лежащий в основании всей консервативной революции, заключается в том, что восстановление традиции должно идти не через торможение, а через ускорение (*engrasinement* — слово из арсенала Мориса Барреса) исторической динамики. Деятели кр презрительно относились к историческому романтизму, приветствовали революцию как средства против окостенения государственной власти. Михаэль Гроссхайм нашел для этого мировоззрения удачную формулу «политический экзистенциализм»⁴³, что означало выход из романтической субъективности в сферу «решения».

Одним из первых Мёллер попытался осуществить *идейный синтез национализма и социализма*, открывая тем самым новое политическое измерение для ограниченного национализма образованной буржуазии. Мёллер считал недопустимым игнорирование социального вопроса, равно как и отказ государства от экономического регулирования. По его замыслу, политическая система крайне нуждалась в привлечении самых широких слоев населения. Национализм и социализм не являются здесь противоположностями, наоборот, они дополняют друг друга. Социал-демократия должна трансформироваться в настоящую национальную рабочую партию, которая будет выражать интересы производящего класса и тем самым создаст противовес «династизму» и «бюрократизму». В отличие от Науманна, который говорил о «социализме с национальным лицом», Мёллер выступал за «германский социализм», «социальный национализм»⁴⁴. А «социальная

⁴¹ Оно начало выходить еще до Первой мировой войны в мюнхенском издательстве «Пипер»: Dostojewski F.M. Sämtliche Werke. Bd. 1–23. Hrsg. v. Moeller van den Bruck unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski und anderen. München—Leipzig, 1908–1919 (?). В этой связи см. также: Алленов С.Г. Русские истоки немецкой «консервативной революции»: Артур Мёллер ван ден Брук // Полис. 2001. № 3. С. 123–138.

⁴² Moeller van den Bruck A. Die Notwendigkeit der Tradition // Der Tag vom 5. 8. 1913.

⁴³ Großheim M. Politischer Existenzialismus. Versuch einer Begriffsbestimmung // Meuter G., Otten H.R. (Hg.). Der Aufstand gegen den Bürger, Würzburg, 1999. S. 127–163.

⁴⁴ Ханс Церер в своей программной статье «Правый или левый» (Die Tat 23/1931, S. 507–559) называет Мёллера основателем нового, социального национализма (S. 515 f., 536 ff.).

революция» рассматривалась им исключительно в перспективе «национальной революции».

Президентско-парламентская система Веймарской республики, а также тяжелые условия Версальского мира делали решение этих проблем практически невозможным. Враг вырисовывался достаточно четко — с одной стороны, либерализм, с другой — интернационализм. «То, что сегодня считается революционным, завтра будет консервативным», — писал Мёллер в книге «Третий рейх», ставшей библией всех правых в Германии⁴⁵.

Ставка делалась на внешнеполитический ревизионизм и империализм. Мёллер выступал не только как идеолог, но и как организатор, основавший весьма влиятельный Июньский клуб. Представленное Мёллером «младоконсервативное» движение (так классифицировал эти идеи первый исследователь «консервативной революции» в Германии Армин Молер) не сумело создать политической партии, однако добилося значительного влияния благодаря интеллектуальной сети литераторов, политиков, деятелей искусства, представителей экономики и власти. Они имели доступ к крупным печатным органам правых («Deutsche Allgemeine Zeitung», «Tag») и печатались в авторитетных издательствах вроде «Hanseatische Verlagsanstalt», «Langen-Müller» и «Diederichs».

Рупором идей «немецкого социализма» стал издаваемый Эдуардом Штадтлером журнал «Gewissen», в котором Мёллер выступал как ведущий редактор. Важную организационную роль играл уже упомянутый «Июньский клуб», основанный весной 1919 года Мёллером при участии Хайнриха фон Гляйхена. Помимо выходов на издателей газет и журналов клуб (прежде всего, через Альфреда Хугенберга) поддерживал контакты с промышленниками, представителями администрации, армии и партий (DNVP, DVP). Кроме того, у клуба существовали связи с Молодежным движением (Ханс Блюэр), с различными организациями «фёлькиш» и национал-социалистами⁴⁶. Томас Манн регулярно читал «Gewissen» (тираж издания, впрочем, был менее 10 000 экземпляров), состоял в переписке с Мёллером и фон Гляйхеном. Все это свидетельствует о том, что младоконсервативные идеи пользовались популярностью в широких кругах образованной буржуазии.

Незадолго до самоубийства Мёллера в 1925 году «Июньский клуб» был (против воли Мёллера) реорганизован его соратником фон Гляйхеном в «Германский клуб господ», целью которого было сплочение внепарламентской и антилиберальной элиты, включавшей в себя промышленников, военных и дипломатов, которые поддержали план Гинденбурга по ликвидации Веймарской республики и замене ее на

⁴⁵ Moeller van den Bruck A. Das dritte Reich. Berlin: Ring, 1923. S. 22. Фрагменты из книги в русском переводе см.: Мёллер ван ден Брук А. Третий Рейх / Пер. С.Г. Алленова // Полис. 2003. № 5.

⁴⁶ Например, в 1922 году клуб обратился к Гитлеру с приглашением выступить перед его членами.

президентский режим авторитарного типа. О влиянии этой организации говорит тот факт, что кабинет Франца фон Папена, сформированный в июле 1932 года, практически полностью состоял из членов Herrenklub'a, включая ведущих идеологов В. Шотте и Э.Ю. Юнга.

Также весьма показателен пример журналиста и писателя Ханса Церера (1899–1966), выпускавшего популярный и влиятельный ежемесячный журнал «Die Tat» («Дело»). Журнал выходил в издательстве Ойгена Дидерихса и объединил вокруг себя группу молодых интеллектуалов (Ф. Фрид, Г. Вирзинг и др.), вслед за Мёллером ван ден Бруком развивавших идею немецкого социализма и выступавших сторонниками Ostorientierung (восточной ориентации). С 1932 года Церер работал шеф-редактором ежедневной газеты «Tägliche Rundschau» и основал журнал «Ранебургера». Однако уже в 1933 году деятельность кружка «Тат» была закрыта, а на профессиональную деятельность Церера был наложен запрет, поскольку он поддерживал генерала и рейхсканцлера фон Шляйхера (убитого по приказу Гитлера летом 1934 года).

Наконец, следует упомянуть выдающихся представителей антигитлеровского сопротивления в Германии — Шуленбурга, Троттцу Зольца, фон Хассайля, также считавших себя духовными наследниками Мёллера.

Описание интеллектуального ландшафта кр невозможно без упоминания имени Освальда Шпенглера (1880–1936), «Нестора военного поколения» (А. Молер). В отличие от Мёллера, Шпенглер не придавал никакого значения организационным формам сопротивления Веймарской республики, однако смог — успешно играя роль великого одиночки и прижизненного гения — оказать глубочайшее влияние на стиль и образ мысли националистически настроенной молодежи. Как и многие другие, Шпенглер выступает за соединение консерватизма и социализма, однако отвергает популярную среди многих младоконсерваторов идею сословного государства и настаивает на принципе «цезаризма». «Пруссачество и социализм» (1919) — его главная политическая работа⁴⁷. Пруссачество в понимании Шпенглера и есть немецкий социализм. Ораторский талант и мастерство публициста позволяют ему сопрячь обе идеи в одной емкой формуле: «Фридрих-Вильгельм I, а не Маркс был первым сознательным социалистом». Настоящего врага Германии Шпенглер усматривает не во Франции, а в Англии, которая в силу своего островного положения отказалась от государства в пользу общества, society. Примат общества над государством, выражающийся в индивидуализме и политике частных лиц, полностью противоположен прусскому «государственному инстинкту». Таким образом, борьба против Веймарской республики («парламентаризм в Германии — или бессмыслица или измена») понимается Шпенглером как борьба против

⁴⁷ Шпенглер О. Пруссачество и социализм / Пер. с нем. Г.Д. Гурвича. М.: Практис, 2002.

«внутренней Англии», которая в 1918 году привела к победе «Англию внешнюю». Отличием прусской идеи, напротив, является примат государства, где король «первый слуга». Англичане и пруссаки — антиподы и в отношении к труду. Если в Англии царит дух торгашества, сводящий труд к предпринятию, то в Пруссии труд со времен Лютера мыслится как «призвание» и «обязанность», необходимость работать для целого. Лишенная всякого провиденциализма, прусская идея у Шпенглера — это прежде всего воспитательная идея, историческими порождениями которой стали прусская армия, прусское чиновничество и социалистический рабочий. В ноябрьской революции, осуществленной социал-демократами, Шпенглер видит только предательство истинного социализма. Социализм для него — это общее чувство, чувство работы, а не спокойствия. «Каждый истинный немец — рабочий. Таков стиль его жизни»⁴⁸. Маркс не только не был первым социалистом, но и не был социалистом вообще. Создатель «Коммунистического манифеста», чистый «литератор», редуцировал противоположность двух германских рас к «материальной» противоположности двух классов, приписав четвертому сословию, «пролетариату», прусскую идею социализма, а третьему — английскую идею капитализма. На самом же деле понятие класса, согласно Шпенглеру, не соответствует «прусской идее». Маркс мыслит по-английски: класс — понятие чисто хозяйственное, оттого-то на его основе в хозяйственное понятие превращается и этико-политическая идея третьего сословия образца 1789 года, противопоставлявшего себя сословию привилегированных. Четвертое сословие в этом смысле мало отличается от буржуазии, а частное общество рабочих — от частного общества торговцев. Не понял Маркс и того, что «в государстве труд не товар, а обязанность по отношению к целому»⁴⁹: он руководствовался своим «еврейским инстинктом».

«Прусский социализм» Шпенглера представляет собой одно из наиболее ярких проявлений идеологии «военного социализма» в публицистике кр. «Военный социализм» был ответом на начавшийся в августе 1914 года процесс размывания границ классового государства, который проявился в национализме фронтовиков и социалистически структурированной военной экономике (см. параграф «Идеи 1914 года»). Молодые националисты претендовали на то, чтобы стать социальной опорой нового государства, не совпадающей с тем «четвертым сословием», на которое возлагала свои надежды социал-демократия. Х. Церер писал в 1931 году: «Это поколение вернулось домой социалистами — не потому, что прочитало и усвоило Карла Маркса, а потому, что в борьбе не на жизнь, а на смерть отлилось в общность, прочувствовав всю глубину социальной несправедливости и поняв обоснованность того социального ressentiment, который переполнял

⁴⁸ Там же. С. 19.

⁴⁹ Там же. С. 123.

рабочих»⁵⁰. Так «национализм» и «социализм» отрывались от породившей их почвы XIX века и сливались друг с другом в идею авторитарного государства.

Представитель молодого поколения национал-революционных публицистов Эрнст Юнгер (1895–1998) — безусловно, одна из наиболее ярких звезд на интеллектуальном небосклоне кр. Герой Первой мировой войны, кавалер ордена «Pour le mérite», Юнгер стал известен благодаря публикации своего военного дневника «В стальных грозах» (1920). В книге описывались героические переживания солдата, которые для многих фронтовиков оставались единственным источником смысла в лишенные высоких идей и идеалов годы Веймарской республики. Уволившись в 1923 года из рейхсвера, Юнгер сделал «переживание войны» краеугольным камнем своей политической публицистики. В середине 1920-х годов он симпатизировал движению военно-политических союзов (так называемые «бюндише») и печатался в их органах «Standarte», «Arminius», «Die Kommenden», «Vormarsch»⁵¹. В конце 1920-х годов он сблизился с национал-большевиком Э. Никишем и до 1933 года сотрудничал с его журналом «Widerstand» («Соппротивление»). В период между 1923 и 1934 годами Юнгер опубликовал более 140 статей, став настоящим лидером «нового национализма». К его фигуре проявляли интерес и немецкие коммунисты (К. Радек), и национал-социалисты (Й. Геббельс), однако Юнгер, писавший в своих статьях о нехватке «вождей», сам отказывался от любых форм *sacrificium intellectus*⁵². В 1932 году вышло его эссе «Рабочий. Господство и гештальт», которое, с одной стороны, подводило итог «новому национализму» (как характеризовал свою установку сам автор), а с другой стороны — уводило в

⁵⁰ Zehrer H. Rechts oder Links? // Die Tat. Okt. 1931. S. 505.

⁵¹ Военизированные политические союзы (Bünde) — «Организация Консул», «Бунд Викинг» (бригады капитана Эрхардта), «Бунд Оберланд», «Вервольф» и др. — создавались в 1922–1923 годы на базе фрайкоров (Freikorps). Фрайкорами назывались состоявшие из бывших солдат и офицеров добровольческие отряды националистического и радикально-консервативного толка (их насчитывалось более 65), которые в 1918–1919 годы сражались с большевиками в прибалтийских государствах, принимали участие в подавлении марксистских выступлений в Берлине, Бремене, Гамбурге, а также в разгроме Баварской республики советов. Министр рейхсвера Густав Носке и генерал Пауль фон Гинденбург поначалу поддерживали деятельность фрайкоров, но потом государство объявило их вне закона. Члены союзов участвовали в подготовке политических убийств, самым громким из которых стало убийство известного публициста и министра

иностраннных дел Вальтера Ратенау, совершенное 24 июня 1922 года на берлинской вилле политика террористами Керном и Фишером. Судьба молодого поколения фронтовиков, не принявшего Веймарскую республику, была блестяще описана в бестселлере Эрнста фон Заломона «Вне закона» (*Salomon E. v. Die Geächteten*. Berlin, 1930). Эрнст фон Заломон (1902–1972) сам был участником движения фрайкоров, отсидел пять лет за соучастие в покушении на В. Ратенау, затем публиковался в редактируемых Э. Юнгером национал-революционных журналах и сборниках. В годы нацистской диктатуры работал киносценаристом.

⁵² В 1927 году, сразу после переезда Юнгера в Берлин, Гитлер предложил ему мандат в рейхстаге от НСДАП и после отказа повторил свое предложение в 1933 году, которое было также отклонено. Согласно воспоминаниям, Юнгер будто бы иронично заметил: «Гораздо почетнее написать одну добротную строчку, нежели представлять в рейхстаге шестьдесят тысяч болванов».

область отвлеченных метафизических размышлений о сущности техники и нигилизма.

В статье 1927 года «Солдаты и литераторы» Юнгер решительно отмежевывается от самого понятия «интеллектуал». «Интеллектуал — человек, который не способен понять жизнь как целое, а видит в ней лишь отражение сознания — не обладает продуктивным отношением к войне»⁵³. Подлинное отношение к «жизни», «нации», «государству» возможно для Юнгера только через «опыт войны» (Kriegserlebnis), означающий в то же время преодоление «бюргерской идеологии» и утверждение героических ценностей солдата-рабочего.

3 июня 1926 года в газете «Standarte» под заголовком «Соединяйтесь!» («Schließt Euch zusammen!») было опубликовано юнгеровское воззвание к революционной молодежи. Оно вызвало большую волну отзывать: в редакцию «Штандарте» пришло множество писем читателей, в том числе отклики бывшего лидера фрайкоров Херманна Эрхардта, бывшего члена сдпг и обер-президента Восточной Пруссии Августа Виннига, лидера «Штальхельма» Теодора Дюстерберга, публициста Альбрехта Эриха Гюнтера и др. Юнгер описывал четвероякую структуру нового государства, которому суждено появиться в результате революции. «Образ государства будущего прояснился за эти годы. Его корни будут питаться из различных источников. Оно будет национальным. Оно будет социальным. Оно будет вооруженным. Его структура будет авторитарной. Это будет государство, полностью отличное как Веймара, так и от старого кайзеровского рейха. Это будет современное националистическое государство. Таково государство будущего... [Национализм] не имеет ничего общего с буржуазным чувством, он радикально отличается от патриотизма довоенного времени, он динамичен, всплывчив, полон витальной энергии наших больших городов, где он как раз процветает... и тем самым отличается от консервативного чувства жизни. Он не реакционен, а революционен с начала до конца»⁵⁴. В заключительном слове к «Соединяйтесь!» (Standarte, 22 июля 1926 года) Юнгер обращался к нищенскому образу динамита и заявлял: «Под растрескавшейся корой нынешнего государства мы — тот динамит, что пробьет брешь для нового государства»⁵⁵.

В «Рабочем» переосмысливаются всеобщие принципы социализма и национализма в рамках политических задач планетарного масштаба. Юнгер настаивает на необходимости расстаться с иллюзией партийных различий «левых» и «правых», показывая, что «все лагеря, где жив новый образ государства, который стремится сегодня выразить себя, с одной стороны, в программах революционного национализма, а с другой — революционного социализма, пришли бы к очень наглядному осознанию своего единства»⁵⁶.

⁵³ Jünger E. Politische Publizistik. S. 313.

⁵⁵ Ibid. S. 223.

⁵⁴ Ibid. S. 218.

⁵⁶ Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 350.

Согласно Юнгеру, принципы национализма и социализма были нацелены на обеспечение индивидуалистического бюргерского понятия о свободе, универсально реализуемого внутри наций. Но на рубеже эпох, в *переходном ландшафте*, которому свойственен «динамически-нивелирующий характер», эти принципы осуществить невозможно. В мире, стоящем под знаком техники, всеобщие принципы XIX столетия превращаются в «рабочие и мобилизационные величины» и уже не являются целью прогресса. Мобилизация средств национальной демократии во время мировой войны (парламенты, либеральная пресса, общественное мнение, гуманистический идеал) делает очевидным, что социализм становится «предпосылкой более строгого авторитарного членения, а национализм — предпосылкой для задач имперского ранга»⁵⁷. Вдохновляясь сталинской пятилеткой, Юнгер рисует футуристический образ нового государства. «Рабочий» — новый тип человека, метафизическая величина, «властно вторгающаяся в историю». Этот новый «гештальт», приходящий на смену «бюргеру», делает неизбежным переход от либеральной экономики к плану, от демократии к диктатуре. Современная эпоха изображается Юнгером как переходная эпоха, в которой осуществляется «тотальная мобилизация». В перспективе технической революции ему видится новый планетарный «мир труда», который связывается с грядущим германским рейхом как «государством рабочего».

Если «Пруссачество и социализм» Шпенглера считается одним из первых манифестов кр, то «Рабочий» Эрнста Юнгера в известном смысле ее завершает. Книга увидела свет за несколько месяцев до прихода к власти национал-социалистов. Ее автор сумел довольно точно описать механизмы тотального господства, которое воплотилось в гитлеровском и сталинском режимах. Юнгер дистанцировался от национал-социализма, понимая, что пришедшая к власти «чернь» не будет способствовать учреждению нового метафизического порядка рабочего, а лишь ускорит «тотальную мобилизацию», т. е. окончательный распад старых порядков. В 1934 году «национальному писателю» Юнгеру предложили членство в Прусской академии поэзии. Он отклонил это предложение, предпочтя общественной деятельности «внутреннюю эмиграцию» свободного писателя.

В интеллектуальном плане кр представляет собой крайне сложное и неоднородное образование. Свободные писатели, лидеры военизированных политических союзов, организаторы элитных клубов — вот лишь некоторые из форм социальной репрезентации правых интеллектуалов Веймарской республики. В плане идеологических проектов различий было не меньше. Одни («младоконсерваторы», интеллектуалы, входившие в элитные клубы) претендовали на восстановление социальной иерархии, в наибольшей степени присягая

⁵⁷ Там же. С. 352.

на верность консерватизму; другие (сторонники почвеннической идеологии, так называемые *völkisch*, «фёлькиш») также требовали диктатуры, авторитарного государства и сословной реорганизации общества, но при этом отличались романтическим пафосом и исключительным антисемитизмом и потому вскоре примкнули к национал-социалистам; третьи, охотно именуя себя «нигилистами» (национал-революционеры вокруг Эрнста Юнгера и его брата Фридриха Георга Юнгера, национал-большевики вокруг Э. Никиша и журнала «Widerstand»), были, наоборот, готовы отказаться от всех старых порядков Германии и творить футуристическую политику. Идеологическая сложность и неоднородность мало способствовала выработке единой консолидированной позиции.

Как справедливо отмечает А.М. Руткевич, «принадлежность к „избранному меньшинству“ и стремление влиять на элиты, пренебрежительное отношение к массам и массовым партиям — все это определяло и политическую слабость КР, и высокий уровень теоретических дискуссий»⁵⁸. Несмотря на то что КР осталась идеологическим явлением *par excellence* и не имела серьезных реально-политических последствий, в области идей она сыграла роль дамбы, остановившей распространение и либерализма, и марксизма. Конечно, можно с полным правом считать элитные клубы и кружок «Тат» наиболее успешными организационными формами КР. Но вместе с тем очевидно, что эти организации были изначально обречены на поражение перед лицом стремительно набравшего обороты национал-социалистического движения, которое успешно использовало все властные инструменты современной массовой демократии.

Период национал-социализма

На первый взгляд, в словосочетании «интеллектуалы и национал-социалистическое „движение“» союз «и» выглядит как дизъюнкция. Ибо в нацистской Германии выражение «интеллектуал» использовалось не иначе, как ругательство. Лучше сказать, как орудие в борьбе с рационализмом, критикой, установкой на публичную дискуссию, которая велась во имя тотального государства, принципа фюрерства и народной «общности». В качестве альтернативных обозначений использовались такие собирательные имена, как «*kämpfende Wissenschaft*» («наука в борьбе»), «*Arbeiter der Stirn*» («работники умственного труда»), в противоположность «*Arbeiter der Faust*», «работникам физического труда») или «*geistige Front*» («духовный фронт»). Эта борьба также

⁵⁸ Руткевич А.М. Времена идеологов: философия истории «консервативной революции». Препринт WP6/2007/02. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 8. См. также: Руткевич А.М. Консерваторы XX века. М.: РУДН, 2006.

предполагала проведение четких мировоззренческих линий между «рацио» и «жизнью», «понятием» и «образом», «теорией» и «мифом», «абстракцией» и «конкретностью», «интеллектом» и «интуицией».

Уже в первые годы существования нацистского государства началась эмиграция интеллектуалов левого, либерального и консервативно-республиканского спектра. Протагонисты кр из кругов «нового национализма» либо слились с «движением», либо дистанцировались от него на безопасное расстояние, либо были объявлены врагами. Отсчет нового времени для интеллектуальной Германии начался в июне 1934 года — после покушения на Рема и «Ночи длинных ножей». С учетом вышесказанного, а также того, что будет сказано ниже, мы на свой страх и риск будем использовать понятие интеллектуала к реальности Третьего рейха.

Если отвлечься от фигуры интеллектуала в политике (Йозеф Геббельс, Альфред Розенберг), то остаются, с одной стороны, писатели и профессора, которые поддержали режим и в течение более или менее длительного времени занимали ответственные посты (Ханс Гримм, Мартин Хайдеггер, Карл Шмитт, Арнольд Гелен, Альфред Боймлер), а с другой стороны, те, кто отказался сотрудничать с властью и ушел во «внутреннюю эмиграцию» (Готфрид Бенн, Эрнст Юнгер, Карл Ясперс). Между первыми и вторыми, как правило, не пролегалось линий вражды (как показывает, скажем, крайне интересная переписка Эрнста Юнгера и Карла Шмитта), однако основной смысл их интеллектуальной работы, пожалуй, был различен. Если деятельность первых была так или иначе связана с обоснованием фактического, т. е. с включением события национал-социалистической революции в пространство мысли, то вторые содействовали духовной консолидации противников национал-социализма, которая в итоге привела к покушению на Гитлера 20 июля 1944 года. Одним из центров «внутренней эмиграции» парадоксальным образом выступал вермахт, где было немало образованных офицеров, не принимавших режима и потенциально готовых к сопротивлению. К числу таких офицеров можно отнести как вышедшего из кружка Штефана Георге графа Клауса Шенка фон Штауффенберга, главного участника заговора, так и Ханса Эмиля Шпайделя, который служил начальником штаба оккупационных войск во Франции и также проходил по делу о покушении на фюрера. Шпайдель был главным вдохновителем встреч в парижском отеле «Рафаэль» и салоне «Георг V» (так называемый «кружок Георга»), в которых помимо штабных офицеров участвовало немало известных немецких интеллектуалов, в том числе Фридрих Зибург, Герхард Небель, Эрнст Юнгер и граф Клеменс Подевилс. В конце 40-х — начале 50-х годов именно с этими именами будет ассоциироваться представление о «другой Германии», о котором пойдет речь в следующем параграфе.

Рассмотрим, однако, внимательнее фигуру интеллектуала во власти. В оправдание использования нами понятия «интеллектуал»

применительно к Третьему рейху следует также сказать, что если понимать под интеллектуалом писателя, представителя академической среды или просто человека с высшим образованием, который высказывается по вопросам государства и общества за пределами своей чисто профессиональной деятельности, стремясь вызывать определенный публичный эффект, то отсутствие широкой критической среды будет хотя и важным, но отнюдь не решающим аргументом против употребления этого понятия в дескриптивных целях. Здесь необходимо учитывать, в какой степени их деятельность как интеллектуалов была в возможна в условиях нацистского режима, а также то, как менялось их отношение к власти и насколько они были затронуты нацистскими политическими преследованиями.

В качестве примера возьмем дискуссию между «коронным юристом» Третьего рейха Карлом Шмиттом и интеллектуалами в службе безопасности о принципе «большого пространства» в Европе⁵⁹. Еще в годы Веймарской республики Карл Шмитт (1888–1985) завоевал славу одного из ведущих теоретиков государственного права. Благодаря работам «Диктатура» (1921), «Политическая теология» (1922), «Духовно-историческое состояние современного парламентаризма» (1923), «Понятие политического» (1927) и «Учение о конституции» (1928) Шмитт стал центральной фигурой в германской «борьбе против Веймара и Версаля» и играл важную роль в попытках консервативных революционеров превратить Веймарскую республику в государство с сильной президентской властью. В 1933 году он поддержал национал-социалистов и получил профессиу в Университете Фридриха Вильгельма в Берлине. В 1934 году Шмитт выпустил брошюру под названием «Фюрер защищает право», где юридически обосновывал политические убийства «Ночи длинных ножей». Но уже в 1936 году подвергся нападкам со стороны СС в связи с католицизмом и сотрудничеством с еврейскими учеными. В 1939 году, отойдя от внутригерманских проблем, Шмитт выступил с докладом в Кильском институте политики и международного права. Доклад назывался «Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил»⁶⁰. Там он сформулировал международно-правовую доктрину «больших пространств» (Großräume). Из-за нее американские власти даже хотели привлечь его к Нюрнбергскому трибуналу, усмотрев в ней теоретическое оправдание гитлеровской политики по завоеванию Востока.

По мнению Шмитта, Версальский мир хотел удержать лицемерный и невозможный дуализм между глобальным гуманитарным международным правом, которое бы гарантировало продолжение существования

⁵⁹ Подробное описание этой дискуссии см.: *Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 160–180.*

⁶⁰ *Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил // Шмитт К. Номос Земли / Пер. К. Лощевского и Ю. Коринца. СПб., 2008. С. 479–572.*

Британской империи, и балканизацией Европы, разделением ее на «маленькие государства». И тот, и другой принцип игнорировал движение в направлении того, что Шмитт назвал «большим пространством». Иными словами, Версальский порядок был объективно непригоден для того, чтобы отвечать новым «пространственным измерениям» и экономическим структурам Европы. В анти-универсалистском и анти-нормативистском духе Шмитт предложил переосмыслить международное право как конкретный порядок, в котором отжившая система суверенных национальных государств заменялась бы иерархией рейхов или империй, основанных на особом «номосе», или единстве «порядка и локализации».

Шмитт выступал за доктрину Монро для Европы, которая бы запретила вмешательство «иностранных государств в европейское пространство». Если империи базировались на понятии народа, то большое пространство — на понятии гомогенности. Однако понятие народа (Volk) казалось Шмитту слишком рыхлым для того, чтобы преодолеть старое понятие национального государства и создать новый порядок. Чтобы избежать ложного универсализма в почвенническом духе «фёлькиш», им было предложено понятие «рейха» — новое понятие международного права, предполагающее элементы государственного порядка и дисциплины. Кроме того, «рейх», в отличие от государства (Staat), считался с новым «планетарным сознанием» пространства и должен был положить конец эпохе колониальных империй (Британии и Франции).

Современные критики Шмитта из либерально-демократического лагеря обычно делают акцент на том, что целью этой доктрины было подведение теоретического фундамента под экспансионистскую политику Третьего рейха. Однако следовало бы обратить внимание на другой аспект — дискуссию вокруг понятия «народ» (Volk), вместо которого Шмитт предлагал понятие «рейха» или «большого пространства». Шмитт понимал опасность универсализма в духе «фёлькиш», т. е. правовых теорий, основывавшихся на этно-биологических, культурно-исторических и расовых категориях. Он также опасался, что полное замещение формального принципа государства «органическим народом» несет в себе угрозу для *ius publicum Europaeum* и чревато дискриминацией врага в планетарном масштабе.

С критикой Шмитта как бы от имени официального руководства партии выступил профессор Райнхард Хён, директор Института государственных исследований при Берлинском университете и начальник отдела сд. В частности, он упрекал Шмитта в том, что тот, вводя «абстрактное понятие международно-правового порядка больших пространств», опять возвращается к принципам просвещенческого универсализма, а вместо конкретных обстоятельств якобы ведет речь о «каком-то рейхе», «какой-то политической идее» и «каком-то народе»⁶¹.

⁶¹ Höhn R. Reich, Großraum, Großmacht // Reich — Volksordnung — Lebensraum (RVL) 2 (1942). S. 104.

Хён распознал несовместимость фёлькиш-мировоззрения национал-социалистов с шмиттовским проектом. В конечном счете Шмитт имел в виду построение международно-правовой системы защиты от возможной интервенции западных держав в ответ на расширение Германского рейха, а она не обязательно предполагала национал-социалистическое господство. Хён же подчеркивал, что порядок больших пространств в Европе обязательно связан с существованием рейха, устроенного на основании почвеннического и расового принципов.

Другим оппонентом Шмитта выступал юрист Вернер Бест—главный идеолог СД, занимавший пост заместителя Р.Гейдриха в Главном управлении имперской безопасности. В августе 1939 года он как раз занимался полицейской подготовкой к ликвидации польского руководства, а потому его реакция на выступление Шмитта носила принципиальный характер. Одобрив введенный Шмиттом принцип «запрета на интервенцию для чуждых пространству сил», Бест в то же время полагал, что Шмитту следует отказаться от дальнейшего использования понятия «международного права» и заменить его понятием «*völkische Großraumordnung*». «Уничтожение и вытеснение чуждых народов не противоречит ни историческому опыту, ни законам жизни, если осуществляется в полном масштабе»,—подытоживал Бест⁶². В свете этих высказываний обвинение Шмитта в том, что его теория якобы служила теоретическим обоснованием гитлеровского *Drang nach Osten*, выглядит несостоятельным. Если весной 1939 года они и могли представлять некоторый практический интерес для нацистского руководства, то к осени их уже фактически списали в утиль⁶³. Чем более радикальными и воинственными становились взгляды сотрудников СС, СД и подведомственных им институтов, тем больше представителей «старых правых», т.е. интеллектуалов консервативной и немецко-национальной ориентации оставляло политически значимые посты и переходило в скрытую оппозицию.

Что касается социального состава нацистских интеллектуалов, то большинство из них (помимо уже названных Хёна и Беста, это Отто Олендорф, Хайнц Йост, Франц Зикс и многие другие) проделали примерно один и тот же жизненный путь. Их политические взгляды сформировались в послевоенные годы. Многие из них очень молодыми людьми сражались в составе фрайкоров в Прибалтике, на «восточной границе Рейха», потом участвовали в наполовину подпольной деятельности военизированных праворадикальных союзов Веймарской

⁶² Best W. *Großraumordnung und Großraumverwaltung* // *Zeitschrift für Politik* 32 (1942). S. 407.

⁶³ Вообще с началом войны акцент в дебатах сместился на вопрос будущего устройства Европы под германским владычеством. Ближе к концу войны обсуждалась проблема европейского

противостояния большевизму, причем даже самые убежденные сторонники идей «фёлькиш» были вынуждены пересмотреть свои антизападные позиции. Об этом см.: Benz W., Buchheim H., Mommsen H. (Hg.). *Der Nationalsozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft*. Frankfurt am Main, 1993. S. 104–133.

республики. Им была свойственна ненависть как к старому поколению «национальных» политиков, так и к левым интеллектуалам из коммунистического лагеря. Приход к власти национал-социалистов — а благодаря участию в структурах СС и СД они получили реальный шанс воплотить на практике свои радикальные идеи, связанные с «государством фёлькиш» или «духовным водительством», — открыл перед ними самые широкие возможности для удовлетворения интеллектуального тщеславия, в том числе в привлекательной академической среде. А потому вполне естественно, что такие именитые представители академической среды, как Карл Шмитт или Гуго Динглер, либо происходившие из католических кругов, либо имевшие «связи с еврейскими учеными», либо и то и другое вместе, рассматривались ими не иначе как потенциальные враги. Однако в отличие от последних, которые все же сохранили интеллектуальную автономию и смогли вернуться в публичное пространство Федеративной Республики Германия, они с готовностью принесли «интеллектуальное жертвоприношение» режиму.

«Другая Германия»

В этом параграфе мы попытаемся предложить иной, более позитивный, взгляд на интеллектуальную историю в «эпоху Аденауэра», которая в литературе, посвященной интеллектуалам, обычно трактуется как время реакции.

В течение почти полутора десятилетий после 1945 года право-консервативные интеллектуалы разрабатывали проекты, предполагавшие альтернативу как «вестернизации» и «американизации» Германии, так и коммунистической идеологии⁶⁴. В годы оккупации Германии союзниками участники внутреннего немецкого сопротивления были уже во второй раз поставлены вне закона. Новая власть оккупационных сил объявила их «сторонниками» режима, а следовательно и «соучастниками» преступлений. Несмотря на то что правые интеллектуалы имели весьма и весьма различное отношение к национал-социализму, они в большинстве воспринимались как его духовные наставники. Эрнст Юнгер получил запрет на публикации до 1949 года, Мартину Хайдеггеру было запрещено преподавать, пока в 1951 году он уже в статусе *emeritus*'а не получил право читать лекции в ограниченном объеме. Шмитт был выпущен из тюрьмы в 1947 году, но с карьерой было покончено. Благополучно избежал денацификации, пожалуй, только младший брат Эрнста Юнгера, Фридрих Георг. Карла Шмитта в послевоенной Германии ненавидели больше всех; по сравнению с ним Эрнст Юнгер в глазах либералов был настоящим ангелом.

⁶⁴ Подробнее см.: Михайловский А.В. «Внутренняя эмиграция» немецких консерваторов // Космополис. 2005. № 3 (13). С. 117–130.

Выводы из постигшего Германию краха были различны. Тем не менее общим для всех было признание невозможности самостоятельной германской политики, глубокий пессимизм, чувство ressentiment вплоть до отрицания современной действительности. Здесь лежат истоки фигур «партизана» (К. Шмитт), «странника, идущего через лес» (Э. Юнгера), «пастуха бытия» (М. Хайдеггера).

Рассмотрение первых послевоенных лет позволяет скорректировать образ Германии, охваченной денацификацией и демократизацией на американский манер. Дело в том, что правые интеллектуалы, еще в 1930-е годы пережившие крушение своих надежд и видевшие себя носителями «тайной Германии», в период правления ХДС/ХСС оказались частью довольно широкой общественности с консервативно-критическим унастроением. Как показывают недавние исследования истории сми в Федеративной Республике Германия, 1950-е годы были, с одной стороны, эпохой «волнующей модернизации» (Х.-П. Шварц), а с другой — имели ярко выраженные консервативные черты. «Критика в адрес сми звучала уже не столько из уст официальных представителей лютеранской и католической Церквей, сколько из лагеря тех, кто еще в период между двух войн занимал культур-пессимистские позиции»⁶⁵. В самом деле, те, кто в 1930-е годы столкнулся с Gleichschaltung и машиной министерства пропаганды, обрели известный иммунитет и в отношении новой демократической политики сми.

Сейчас становится все более очевидно, что в Германии того времени не было области, где консервативная мысль не наложила бы своего отпечатка, будь то философия или антропология, будь то критика техники, экологическое движение или средства массовой информации. Консервативное влияние можно проследить даже в практической политике, близкой к консервативным кругам — партийном строительстве (ранний ХДС), реформе бундесвера и участии в военных структурах НАТО (граф Вольф Бодиссан, генерал Ханс Шпайдель).

Весьма показателен пример журналиста и писателя Ханса Церера (см. предыдущий параграф). Лидер кружка «Тат», Церер ушел в 1934 году во «внутреннюю эмиграцию» и обосновался «вдали» от Третьего Рейха. Двенадцать лет оппозиционный журналист просидел в хижине на Зильте, читая Достоевского, Кьеркегора, Отцов Церкви. В эти годы он публиковал под псевдонимом романы, работал сценаристом (как и писатель Эрнст фон Заломон), а за два года до конца войны был мобилизован в войска люфтваффе. После войны Церер стал первым шеф-редактором крупной гамбургской газеты «Welt», хотя вскоре оставил пост ввиду политических атак. В 1948 году он

⁶⁵ Schildt A. Massenmedien im Umbruch der fünfziger Jahre // Jürgen Wilke (Hg.). Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1999. S. 645. См. также: Schildt A. Zwischen Abendland und Amerika // Moderne Zeiten. Freizeit, Massenmedi-

en und «Zeitgeist» in der Bundesrepublik der 50er Jahre. Hamburg, 1995. S. 324–350; Nolte Paul. Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert. München, 2000. S. 273–318.

опубликовал написанный еще на Зильте труд «Человек в этом мире» (в 1952 году вышел на английском языке). Когда же в 1953 году «Вельт» перешла в германские руки, то ее новый владелец Аксель Шпрингер пригласил своего старого друга вновь возглавить издание. Несмотря на то что в 50-е годы левая «Frankfurter Allgemeine Zeitung» обвиняла его в том, что кружок «Тат» («романтики революции среднего сословия») недооценил «силы коричневых колонн» и тем самым приготовил путь национал-социалистов к власти, Церер оставался на своем посту вплоть до 1966 года. В 1958 году — как бы повторяя опыт многих европейских интеллектуалов тридцатилетней давности — он посетил Советский Союз, был принят в Кремле Хрущевым, а по возвращении опубликовал серию статей, в которых проявилось его сильное разочарование в советском режиме.

Этот и многие другие примеры позволяют усомниться в правильности расхожего представления о маргинальности германских правых после Второй мировой войны. Даже если не выходить за пределы круга Хайдеггера, Шмитта, братьев Юнгер — авторов, которые в либеральной историографии считаются предшественниками «новых правых»⁶⁶, — достаточно будет указать на то огромное значение, которое имела, скажем, философия Хайдеггера для левой французской мысли 60-х годов, или на критику техники Фридриха Георга Юнгера, чья книга «Совершенство техники»⁶⁷, написанная еще в конце 30-х годов, но опубликованная только в 1946 году (английский перевод вышел уже в 1949 году), оказала серьезное воздействие на активистов германского экологического движения, предшественников партии «Зеленых». Наконец, можно привести в пример Карла Шмитта, который, отчасти через публикации, отчасти через учеников (Э. Форстхоффа и др.), оказывал существенное влияние на многие аспекты правовой жизни Федеративной Республики (например, реформу Конституционного суда). В своих книгах, статьях и выступлениях он продолжал комментировать текущие события политической жизни, осмыслял роль партизана в эпоху холодной войны и неизменно притягивал к себе молодых интеллектуалов, которых не устраивали англо-американские доктрины либеральной демократии.

После войны правые интеллектуалы, лишившиеся своего прежнего статуса, ощущавшие одновременно одиночество и причастность одному общему делу, оказались перед необходимостью воссоздания коммуникативной среды. В одном письме М. Хайдеггера К. Ясперсу от 12 августа 1949 года цитируются слова Фридриха Ницше: «Читая эти строки Вашего письма, я вспомнил слова Ницше, которые Вы, конечно, знаете: „Сотня глубоких одиночеств в совокупности образует город Венецию — это его очарование. Картина для людей будущего“.

⁶⁶ См., например: Lenk. Vordenker der neuen Rechten. ⁶⁷ Юнгер Ф.Г. Совершенство техники / Пер. И.П. Стребловой. СПб., 2002.

То, что подразумевает Ницше, лежит вне альтернативы коммуникации и не-коммуникации»⁶⁸.

Но «альтернатива коммуникации и не-коммуникации» в социальной действительности продолжала существовать и даже принимала вполне реальные формы. А именно выбор был сделан в пользу «эзотерической коммуникации»⁶⁹ — разумеется, за исключением тех, кто был экзистенциально лишен самой возможности этого выбора. Модель эзотерического круга собеседников была опробована еще в эпоху нацизма, но оставалась определяющей для общения в среде правых интеллектуалов и в первое послевоенное десятилетие. Впрочем, не стоит забывать, что и «духовному сопротивлению» в Третьем рейхе предшествовала большая традиция эзотерического общения; «тайная Германия» (das «geheime Deutschland») была не изобретением консервативного сопротивления, а находкой круга Штефана Георге.

Переписка, частные встречи и лекции, заседания небольших клубов стали действенной альтернативой тотальной идеологии денацификации. В своем позднем интервью 1989 года один из первых идеологов «новых правых» Армин Молер вспоминал: «После войны я как-то зашел к одному французскому офицеру, служившему в Тюбингене. Тогда он только что вернулся из поездки в американскую зону оккупации, где пережил самый пик перевоспитания. Хорошо разбираясь в практической политике, он мне сказал: „То, что делают американцы, — это безумие. Это перевоспитание... Ведь все же знают, как немцы умеют учиться; они ведь все это воспримут. А через некоторое время они станут нашими учителями, будут проповедовать нам демократию и говорить, как поступать правильно и по-демократически“... Вот вам, пожалуйста, и вся идеология Франкфуртской школы»⁷⁰.

С другой стороны, причиной неприятия публичной коммуникации была брезгливость в отношении известного конформизма некоторых кругов германского общества. В 1948 году Мартин Хайдеггер писал Герберту Маркузе: «Исповедь после 1945 года была для меня невозможна, потому что тогда приверженцы нацистов самым отвратительным образом заявляли о смене своего мировоззрения, а я не хотел иметь с ними ничего общего»⁷¹. Похожие замечания мы находим и в дневнике Карла Шмитта «Глоссарий», опубликованном через шесть лет после его смерти. Так, в записи от 24 апреля 1949 года:

⁶⁸ Хайдеггер М., Ясперс К. Переписка 1920–1963 / Пер. И.А. Михайлова. М., 2001. С. 254.

⁷⁰ Mohler A. Das Gespräch. Über Linke, Rechte und Langweiler. Dresden: Edition Antaios, 2001. S. 109–110.

⁶⁹ Morat D. Techniken der Verschwiegenheit. Esoterische Gesprächskommunikation nach 1945 bei Ernst und Friedrich Georg Jünger, Carl Schmitt und Martin Heidegger // Moritz Föllmer (Hg.). Sehnsucht nach Nähe. Interpersonale Kommunikation in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004. S. 158 ff.

⁷¹ Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebenswegs. Gesamtausgabe Bd. 16, Frankfurt 2000. S. 431.

«Лучше уж быть врагом Адольфа Гитлера, чем другом всех этих возвращающихся эмигрантов и гуманитариев»⁷². Та же мысль продолжается и в такой записи: «Что было более непристойно? Поддержать Гитлера в 1933 или плевать в него в 1945?»⁷³ Вплоть до 70-х годов бестселлером оставалась книга Э. фон Заломона «Анкета»⁷⁴, в которой было увековечено глубокое чувство ресентимента германских интеллектуалов, не эмигрировавших в годы Третьего рейха на Запад и вынужденных заполнять печально известный англо-американский «опросник».

Стратегия «эзотерической коммуникации» предполагала отказ от любых форм политической активности, который сопровождался убежденностью в том, что «пространства для самостоятельной германской политики больше не было»⁷⁵. Эрнст Юнгер писал Мартину Хайдеггеру 25 июня 1949 года из Равенсбурга, куда он переехал из Кирхорста: «В течение последних лет мне стало совершенно ясно, что молчание — самое сильное оружие, при условии, что за ним что-то скрывается, и что ради этого стоит молчать»⁷⁶. Как в годы нацистской диктатуры правые интеллектуалы, выбравшие путь «внутренней эмиграции», уезжали из столицы в провинцию, так и после войны «штаб-квартирой» право-консервативной мысли оставались все те же провинциальные места, связанные непубличной коммуникационной сетью, главным образом, в форме частных встреч и переписки. В первые послевоенные годы сформировалась настоящая «тайная дипломатия» между Тодтнаубергом (Хайдеггер), Юберлингенем (Ф.Г. Юнгер), Равенсбургом (Э. Юнгер) и Плеттенбергом (К. Шмитт)⁷⁷.

В этой среде общения родилось и большинство ставших теперь философской «классикой» идей — за годы до того, как стать достоянием академической публики. Здесь читались *одни и те же* тексты, разрабатывались *одни и те же* топосы мысли. Достаточно назвать лишь темы «лесных троп» (Holzwege), «нигилизма», «техники», «возвращения». Для всех были одинаково актуальны Ницше и Гёльдерлин; охотно цитировались строки из поздней редакции гимна «Патмос» (1802): «Wo aber Gefahr ist, / Wächst das Rettende auch» («Но там, где опасность, / Вырастает и спасительное»).

⁷² Schmitt C. Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951. Hrsg. von Eberhard Freiherr von Medem. Berlin: Duncker & Humblot, 1991. S. 232.

⁷³ Ibid. S. 233.

⁷⁴ Salomon E. von. Der Fragebogen. Hamburg: Rowohlt, 1951.

⁷⁵ Niekisch E. Gewagtes Leben. Begegnungen und Ergebnisse. Köln; Berlin: Kiepenhauer & Witsch, 1958. S. 383.

⁷⁶ Цит. по: Morat D. Techniken der Verschwiegenheit. S. 167.

⁷⁷ См. недавно изданные тома переписки: Jünger E. — Schmitt C. Briefwechsel. Hrsg., komment. u. mit einem Nachw. v. H. Kiesel. Stuttgart: Klett-Cotta, 1999; Jünger F.G. «Inmitten dieser Welt der Zerstörung». Briefwechsel mit Rudolf Schlichter, Ernst Niekisch und Gerhard Nebel. Hrsg. v. Ulrich Fröschle und Volker Hasse. Stuttgart: Klett-Cotta, 2001; Jünger E. — Heidegger M. Briefwechsel. Hrsg. v. G. Figal unter Mitarbeit von S. Meier. Stuttgart; Frankfurt a. M.: Klett-Cotta und V. Klostermann, 2008.

В этой закрытой среды общения складывались и вполне конкретные практические замыслы; германские интеллектуалы так или иначе должны были нащупывать новые возможности коммуникации в конце 1940-х — начале 1950-х годов. И здесь люди пера конечно же не могли обойтись без помощи лояльных «общему делу» людей, в чьих руках находились «инструменты влияния». Речь идет в первую очередь о таких издателях, как Витторио Клостерманн, Эрнст Клетт, Гюнтер Неске, Эвальд Кацманн (Heliopolis-Verlag), или о таких организаторах, как граф Клеменс Подевилльс; все они входили в рассматриваемый нами круг. Площадкой для правых немецких интеллектуалов в первые годы нередко служил журнал «Merkur» («Меркурий. Немецкий журнал европейской мысли»), издаваемый Гансом Пешке в Штутгарте и Баден-Бадене, тем не менее они вынашивали и собственные планы по изданию независимого журнала. То, что он так и не был воплощен в жизнь, скорее симптоматично, нежели случайно.

В конце 1940-х годов Эрнст и Фридрих Георг Юнгер, Армин Молер вместе с философом Герхардом Небелем задумывали издание журнала «Pallas» («Паллада»), которое должно было отражать актуальную немецкую мысль в трех оккупационных зонах. Издатель Эрнст Клетт изъявил готовность печатать журнал в своем штутгартском издательстве; к сотрудничеству предполагалось привлечь М. Хайдеггера, К. Шмитта, физика В. Гейзенберга, педагога и философа Хайнриха Вайнштока, философа Франца Йозефа Брехта. И хотя эти усилия так ни к чему не привели, однако примечательно, что консервативные круги были заинтересованы в «таком журнале, где возьмет слово существенная Германия»⁷⁸. Наследниками этого проекта вполне можно считать издававшийся в Штутгарте с 1959 года при участии Э. Юнгера и М. Элиаде журнал «Antaios» («Антей. Журнал для свободного мира»), равно как и выходящий до сих пор журнал «Scheidewege» («Перепутья»), основанный в начале 1970-х годов Ф.Г. Юнгером и М. Химмельхебером. Впрочем, и тот, и другой журналы опять-таки не были политическими изданиями, а представляли собой образцовые литературные журналы.

Немалую роль в поддержании «эзотерической коммуникации» играли клубы и коллоквиумы, организовывавшиеся для небольшого круга подготовленных слушателей. Прежде всего, это Рейн-Рурский клуб, основанный в 1948 года в Дюссельдорфе и служивший местом встреч между политикой, бизнесом и наукой. В клубе выступал Карл Шмитт с докладом «О единстве мира и единстве Европы» (опубликован в 1952 году в «Merkur»). Благодаря посреднической роли Шмитта в январе 1957 года перед членами клуба произнес свою речь А. Кожев. Она называлась «Колониализм в европейской политике» и во многом

⁷⁸ См.: Mohler A. Ravensburger Tagebuch. Meine Jahre mit Ernst Jünger. Wien; Leipzig: Karolinger, 1999. S. 40.

отражала дискуссию со Шмиттом по вопросу возникновения нового глобального порядка. Помимо Рейн-Рурского клуба следует упомянуть так называемый Бременский клуб и санаторий «Бюлерхёе» («Bühlerhöhe») под Баден-Баденом⁷⁹, куда приезжали на различные доклады и круглые столы М.Хайдеггер, Эрнст и Фридрих Георг Юнгер. М.Хайдеггер, выступая в декабре 1949 года в Бременском клубе, прочел четыре доклада под общим заглавием «Прозрение в то, что есть» — «Вещь», «Постав», «Опасность», «Поворот». Однако наиболее важную организационную роль играла Баварская Академия изящных искусств в Мюнхене, генеральный секретарем которой с 1949 года являлся граф Клеменс Подевилльс. Академия присуждала литературные премии, устраивала доклады и чтения, проводила конференции. Наибольший резонанс получила конференция 1953 года по теме «Искусства в техническую эпоху», в которой приняли участие Мартин Хайдеггер, Вернер Гейзенберг и Романо Гвардини.

Ретроспективно можно утверждать, что «эзотерическая коммуникация», несмотря на сознательный отказ от политической активности, оказалась успешной стратегией. Переписка, коллоквиумы, конференции, частные встречи, а также журналы и небольшие издательства служили распространению консервативной мысли в послевоенной Германии и расширению сферы коммуникации. Этот стиль оставался характерным для правоконсервативных интеллектуалов и после их возвращения в публичное пространство.

Федеративная Республика Германия: от политизации к деполитизации

В консервативную «эру Аденауэра», отмеченную двенадцатилетним правлением правящей коалиции ХДС/ХСС, левые интеллектуалы и социалистическая мысль если и не исчезли из политического пространства совсем, то в дискуссии о вопросах власти и организации политической системы они не играли никакой роли. Идеал сильного, рационального государства, стоящего над обществом и обладающего иммунитетом от разноречивых социальных интересов, являлся эталонным не только для консерваторов, но и для многих либералов в послевоенный период существования. Однако оставалась существеннейшая проблема: как обеспечить легитимацию сложного современного общества в условиях массовой демократии и индустриального общества.

Конец 60-х годов считается *переломным временем* в истории Федеративной Республики Германия. С точки зрения леволиберального

⁷⁹ См.: Stroomann G. Aus meinem roten Notizbuch. Ein Leben als Arzt auf Bühlerhöhe. Frankfurt, 1960. S. 206 ff. О Бременском клубе: Petzet H.-W. Die Bremer Freunde // Neske G. (Hg.). Erinnerungen

an Martin Heidegger. Pfullingen, 1977. S. 179–190; Idem. Auf einen Stern zugehen. Begegnungen und Gespräche mit Martin Heidegger 1929–1976. Frankfurt, 1983. S. 59–83.

историка Курта Зонтхаймера, 60-е годы стали «ключевым десятилетием», когда пробили «час интеллектуалов». Следует отметить, что в таком словоупотреблении понятие «интеллектуала» ценностно нагружено, поскольку выступает синонимом «левых», «выступающих за общее благо» и «говорящих от имени общечеловеческих ценностей». Вместе с тем этот период действительно отмечен глубокими трансформационными процессами в обществе, активным включением писателей и философов, появлением категории «общественного мнения», бурным ростом сми (как левого, так и правого спектра) и ростом их влияния, а потому можно согласиться с авторами фундаментального исследования о Франкфуртской школе, которые называют 1966–1969 годы вторым «интеллектуальным основанием ФРГ»⁸⁰. Возникла категория «общественного мнения», появилась влиятельная общественность.

Публичные выступления Генриха Бёлля, Гюнтера Грасса и других писателей в поддержку сдпг способствовали тому, что в массовом сознании сформировался образ писателя как «совести нации», как защитников универсальных ценностей и прав человека. Эффективно используя сми (в том числе телевидение), интеллектуалы выступали против атомного оружия, американской политики во Вьетнаме, закона о чрезвычайном положении, агитировали за мир и призывали вступать в ряды экологического движения. Истоки этой деятельности восходят непосредственно к послевоенному времени, когда в Западной Германии возникали разнообразные журналы («Der Ruf» [«Клич»], редакторы — Ханс Вернер Рихтер и Альфред Андерш) и кружки («Группа 47»), объединявшие прежде всего молодых писателей. Многие из них вошли позднее в так называемую «Социал-демократическую выборную инициативу» в поддержку Вилли Брандта, наиболее активным участником которой был Гюнтер Грасс (р. 1927).

В 1950-е годы центральной темой дискуссий был вопрос о «вине немецкого народа», однако он обсуждался внутри академической среды и не имел широкого политического резонанса. Возвращение левых интеллектуалов к активному участию в политической жизни было ознаменовано так называемым делом «Шпигеля» 1962 года (Spiegel-Affäre)⁸¹. Этот скандал был воспринят не только как крупнейшая победа демократической общественности Германии в борьбе за свободу прессы в послегитлеровский период, но и как появление «духовной оппозиции» в Федеративной Республике. В глазах интеллектуалов авторитет государства после дела «Шпигеля» резко упал. В 1960-е годы

⁸⁰ Albrecht C. (Hg.). Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule. Frankfurt a. M.; New York, 1999.

⁸¹ В 1962 году правительство Конрада Аденауэра и военного министра Франца-Йозефа Штрауса обвинило редактора еженедельника «Шпигель» Рудольфа Аугштайна и его ведущих журналистов

в разглашении якобы секретной военной информации. Реальной причиной являлась постоянная жесткая критика министра обороны. Им грозило до 10 лет тюрьмы. 103 дня заключения Аугштайна вызвали широкую волну протеста против попыток подавления свободы прессы. С этого времени в Германии начали часто цитировать Всеобщую декларацию прав человека.

перед левыми интеллектуалами открывалось два пути протеста: либо поддержка студенческого движения, либо участие в партийной политике, что позволяло мобилизовать гораздо более широкую общественность. Политический активизм автора «Жестяного барабана» основывался на убеждении в необходимости вмешательства граждан в жизнь демократического государства. Поддержка выборной кампании СДПГ включала в себя не только консультации политиков при написании речей, но и составление предвыборных лозунгов с целью привлечения электората. Свою принципиально негативную позицию по поводу «несовместимости духа и власти» Грасс сформулировал в таких словах: «Место писателя в обществе, а не над обществом или в стороне от него. Поэтому долой все духовное чванство и высокомерный дух элит! <...> Нет больше смысла цепляться за старую оппозицию духа и власти. Ведь мы платим налоги и ходим на выборы не на Парнасе, в сопровождении муз и в клубах жертвенного дыма, и живем мы не в фантастических республиках ученых. Мы платим налоги здесь, в Федеративной Республике, и здесь мы должны начать говорить!»⁸²

О представительности «Социал-демократической выборной инициативы» говорит тот факт, что наряду с Грассом ее членами были философы Эрнст Блох и Людвиг Маркузе, историки Курт Зонтхаймер и Голо Манн, писатели Вальтер Йенс и Зигфрид Ленц, публицисты Арнульф Баринг и Марсель Райх-Раницки. Консолидация интеллектуалов и деятелей искусств и привлечение широких масс избирателей обеспечили успех инициативы, которая значительно способствовала победе Вилли Брандта и вызвала к жизни широкое гражданское движение⁸³. Добившись смены политического вектора, многие из этих интеллектуалов в 1970-е годы сменили привычную роль «критика» на роль «эксперта» по вопросам политики, однако их влияние на конкретные политические решения в эпоху Брандта было скорее незначительным.

Демократизация системы высшего образования в конце 1960-х — начале 1970-х годов имела своим следствием поляризацию общественно-политической жизни. В частности, многие либеральные интеллектуалы (К. Зонтхаймер, Х.-Д. Брахер), которые до 1968 года критиковали систему образования и выступали с требованием проведения реформ, увидев, что студенческие волнения грозят подорвать стабильность государства, начали активно выступать в поддержку status quo. Так или иначе, студенческое движение уже очень рано заставило задуматься об условиях и границах либеральной демократии.

Представитель второго поколения Франкфуртской школы Юрген Хабермас (р. 1929) также отмежевался от радикального крыла революционного студенчества, обвинив его лидеров в «левом фашизме». Вместе с тем Хабермас значительно способствовал интеллектуальному

⁸² Grass G. Des Kaisers neue Kleider // Grass G. Über das Selbstverständliche. Berlin, 1968. S. 53 f. ⁸³ Münkler D. Intellektuelle für die SPD // Hübinger G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 238.

обновлению левых в Германии («новые левые»). Он констатировал кризис легитимности современного государства, который привел к расколу между обществом и государством. Однако если консервативные интеллектуалы вроде Э. Форстхоффа и Э.-В. Бокенфёрде находились под влиянием правовой теории К. Шмитта и перед лицом слабой парламентской демократии требовали от лиц, принимающих политические решения (decision makers), большей эффективности ради поддержания стабильности, то Хабермас настаивал на демократической ре-политизации сферы «публичности» или «общественности» (Öffentlichkeit), которая должна была способствовать обновлению социальной жизни, искаженной влиянием позднекапиталистической системы⁸⁴. Еще в своей ранней работе «Структурные трансформации публичной сферы» (1962) философ показывал, что публичная сфера, ограниченная парламентскими дебатами, превращается из субъекта осмысленного действия в объект социальных манипуляций со стороны средств массовой информации. Поэтому «общественности» приписывается нормативный порядок: по мнению Хабермаса, она должна задавать масштаб и направление критики современной действительности.

Начиная с 1970-х годов Хабермас разрабатывал «критическую теорию общества», в рамках которой получила свое обоснование идея интеллектуальной эмансипации. А именно речь шла об освобождении от институционального принуждения, систематически искажающего коммуникацию. Автор «Теории коммуникативного действовани-» (1981)⁸⁵ исходил из идеальной ситуации рационального консенсуса, достигаемого посредством «дискурса» как диалогически равноправной процедуры аргументации. Не считая возможным достичь рационализации истории на пути технического контроля и кибернетизации общества, философ возлагал большие надежды на эмансипацию рефлексизирующего и прогрессирующего сознания. В этом смысле история должна была стать диалогом совершеннолетних (в кантовском смысле) людей. Таким образом, хабермасовская теория дискурса явилась попыткой создать теорию коммуникации, которая в условиях научно-технической цивилизации претендовала на то, чтобы дать человеку разумные ориентиры в практических поступках. Вместе с тем она оставляла нерешенным вопрос о том, не скрывается ли за дискурсивно-организованной публичностью господство тех, кто распоряжается разумом в технической цивилизации.

В немецкой интеллектуальной истории последних десятилетий Ю. Хабермасу по праву принадлежит слава «великого supervisor'a»

⁸⁴ О критике неоконсервативных течений Хабермасом см.: Филиппов А. Ф. Западногерманские интеллектуалы в зеркале консервативной социологической критики // ФРГ глазами западногерманских социологов: Техника — интеллектуалы — культура. М.: Наука, 1989. С. 145–168.

⁸⁵ Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bde. 1–2. Frankfurt a. M., 1981.

(А. Польманн), который стремится занять ответственную позицию по всем значительным общественно-политическим вопросам и, прибегая к силе «лучшего аргумента», заставляет прислушиваться к своим словам. В 1980-е годы он принимает самое активное участие в дискуссиях о ценностной нейтральности социального знания, о реформе университета, в так называемом «споре историков»⁸⁶, а в 1990-е годы пытается сформулировать ответ на глобализационные вызовы. В то же время философ постепенно переходит с радикально-демократических на либерально-демократические позиции. Хабермас полагает, что его теория коммуникативного действия способна помочь выработать не только действенную либеральную этику, но и действенную демократическую политику. Поддерживая идею «делиберативной демократии» («демократии обсуждения»), он верит в способность демократического общества к интеграции: рациональный консенсус относительно базовых моральных ценностей, полагает Хабермас, является универсальным способом решения проблем глобального общества⁸⁷. Будучи самым видным протагонистом либеральной демократии в нынешней Германии и в то же время критиком, выступающим против проамериканской ориентации, Хабермас отстаивает космополитический, универсалистский проект Европы⁸⁸. С этой точки зрения, не США, а именно Европа идет в авангарде движения навстречу всемирному порядку, основанному на торжестве принципов закона и прав человека во всем мире.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов в Германии и некоторых других европейских странах (прежде всего, во Франции и Италии) в ответ на осуществленную левыми культурную революцию, с одной стороны, и кризис стабилизационного консерватизма, с другой — формируется организационная и идеологическая социальная сеть, получившая обозначение «новых правых» (Neue Rechte). В противовес левым периодическим изданиям вроде «Zeit» или «Tageszeitung» начинает

⁸⁶ «Спор историков» (Historikerstreit) был вызван в 1986 году статьей немецкого историка Э. Нольте под названием «Прошлое, которое не желает проходить». Речь в статье шла о «табуированных» в немецком сознании темах: «преступлениях нацистского режима», «Освенциме» — основных составляющих пресловутого комплекса «германской вины». Нольте говорил о холокосте, допуская возможность с помощью доступных и обычных для историка средств выявить мотивы «окончательного решения» Гитлера, которое привело к массовому уничтожению евреев. В концепции Нольте политика холокоста в фашистской Германии становилась «объяснимой» при сопоставлении ее с большевистским террором в Советской России. Нольте утверждал, что существует «причинно-следственная связь» (kausaler Nexus) между ГУЛАГом и Освенцимом. Национал-социалисты осуществили это «азиатское»

деяние только потому, что считали себя потенциальными жертвами советского «азиатского» деяния и воспринимали большевизм как главного врага. Ю. Хабермас, а вслед за ним литературный критик М. Райх-Раницкий обвинили Нольте в желании преуменьшить преступления нацизма. Суть возражения заключалась в том, что немецкой историографии современности свойственна «апологетическая тенденция», она «отрицает уникальность нацистских преступлений», занимается «ревизионизмом» и «отбеливанием» нацизма.

⁸⁷ См.: Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. СПб., 2001.

⁸⁸ Habermas J. Neue Welt Europa // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Januar 2003.

издаваться журнал «Критикон», рупор право-консервативной образованной элиты. Важную роль в концептуализации и распространении взглядов «новых правых» сыграл первый историк «консервативной революции» и в прошлом секретарь Э.Юнгера Армин Молер (1920–2003). Идеи новых правых восходят, с одной стороны, к «консервативной революции», с другой стороны — к европейскому традиционализму (Ю.Эвола, Р.Генон). Вместе с тем новые правые отбрасывают социалистический пафос «консервативной революции», перенимая главным образом ее националистические мотивы, и политизируют традиционализм, заимствуя отсюда неоязыческую составляющую. Новые правые выступают прежде всего как критики либерализма, идеологии свободного рынка и эгалитаризма. Введенное К.Шмиттом «понятие политического» как различения «друг / враг» трансформируется ими по сути в метаполитическое понятие, которое предполагает уже не создание авторитарного государства с целью национального возрождения, а сохранение культурного своеобразия отдельных обществ («плюриверсум культур», «этноплюрализм») и уникальной европейской идентичности перед лицом угрозы «американизации» с ее однополярной моделью мира. Отсюда вытекает интернационализация и европеизация правой мысли: ее идеологи проповедуют «целостную Европу» (элементы коммуитаризма, локализма, федерализма), противостоят космополитическим концепциям «всемирного государства» и верят в гомогенные, описываемые в этнических терминах культуры. В сознании либерально настроенной общественности «новые правые» при всем своем солидном интеллектуальном background'e часто ассоциируются с «правым экстремизмом» и даже «фашизмом». Несмотря на то что в связи с изменениями в европейской политике последних лет (на первый план вышли традиционно «правые» темы национальной безопасности, нелегальной миграции и т.д.) публицистическая активность новых правых заметно выросла⁸⁹, они по-прежнему находятся скорее «по краям» германского публичного пространства. Тем не менее адекватная оценка интеллектуальной истории Германии последних десятилетий невозможна без учета *ключевых дискуссий* между левыми либералами, сторонниками либертаризма, и «новыми правыми», сторонниками гомогенного государства и общества, выстроенного по принципу «law-and-order». Эта полемика непосредственно связана с формированием отношения к собственному прошлому и процессом европейской интеграции Германии.

Пожалуй, наиболее яркой страницей в новейшей интеллектуальной истории Германии стала общественная дискуссия 1989 года о

⁸⁹ Сейчас интеллектуальным центром «новых правых» выступает берлинская газета «Нойе Фрайхайт», с которой сотрудничает видный публицист, старый противник и критик Хабермаса Гюнтер Машке (р. 1948).

⁹⁰ Подробнее об этом см.: Jäger W., Villinger I. Die Intellektuellen und die deutsche Einheit. Freiburg i. B., 1997.

германском единстве⁹⁰. В то же время ее можно считать *последней политической мобилизацией* интеллектуалов накануне торжества неолиберальных настроений в обществе 1990-х годов. В этих дебатах вновь сыграли весьма заметную роль немецкие писатели. «Совесть нации» была, так сказать, расколота на два лагеря, один из которых представлял Гюнтер Грасс, а другой — Мартин Вальзер. Еще в начале 1980-х годов Грасс в своих книгах и выступлениях отстаивал тезис о «двух государствах одной нации» и литературе как едином культурном пространстве всех немцев. Соответственно, в ходе процесса воссоединения он выступал с идеей «конфедерации двух германских государств». Свою мысль об отказе от «единого государства» Грасс аргументировал, с одной стороны, ссылаясь на необходимость центрально-европейской безопасности, а с другой — отмечая некоторую заторможенность и отсталость общества гдР. Его антипод Мартин Вальзер, наоборот, всесторонне поддерживал воссоединение Германии. Альтернативу гегемонии Германии в Центральной Европе Вальзер усматривал в европейской интеграции Германии. В этой связи следует также упомянуть влиятельного публициста Ханса-Магнуса Энценсбергера, считавшего, что германское единство дает всем гражданам стать «совершеннолетними в политическом отношении». В целом эти позиции писателей-интеллектуалов заметно выделялась на общем плаксиво-пессимистичном тоне германской прессы и в значительной мере способствовали формированию у немцев критического отношения к проблеме национальной идентичности.

Постполитические тенденции в общественной мысли двух последних десятилетий привели к очевидной *деполитизации интеллектуалов*⁹¹. Крах реального социализма, снижение накала в противостоянии правых и левых в силу снижения численности рабочего класса и расширения сферы услуг, процессы глобализации в 1980–1990-х годах привели к торжеству концепций «конца истории», мультикультурализма, делиберативной демократии и рефлексивной модернизации, ставших путеводной звездой для либералов и левоцентристов по всему миру. При этом роль интеллектуала, расстающегося с «левым» и «правым» ради «третьего пути», начинает сводиться к поиску эффективного баланса между интересами общества, индивида и свободного рынка, а слово «консенсус» становится ключевым термином гуманитарных дискуссий.

Ральф Дарендорф выделяет несколько причин трансформации роли интеллектуала⁹²: 1. Индустриальное общество включает интеллектуала в коллективный медийный аппарат, лишает его подлинной индивидуальности и превращает в «шоумена». 2. Конец утопий и

⁹¹ О постполитике и реактуализации политического см.: Михайловский А.В. Понятие политического в эпоху «постполитики» // Международная жизнь (International Affairs). 2008. №7. С. 32–47.

⁹² Dahrendorf R. Umbrüche und normale Zeiten: Braucht Politik Intellektuelle? // Hübing G., Hertfelder Th. (Hg.). Kritik und Mandat. S. 281–282.

крушение глобальных идеологий лишает его легитимации и возможности соотноситься с масштабными перспективами, что приводит (3) к произвольности его высказываний в период ценностного плюрализма и культурного релятивизма. 4. Дифференциация функций социальных подсистем (преобладание прежде всего политических и экономических ценностей) обуславливает кризис общественной морали, которая становится либо «помехой», либо просто частным делом, «attitude».

Фигура *постполитического интеллектуала* — в Германии она наиболее ярко представлена П. Слотердайком и Р. Сафрански⁹³ — непосредственно связана со стремительным ростом медиализации и основной функцией масс-медиа по «репрезентации публичности»⁹⁴. Свою задачу интеллектуал ограничивает службой во имя публичности, однако при этом, как правило, не выходит за рамки «медиатора». Его притязания на автономию и нейтральность оказываются всего лишь формой лояльности по отношению к постполитическому common sense: будто достигнутый на данный момент уровень экономико-политического развития — большой прогресс в эволюции гуманизма. Интеллектуал, который превращается в одно из звеньев «политики жизни» (Э. Гидденс), помогает освобожденным от коллективных уз индивидам более плодотворно заниматься культивированием разнообразных стилей жизни, не оглядываясь на устаревшие групповые образцы. В такой «постполитике», где конфликт глобальных идеологических проектов и борющихся за власть партий считается преодоленным, интеллектуал становится в ряд просвещенных технократов (экономистов, специалистов по связям с общественностью) на службе свободного рынка, занятых поиском более или менее универсального консенсуса.

Однако обнаружившиеся в обществе начала XXI века глубокие противоречия и угрозы сделали очевидной недостаточность либеральных теоретических схем. Отсюда ясно, что будущее интеллектуала напрямую зависит от того, каким образом будет осуществляться преодоление постполитических тенденций в современном глобальном обществе, которое переживает сейчас, пожалуй, глубокий кризис.

⁹³ П. Слотердайк (р. 1947) — президент Высшей школы дизайна в Карлсруэ, автор известной книги «Критика цинического разума» (Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001). Р. Сафрански (р. 1945) — философ и свободный писатель, автор биографий Шопенгауэра, Хайдеггера, Шиллера. Медийные персонажи Слотердайк и Сафрански известны прежде

всего как ведущие программы «Философский квартет» на германском телеканале ZDF (см. также: www.petersloterdijk.net).

⁹⁴ Подробный анализ см.: Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. С. 160–164.

Литература**Общая литература**

- Bering D.* Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes. Stuttgart, 1978.
- Hoffmann K. (Hg.)* Macht und Ohnmacht der Intellektuellen. Hamburg, 1968.
- Hübinger G., Hertfelder Th.* Kritik und Mandat. Intellektuelle in der Deutschen Politik. Stuttgart, 2000.
- Nolte P.* Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert. München, 2000.

Вильгельмовская Германия

- Mommsen W. J. (Hg.)* Intellektuelle im deutschen Kaiserreich. Frankfurt, 1993.
- Ringer F. K.* Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933. München, 1987.

Между двумя мировыми войнами

- Breuer S.* Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt, 1993.
- Dupeux L.* La Révolution conservatrice dans l'Allemagne de Weimar. Paris, 1992.
- Herf J.* Reactionary Modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge University Press, 1984.
- Lenk K.* Vordenker der neuen Rechten. Frankfurt am Main; New York, 1997.
- Mohler A., Weißmann K.* Die Konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Graz, 2005.
- Morat D.* Von der Tat zur Gelassenheit. Konservatives Denken bei M. Heidegger, E. Jünger und F.G. Jünger 1920–1960. Wallstein-Verlag, 2007.
- Sontheimer K.* Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. München, 1962.

После Второй мировой войны

- Albrecht C., Behrmann G., Bock M.* Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule. Frankfurt; New York, 1999.
- Arnold H.L.* Die Gruppe 47. München, 1987.
- Assheuer Th., Sarkowicz H.* Rechtsradikale in Deutschland. Die alte und die neue Rechte. 2. Aufl. München, 1992.
- Brinks J.H. (Ed.)* Nationalist Myths and the Modern Media: Cultural Identity in the Age of Globalisation. London, 2005.
- Giesen B.* Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit. Frankfurt a. M., 1993.

- Laak D. van.* Gespräche in der Sicherheit des Schweigens: Carl Schmitt in der Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik. Berlin, 1993.
- Meyer M. (Hg.)* Intellektuellendämmerung? Beiträge zur neuesten Zeit des Geistes. München, 1992.
- Schmid C.* Die Intellektuellen und die Demokratie. Hamburg, 1958.
- Wilke J. (Hg.)* Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1999.

Германия до и после воссоединения

- Jäger W., Villinger I.* Die Intellektuellen und die deutsche Einheit. Freiburg i. B., 1997.

Александр Дмитриев

МАРКСИЗМ

Отношение к интеллектуалам (представителям образованных слоев, носителям специализированного знания) в рамках марксистской традиции за полтора века ее бытования было подчас полярно различным, от тотальной критики до избирательной апологетики — в зависимости от исторической конъюнктуры и текущих политических потребностей. Сама эта традиция отнюдь не была чем-то монолитным, тотальным и телеологически заданным — напротив, она также была исторически изменчива и переменчива, пребывая порой в полярно различных формах воплощения — от учения нескольких идеологов до доктринальных основ существования государственных режимов, от неформального мировоззрения радикальных социальных движений до эксплицитованных академических теорий.

Выделим важнейшие переломные пункты развития марксизма в связи с разными парадигматическими предпосылками трактовки проблематики интеллектуалов:

1. *Конец XIX века*: Как таковой марксизм именно в качестве целостного учения стал складываться в кодифицированном и упорядоченном виде лишь к концу XIX века, в 1890-е годы в недрах становящегося Второго интернационала и немецкой социал-демократии. Вопрос об интеллектуалах на этом этапе ставился как вопрос внешний, второстепенный для рабочего движения — как о весьма ненадежных союзниках.
2. *1920–1930-е годы*: В то же время в большевизме с начала XX века — также в силу особых российских условий и примата интеллигенции в освободительном движении — ставился вопрос о внесении сознания в пролетариат («Что делать?» Ленина). С одной стороны, уже в 1920-е годы эта традиция была представлена как минимум двумя мощными политическими течениями: социал-демократическим и коммунистическим. С другой стороны, появление академического марксизма на Западе (в лице Франкфуртской школы) проблематизировало исходный марксистский тезис о всемирно-исторической роли пролетариата; по-новому начал ставиться вопрос об адресате и конкретном носителе радикального эмансипационного проекта (активистах социалистических партий, идеологах и теоретиках левого толка).
3. *1960–1970-е годы*: окончательная утрата промышленным пролетариатом роли главного двигателя радикальных социали-

стических преобразований; рост числа «белых воротничков» и влияния на Западе новых левых и критических интеллектуалов. Трансформация классического марксистского и сталинского наследия в общественном сознании СССР и Восточной Европы: идеи «духовного производства» и «нового класса». Осуществляется новый виток саморефлексии марксизма и размышлений о призвании и состоянии «критической интеллигенции».

Главным во всех версиях классического марксизма было представление о неизбежном, внутренне обусловленном конце господствующего буржуазного строя и о радикальном (революционном) переходе усилиями пролетариата к бесклассовому обществу — на основе ключевого экономического антагонизма рабочего класса и предпринимателей. В этих рамках господствовало представление об интеллигенции как «промежуточной» социальной группе, примыкающей по образу жизни к мелкой буржуазии, но способной в условиях кризиса и пролетаризации стать союзником пролетариата; считалось, что представители этой группы способны примыкать к мощному социальному движению рабочих за освобождение не в силу коллективных стремлений, но исключительно «в индивидуальном порядке».

1. «Аристократия духа»

«Люди знания» оставались для основателей марксизма и их первых приверженцев группой по ту сторону их главных устремлений, а проблема интеллектуалов, собственно, не была поставлена или проблематизируема в классическом марксизме, поскольку оставалась формально внешней. Однако при комплексном видении отношений марксизма и интеллектуалов этот исходный доктринальный план не был единственным. Ведь по происхождению и первым шагам в социальном поле в XIX веке большинство марксистов — и оппозиционеров вообще, — не считая рабочих-самоучек, и были выходцами из средних городских слоев, занятых литературным трудом. Соответственно этому, с самого начала в развитии марксизма была заложена некая самопротиворечивая посылка: апеллирующая к пролетариату теория вырабатывалась и оттачивалась в кругах мелкобуржуазных интеллектуалов, из которых же и черпались во многом руководящие кадры рабочего движения (особенно журналисты, функционеры, парламентарии и т. д.). Эта двойственность, смещенная самоидентификация, была одной из причин постоянной тревоги и обсессивного страха самых разных марксистов, течений и групп уже в XX веке — потерять должный пролетарский характер, впасть в тот или иной «буржуазный уклон» по вине нечистых классовых истоков. Вытесненная вовне, проблематика интеллектуалов затрагивала самое социальную природу радикальной оппозиционности и ее носителей.

Так, в «Манифесте коммунистической партии» неискоренимыми остатками прежних классовых привязанностей объясняется «появление писателей, которые, становясь на сторону пролетариата против буржуазии, в своей критике буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения»¹. Стоит обратить внимание на то, что проблематика интеллектуалов (писателей) специфицирована тут исключительно в связи с представителями конкурирующих групп — разных течений «мелкобуржуазного» социализма. Собственная же «пролетарская» мерка гарантирована при этом универсально-эмансипаторским характером своей теории и совершенно свободна от связанности классовой ограниченностью, ибо сам пролетарий — не столько реальный рабочий, сколько представитель человеческой породы, максимально приниженной и отчужденной. Этот выбор пролетариата как адресата философской и политической теории обоснован в марксизме главным образом в «Экономически-философских рукописях 1844 года»², ставших известными только в конце 1920-х годов и повлиявшими на воззрения раннего Герберта Маркузе и экзистенциалистский и гуманистический марксизм послевоенного времени. Сам ранний марксизм выступал как своего рода третье данное, «снимающее» (по гегелевской методе) односторонности своих ближайших предшественников из радикально-оппозиционных течений 1840-х годов: чисто литературного, «интеллигентского» «истинного социализма» Мозеса Гесса и грубого и вульгарного «рабочего коммунизма» Вильгельма Вейтлинга³.

Другой сферой тематизации интеллектуалов в рамках марксизма является вопрос об идеологии и ее производителях, притом у Маркса, как известно, это понятие употреблялось в двух трактовках: чаще — в «узком» его понимании как особого рода идейной конструкции, замещающей и превратно толкующей действительность, реже — как синоним производства идей и целостного мировоззрения вообще (именно эта вторая трактовка была принята в советском марксизме). Кроме того, трактовка интеллигенции в марксизме была вписана в более общие рамки определения классов — политико-философского и экономического. В первом случае — это идея превращения класса-в-себе в класс-для-себя (в «Нищете философии»); схема, где «люди знания» потенциально играют весьма серьезную роль. Во

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 4. С. 440.

² Подробнее об этом см.: Федоров И.А. Идея социального преобразования: критическая интерпретация марксистской парадигмы. СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 1993.

³ Рокитянский Я.Г. О понятии «немецкий утопический рабочий коммунизм» // Страницы из истории марксизма и международного рабочего движения в XIX веке. Ч. 1. М., 1979; Он же. Историзм в подходе к «Манифесту коммунистической партии» // Новая и новейшая история. 1991. № 4. С. 28–43; Breckman Warren. Marx, the Young Hegelians, and the origins of radical social theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

втором — имеется в виду определение классов у зрелого Маркса, где главную роль играет место в экономической системе производства. В «Капитале» вопрос о классах изложен весьма лапидарно и разработка схем социальной стратификации в рамках марксистского учения происходила уже в XX веке. Более утонченные характеристики и коллективные персонификации процесса общественного воспроизводства («совокупный работник», «всеобщий труд» и т. д.) остались в обширных черновиках «Капитала» и были востребованы в марксистской теории только в 1960–1970-е годы.

В конце XIX века отношение немногочисленных тогда марксистов к интеллектуалам — профессионалам, занятым умственным трудом, оставалось скорее настороженным и диктовалось не столько общетеоретическими резонами, сколько задачами политической борьбы и перспективами возможной революции, где на представителей буржуазии образования, питомцев гимназий и университетов рассчитывать не приходилось⁴.

Так, Энгельс писал в 1890 году одному из соратников:

Я не могу понять, как можете Вы говорить о невежестве масс в Германии после блестящего доказательства политической зрелости, которое наши рабочие дали в победоносной борьбе против закона о социалистах. Мнимо ученое чванство наших так называемых образованных представляется мне гораздо более серьезным препятствием. Конечно, нам не хватает еще техников, агрономов, инженеров, химиков, архитекторов и т. д., но на худой конец мы можем купить их для себя так же, как это делают капиталисты, а если несколько предателей — которые наверняка окажутся в этом обществе — будут наказаны как следует в назидание другим, то они поймут, что в их же интересах не обкрадывать нас больше. Но за исключением этих специалистов, к которым я отношу также и школьных учителей, мы прекрасно можем обойтись без остальных «образованных», и, к примеру, нынешний сильный наплыв в партию литераторов и студентов сопряжен со всяческим вредом, если только не держать этих господ в должных рамках⁵.

Дополнительным раздражающим фактором для Энгельса могла быть его тогдашняя полемика с представителями так называемой «оппозиции молодых» в СДПГ, которые виделись ему выразителями

⁴ В качестве недавней обобщающей компаративной работы см.: Sdvižkov Denis. Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg. Göttingen: Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

⁵ Энгельс Ф. Письмо О. Бенигку от 21 августа 1890 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 37. С. 380–381. Схожими настроениями пронизано и его письмо А. Бебелю от 24–26 октября 1891 года (Т. 38. С. 163).

анархо-интеллигентских настроений⁶. Ведущие партийные теоретики вроде Бернштейна, Меринга или Каутского также были представителями буржуазной интеллигенции⁷. Однако выбор социал-демократической карьеры в кайзеровской Германии означал для них разрыв со своим кругом и представлениями, где образование и багаж знаний были прямо и непосредственно сопряжены с достатком и происхождением⁸. Тот же Каутский мог подчеркивать роль и прогрессивное значение интеллектуалов как группы в борьбе с косными и отжившими общественными порядками — когда речь шла о Великой французской революции⁹. И он же в программной статье в «Neue Zeit» «Интеллигенция и демократия» (1894) писал без обиняков:

Интеллигенцию отделяет от пролетариата тот факт, что она — привилегированный класс... Интеллигенция — это аристократия духа, и ее интерес в современном обществе повелевает ей сохранять всеми средствами ее аристократическую замкнутость. Это стремление несоединимо с естественным стремлением пролетариата, как самого низшего класса, уничтожить все привилегии, каковы бы они ни были. В этом решающем пункте интересы интеллигенции и пролетариата диаметрально различны, и в силу уже этого одного, независимо от всего прочего, всякое апеллирование к интересам не есть средство, способное привлечь интеллигенцию в целом к делу социализма, и сама она как класс не может быть вообще приведена к тому, чтобы участвовать в классовой борьбе пролетариата¹⁰.

Здесь, безусловно, сказывалась и специфика немецкого развития, где образование выступало как одно из мощных и самых действенных факторов социального дистанцирования средних классов от пролетариата. Кроме того, внутри СДПГ, которая оставалась социально однородной пролетарской партией, было весьма сильно предубеждение против «интеллектуалов» и «академиков», обостренное полемикой рубежа веков вокруг ревизионизма. В апреле — мае 1899 года безуспешными оказались усилия Вернера Зомбарта по объединению

⁶ См. подробнее: Pierson Stanley. Marxist Intellectuals and the Working-class Mentality in Germany, 1887–1912. Cambridge: Harvard University Press. 1993. Ch. 1.

⁷ См. об этой дилемме: Gilcher-Holtey Ingrid. Das Mandat des Intellektuellen. Karl Kautsky und die Sozialdemokratie. Berlin: Siedler, 1986.

⁸ См. также соображения А. Михайловского в очерке о немецкой интеллигенции, помещенной в данной книге.

⁹ Каутский К. Классовые противоречия в эпоху Французской революции. Харьков: Пролетарий, 1923. (Немецкий оригинал вышел в 1889 году к столетию штурма Бастилии.)

¹⁰ Каутский К. Интеллигенция и социал-демократия. СПб., 1906.

левых либералов-«академиков» и вождей социал-демократии под эгидой немецкой секции «Международного объединения правовой защиты рабочих»¹¹.

На Дрезденском партийтаге сдпг в сентябре 1903 года в своей ставшей знаменитой речи Бебель указывал в связи с обострившимися спорами вокруг Бернштейна, что развитие последних лет приводит к выводу о необходимости быть бдительным к товарищам по партии, но трижды — когда речь заходит об интеллектуалах. Эту речь, где фактически впервые в немецкий политический язык был введен французский термин «интеллектуалы» (в связи с делом Дрейфуса), часто цитировали в Германии 1920-х годов самые разные деятели от демократической партии, начиная с Вилли Гельпах до Генриха Брандлера¹².

В отличие от Германии в Третьей французской республике социализм уже с конца XIX века начинает проникать в университетские круги (особенную роль в рецепции марксистских идей французской интеллектуальной элитой играли библиотекарь Высшей нормальной школы Люсьен Эрр и его ученик, профессор Сорбонны германист Шарль Андлер)¹³. Поль Лафарг, выступая перед студентами в марте 1900 года, наряду с обвинениями интеллигенции в самодовольстве и коррумпированности вместе с тем находит возможные перспективы сотрудничества пролетариев и интеллектуалов в совместном противоборстве:

Объединенные в производстве, объединенные под игом капиталистической эксплуатации, они должны и восстать вместе против общего врага. Если бы интеллигенты обладали сознанием своих собственных классовых интересов, они бы толпами переходили в ряды социалистов — и не из жеманства или фатовства, а для того, чтобы спасти самих себя, обеспечить существование своих жен и детей, выполнить свой классовый долг. Если бы интеллигенты только поняли свои интересы, то они давно воспользовались бы уже своими способностями, обогащающими хозяев, в качестве превосходного оружия для борьбы с предпринимателями для освобождения своего класса, класса наемных рабочих¹⁴.

¹¹ Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. М., 1992. С. 59.

социалистического и революционного движения во Франции. М.: Наука, 1970. С. 105–114.

¹² Dietz Bering. Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimptwortes. Stuttgart: Klett-Cotta, 1978, S. 72–74.

¹⁴ Лафарг П. Социализм и интеллигенция. Одесса: Е.К. Кипер, 1906. С. 30. См. также: Он же. Пролетариат физического и умственного труда. М.; Л., 1925.

¹³ См.: Lindenberg D., Meyer P.A. Lucienn Herr. Le socialisme et son destine. Paris: Calman-Levy, 1977. (в особенности стр. 305–312); см. также статью В.М. Далина об Эрре и «университетском социализме»: Далин В.М. Люди и идеи. Из истории

Отличие немецкой ситуации от французской (после острейшей борьбы вокруг дела Дрейфуса¹⁵, в которую часть социалистов предпочли не вмешиваться) состояло, помимо прочего, в наличии в среднем классе мощных радикальных течений леволиберального толка (радикалы и т.д.). Несмотря на схожесть аристократических установок университетской верхушки с мандаринским мировоззрением, социалистические позиции в британских ученых кругах были представлены намного весомее, главным образом за счет Фабианского общества — правда, едва ли можно говорить о фабианском мировоззрении как марксистском в строгом смысле слова. Установка фабианцев на разрешение социального вопроса через государство, методами рационального централизованного регулирования была отчасти близка немецкому «катедер-социализму» 1880–1890-х годов и программе «Общества социальной политики». Фабианское общество опирались в политике прежде всего на профсоюзы и пролетариат и в конце концов интегрировалось в Лейбористскую партию¹⁶; традиционные европейские представления и о марксизме и об интеллектуалах проникали в Англию в специфическом преломлении местных культурных традиций — и сложились окончательно с появлением круга журнала «New Left Review» и авторитетных историков-марксистов уже только в 1960-е годы¹⁷.

Еще более специфическим оставался случай России, где марксизм в 1890-е годы отвоевывал репутацию в глазах общественности у господствующего народничества с его уже сложившимся кругом представлений об интеллигенции, ее этосе, долге перед народом и возможности «перепрыгнуть» через капитализм, основываясь на крестьянской общине. В силу слабости российского капитализма и рабочего движения создание социал-демократической партии силами радикальной марксистской интеллигенции намного опережало рост профсоюзной активности и складывание пролетарского классового самосознания. Этот разрыв заданных пролетарских ориентиров и реального «интеллигентского» состава российской социал-демократической партии прямо выразил один из ее основателей Павел Аксельрод, назвав ее «революционной организацией не рабочего класса, а мелкобуржуазной интеллигенции для воздействия на этот класс»¹⁸. Здесь мы вновь сталкиваемся с самопротиворечивостью собственной ситуации интеллигентов,

¹⁵ См. о генезисе феномена «интеллектуалов»: Шарль К. Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX в. М., 2005.

¹⁶ Krüger Daniel. Max Weber and the Younger Generation in the Verein für Sozialpolitik // Mommsen W.J., Osterhammel J. (ed.). Max Weber and His Contemporaries. London: Unwin Hyman, 1988. P. 71–87.

¹⁷ Collini Stefan. Absent Minds: Intellectuals in Britain. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006.

¹⁸ Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Апрель — май 1907 года. Протоколы. М., 1963. С. 505. Подробнее о комплексе отношений «интеллигенция — рабочий» в контексте партийной полемики см.: Думный В.В. Люди будущего или люди без будущего? Социал-демократическая интеллигенция России на рубеже XIX–XX столетий. М., 2003.

которые всячески отрешиваются от «порока» своего происхождения и «прирожденного» индивидуализма в пользу чуждого класса и его (предполагаемых) коллективистских устремлений¹⁹. Обвинения в адрес марксистов как выразителей интересов интеллигенции, а не подлинного пролетариата, со стороны ряда анархистских идеологов «увриерского» толка (В.Махайский, Е.Лозинский) отмечали это реальное несовпадение²⁰. Анархо-синдикалистские манифесты Махайского и его единомышленников предвосхищали будущую критику марксизма со стороны Р.Михельса и Г.де Мана уже в 1910–1920-е годы, хотя толковали эту «интеллигентскую» природу марксизма в духе теории заговора — образованных классов против бесправных рабочих²¹.

Самой известной новацией русского марксизма в отношении интеллигенции стала сформулированная Лениным в работе «Что делать?» на основе частных замечаний Каутского гораздо более общая и наступательная теория внесения социалистического сознания в рабочее движение со стороны марксистской интеллигенции:

...Социал-демократического сознания у рабочих не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание пред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции²².

Разумеется, здесь идет речь не о рабочих умственного труда вообще, но о партийных функционерах и идеологах с «интеллигентским» образовательным багажом и кругозором. Неприязнь Ленина к

¹⁹ См. более общий анализ: Steinberg M.D. Proletarian Imagination. Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

²¹ См.: Рублев Д.И. Проблема «интеллигенция и революция» в анархистской публицистике начала XX века // Отечественная история. 2006. № 3. С. 166–173.

²⁰ См.: Иванов-Разумник Р.В. Что такое «махаевщина»? К вопросу об интеллигенции. СПб., 1908.

²² Ленин В.И. Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 30–31.

интеллигенции «буржуазной» восходила еще ко временам борьбы с легальным марксизмом и кадетским либерализмом и многократно усилилась после революции²³. Однако и меньшевик Троцкий в начале 1910-х годов не менее подозрительно относился к попыткам западноевропейских социал-демократов пересмотреть враждебные отношения к «умственным работникам»²⁴. Но все же изменение ракурса по сравнению с классическими положениями Каутского очевидно: из внешней проблемы вопрос об интеллигенции в силу российской специфики начинает ставиться уже принципиально иначе, чем в Германии, модельной стране социал-демократического движения. Ведь это вопрос природы самой партии, и даже Ленин рассматривает его подчас непривычно обобщенно, говоря, что «интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает различие классовых интересов и политических группировок во всем обществе»²⁵. Следовательно, интеллигенты уже не только чуждые нам «они», но также хотя бы теоретически и «мы» сами. Эта саморелятивизация марксизма в связи с проблематикой интеллигенции продолжится и в западном марксизме межвоенной эпохи, как в радикальной (Лукач), так и саморефлексивно-дистанцированной (Франкфуртская школа) его версиях.

2. «Гранд-отель над пропастью»

Перенос основного теоретического интереса у авторов Франкфуртской школы уже к концу 1930-х годов с пролетариата на роль интеллектуалов в процессе социальной эволюции капитализма завершили критику прежнего, «автоматического» марксизма эпохи Второго интернационала и его философских оснований. Однако начало этого пути «депролетаризации» марксизма отмечено — именно у Лукача в начале 1920-х годов — поистине мессианским возвеличиванием пролетариата как аутентичного субъект-объекта истории. При этом в 1920-е годы начинающие неомарксисты еще последовательно отрицали претензии интеллектуалов как представителей умственного труда на ведущую роль в политике и обществе.

Преобразование марксизма в направление обществоведческих исследований было невозможным без глубокой общей трансформации самой традиционной университетской системы под давлением социальных запросов «снизу», без появления новых типов высшего

²³ Сводку антиинтеллигентских высказываний Ленина можно прочитать в статье перестроечного времени нынешнего идеолога русского шовинизма (и специалиста по истории интеллигенции XVIII века!): Севостьянов А. Ленин об интеллигенции // Радуга. 1990. № 2, 3.

²⁴ См. критическую рецензию Троцкого на брошюру Макса Адлера: Троцкий Л.Д. Интеллигенция и социализм (1910) // Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991.

²⁵ Ленин В.И. Задачи революционной молодежи // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 343.

образования, без политического и социального размежевания внутри самого университетского корпуса²⁶. Ослабление и постановка под вопрос мандаринских норм и ценностей в условиях бурной социальной и экономической модернизации сопровождались ростом радикальных настроений в среде младших представителей академического сословия (студентов и приват-доцентов). Немалую роль в сближении «академиков» и социалистов в Германии сыграли на рубеже веков попытки со стороны ревизионистов и «правых» социал-демократов из «Sozialistische Monatshefte» (Э. Давид, Р. Кальвер) позитивно переосмыслить значение «умственного труда». Левые социалисты в лице Розы Люксембург продолжали подчеркивать косность и филистерство немецких университетских кругов²⁷. Особенно важными были представления немецкого социолога и социалиста (до конца 1910-х годов) итальянского происхождения, ученика Вебера, Роберто Михельса о неизбежности заострения партийной иерархии в социал-демократии в силу «железного закона» нарастания олигархических тенденций в современных обществах — когда партийные вожди («интеллектуалы» по образу жизни и социальному статусу) неизбежно отчуждаются от руководимых ими пролетарских масс²⁸. Бельгийский социалист Гендрик де Ман уже до 1914 года был одним из приверженцев «революционного ревизионизма» в духе Михельса и Сореля, затем в середине 20-х совместно с Э. Никишем и сыном президента Эберта стал одним из лидеров правого и «национально ориентированного» крыла молодежного социалистического движения (так называемый «гофгейсмаровский кружок») ²⁹. В 1926 году де Ман — преподаватель Франкфуртского университета — издает обширную книгу «Психология социализма», доказывающую, в частности, противостояние — именно на психологическом уровне — ортодоксально-марксистского «социализма интеллектуалов» и реалистического реформизма рабочих, ориентированных на достижение буржуазных стандартов индивидуальной и общественной жизни. Ошибочно было бы однако видеть здесь лишь бернштейнианство

²⁶ О положении младших преподавателей см.: *Vom Bruch Rüdiger*. Universitätsreform als soziale Bewegung // Geschichte und Gesellschaft, 1984. № 10. S. 72–91.

²⁷ *Vom Bruch Rüdiger*. Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung. Gelehrtenpolitik im Wilhelminischen Deutschland (1890–1914). Husum: Matthiesen Verlag, 1980. S. 157–164, 171–175. О постановке ревизионистами проблемы отношения интеллектуалов и массы внутри партии до Первой мировой войны см. соответствующий раздел работы Б. Лайневебера, написанной с позиции диалектического революционного марксизма: *Leineweber Bernd*. Intellektuelle Arbeit und kritische Theorie. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, 1977. S. 86–100.

²⁸ *Michels R*. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig, 1911 (2-е изд. Leipzig, 1925); *Michels R*. Die oligarchischen Tendenzen der Gesellschaft. Ein Beitrag zur Problematik der Demokratie // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1908. № 27. См. также: *Малинкин А.Н.* Теория политической элиты Р. Михельса // Социологический журнал. 1994. № 3 [http://www.socjournal.ru/article/84].

²⁹ О биографии де Мана в связи с коллаборационизмом 1940 г.: *Pels Dick*. Socialism's Dark Side // History of Human Sciences, 1993. Vol. 6. № 2. P. 75–95.

(с элементами «махаевщины»): «интеллектуализм» для де Мана был не тождественен абстрактному доктринерству, а распространялся также на характер организации современного труда в целом (пример фордизма)³⁰. В 1926 году де Ман становится одним из создателей «Лиги социал-демократических интеллектуалов» и к концу 20-х — довольно значимой фигурой в интернациональном круге социалистических теоретиков³¹ (ему посвящен ряд критических страниц в «Тюремных тетрадах» Антонио Грамши, который противопоставляет де Ману более революционного Сореля). Де Ман играл немалую роль в организации социалистических интеллектуалов в университетской среде Германии в целом³². Впрочем, идейная эволюция Михельса и де Мана к фашизму в 1920–1930-е годы блокировала разработку поставленных ими вопросов внутри марксистского дискурса — вплоть до работ А.Гоулднера и Д.Пельса полвека спустя.

Вопросу о роли интеллигенции, напрямую касающегося его собственной социальной и идейной позиции коммунистического интеллектуала, посвящена одна из статей первого марксистского сборника Лукача — «Тактика и этика» (1919) — «Проблема духовного руководства и „интеллектуальные работники“». Здесь нарком просвещения Советской республики рассматривает претензии представителей духовного производства на руководящую роль в обществе как носителей интересов всего общества. Лукач социологически точно сводит подобную «классово нейтральную идеологию» к социально несамостоятельной позиции мелкобуржуазных интеллектуалов, единственной характеристикой которой является искажение собственного классового сознания, сокрытие его зависимости от общественных антагонизмов.

Обосновывая духовное лидерство пролетариата, Лукач указывает на гегелевский образ мировой эволюции как развития познающего себя Духа: «Мы, марксисты, убеждены не только в том, что общественное развитие управляется этим часто оклеветанным духом, но также и в том, что только в марксистском учении этот дух пришел к самосознанию и получил призвание к руководству. Но это призвание не может быть какой-то привилегией „образованного класса“ или продуктом „стоящей над классами“ идеологии. В этом призвании к освобождению общества и состоит всемирно-историческая роль пролетариата»³³. Очевидно, что подобное весьма абстрактное понимание «духовного руководства» значительно уступает выдвинутой позднее теории «интеллектуальной гегемонии» лидера итальянской компартии

³⁰ Phelan Anthony. Some Weimar Theories of the Intellectuals // Phelan Anthony (ed.). The Weimar Dilemma: Intellectuals in the Weimar Republic. Manchester: Manchester University Press, 1985. P. 32.

in the 1920's // Journal of Contemporary History. 1981. Vol. 16. P. 262–267.

³¹ О специфике взглядов «фронтального поколения» социалистов в 20-е годы в связи с де Маном: White Dan S. Reconsidering European Socialism

³² Об этом см.: Walter Ferdinand. Sozialistische Intellektuellen in Deutschland, 1918–1933. Berlin: Dietz Verlag, 1990.

Антонио Грамши — именно в осмыслении реального соотношения теоретической работы партий и стихийного развития масс и социальной роли интеллигенции.

Тема участия представителей умственного труда в революционной борьбе была также рассмотрена Лукачем в статье «К организационному вопросу интеллектуалов», которая появилась в третьем номере издаваемого в 1920–1921 годах в Вене Коминтерном для стран Центральной и Юго-Восточной Европы журнале «Коммунизм». Тезис Лукача «интеллигенция как класс сегодня неревolutionарна» основывается на его общем представлении о стратегии классов и «объективном» положении их организаций: у интеллигенции эти организации «оборонительны», тогда как у пролетариата — «наступательны». Одни атакуют буржуазное общество, другие защищают в пределах буржуазного общества находящиеся под угрозой собственные привилегии³⁴. Поэтому Лукач в духе Каутского заключает, что интеллектуал может быть революционером только как индивид: он должен оставить ряды своего класса, чтобы получить возможность примкнуть к классовой борьбе пролетариата, — утверждая это и *pro domo sua*, в отношении собственного «обращения» в марксистскую веру. Открыто «антиинтеллигентский» характер этих двух статей диктуется отнюдь не узкопролетарским, «увриерским» пониманием социализма у Лукача — но напротив, именно максимализмом его культурных устремлений. Интерес пролетариата заключен в разрушении старого общества, а объективная неревolutionарность «образованного класса» заключается именно в желании выдать свои частичные интересы за интересы всего общества, оставаясь при этом в рамках капитализма.

Между тем инвективы Лукача только отчасти приложимы к левой интеллигенции Веймарской Германии и тем ее руководителям, вроде Курта Хиллера, который еще с начала 1910-х годов выступал в журнале «Die Aktion» с идеями политизации Духа или даже «логократии» (название его работы 1920 года); из партий Веймарской республики «активистам» наиболее близка была Независимая социал-демократическая партия³⁵. Следует также отметить, что различные органы левой литературной и художественной интеллигенции изначально были политически ориентированными и стремились действовать именно в масштабе социальной тотальности. Принципиально отличные от них и куда более массовые организации работников умственного труда профсоюзного типа (как органы по защите от

³³ Lukács Georg. *Taktik und Ethik*. Neuwied, Berlin: Luchterhand 1975. S. 63.

³⁴ См.: Lukács Georg. *Organisation und Partei*. A. a. O. j. S. 5. (Kommunismus. 1920. Jg. I. H. 3.)

³⁵ Sheppard Richard. *The SPD, its Cultural Policy and the German Avant-Garde 1917–1922* // Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Deutschen Literatur. Bd. 20 (1995). N 1. S. 16–66. Sheppard Richard. *Artists, Intellectuals and the USPD 1917–1922* // Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. Bd. 32 (1991). S. 175–216.

ухудшения экономического и социального статуса своих членов) в Германии к началу 30-х годов действительно в ряде случаев поддерживали правые партии³⁶.

Несмотря на дистанцию между теоретиками из круга знаменитого франкфуртского Института социальных исследований (основанного в 1923 году) и коммунистическим движением, сами они отрицали самостоятельное значение «свободно парящей интеллигенции», в упованиях на которую эти последовательные марксисты справедливо видели проявление иллюзий буржуазного либерализма. Показателен в этом отношении эпизод полемики Зигфрида Кракауэра на страницах «Frankfurter Zeitung» в июле 1931 года с Альфредом Дёблином по поводу перспектив и возможностей левого интеллектуала, стоящего вне рабочих партий. В своей книге «Познавать и изменять!» Дёблин, идеологически близкий позициям журнала «Weltbühne», отстаивал право интеллектуала на свободную критику бюрократизма левых партий и даже самого пролетариата во имя идеалов гуманного социализма. Кракауэр в последовательно марксистском духе указывал на необходимость «социально укорененного» анализа позиции критического интеллекта, которому он приписывал чисто негативную роль разрушителя мистических идеологических конструкций. Но характерно, что при всем этом критицизме сам Кракауэр оставался внепартийным представителем левой буржуазной интеллигенции — в строгом социальном и политическом смысле этих определений³⁷. В 1927 году на страницах журнала «Die Kreatur» (которым руководил Мартин Бубер) появился очерк Вальтера Бенямина «Москва», а в составе его собрания сочинений уже в 80-е годы был также опубликован «Московский дневник», где Бенямин всерьез раздумывал о перспективах вступления в партию («мандат» как форма соучастия индивида в перераспределении власти); но рядом изложены не менее значимые для автора доводы «против»:

Быть коммунистом в государстве, где господствует пролетариат, значит полностью отказаться от личной независимости. Задача организации собственной жизни, так сказать, уступает партии. Там же, где пролетариат находится в состоянии угнетенного, это значит стать на сторону угнетенного класса со всеми последствиями, которые рано или поздно могут наступить... Что же касается независимости положения и его допустимости, то решающим оказывается

³⁶ Speier Wilhelm. White-Collar Worker and the Rise of Fascism. New Haven and London: Yale University Press, 1986. P. 141–150 (эта работа была закончена в 1933 г.); см. также: McClelland Charles. The German Experience of Professionalisation: Modern Learned Professions and Their Organisations from Early Nineteenth Century to the Hitler Era.

Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 192–214 (особенно стр. 222–228).

³⁷ Об этой полемике см.: Zammuto John. The Great Debate. «Bolshevism» and Literary Left in Germany. 1917–1930. New York: Peter Lang, 1984. P. 113–139.

в конце концов вопрос: возможно ли находится вне партии с явной пользой в личном и деловом плане, не переходя при этом на позиции буржуазии и не нанося ущерба работе³⁸.

Как марксистские теоретики, франкфуртцы были достаточно социально-критичны в отношении надежд на надпартийную «подлинно левую» «политику Разума» — и в то же время слишком академически замкнуты и идеологически принципиальны, чтобы сойтись с кругом радикальных «левобуржуазных» литераторов из берлинских журналов «Weltbühne» и «Tagebuch», казалось бы, столь близких им типологически. Мыслители франкфуртской школы весьма хорошо понимали слабость разных течений «социализма образованных», радикально-левых замкнутых группировок и течений.

Во Франции компартии удалось более последовательно подчинить своему влиянию левосоциалистические интеллектуальные группы, вроде «Clarté» (А. Барбюс, П. Вайян-Кутюрье и др.), хотя их и резко критиковали за отвлеченный пацифизм и абстрактный, внеклассовый гуманизм, отсутствие определенного политического лица³⁹. Во второй половине 1920-х годов с партией стали тесно сотрудничать блестящие выпускники Эколь Нормаль — Анри Лефевр, Жорж Фридман, тесно связанный с Сартром Поль Низан и психолог Жорж Политцер⁴⁰. В контексте истории интеллектуалов отметим важность для всех вышеупомянутых левых или либеральных французских интеллектуалов начала 1930-х годов (в качестве предмета полемики и самоопределения) позиции Жюльена Бенда, изложенной им в известном сочинении «Предательство клерков» (1928). В частности, ставший партийным идеологом Низан в своем памфлете «Сторожевые псы» (1932) резко критиковал неокантианство и влияние Бергсона на официальную философию и идейную атмосферу Третьей республики⁴¹. Своеобразным отражением настроений британской образованной публики рубежа 1920–1930-х годов стал опубликованный в СССР и Англии очерк «История британской интеллигенции» (1934) князя Дм. Святополк-Мирского — белогвардейца, а затем левого евразийца, ставшего советским литературным критиком.

Марксистские теоретики межвоенного периода оперативно реагировали на новейшие тенденции в развитии тогдашних социальных

³⁸ Бенъямин В. Московский дневник. М., 1997. С. 109–110.

³⁹ Группа «Clarté» во Франции на протяжении всех 1920-х годов была главным центром притяжения всей левой интеллигенции к ФКП: *Guessler Normand. Henry Barbusse and his Monde* (1928–1935): Progeny of the Clarté Movement and the Review Clarté // *Journal of Contemporary History*. Vol. II. 1976. № 2–3. P. 173–197.

⁴⁰ Эта среда подробно описана в замечательном исследовании Ж.-Ф. Ширинелли: *Sirinelli Jean-François. Génération intellectuelle. Khâgneux et Normaliens dans l'entre-deux-guerres*. Paris: PUF, 1994. P. 402–414 (о Низане), 664–667 (о Фидмане и журнале «La Revue marxiste»), 484–494.

⁴¹ *Nizan Paul. Les Chiens de garde*. Paris: Rieder, 1932; см. также: *Schalk David L. Professors as Watchdogs: Paul Nizan's Theory of the Intellectual and Politics* // *Journal of the History of Ideas*. Vol. XXXIV. 1973. № 1. P. 79–96.

наук в плане их идеологического и политического резонанса. Так, они отмечали, что понимание Карлом Манхеймом социологии знания как формы самосознания «социально свободно парящей интеллигенции»⁴² типологически близко обоснованию роли пролетариата в марксизме (особенно в лукачевской интерпретации) — идее «всеобщего сословия», которое одновременно является субъектом развития социальной теории. Именно на модель марксизма как выражения пролетарского классового сознания действительно опирался Манхейм в своих поисках политического определения социологии знания, которая выступала у него по аналогии с учением Маркса как наиболее рационализированная форма ориентированного на тотальность мировоззрения интеллектуалов (а не просто подраздел одной из университетских дисциплин обществоведческого цикла). В этом пункте Манхейму с ортодоксально-марксистских позиций возражал на страницах журнала «Под знаменем марксизма» бывший соратник Лукача и Манхейма по будапештским «воскресным собраниям» 1916–1918 годов Адальберт Фогараши в рецензии на «Идеологию и утопию»: «Классовая точка зрения пролетариата... есть нечто большее... чем классовая точка зрения, поскольку односторонняя классовая позиция заменяется в ней всесторонним диалектическим мышлением. Только пролетариат, у которого нет односторонних классовых интересов, ибо его классовый интерес совпадает с уничтожением классов, заинтересован в преодолении классовой определяемости сознания. И потому только пролетариат как класс может возвести в принцип и осуществить диалектическую всесторонность»⁴³. И в последнем номере «Архива по истории социализма и рабочего движения» за 1930 год будущий директор Института поместил обширную рецензию на «Идеологию и утопию» Карла Манхейма, своего коллеги по Франкфуртскому университету. С точки зрения Хоркхаймера, работа ограничивается «феноменологическо-логическим анализом стилей», «имманентным анализом мировоззрений». Ее попытка дать новое понимание идеологии через эклектическое расширение понятия классового сознания в категорию «тотальной идеологии» заканчивается неудачей: «От тех лишенных интеллектуальной ответственности философов, чья слепота, по Манхейму, вызвана „застыванием в вышележащей сфере“, его самого отличает только то, что он со средствами из марксистского арсенала снова туда вернулся»⁴⁴. Именно такое над-идеологическое превосходство якобы «односторонне правильного» марксизма средствами социологии знания Хоркхаймер считал мнимым и в теоретическом отношении регрессивным⁴⁵.

⁴² Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. ⁴⁴ Horkheimer Max. Gesammelte Schriften. Bd. 2. S. 294. С. 132.

⁴³ Фогараши А. Социология знания и социология интеллигенции // Под знаменем марксизма. 1930. № 7–8. С. 200–201. Фогараши указывает, что Манхейм лишь следует лукачевской процедуре «приложения марксизма к самому себе» (с. 198).

⁴⁵ Сходной критике «слева» подверг социологию знания на страницах «Die Gesellschaft» будущий теоретик Франкфуртской школы Герберт Маркузе: Marcuse Herbert. Transzendente Marxismus? // Die Gesellschaft, 1930. № 7. S. 320–326.

К концепции Манхейма теоретики Института социальных исследований обращались на протяжении всех 30-х годов; особенно резкой была рецензия Адорно на книгу Манхейма «Человек и общество в эпоху преобразования» (1935). Манхеймовской либерально-технократической позиции, базирующейся на трансцендентальном допущении гармонии человека и общества, Адорно противопоставляет обращенную к смертельно острым противоречиям современности критическую теорию, которая «может быть теорией человеческих отношений лишь в той степени, в какой она также предстает теорией бесчеловечности этих отношений»⁴⁶. Он отмечает, что современное классовое общество

*для самосохранения фактически нуждается в минимальной интеграции, которая в сознании руководящих слоев интеллигенции все больше реализуется в качестве неприкрытого угнетения, и осуществляется помимо или вопреки сознания руководящих лиц, где практически едва ли задействованы интеллигентные слои, на которые рассчитывает Манхейм*⁴⁷.

В целом проблему политического участия и культурных оснований антикапиталистической позиции критического интеллектуала Адорно ставил уже в конце 1930-х годов не только в полемике с социологией знания Манхейма на «правом фланге», но и с Беньямином (и опосредованно — с Брехтом)⁴⁸ на «левом», а после войны — оспаривая концепцию ангажированной литературы Сартра.

И в теории и в практике экзистенциального выбора в годы Веймарской республики, и в особенности в период эмиграции им пришлось так или иначе искать и находить средний путь между двумя общепринятыми видами социальной ангажированности интеллектуалов той эпохи: фигурами партийного идеолога (Лукач, Виттфогель до 1939 года) или леволиберального профессора (Манхейм), но также и между двумя соблазнами маргинальности — революционно-политической (Корш) или критическо-богемной (Эрнст Блох, отчасти Бертольт Брехт). Лукач тогда был в особенности непримирим к тому, что потом будет названо «поиски третьего пути»: «Что удивительного, если

⁴⁶ Arato A., Gebhard E. (ed.). The Essential Frankfurt School Reader. New York, 1982. P. 457. (Эта статья «Социология знания и ее сознание» написана в 1950-е годы для сборника Адорно «Призмы» на основе подготовленной для «Zeitschrift für Sozialforschung» в 1938 году, но оставшейся неопубликованной работы «Новая свободная от ценностей социология», где еще резче подчеркивалась связь Манхейма с подходами Вебера, Трёльча и Ясперса: Adorno Theodor. Neue wertfreie Soziologie // Adorno Theodor. Gesammelte Schriften. Bd. 20. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1990. S. 13–47).

⁴⁷ Adorno Theodor. Neue wertfreie Soziologie. S. 20.

⁴⁸ См. в особенности письмо Адорно Беньямину от 18 марта 1936 года, где, возражая его эстетико-политической концепции, изложенной в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости», упрекает его в идеализации наличного пролетариата как «киносубъекта» и напоминает слова Ленина (из «Что делать?») о неспособности рабочих к самостоятельной выработке социалистического сознания: Adorno Theodor und Benjamin Walter. Briefwechsel. S. 170 (письмо от 18 марта 1936 года).

многие интеллектуалы в конце утомительного и разочаровывающего пути, на котором они пытались в рамках буржуазного мировоззрения справиться с неразрешимыми проблемами буржуазного общества, достигая края пропасти, предпочитают скорее комфортабельно разместиться там в отеле, чем потерять свои роскошные одеяния и рискнуть на *salto vitale*, переносающий над пропастью? Что удивительного в том, что этот великолепно выстроенный отель для верхушки интеллигенции находит в интеллигенции вообще и мелкой буржуазии своих менее блестящих провинциальных подражателей»⁴⁹. Также и Брехт связи с замыслом романа о «туалах» оставил в своем «Рабочем журнале» запись о миллионере, завещавшем часть своего состояния на «открытие института для исследования причин нищеты, главной из которой, естественно, является он сам»⁵⁰, — явно намекая на двусмысленную позицию «салонных большевиков» из Франкфурта.

Итоговой формулировкой «веймарского» политического и социального опыта теоретиков Франкфуртской школы станет положение Герберта Маркузе, сформулированное им в книге о Гегеле в конце 1930-х годов применительно к марксизму:

*Теория постоянно сопутствует практике, анализируя изменчивую ситуацию и в соответствии с нею формулируя свои понятия. Конкретные условия реализации истины могут изменяться, однако истина останется одной и той же, а теория — ее верховным хранителем. Теория будет хранить истину, даже если революционная практика отклонится от своего правильного пути. Практика следует за истиной, а не наоборот*⁵¹.

В условиях надвигающейся мировой войны «критическая теория» развивается в известном смысле без конкретного социального «адресата», осознание чего наступит у франкфуртских теоретиков лишь к концу 1930-х годов. Наиболее показательной в этом смысле является программная для нового этапа развития Франкфуртской школы статья Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория» (1937), где он, в частности, указывал на трудности обретения эмансипирующей точки зрения в условиях господства насилия, мобилизации и пропаганды:

Но и ситуация пролетариата не образует в этом обществе какой-либо гарантии правильного познания... Точка зрения,

⁴⁹ Lukács Georg. Grand Hotel Abgrund (Архив Лукача в Будапеште, II –76, 230, л. 11).

⁵⁰ Brecht Bertolt. Werke, Bd. 27. S. 94. (12 мая 1942 года) Эта история стала основой фабулы для пьесы Брехта «Турандот, или Конгресс обелителей», которую он закончил уже в 1953–1954 годах.

⁵¹ Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2001. С. 409.

которая могла бы противопоставлять подлинные интересы пролетариата и, следовательно, интересы всего общества в целом не ему самому, но тем, кто завладел мыслью и голосами масс, сама находится в рабской зависимости от существующих обстоятельств. Интеллектуал, который только прославляет в почтительном уважении созидательные силы пролетариата и находит свое удовлетворение в том, чтобы к нему приспособиться и его просвещать, упускает из виду, что всякое уклонение от теоретического усилия, сохраняющее его мысль в состоянии пассивности, равно как и отстранение от временных противоречий между его идеями и массами, делает эти массы еще более слабыми и ослепленными, чем они вынуждены быть. Его собственная мысль принадлежит в качестве критического и прогрессивного элемента к развитию этих масс⁵².

После этих отчасти самокритичных замечаний руководитель иси продолжает развивать идею об исторически обусловленном расхождении между критической теорией и пролетарской практикой:

Мысль, построение теории, остается одним, а ее предмет, пролетариат,— другим. Но в таком случае функцией критической теории становится рассмотрение теоретика в таком динамическом единстве с поработленным классом, что его представление противоречий выступает как выражение не только самой конкретно-исторической ситуации, но также и заключенных в ней стимулирующих, ведущих к перемене факторов. Ход спора между прогрессивной частью класса и говорящими об истине индивидами, и далее, дискуссия между передовыми частями, включая этих теоретиков, и остальным классом, должны пониматься как процесс взаимодействия, в котором сознание разворачивается вместе с его освобождающими, но также и действенными, дисциплинирующими и насильственными потенциями. Четкость этого сознания проявляется во всегда существующей возможности расхождения теоретика и класса, о котором он мыслит⁵³.

Эти слова, ставшие выводом из анализа общественной ситуации и состояния пролетарского движения к середине 1930-х годов, уже совершенно противоположны лукачевской конструкции пролетариата как идентичного субъект-объекта истории, реализующего ее в акте революционного действия.

⁵² Horkheimer Max. Traditionelle und kritische Theorie // Zeitschrift für Sozialforschung, 1937. Jg. 6. H. 2. S. 267–268. ⁵³ Ibid. S. 269.

3. В поисках «нового класса»

Ретроспективно именно 1920–1930-е годы оказались наиболее продуктивными для развития марксистской теории в переходной фазе от политического (недо-)воплощения до академической нейтрализации. Послевоенное двадцатилетие, накануне нового — и последнего из ярких — всплеска марксистской теоретической активности и левого движения 1968–1969 годов было временем развития вширь и определенной «истеблишментизации» критической теории. Ведущим теоретиком во Франкфуртском институте стал Теодор Адорно, который также благодаря издательству «Зуркамп» и культурной периодике стал знаковой фигурой, а в работах 1950-х годов утвердил в общественном мнении ФРГ основные характеристики новой социальной фигуры — критического интеллектуала⁵⁴. Особенно важны его сборники эссе и книга «*Minima Moralia*», где он подробнее останавливается на социальном парадоксе интеллектуала, обязанного своим существованием нынешней системе разделения труда, которую сам же и стремится преодолеть. При этом в атмосфере аденауэровской Германии прямые отсылки к марксизму и ценностям левого движения из продукции Франкфуртского института старательно элиминируются. Сам критический субъект — неконформистский интеллектуал — оказывается лишен экономического фундамента и политического измерения и ограничен областями культуры, общественного сознания и воспитания. «Политический дефицит» критической теории оказывается восполнен деятельностью авторитетных ученых-социалистов вроде историка Вольфганга Абендрота или покинувшего гдР престарелого Эрнста Блоха. Принятая в 1959 году Годесбергская программа сдпг знаменует превращение ее из классовой в народную партию; в плане теории марксистскую ортодоксию сменяет набор разных неконформистских доктрин, включая и критический рационализм Карла Поппера. Набирающей силу внепарламентской оппозиции и все более радикализирующемуся Союзу социалистических студентов (SDS) при сдпг ближе оказывается из числа франкфуртских теоретиков не осторожный и все более консервативный Хоркхаймер или утонченный парадоксалист Адорно, но оставшийся в США Герберт Маркузе — как создатель теории «Великого Отказа». Субъектом общественной трансформации становится у Маркузе не пролетариат, но совокупность периферийных и «вытесненных» современным капитализмом общественных сил и движений, включая студентов и сознательно бунтующих граждан третьего мира. Но эта теория не развивает собственно вопрос о характеристиках и перспективах интеллектуалов как особой профессиональной страты и одновременно — производителя

⁵⁴ См. соответствующие разделы в монументальной биографии Адорно: Müller-Doohm Stefan. Adorno. Eine Biografie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003.

и носителя интегрированных социальных ценностей и смыслов. События 1968–1969 годов стали кульминацией студенческого протеста, и по иронии истории отмечены и фактическим прекращением работы Франкфуртского института и концом Франкфуртской школы как действующего феномена интеллектуальной истории⁵⁵.

В это же время в Америке в качестве ведущих вдохновителей «новой левой» оказываются радикальные обществоведы вроде социолога Чарльза Райта Миллса (1916–1962), автора трудов о новой американской высшей элите, о феномене «белых воротничков» и трактата о «социологическом воображении». В числе тогдашних соратников Миллса были и Ричард Хофштадлер (1916–1970), автор ключевой работы об антиинтеллектуализме в социальной жизни и идейных традициях США⁵⁶, и последователь Хофштадлера Кристофер Лэш (1932–1994), издавший тогда же нашумевшую книгу об эволюции сознания американских интеллектуалов первой половины XX века⁵⁷.

Алвин Гоулднер (1920–1980), автор важнейших работ второй половины XX века о связи марксистской теории и политики со спецификой интеллектуалов как особой социальной группы, был в известной мере последователем и единомышленником Миллса по части резкой критики допущений и выводов «мейнстримной» социологии Талкота Парсонса и его сподвижников⁵⁸. Гоулднер, как и Миллс, был весьма критичен к попыткам сохранить либерально-классическое наследие и образ интеллектуалов в эпоху крупных корпораций, «мозговых трестов» и наступления массового общества⁵⁹.

Его трилогия второй половины 1970-х годов — «Темная сторона диалектики» — складывается из книг «Диалектика идеологии и технологии» (1976), «Будущее интеллектуалов и появление нового класса» (1979) и «Два марксизма» (1980). Он выделяет техническую интеллигенцию и критически ориентированных интеллектуалов как составные части новой общественной элиты, которую он аттестует как «новый класс» вслед за Милованом Джиласом (1911–1995) и многими критиками сталинизма. Ключевое понятие — культура критического дискурса обозначает «исторически развертывающуюся сеть правил, грамматику дискурса, которая связана с оправданием собственных утверждений, но сам этот способ оправданий осуществляется без

⁵⁵ Demirovic Alex. Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003.

⁵⁶ Hofstadter Richard. Anti-intellectualism in American Life. New York: Random House, 1962.

⁵⁷ Lasch Christopher. The New Radicalism in America, 1889–1963: the Intellectual as a Social Type. New York: Knopf, 1965.

⁵⁸ См. его книгу «Грядущий кризис западной социологии» (1970).

⁵⁹ См.: Wright Mills C. The Social Role of the Intellectual (1944) // Wright Mills C. Power, Politics & People: The Collected Essays. New York: Oxford, 1967. P. 292–304

обращения к авторитету и пытается достичь добровольного согласия исключительно на базе приводимых аргументов»⁶⁰. Гоулднер предсказывает рост влияния критических интеллектуалов над технической интеллигенцией; он также выделяет в связи с этой «классовой основой» и два направления в самом послевоенном марксизме — активистское критическое (Маркузе, новые левые, Грамши и даже Мао) и объективистское «научное» (Альтюссер, Гальвано делла Вольпе). Позиция самого Гоулднера была во многом схожа с метамарксистской позицией Карла Корша уже 1930–1940-е годы (когда этот соратник Корша далеко отошел от коммунистического движения, да и от политики в целом), хотя здесь можно увидеть и косвенное воздействие синдикалистского антидирижизма и релятивизма Михельса и де Мана. Кстати, в политическом плане Гоулднера, как и его антипода — влиятельного философа и члена ФКП Луи Альтюссера, — отличали явные симпатии к теориям Мао, которые казались им антиподом сталинского государственно-бюрократического советского марксизма, несмотря на декларируемый антиинтеллектуализм лидера кпк. Альтюссер в конце 70-х годов продолжал защищать программный тезис о диктатуре пролетариата перед лицом еврокоммунистического («правого») уклона руководства ФКП, равно как и близкий ему политический теоретик Никос Пулантзас отстаивал видение интеллектуалов как разновидности мелкой буржуазии⁶¹. Впрочем, в отличие от Альтюссера или Пулантзаса, за которыми стояли структуры ФКП или разнообразных гошистских организаций, и Гоулднер, и Миллс, и в особенности Хофштадлер и Лэш оставались публичными интеллектуалами, не связанными партийной догмой и «реальной политикой». При всей последовательной симпатии к левым идеям они едва ли принадлежали к собственно марксистскому лагерю, оставаясь скорее публичными интеллектуалами, связанными с оппозиционными течениями в академических кругах, а не рабочим движением. (Базовым для людей круга Хофштадлера был опыт нью-йоркских левых интеллектуалов, прошедших путь от прямого коминтерновского ангажемента конца 1920-х годов до последовательного антисталинизма и антикоммунизма в духе «холодной войны» к середине 1950-х⁶²). Этот сдвиг, релятивизация марксизма — от марксистского (само-)понимания интеллигенции к трактовке марксизма как всего лишь одной

⁶⁰ Gouldner A. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class: A Frame of Reference, Theses, Conjectures, Arguments, and an Historical Perspective on the Role of Intellectuals and Intelligentsia in the International Class Contest of the Modern Era. New York: Seabury Press, 1979. P. 31. Представлениями Гоулднера и либеральной социологией интеллектуалов Э.Шилза руководствовался в своем компаративно-историческом анализе дискурсивных сообществ интеллектуалов Разных эпох Р. Вутнов: Wuthnow Robert. Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in

the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism. Princeton, 1989.

⁶¹ См.: Poulantzas Nicos. Classes in Contemporary Capitalism. NLB, 1975 (оригинальное французское издание вышло двумя годами ранее).

⁶² Wald Alan M. The New York Intellectuals: The Rise and Decline of the Anti-Stalinist Left from the 1930s to the 1980s. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1987.

из форм интеллигентского радикализма, отдельно от «прозаических» устремлений рабочего движения, вообще оказался ключевым для многих левых мыслителей 1960–1980-х годов, которые в начале своей интеллектуальной эволюции вполне однозначно связывали собственную позицию с марксизмом.

Тезис Гоулднера о новом классе во многом базировался и на восточноевропейских источниках: помимо Джиласа, это была важная книга венгерских социологов Дьердя Конрада и Ивана Селеньи «Интеллектуалы на пути к классовой власти». Написанная в 1973–1974 годах книга стала объектом преследования даже в относительно либеральной кадаровской Венгрии: авторы были ненадолго арестованы, книга запрещена и вышла за рубежом уже после эмиграции Селеньи в середине 1970-х годов. В центре внимания книги — проблематика рационального перераспределения в обществах советского типа⁶³ и та разновидность социальной стратификации, которая сближает «новый класс» госсocialизма с «властвующей элитой» государственно-монополистического капитализма. В двух этих версиях современного общества бюрократия является частью интеллектуального класса:

Общество рационального перераспределения.. может быть наилучшим образом описано как дихотомическая классовая структура, где классический антагонизм капиталиста и пролетария заменен новым антагонизмом — интеллектуального класса, определяемого местом в распределении [благ и ресурсов] и рабочим классом, лишенным какого-либо права участвовать в перераспределении⁶⁴.

Конрад и Селеньи опирались на марксистскую критику сталинизма и при внимании к веберовским сферам социальной стратификации все же прямо характеризовали свою работу как марксистскую⁶⁵. Однако закат реального социализма и характер анти тоталитарных движений в странах восточного блока способствовал возрождению даже в американском неомарксизме забытых уже, казалось, принципов и практик гражданского общества (это в полной степени касалось и идейной эволюции Селеньи⁶⁶), что во многом дезавуировало антилиберальную риторику марксистов 1920-х и 1960-х годов. Многие бывшие левые интеллектуалы, особенно во Франции, с теми или иными

⁶³ О становлении советского официального дискурса интеллигенции см.: Луначарский А.В. Об интеллигенции. М., 1923; Он же. Интеллигенция в ее прошлом, в настоящем и будущем. [М.], 1924.

⁶⁵ Ibid. P. VIII.

⁶⁴ Konrad George, Szelenyi Ivan. The Intellectuals on the Road to Class Power / Trans. by Andrew Arato and Richard E. Allen. Brighton: Harvester Press, 1978. P. 222.

⁶⁶ Итоговой можно считать недавнюю книгу: King Lawrence Peter, Szelenyi Iván. Theories of the New Class: Intellectuals and Power. University of Minnesota Press, 2004.

оговорками перешли на либеральные (либертарианские) позиции, открыто критикуя и классический и современный марксизм⁶⁷. Отметим также, что в позднесоветском теоретическом дискурсе разработки тем всеобщего труда (В. Библер), духовного производства, перспектив научно-технической революции, урбанизации или изменения социальных структур советского общества по сравнению с 1920–1930-ми годами были подчеркнуты и принципиально отделены друг от друга. Тем самым теоретические претензии советской интеллигенции на социально-философскую самоартикуляцию были или пресечены, или вытеснены в диссидентский дискурс, вроде сочинений А. Амальрика (ср. критику «либерализма», проявленного А. Румянцевым, преследования А. Ахиезера или критику П.Н. Федосеевым попыток пересмотра роли интеллигенции А. Черняева в середине 1970-х годов)⁶⁸.

Попыткой связать марксистские принципы Франкфуртской школы, традиции 1960-х и социальные трансформации последних десятилетий является теоретическая и публицистическая деятельность Юргена Хабермаса. Его внимание к фигуре интеллектуала остается, однако, скорее культурно, чем социально или политически детерминированным — с отсылкой к Гейне и преодолением отчуждения интеллектуалов от немецкого идейного мейнстрима. Центральное для Хабермаса противопоставление системной рациональности позднего капитализма многообразию «поглощаемых» и перерабатываемых ею жизненных миров оставляет место для протестных действий и солидарности снизу, которые и легитимируются критическими интеллектуалами. Для исследования современных массовых движений продолжает также быть значимой осмысление проблемы «класс-партия» у Лукача, продолжающее идею Каутского и Ленина о «внесении сознания» социалистическими интеллектуалами в рабочее движение⁶⁹.

Так или иначе, в отличие от ситуации вековой давности и в связи с утратой промышленным пролетариатом центрального места в системе производства в современном нео- или даже постмарксизме вопрос об интеллигенции остается не внешним, а *внутренним*, связанным

⁶⁷ Christofferson Michael Scott. French Intellectuals Against the Left: The Antitotalitarian Moment of the 1970's. N. Y.: Berghahn Books, 2004.

⁶⁸ Речь идет о важной статье советского идеолога, редактора «Правды» и будущего директора Института социологии А. Румянцева «Партия и интеллигенция» (1965) (Румянцев А.М. Проблемы современной науки об обществе. М., 1969). О проблематике «духовного производства» от 1940-х до 1980-х годов см.: Из рукописи Б.И. Шенкмана «Духовное производство и его своеобразие» // Вопросы философии. 1966. № 12; Духовное производство: социально-философский аспект проблемы духовной деятельности / Под ред.

В.И. Толстых. М.: Наука, 1981. См. также: Мамардашвили М.К. Интеллигенция в современном обществе // Проблемы рабочего движения. М., 1968; Наука и власть. Воспоминания ученых-гуманитариев и обществоведов. М.: Наука, 2001; Бикбов А. Тематизация «личности» как индикатор скрытой буржуазности в государстве «зрелого социализма» // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007.

⁶⁹ См. общий обзор: Przeworski Adam. Proletariat into a Class: The Process of Class Formation from Karl Kaytsky's «The Class Struggle» to Recent Controversies // Politics and Society. 1977. № 4.

с саморефлексией самого теоретика и проблематикой его референтной «узкой» идейной (академической) группы, а не только с широкой политической партией или движением. Эта саморефлексия марксизма порой выводит критических интеллектуалов за пределы собственно марксистского политического проекта — как это было с Коршем, Гоулднером; наиболее интересные разработки в этом духе принадлежат голландскому ученику Гоулднера Дику Пельсу, который рассматривает и фигуры пролетария, и модусы самоопределения интеллектуалов (представительства за «угнетенных», снятия отчуждения) на основе концептуального аппарата новейшей социологии знания и науки⁷⁰.

Для современных марксистских трактовок проблем интеллигенции остаются характерными намеченные еще у Каутского и Лафарга полюса интерпретации: от осуждения современных технологизированных интеллектуалов как «подручных» нового глобального капитализма до идентификации любых нынешних эмансипационных проектов с перспективами открытых и динамичных сетей носителей нового знания, которые видятся гуманистическими по определению⁷¹. Вместе с тем последняя «прекраснодушная» перспектива в духе Хабермаса или либеральных наследников «новой левой» может быть скорректирована как анализом проблем интеллектуальной гегемонии и неравенства в обществе знания (Лакло и Муфф, Бурдье), так и «материальным» социологическим исследованием культуры, средств коммуникации и медиатизации в классическом и позднем капитализме (Р. Уильямс⁷², британская школа Cultural Studies Ст. Холла).

⁷⁰ Pels Dick. *The Intellectual as Stranger. Studies in Spokespersonship*. London: Routledge, 2000; Pels Dick. *Unhastening Science. Autonomy and Reflexivity in the Social Theory of Knowledge*. Liverpool: Liverpool University Press, 2003.

⁷¹ См. очерк «Противоречия внутри знающего класса: власть, пролетаризация и интеллектуалы»: Aronowitz Stanley, Difazio William. *The Jobless*

Future: Sci-Tech and the Dogma of Work. Minneapolis: Univ. of Minneapolis Press, 1994. P. 173–201.

⁷² Cp.: Williams Raymond. *Intellectuals* // Williams Raymond. *Keywords*. New York: Oxford UP, 1976. P. 169–171 и Bennett Tony et al. *Intellectual* // New Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society. Malden, MA: Blackwell, 2005. P. 189–191.

Литература

Основная

- Collini Stefan. *Absent Minds: Intellectuals in Britain*. Oxford and New York: Oxford University Press, 2006.
- Dietz Bering. *Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1978.
- Gilcher-Holtey Ingrid. *Das Mandat des Intellektuellen. Karl Kautsky und die Sozialdemokratie*. Berlin: Siedler, 1986.
- Gouldner A. *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. New York: Seabury Press, 1979.
- Intellect and Public Life: *Essays on the Social History of Academic Intellectuals in the United States*. Baltimore, MD: Johns Hopkins UP, 1993.
- Konrad George, Szelenyi Ivan. *The Intellectuals on the Road to Class Power* / Trans. by Andrew Arato and Richard E. Allen. Brighton: Harvester Press, 1978.
- Kurzman Charles, Owens Lynn. *Sociology of intellectuals* // *Annual Review of Sociology*. 2002. Vol. 28. P. 63–90. [http://www.unc.edu/~kurzman/cv/Kurzman_Owens_Intellectuals.pdf]
- Pels Dick. *The Intellectual as Stranger. Studies in Spokespersonship*. London: Routledge, 2000.
- Шарль К. *Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX в. М., 2005.*

Дополнительная:

- Demirovic Alex. *Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003.
- Дмитриев А.Н. *Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920–1930-е гг.)*. СПб., М., 2004.
- Мирский Д.П. *Интеллигентсия*. М., 1934.
- Троцкий Л.Д. *Об интеллигенции (1912); Интеллигенция и социализм (1910)* // *Троцкий Л. Литература и революция*. М., 1991.
- King Lawrence Peter, Széleányi Iván. *Theories of the New Class: Intellectuals and Power*. University of Minnesota Press, 2004.
- Brown David S. *Richard Hofstadter: An Intellectual Biography*. Chicago: University of Chicago, 2006.
- Jacoby Russel. *The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe*. N.Y.: Basic Books, 1987; new edition with new Introduction: Basic Books, 2000.
- Mattson Kevin. *Intellectuals in Action: The Origins of the New Left and Radical Liberalism, 1945–1970*. Philadelphia: Pennsylvania State University, 2002.

Александр Кустарев

МАКС ВЕБЕР

Положение интеллектуалов (интеллигенции) в обществе и само это понятие как коллективное имя («соционим») обсуждается уже больше столетия. Это обсуждение мотивировано познавательными, политическими, статусными (самоопределятельными) интересами и целями участников обсуждения — индивидов, солидарных групп, государственных агентств, занятых разработкой социальной политики, например, органов образования.

Хотя имя Макса Вебера в этом обсуждении упоминается редко, те, кто предложил важные соображения (востребованные или нет) на эту тему, как, например, А. Грамши, К. Манхейм, М. Рейснер, Ф. Знанецкий, Г. Шельски, Т. Парсонс, Э. Шилз, П. Бергер, Т. Лукман, С. Айзенштадт, П. Бурдьё, определенно находились под его прямым влиянием.

И это объясняется не только влиянием Вебера на все обществоведение в XX веке. И не только тем, что он (как и все) видел в знании и образовании важнейший ресурс общества, а обладание и манипулирование этим ресурсом считал важным фактором социальных и культурных изменений (social and cultural change) и социального расслоения, а также инструментом господства. Ядро его социологии — социология религии как социология знания¹, а главное — содержание исторического процесса у него сводится к эволюции знания. Построение рациональной картины мира (Weltbild) и этики Вебер считал базовой потребностью индивида, а картину мира и этику — автономным фактором социального действия. Естественно, что агенты (протагонисты, носители, обладатели) знания должны были бы оказаться центральными персонажами обществоведения Вебера, если бы оно было организовано вокруг действующих лиц, а не вокруг социального действия и институтов как его сублимации. Как заметил и убедительно показал Ахмад Садри², «социология интеллектуалов» — сквозная тема (pervasive motive) его творчества.

В корпусе текстов Вебера нет развернутой разработки этой темы и вообще какой-либо концептуализации интеллигенции (интеллектуалов) как социального характера и коллективной общности. Но

¹ Berger P., Luckman T. *Sociology of Religion and Sociology of Knowledge // Sociology and Social Research*. 1963. Vol. 47. P. 417–427. 45 лет назад, когда была опубликована эта важная статья, такая трактовка была новинкой, сейчас это как будто устоявшееся представление.

² Sadri A. *Max Weber's Sociology of Intellectuals*. Oxford. 1992. P. 33. Садри, кажется, первым обратил внимание на возможность такой интерпретации социологии Вебера. Тем самым ему удалось сделать ряд важных наблюдений, хотя его попытку в целом реконструировать «социологию интеллектуалов» Вебера нельзя признать удачной.

Вебер упоминает в разных контекстах множество духовно-умственных агентур и почти всегда как-то их атрибутирует. Не реконструируя воображаемую «социологию интеллектуалов» Вебера, попытаемся нащупать некоторую систематику в его наблюдениях и суждениях, релевантных для этого сюжета. Они появляются у Вебера по большей части в нескольких параграфах (прежде всего, § 7) главы v («Социология религии»), в шестом разделе («Политическое и иерократическое господство») главы ix («Социология господства») работы «Хозяйство и общество»; в китайской секции работы «Хозяйственная этика мировых религий» (глава «Сословие литераторов»); в двух больших эссе о политическом устройстве Германии после войны; в докладе «Наука как профессия»³.

Агентура знания в социальной стратификации

Общество, по Веберу, стратифицировано по нескольким параметрам⁴, позволяющим ему наметить три классовых стратификации: 1) имущественные (владельческие) классы; 2) доходно-трудовые классы — по занятию и соответственно источнику дохода (и то и другое по-немецки «Erwerb»); 3) общественные классы. К ним он добавляет еще один (четвертый) «разрез» — статусную, или сословную (Stand), стратификацию. Агентура знания под разными наименованиями упоминается во всех четырех «разрезах» общества и занимает в них разные позиции.

Среди владельческих классов агентура знания упомянута в составе очень неопределенно обозначенных «средних классов». Они названы «оснащенные воспитанием (Erziehung)», причем указывается, что они используют свою «воспитанность» (Erziehungsqualitaeten — культурность или цивилизованность, если угодно) для заработка. Не совсем ясно, почему владельцы знания в форме воспитания попадают именно в средний класс, а не в верхний, или, как Вебер его называет, «положительно привилегированный», и почему в этой классификации индивидов по собственности появляется принцип классификации по «заработку», принятый Вебером в схеме стратификации «трудовых» классов. Так или иначе, знание в этом «разрезе» общества не учтено эксплицитно как объект необратимого присвоения, как род собственности и ренты⁵.

³ Уместно напомнить, что все релевантные фрагменты в «Хозяйстве и обществе» и «Хозяйственной этике» — эмпирические этюды, изобилующие круговыми, хотя чаще избирательно-парными сравнениями (сопоставлениями) с едва намеченными эмпирическими обобщениями. В них Макс Вебер преследует чисто познавательные интересы, во всяком случае, не обнаруживает сам открыто каких-либо других. Его политические эссе, напротив, демонстративно оценочны, преследуют политические цели и содержат элементы нормативной политической теории.

⁴ Wirtschaft und Gesellschaft. Tuebingen. 1985. S. 177–180 (далее цитируется как wg). К сожалению, глава iv «Хозяйства и общества» («Сословия и классы») — это всего лишь предварительный набросок задуманной Вебером главы или даже набросок ее оглавления. Читая его, следует помнить, что некоторые элементы этой схемы, возможно, не были до конца продуманы.

⁵ Может быть, учтено имплицитно. Мне кажется, что Веберу самому тут что-то было не ясно и у него просто не дошли руки до более четкой

Среди «трудовых» классов (Erwerbsklassen) к верхнему, или «позитивно привилегированному», слою вместе с предпринимателями отнесены «наделенные особыми способностями и специально обученные профессионалы» («свободные профессии»). Они же оказываются и в категории средних классов рядом со служащими (общественного и частного сектора), упоминаемыми, впрочем, отдельно. Знание тут определенно учтено как производительная сила и источник дохода.

Знание и его агентура явно обозначены и в третьем варианте стратификации, где названы четыре «общественных класса»: 1) рабочее, 2) мелкая буржуазия, 3) лишенная собственности интеллигенция (Intelligenz) и обученные профессионалы (техники, коммерческие и другие «служащие», чиновники — очень разнообразные в зависимости от стоимости их образования), 4) собственники и привилегированные благодаря образованию (durch Bildung Privilegierten)⁶. Здесь в отличие от классификации по собственности «образованные» оказываются в одной категории с собственниками⁷. Общественные классы в схеме Вебера, как он объясняет сам, базируются как на собственности, так и на доходном занятии.

Статусное положение или сословная принадлежность дополняют классовую структуру и конкурируют с ней (с ними) как принцип стратификации общества. Статус зависит от 1) образа жизни; 2) формального образования; 3) происхождения или профессии⁸.

Состав имущественных, доходно-трудовых общественных классов и статусов (сословий) имеет тенденцию к совпадению, поскольку статус и класс связаны через привилегии. Статусные (сословные) привилегии можно купить; они в свою очередь дают индивиду преимущества на рынке труда и повышают шансы на обогащение. Но полное совпадение никогда не достигается. Прежде всего потому, что классовое положение недвусмысленно и определяется количественно, а статус — двусмыслен и конвенционален, причем конвенция может быть весьма неустойчива. Переход индивида из одного класса в другой может совершаться быстро, а из одного статуса в другой перейти нелегко, особенно снизу вверх. В то же время статусные критерии, несмотря на свою инертность, находятся под постоянной угрозой пересмотра. Сословное положение может быть функцией классового положения, но не только его одного. И наоборот: положение в статусной иерархии не обязательно определяет классовое положение индивида.

разработки этой части схемы. Вероятно, современное понятие «социальный капитал» помогло бы ему, но здесь не место для редактирования его схемы.

⁶WG. S. 179.

⁷Я воздерживаюсь от комментариев к этому несколько неожиданному повороту. Трудно сказать, что за этим скрывается — какая-то особая мысль или простая недоработка.

⁸Обратим внимание на то, что среди критериев статуса у Вебера отсутствует богатство как таковое.

«К сословию-статусу ближе всего общественные классы, дальше всего от него — доходно-трудовые классы»⁹.

В статусной иерархии современного общества агентура знания, как считает Вебер, определенно находится на самом верхнем этаже: «„Образование“ в противоположность собственности, определяющей *классовое* положение индивида, теперь, несомненно, главный сословно-статусный различитель. Социальный престиж образования — вот что обеспечивает авторитет современного офицера перед строем, а современного чиновника в обществе. Различия в образовании, как бы это ни было достойно сожаления, есть самые сильные и глубоко интернализованные социальные ограничители индивида. Прежде всего в Германии, где почти все привилегированные позиции на государственной службе и вне ее требуют не только *специальной* квалификации, но и «общего образования» и вся система школьного и высшего образования ориентирована на это. Все наши дипломы есть свидетельства, удостоверяющие, что их предъявитель обладает этими *сословно* важными качествами»¹⁰.

Современный авторитет знания и образованности, как это следует из социологии религии Вебера, уходит корнями в эпически далекое прошлое. Все начинается в допророческие (магические) времена, где «образованными» были маги и провидцы-ведуны. Затем их место заняло священство пророческих религий. «Распространенное еще и теперь среди мирян — особенно в крестьянских кругах — представление, что священник должен обладать большим пониманием и большей верой, чем это доступно разумению обычных людей, является лишь одной из форм, в которых выступает преимущество «сословных» качеств, приобретенных „образованием“, в кругах государственной, военной, церковной и предпринимательской бюрократии»¹¹.

Но несовпадение статусной иерархии и классового расслоения создает для владельцев знания проблему. В разных обществах статус имеет разные импликации. Его легче или труднее конвертировать в другие блага. И его обладатели могут по-разному им пользоваться. Когда они имеют возможность манипулировать своим статусом, они сами могут удовлетвориться почетом как конечной ценностью, и такие практики существуют. Но как правило, обладатели высокого статуса стремятся конвертировать свой авторитет в привилегии или, так сказать, капитализировать в более материальной форме. Поэтому агентура знания имеет тенденцию к слиянию с позитивно-привилегированными

⁹ wg. S. 180.

¹⁰ Gesammelte Politische Schriften. Tuebingen, 1988. S. 247–248 (далее — GPS); Политические работы. М., 2003. С. 43–44 (далее — ПР). Во всех случаях, когда есть русский перевод, я даю ссылку и на него. Мой перевод не всегда полностью совпадает с общепринятым.

¹¹ wg. S. 343; Социология религии / Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 223 (далее — СР).

имущественными или производительными классами, какой бы класс ни был ее первоначальным субстратом. Образование — магистраль вертикальной классовой мобильности.

Превращение христианской церкви и ее иерархов в класс (и сословие) землевладельцев и монополия коммерческая практика церкви и священства (включая монастыри) в Европе Средних веков прекрасно иллюстрирует эту тенденцию. Само папство пыталось бороться с этой тенденцией, но безуспешно. В Китае в эпоху Хань были приняты меры, чтобы служебные пребанды не превратились в монополию закрытого сословия по типу ленников и министерялов, с чем и связана, как подчеркивает Вебер, колоссальная роль экзаменов в общественном строе Китая¹², но и там эту тенденцию полностью не удалось пресечь.

Пребандарная система (раздача епархий с доходом) сама по себе превращала священство в редуцированный (если не наследственный) класс землевладельцев¹³. Если же феодализация священства не дошла до своего логического завершения и пребанды не стали наследственными ленами, священство все равно оформлялось в монополияное сословие — «цех-корпорацию грамотеев» (*Literatenzunft*), как выражается Вебер¹⁴.

И уже в этом качестве священство обнаруживало тенденцию к слиянию интеллектуалов с государственной администрацией, поскольку именно государственная администрация была первой сферой, где общеобразовательная подготовка была технически необходима для исполнения должности. «Чем большую роль играет грамотность также и в ведении мирских дел, чем больше эти дела становятся объектом бюрократического управления, функционирующего посредством установлений и актов, тем больше воспитание светских должностных лиц и образование вообще переходят к священнослужителям, или они сами занимают — как это происходило в средневековых канцеляриях — должности, где ведение дел требует умения писать»¹⁵.

Ресурсом священства было и опытное знание, приобретаемое в собственной организационной структуре церкви. В Европе культура бюрократии приобрела свои первоначальные и очень живучие свойства именно в рамках церковной организации. Позднее, когда светская администрация усложнилась и оторвалась от церкви, ее нужды, наоборот, стали определять программу общеобразовательной и высшей школы. Но и в том, и в другом случае между бюрократом и интеллектуалом имеется глубокое «избирательное сродство» или «социальная близость».

Сливаясь, они поддерживают высокий статус друг друга. Вебер комментирует это явление главным образом на примере Китая.

¹² *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*. Tübingen, 1988. Bd. I. S. 405 (далее — GARS).

¹⁴ *WG*. S. 304; *CP*. C. 166.

¹³ *WG*. S. 598–601.

¹⁵ *WG*. S. 280; *CP*. C. 130–131.

В Китае слияние образованного слоя («литератов») с чиновничеством произошло давно, закрепилось институционально и оказалось почти идеальным. Вебер: «В Китае на протяжении двенадцати столетий квалификация чиновника, то есть его образованность, определяемая специальным экзаменом, давала более высокий общественный статус (Rang), чем собственность (Besitz)»¹⁶. Или: «Господствующим слоем в Китае были *грамотеи* (Literaten — литераты)»¹⁷. Или: «[Литераты] создали понятие „службы“, и прежде всего это „служебного долга“ и „общественного блага“»¹⁸. Или: «Китайский образованный слой никогда не был автономным сословием ученых, как брамины, но слоем чиновников и кандидатов в чиновники»¹⁹.

Дипломированный светски образованный слой в начале XX века обнаруживает то же самое тяготение к привилегиям в стиле европейской земельной аристократии и (или) китайских мандаринов. Это вызывает у Вебера никак не хладнокровную реакцию. Его политические эссе полны откровенными насмешками над теми, кого он саркастически именует «литератами», пользуясь той же этикеткой, что и для обозначения образованного слоя в китайских штудиях.

Вернемся к уже цитированному пассажи, где говорится, например: «Различия в образовании, как бы это ни было достойно сожаления (курсив мой.—А.К.), есть самые сильные и глубоко интернализованные социальные ограничители индивида».

В одном месте Вебер говорит, что ввиду лишений, которые предстоят народу после заключения мира, «просто хамство со стороны литератов из самых разных лагерей изображать „трудовой дух“ чуть ли не как первородный грех и объявлять „досужую“ жизнь идеалом будущего. Это идеал паразитов — пребэндариев и рантье»²⁰. И далее «...воспитание паразитов и тунеядцев, воплощающих тот самый идеал „досужего общества“, который культивируют литераты. Что это означает? А вот что: превращение „германства“ в „австрийство“. Мы возьмем у них как раз те свойства, которые сами австрийцы считают главными источником того, что они между собой именуют „халатностью“. Слов нет, у них можно взять много по части хорошего вкуса и светского воспитания. Но перенимать их политику культивирования „средних слоев“ — (Mittelstadspolitik) — покорнейше благодарим»²¹.

Образованный слой («литераты») со своим идеалом досужей жизни сильно напоминают у Вебера переродившуюся в «досужий класс» буржуазию Торстейна Веблена. А еще хуже то, что ориентация на аристократию как референтную группу обременяет сознание «литератов», как считает Вебер, характерными предрассудками. Вебер:

¹⁶ GARS. S. 395.

¹⁹ GARS. S. 411.

¹⁷ GARS. S. 396.

²⁰ GPS. S. 249; ПР. С. 45.

¹⁸ GARS. S. 399.

²¹ GPS. S. 252; ПР. С. 50.

«Невежество литератов, не видящих разницы между богатством рантье, стригущим купоны, и производственным капиталом предпринимателя, их рессентимент по отношению к первому и благодушие ко второму»²². Или: «Литераты предпочитают считать организации, возникшие на основе частной инициативы („добровольные“), нелегитимными или в лучшем случае временными, пока они не будут одобрены полицией»²³.

Комментируя их конституционные взгляды, Вебер фиксирует тяготение «литератов» к кастовости: «Литераты питают пристрастие ко всякого рода плюральному избирательному праву... Любимая мечта литератов — „образование“ [как ценз.—А.К.]»²⁴. Или: «К дилетантским мыльным пузырям, которые немецкие литераты снова и снова раздувают, принадлежат и многие стерильные проекты под шапкой общей идеи „профессионально-сословного представительства“»²⁵.

Наконец, «литераты» обнаруживают культурно-аристократический снобизм, к чему Вебер относится крайне неодобрительно: «Мы знаем, какими фразами в этом случае заинтересованные силы хотят запугать мелких буржуа, а тем более литератов. Прежде всего их пугают разрушением якобы „благородных“ и в силу этого культурно продуктивных „традиций“. А также тем, что „демократия“ лишит якобы неисчерпаемой политической мудрости государство, руководимое до сих пор якобы „аристократией“»²⁶.

Вебер подчеркивает, что все эти синдромы и предрассудки образованный слой усваивает в процессе своей социализации, т.е. в ходе воспитания-обучения. «Студенческие корпорации — типичная форма светского воспитания молодежи, ориентированной на невоенную службу, пребанды и свободные профессии с высоким общественным статусом»²⁷. И далее: «Кодекс получивших академические дипломы будущих немецких чиновников и слоев, на которые они влияют, это прежде всего привычки, усвоенные в [студенческих] корпорациях. Эти привычки были и остаются очевидным образом *непригодными* за пределами дипломированной братии и не перенимаются массами, т.е. не „демократизируются“ не из-за того, что они якобы светские или „аристократические“, а именно потому, что они, наоборот, плебейские»²⁸.

Статус и привилегии либо сами по себе, либо конвертированные в имущество-ренту могут быть «взяткой» за отказ от участия в господстве. Такая практика — особенно в нашу «демократическую» эпоху — распространена гораздо чаще, чем может показаться в тени

²² GPS. S. 250; ПР. С. 47.

²⁶ GPS. S. 270; ПР. С. 76.

²³ GPS. S. 261; ПР. С. 63.

²⁷ GPS. S. 278; ПР. С. 88.

²⁴ GPS. S. 247; ПР. С. 43.

²⁸ GPS. S. 283; ПР. С. 95.

²⁵ GPS. S. 252; ПР. С. 50.

гораздо более массивного (исторически) и заметного участия образованного слоя в системе господства. Типологически это важно, но оставим этот сюжет пока в стороне, поскольку участие образованного слоя (священства в социологии религии Вебера) в системе власти все-таки исторически было гораздо массивнее и важнее. И оно не сводилось к манипулированию «классовым государством» через инкорпорирование в имущественно привилегированный истеблишмент и к участию в управлении обществом через монополию (преимущественное право) на ключевые позиции в служебном аппарате государства.

Священство как корпорация исторически часто (хотя и не всегда) претендовало на то, чтобы в принципе быть субъектом господства и вело борьбу с другими претендентами на господство — воинством, мирским чиновничеством, плутократией. Реальные системы господства представляют собой так или иначе институционализированный компромисс между участниками этой борьбы. «Борьба (не всегда заметная на поверхности) между военной знатью и храмовой знатью, между клевретами короля и священством повсюду накладывает отпечаток на характер государства и общества»²⁹.

Вебер называет три принципа сосуществования политической и церковной власти: 1) священство легитимирует («освящает») власть как воплощение Бога или как богоугодную; 2) священнослужитель выступает одновременно в роли правителя; 3) наоборот, глава светской власти также возглавляет и церковь. Принцип 1 и 2 он называет «иерократия», принцип 2 как более специфический вариант иерократии — «теократией». Принцип 3 он именует «цезаропапизм»³⁰. Затем, согласно своей обычной методике, рассматривает и сопоставляет множество разных вариантов комбинации этих трех идеальных типов, или близость каждого конкретного случая к одному из них.

Вся эмпирия, привлекаемая Вебером для иллюстрирования его схемы, взята из прошлого, когда господствующей формой духовно-умственной субстанции была религия, а ее коллективным протагонистом было священство, так или иначе институционализированное корпоративно, а единственной, в сущности, формой власти была монархия. Релевантна ли эта модель сосуществования «протагонистов силы» и «протагонистов знания» для секулярного республиканского национал-государства? И если да, то как в этой терминологии можно было бы описать разные частные случаи? Что в условиях модерна приходит на место религии? Как эта новая духовно-умственная субстанция институционализируется? Какова ее эзотерика и риторика?

Это не праздные вопросы и на них есть предварительные ответы. Но наша задача на этот раз не в том, чтобы предлагать какие-то соображения на этот счет, а только в том, чтобы обратить внимание на содержащиеся в текстах Вебера ресурсы для развития таких соображений.

²⁹ WG. S. 690.

³⁰ WG. S. 689.

Один из таких ресурсов содержится в его схеме социальной стратификации общества, где он говорит о способности индивидов, разделяющих одно и то же классовое положение, к коллективному самосознанию и совместным действиям. Среди этих условий — ориентация на «...ясные цели под *водительством* выходцев из другого класса (интеллигенции [Intelligenz]), внушающих массу или интерпретирующих для нее эти цели»³¹.

В сущности, Вебер здесь намекает на возможность достройки своей схемы стратификации общества еще одним «разрезом», а именно стратификацией в политической сфере, где в качестве верхнего слоя появляется политический класс, или партократия. Этот намек был услышан и такая трактовка сейчас фигурирует даже в некоторых учебных пособиях.

Здесь партократия почти сливается со священством, как оно выглядит в социологии религии Вебера, хотя сам Вебер эту аналогию не эксплицирует. Нетрудно также заметить, что это почти совпадает с ленинскими представлениями о партии как «передовом отряде» рабочего класса и с представлениями Антонио Грамши о «политической партии» как об интеллигенции любого класса.

Другие намеки, насколько мне известно, не были пока подхвачены и использованы — ни в целях концептуализации, ни в эмпирических целях.

Например, такое наблюдение: «Какой-то минимум теократического и цезаропапистского элемента присущ любой *легитимной* (курсив мой.—А.К.) политической власти, какова бы ни была ее структура, потому что во всякой харизме в конечном счете сохраняется остаточная претензия на врожденное родство с магией, что роднит ее с религиозными властями и предполагает также, что и на ней лежит „божья благодать“ — в каком-то смысле»³². Итак, в *каком-то смысле*. В каком же именно? Переосмысление «божьей благодати» в модерне состоялось. Историческая церковь как протагонист религии теперь для легитимизации власти не нужна. Но кто-то все равно нужен. Кто он и чем чревато его участие в политическом порядке как системе господства?

При этом не следует забывать, что легитимность современных реальных конституционных порядков, как бы она ни сдвинулась в сторону «легального типа» (по типологии Вебера), все равно не совпадает с ним идеально и содержит в себе примеси «харизматического» и «традиционного» типов легитимности, о чем и предупреждал Вебер.

Еще одно направление для рассуждений об участии протагонистов духовно-умственной субстанции в системе власти дает такое наблюдение Вебера: «...идея „нации“ у ее носителей имеет весьма интимное отношение к интересам „престижа“. В своих самых ранних и наиболее энергичных проявлениях эта идея в какой-то, пусть и скрытой

³¹ wg. S. 179.

³² wg. S. 691.

форме содержит легенду о судьбоносной „миссии“, бремя которой по силам тем, к кому обращается пафос носителей этой идеи, а также представление, согласно которому эта миссия становится возможна только и исключительно благодаря особому индивидуальному попечению группы, выделяемой в качестве „нации“. Следовательно, эта миссия — поскольку она пытается оправдать себя особой ценностью своего содержания — последовательно может быть представлена лишь как специфическая „культурная“ миссия. Превосходство и незаменимость „культурных благ“, охраняемых и развиваемых лишь благодаря особому попечению, — вот то, на чем пытается укрепиться значительность „нации“. Поэтому самой собой разумеется, что, подобно тому как в политической общине сильные мира сего выдвигают и культивируют (provozieren) идею государства, те, кто узурпирует лидерство в „культурной общине“ — то есть группа людей (ранее мы назвали их „интеллектуалами“), которые благодаря своим особым качествам специфическим образом открывают доступ к определенным продуктам, считающимся „культурными благами“, специально призваны к тому, чтобы пропагандировать „национальную идею“»³³.

Проще говоря, рядом с религиозным нарративом или вместо него появляется «национальный», а стало быть, и его протагонист, вступающий в определенные отношения с протагонистом силы. Новая церковь? Или?... И как теперь комбинируются те принципы, что Вебер обнаружил в отношениях между светской и церковной властью?

Агентуры знания

До сих пор речь шла об одной и единой агентуре духовно-умственной субстанции общества и о том, как она аранжирована в структуры общества — классовую и статусную иерархию, систему господства. Но она имеет и собственную структуру. Духовно-умственная субстанция или, если угодно, сумма коллективного знания очень разнородна. Соответственно неоднороден и ее протагонист. Помимо этого, в обществе всегда есть более чем один претендент на присвоение существующей суммы знания. Это чревато целым рядом оппозиций.

Во-первых, оппозиция первичных (харизма) и вторичных (священство) протагонистов знания. Во-вторых, оппозиция протагонистов светской и религиозной образованности. В-третьих, оппозиция субъектов рациональности. Ставки в этих оппозициях (в разной пропорции) — господство, статус или корпоративная автономия.

1. Оппозиция *харизмы и рутины* — это борьба первичного протагониста духовно-умственной субстанции и вторичного ее носителя, или еще иначе — самостоятельных (спонтанных) интеллектуалов и

³³ W.G. S. 529–530.

лицензированных, следующих за первичными по схеме «рутинизации харизмы». Харизмы — либо пророческой, либо тайного магического знания, либо смешанной.

Вебер: «Этический пророк и пророк личного примера, как правило, мирянин, и его влияние обеспечивают ему его последователи из мирян. По самому смыслу каждое пророчество обесценивает... магические элементы службы священства»³⁴. Или: «...святость нового откровения противостоит святости традиции, и... священство либо приходит к компромиссу с новым пророчеством, либо принимает его полностью, либо берет верх над ним, либо устраняет его, либо само оказывается устраненным»³⁵.

Но конфликт и сделка *старого* священства с *новым* пророком — это не все. На смену пророкам (и их прямым клевретам — «*Gefolgenschaft*» Вебера) приходит новое священство: «...священнослужителям надлежит систематизировать защищаемое от нападков пророков старое учение или победившее *новое учение* (курсив мой.—А.К.)...»³⁶. В особенности: «Внутри каждой создающей систематическую теологию религии формируется эта аристократия, догматически образованная, и она в различной степени и с различным успехом притязает на то, чтобы стать подлинным носителем этой религии»³⁷.

И тогда к уже преодоленному конфликту нового пророка со старым священством добавляется другой. Внутри любой единой общности сохраняется и при некоторых условиях укрепляется слой протагонистов религии, который продолжает считать себя, а не обособившийся институционально слой священства, подлинным носителем коллективной умственно-духовной субстанции.

Так возникает еще одна зона напряжения между «...теологически образованными интеллектуалами (виртуозами религиозного знания) и благочестивыми неинтеллектуалами, прежде всего виртуозами религиозной аскезы и созерцания»³⁸.

Оппозиция священству как интеллектуалам (интеллигенции) стилизует себя как неинтеллектуалы и антиинтеллектуалы. Эту стилизацию она заимствует у нового пророка, бросившего вызов старому священству. Вебер обнаруживает такое противостояние высокомерию интеллекта в христианстве и исламе³⁹. И еще определеннее звучит такой пассаж: «Христианское евангелие возникло как откровение неинтеллектуала только для неинтеллектуалов, кого Иисус называл „нищие духом“»⁴⁰.

³⁴ WG. S. 278; CP. C. 127.

³⁷ WG. S. 343; CP. C. 223.

³⁵ WG. S. 279; CP. C. 128.

³⁸ WG. S. 342; CP. C. 222.

³⁶ WG. S. 279; CP. C. 128. В этом пассаже «старое» и «новое» учение у Вебера названы в другом порядке; я изменил порядок, поскольку так было удобнее в данном контексте.

³⁹ WG. S. 343.

⁴⁰ WG. S. 379; CP. C. 277.

Но сближающая себя с первоначальной харизмой группировка «истинно верующих» как претендент на обладание «истиной», парадоксальным образом сама оказывается «интеллигенцией неведомо для себя», в особенности когда (если) сама начинает развивать альтернативную догматику. За антиинтеллектуалистской риторикой скрывается альтернативный интеллектуализм или альтернативный монополист уже кодифицированной духовности, в особенности если священство оказывается коррумпировано компромиссом с чуждым элементом, а оно, согласно Веберу, рано или поздно оказывается коррумпированным — иначе религиозная инициатива блокирована и в лучшем случае консервируется в маргинальном состоянии — в «катакомбах», так сказать.

Новые пророческие движения нередко сливаются с этими реликтами первоначальных протагонистов духовно-умственной субстанции, стилизуя себя как агентов возвращения к подлинному «учению», преданному «книжниками» и «фарисеями». Тут — корни церковной реформации в Европе, а также современных религиозных фундаментализмов — типичного продукта отчужденной («деклассированной» у Вебера) интеллигенции. Харизма — как землетрясение — чревата повторными толчками.

Вебер рассмотрел эту коллизию только на примере религии. Но она воспроизводится во всех случаях, когда за пределами лицензированного интеллектуального истеблишмента возникает новая интеллектуальная инициатива. По этому же образцу происходит бунт старой «партийной гвардии» в революционных политических партиях против партийной бюрократии. Эта новая или обновленная инициатива может риторически стилизовать себя как антиинтеллектуалистская или, наоборот гиперинтеллектуалистская (буддизм, например), но она в любом случае — *интеллектуальная*.

Оппозиция харизмы и рутины *циклична* и кончается поочередной победой одного из двух соперников, после чего все начинается сначала.

2. В отличие от оппозиции харизмы и рутины *оппозиция религиозного и светского интеллектуализма* носит хронический характер, и, хотя влияние одной из сторон может то усиливаться, то ослабевать, они продолжают сосуществовать, влияя друг на друга, и, что еще, пожалуй, важнее, дополняя друг друга, как общее и специальное знание, эмпирическое и теоретическое знание, или интуитивное и аналитическое постижение, техника и наука, духовная и физическая культура. Между прочим, все это воспроизводится в сфере социализации или воспитания, что в самом общем виде по наблюдениям Вебера выглядит так: «Две полярные цели воспитания — пробуждение харизмы (свойств героической личности или магический дар) и передача специализированных знаний. Первый тип соответствует

харизматической, второй — рационально-бюрократической (модерной) структуре господства»⁴¹.

У Вебера эта коллизия иллюстрируется множеством случаев во второй половине § 7 «Социологии религии»⁴². «Павел хотел уберечь Библию от вторжений эллинистского (гностического) интеллектуализма»⁴³ — так Вебер фиксирует первоначальную коллизию христианства. Затем, однако, он говорит не столько о противостоянии, сколько о компромиссе. Кроме пророчества, говорит Вебер, есть еще две силы, действующие в кругу мирян. Это «традиционализм светских кругов и светский интеллектуализм». С ними, напоминает Вебер, «священству необходимо достичь компромисса»⁴⁴, если оно надеется укрепить и расширить свое влияние — создать конгрегацию (общину [«Gemeinschaft»]).

В сфере самой религии, если компромисс достигается, то он приводит к синтезу ресурсов священного знания и светского интеллектуализма. В христианстве этот синтез оказался очень продуктивен и масштабы его последствий колоссальны.

Но компромисс требуется и в сфере образованности, поскольку светская образованность и по содержанию и по форме его кодификации (и передачи) может сильно отличаться от образованности священства. Вебер: «В Индии, в еврействе, христианстве и исламе образованность была связана с письменностью, потому что оно было полностью в руках знавших грамоту браминов, раввинов или профессионально обученного грамоте священства или монашества книжных религий. В эллинском же мире, наоборот, носителем благородной образованности были эфебы (?) и гоплиты, пока эта культура оставалась эллинской, а не стала „эллинистической“. Это ярче всего видно в разговорной практике симпозиума... и в этой культуре Платон, как ему сказал Алкивиад, не более важен, чем все остальное. В Средние века рыцарско-военная и благородная салонная образованность в духе Ренессанса были противовесом книжной священнической и монастырской образованности, тогда как в еврействе и в Китае такой противовес почти полностью отсутствовал»⁴⁵.

Так что: «Судьба религии в значительной степени будет зависеть от того, в каком направлении будет развиваться интеллектуализм и в каком отношении он будет находиться к священству и политической власти, а это, в свою очередь, обусловлено социальной природой того слоя, который является в первую очередь носителем интеллектуализма»⁴⁶.

⁴¹ GARS. S. 408.

⁴⁴ WG. S. 278; CP. C. 127.

⁴² WG. S. 304–314; CP. C. 166–181.

⁴⁵ WG. S. 411.

⁴³ WG. S. 374.

⁴⁶ WG. S. 304; CP. C. 166.

3. Эти «носители интеллектуализма» есть субъекты рационализации картины мира, и отношения между ними чреваты оппозицией, поскольку их рациональность субъективна, «материальна» или «ценностно ориентирована» (терминология Вебера), а не «рассчетна», или «абстрактна», и они не согласны друг с другом. Причем это несогласие возникает как произвольно, так и произвольно. Разный образ мира (Weltbild) возникает в разные времена у разных агентур, преследующих свои идеальные интересы. Эти интересы состоят в том, чтобы удовлетворить, образно говоря, «духовное томление» индивида путем осмысления и упорядочения мира — его рационализации, превращения «концепции мира в концепцию смысла»⁴⁷, или чтобы самоопределиваться — «отличиться» (Бурдьё)⁴⁸.

Разные социальные слои, сословия, классы, корпорации, группы — вообще коллективности — фигурируют у Вебера как «создатели» («протагонисты») специфических религий или версий (форм, стилей) интеллектуализма, адекватных их «материальным и идеальным интересам». У Вебера можно обнаружить целый Ноев ковчег таких «протагонистов»: «социально-привилегированные слои создают длительно существующую религию в тех случаях...»; «религия интеллектуалов может также принять форму...»; «вид философского интеллектуализма, обычно возникающий в социально и экономически благоденствующих классах...»; «интеллектуализм близких к пролетариату кругов»; «русская крестьянская интеллигенция, близкая к пролетариату, на Западе — социалистическая и анархическая пролетарская интеллигенция»; «интеллектуализм египетских писцов»; «иудейские интеллектуалы из нижних слоев»; «интеллектуализм низших городских слоев»; «Апостол Павел, ремесленник, как, вероятно, и многие книжники позднего иудаизма»; «англосаксонский аристократический интеллектуализм»; «плебейский интеллектуализм и интеллектуализм париев в Германии»; «религия знатной плутократии торговых городов Финикии»; «слой деклассированных интеллектуалов»; «интеллектуальное движение, близкое по характеру к религиозному, русской революционной интеллигенции» — вот лишь несколько примеров, почерпнутых из его главы «Социология религии» в «Хозяйстве и обществе»⁴⁹.

А если речь идет о так называемых «мировых религиях», то «...в конфуцианстве это упорядочивающий мир бюрократ, в индуизме — упорядочивающий мир маг, в буддизме — странствующий по миру нищенствующий монах, в исламе — побеждающий мир воин, в

⁴⁷ Wg. S. 307; ср. 171.

⁴⁸ У Вебера этого еще нет, но обнаружится в подтексте, как только мы начнем искать, отталкиваясь от столь очевидной зависимости «Homo Academicus» Бурдьё от Вебера.

⁴⁹ Wg. S. 304–313; ср. С. 166–180. Интересно, что в отдельном американском издании «Социология религии» материал перегруппирован и соответствующий фрагмент, выделен в отдельный параграф под названием «Интеллектуализм, интеллектуалы и история религии» (Weber M. Sociology of Religion. Boston (Mass.), 1993).

иудаизме—странствующий торговец, в христианстве—странствующий ремесленник, причем все они—не в качестве представителей своих профессий или материальных „классовых интересов“, а в качестве идеологических носителей такой этики или религии спасения, которая особенно легко сочетается с их социальным положением»⁵⁰.

Когда все эти разные интеллектуализмы (религии) сосуществуют во времени и пространстве, возникает какой-то модус их сосуществования, напоминающий модус сосуществования племенных культур в городах. В нем по-разному комбинируются конкуренция-вражда («борьба богов», как выражался иногда Вебер) и компромисс-слияние. Но они же обнаруживают и сильную тенденцию к сектантскому изоляционизму: мало заботясь о том, чтобы получить высокий статус в глазах внешнего мира, они больше озабочены самоуважением. Их существование—свидетельство неустранимой тенденции к дифференциации «населения» социального космоса.

Конвергенция и унификация

Духовно-умственная субстанция бесконечно разнообразна и подвижна. Она остается такой потому, что 1) постоянно появляются новые пророки и разворачиваются новые циклы рутинизации харизмы; 2) совокупная общественная практика нуждается в комбинировании знаний разной формы и содержания; 3) знание социально обусловлено и в силу этого субъективно и бесконечно разнообразно.

Найти общие атрибуты для всей совокупности протагонистов духовно-умственной субстанции, конечно, можно, но ожидать, что эта общая атрибутика будет ими интернализирована и послужит какому-то единству интересов и действий, попросту бессмысленно. В схеме социальной стратификации Вебера «интеллектуалы» обнаруживаются, как мы видели, под разными именами на разных позициях. И не потому, что она еще недоработана (что само собой), а потому, что таково было представление Вебера. А в статусной иерархии образованность, может быть, и очень трудно потеснить с верхней позиции, но что именно считать образованностью—вопрос открытый и ответ на него все время чреват пересмотром.

Если совокупность интеллектуалов все-таки есть общественный класс, то «универсальный расколотый», как это называет Гулднер (более близкий к марксизму), но еще удобнее считать эту совокупность «полем» в понимании Бурдьё (более близкого к Веберу). Слияния и союзы разных групп интеллектуалов с другими партикулярными коллективностями—по классовому положению или статусу—намного вероятнее, чем их внутренняя связность-солидарность. Это не гипотеза. Это эмпирическое обобщение массивного прошлого.

⁵⁰ WG. S. 311; CP. C. 176–177.

Но, как и всякое эмпирическое обобщение, оно не предполагает, что так же обязательно будет и в дальнейшем. Будущее открыто, и там может стать иначе. Так можно предполагать, опираясь парадоксальным образом на того же Вебера. Разнообразие рационализмов, свидетельства которого в таком изобилии мы обнаруживаем в эмпирических штудиях Вебера по социологии религии, находится под сильным давлением одного из вариантов рационализма — формально-логического «исчислительного» рационализма. Его всепроникающее влияние Вебер связывает с уникальными интеллектуальными ресурсами западного христианства, мобилизованными при уникальном стечении обстоятельств в эпоху, которую теперь называют «ранним модерном». Тем не менее Вебер считал экспансию этой разновидности рационализма во все сферы жизнедеятельности и ее организации магистралью истории — таково сейчас, кажется, общепринятое понимание историософии Вебера⁵¹.

Это наблюдение (или убеждение?) Вебера, если угодно, можно интерпретировать как парафразу гегельянства, но даже если это так, то такое предвидение конца направленной истории («предыстории» как это предпочитали называть марксисты) у Вебера совершенно лишено гегельянского-марксистского оптимизма. Гипотетический формально-рационализированный мир выглядит у Вебера как «железная клетка» (*eiserne Geheuser, iron cage*), похожая на комбинацию царства рациональной необходимости в черных утопиях (от Замятина до Оруэлла) и китайской церемониальной традиции. Эта унификация как будто бы блокирует все дальнейшие интеллектуальные инициативы, а стало быть, делает ненужными их протагонистов.

Но пессимизм Вебера не беспросветен⁵². Местами он выражает надежду, что никакой конец не является окончательным и что за горизонтом, или, как он выражался, в «густом тумане будущего», возможны повороты, или «новые начала», о которых мы, погруженные в свою современность, не подозреваем. «Никому не ведомо... возникнут ли к концу этой грандиозной эволюции совершенно новые пророческие идеи, возродятся ли с небывалой мощью прежние представления и идеалы», — замечает Вебер, подводя итоги своему исследованию протестантской этики⁵³. Могут и не возникнуть — так думал Вебер. Во всяком случае, комментируя в «Социологии религии»⁵⁴ и в докладе «Наука как профессия»⁵⁵ самые последние инициативы, разворачивавшиеся у

⁵¹ На русском языке см., например: Гайденок П., Давыдов Ю. История и рациональность. М., 1991. С. 74–80.

почему-то нет. Интересно — почему. Это не тривиальный вопрос.

⁵² Вообще говоря, к царству осознанной необходимости вовсе не обязательно относиться либо пессимистически, либо оптимистически. К нему ведь можно и никак не относиться. Тем не менее таких хладнокровных наблюдателей среди нас

⁵³ Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 207.

⁵⁴ *Wg.* S. 313–314; *ср.* С. 179–181.

⁵⁵ Вебер М. Избранные произведения. С. 733–735.

него на глазах, он оценивает их жизнеспособность и интеллектуально-духовную эффективность весьма скептически. Но с тех пор прошло уже почти 100 лет. Что случилось за это время?

Признаков угасания интеллектуальных и религиозных инициатив пока не видно. Но что это означает? Или «грандиозная эволюция», о которой говорил Вебер, просто еще не подошла к концу? Или мы уже находимся по ту сторону «густого тумана», сквозь который он, по его же собственному признанию, еще ничего не мог разглядеть? Во втором случае интересно бы знать, разрастутся ли какие-то из возникающих у нас на глазах многочисленных инициатив с харизматическими претензиями во что-то, сопоставимое по масштабам с так называемыми «мировыми религиями»? Или вокруг формально-рационального и теперь уже доминирующего ядра общества будут непрерывно появляться все новые протагонисты духовно-умственной субстанции, не претендующие на универсальность своей «субъективной истины» да и не располагающие ресурсами для ее распространения, но вполне способные сохранить свою партикулярность, провозглашая ее самоценностью.

В пользу этого предположения говорит фундаментальная парадоксальность исторического процесса, в силу которой формальная рационализация мира, достигнув предела, оборачивается иррационализацией, которую устранить могут только разные варианты субъективной рационализации. Даже если истина едина и одна, а не многообразна, *все* с этим *никогда* не согласятся. Отщепенцы и будут плодиться в виде множества идейно-ценностных и этических «движений» или «интеллектуальных племен», что во времена Вебера называлось «секты». Это — конгрегации, которые, как говорил Вебер, «вообще не могут и не должны иметь универсалистских претензий, но представляют собой свободный союз достойных (*freier Verband Qualifizierter*)»⁵⁶. Считать ли эти инициативы религиями, или подобиями религий, или квазирелигиями — сказать трудно⁵⁷.

Вебер как интеллектуал

Вебер, разумеется, наблюдал за полем интеллектуализмов не только сверху и сбоку, но и изнутри. Как же он сам располагался в этом поле? Как атрибутируется его партикулярность в роли протагониста специфического интеллектуализма? От нее зависит содержание его наблюдений и ход мысли. И трудно сказать, что обеспечивает больше содержательность его суждений — их предполагаемая объективность, или их субъективность. Есть уже немало работ, где прослеживается

⁵⁶ W.G. S. 724.

⁵⁷ И не вполне ясно даже, насколько это важно. Проблема как будто бы начала обсуждаться сравнительно недавно. Greil A., Robbins Th. (ed.) *Between Sacred and Secular: Research and Theory of Quasi-Religion*. L., 1994.

связь между личностью и социальным характером Вебера и его представлениями. Последняя и самая внушительная из них — книга Иоахима Радкау⁵⁸. Здесь нет возможности пересказывать их подробно, а тем более обсуждать. Обратим внимание вкратце лишь на то, что лежит на поверхности и может быть замечено кем угодно.

Вебер тяготеет к религиям в ранней фазе и их аутентичным протагонистам до возникновения священства, во всяком случае, к первому поколению священства, которое еще самоопределяется по своему социальному субстрату, а не как «священство».

В случае, который Вебер особенно подробно рассматривает («Протестантская этика и дух капитализма»), размышляющие о Боге и жизни персонажи — это бюргеры-ремесленники. Они одновременно протобуржуазия или молодая буржуазия, но с таким же успехом могут быть названы интеллектуалами (интеллигенцией), поскольку они коллективно (хотя, конечно, и не поголовно) конструируют картину мира и этику и активно их проповедуют, одновременно выступая в роли виртуозов веры и разработчиков догматики. Специализация на этой церебральной функции в протестантских общинах не сильно выражена, даже подчас рудиментарна, а иной раз вообще отсутствует (квакеры, например), что, конечно, никак не означает отсутствия у этих общин интеллектуальной жизни. Скорее наоборот, свидетельствует о ее особой интенсивности.

Протагонисты этого независимого интеллектуализма — герои Вебера, его референтная группа. Реконструкция их умонастроения в «Протестантской этике» при всей скрупулезной документированности имеет все черты интуитивной эмпатии. Соответственно в собственной жизни Вебер вполне прозрачно идентифицируется как представитель «пророческого» интеллектуализма, враждебного носителям магистрального лицензированного интеллектуализма, то есть священству или сословию (квазисословию) дипломированного образованного слоя, ориентированного на пребенду как базу существования. Эта позиция — почти точная калька позиции ранних протестантов по отношению к римской иерократической церкви и к ее монополии в духовной сфере и в хозяйственной сфере тоже. Его саркастическая критика «литераторов» как комбинации «досужего класса» и чиновной братии («Профессор Унрат» Генриха Манна) в точности воспроизводит основные позиции кальвинистской этики, как он ее сам реконструировал. Его социальные симпатии, несомненно, на стороне аутентичного предпринимателя, близкого по характеристикам к «новатору» в интерпретации его прямого продолжателя Шумпетера.

Красноречива его апология адвокатов как профессии. Обсуждая пригодность разных профессиональных групп, сословий и социальных слоев к ответственной политической деятельности, он массивно

⁵⁸Radkau J. Leidenschaft des Denkens. Muenchen, 2005.

противопоставляет адвокатов «литератам», изображая адвокатов как ремесленников умственного труда, а литераторов как паразитов культуры (симулянтов интеллектуализма). Адвокаты привыкли к «напряженной собственной умственной работе (*scharfe eigene geistige Arbeit*)», «натасканы на словесные схватки, а литерат ничего не знает про адвокатов»⁵⁹.

Негативная референтная группа Вебера — те, кого он называет «литераты» и земельно-рентное сословие, с которым «литераты», как он подчеркивает, в свою очередь хотят отождествить самих себя. Вебер — пророк буржуазии.

Насмехаясь над «литератами» и аристократией, Вебер с сильным (стилистически) риторическим нажимом объявляет, что «немцы — плебейский народ, или, если хотите, буржуазный»⁶⁰. Причем эта декларация имеет у него оба возможных смысла. Вебер напоминает аристократствующим рантье и «литератам», что их аристократизм — иллюзия. И открыто признается в своем собственном бюргерстве-плебействе, демонстрируя при этом еще один вариант «плебейского интеллектуализма» (в его терминологии) — в эпоху после религии и после просвещения. Мы можем, если захотим, усмотреть в этом пример интеллектуальной инициативы, бросающей вызов господствующему рутинизированному интеллектуализму и соответствующей ему образованности.

⁵⁹ GPS. S. 272–273; ПР. С. 79–80.

⁶⁰ GPS. S. 284; ПР. С. 96.

Литература

Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft* Tuebingen, 1985.

Вебер М. Социология Религии // Избранное. Образ общества. М., 1994.

Weber M. *Sociology of Religion*. Boston (Mass.), 1993.

Weber M. *Gesammelte Politische Schriften*. Tuebingen, 1988.

Вебер М. Политические работы. М., 2003.

Weber M. *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*. Bd. I. Tuebingen, 1988.

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом / Ред. Н. Шматко. М., 2005.

Гайденко П., Давыдов Ю. История и рациональность. М., 1991.

Bourdieu P. *Homo Academicus*. Paris, 1984.

Bellah R. *Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-traditional World*. NY, 1970.

Berger P., Luckman T. *Sociology of Religion and Sociology of Knowledge* // *Sociology and Social Research*. 1963. Vol. 47.

Between Sacred and Secular. Research and Theory of Quasi-Religion (ed. A. Greil, Th. Robbins). L., 1994.

The Changing Face of Religion (ed. J. Beckford, Th. Luckmann). Sage, 1989.

Radkau J. *Leidenschaft des Denkens*. Muenchen, 2005.

Eisenstadt S. *Intellectuals and Traditions*. Daedalus. V. 101. 1972. P. 18.

Parsons T. The Intellectuals: a Social Role Category // On Intellectuals (ed. Ph. Rieff). NY, 1969.

Secularisation, Rationalism and Sectarianism (ed. E. Dsrker, J. Beckford, K. Dobbelaere). Oxford, 1993.

Sadri A. *Max Weber's Sociology of Intellectuals*. Oxford, 1992.

Schelsky H. *Die Arbeit tun die Anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen*. Westdeutscher Verlag, 1975.

Shils E. *The Intellectuals and the Powers and other essays*. Chicago and London, 1972.

Znaniecki F. *The Social Role of the Man of Knowledge*. Harvard, 1969 (первое издание в 1940 году).

Тимофей Дмитриев

АНТОНИО ГРАМШИ

Итальянский политический деятель и социальный теоретик Антонио Грамши (1891–1937) принадлежит к числу мыслителей XX века, которые внесли весомый вклад в развитие социальной теории западного неомарксизма. Заслугой Грамши стала разработанная им социально-историческая концепция интеллектуалов, их места и роли в традиционных и современных обществах, а также функций, выполняемых ими в деле обеспечения в обществе культурно-идеологической гегемонии господствующих социальных групп. Согласно Грамши, интеллектуалы играют центральную роль в создании и распространении систем идеологических представлений, равно как и в достижении согласия между различными, прежде всего наиболее влиятельными социальными группами и сословиями. Будучи в 1920-е годы одним из создателей и руководителей коммунистического движения в Италии, Грамши стремился соотнести свои теоретические построения с особенностями социального и политического развития Запада своего времени, а также увязать их с вопросами выработки стратегии и тактики коммунистического движения¹.

Центральное понятие политической и социальной теории Грамши и, одновременно, его главный теоретический вклад в марксистскую теорию связан с разработкой понятия «гегемонии». Своими корнями оно уходит в дискуссии в среде русской социал-демократии начала XX века. В частности, оно использовалось Г.В. Плехановым и П.Б. Аксельродом при обсуждении вопроса о роли рабочего класса в осуществлении революционных преобразований в России. Оно было также использовано В.И. Лениным применительно к революционному процессу в царской России при разработке концепции авангардной партии профессиональных революционеров как организатора рабочего класса. Полемика по этому вопросу развернулась в 1901–1903 годах

¹ Приступая к рассмотрению концепции интеллектуалов Грамши, необходимо сделать ряд кратких терминологических замечаний. В своих «Тюремных тетрадах» — главном произведении, на которое мы будем ориентироваться в реконструкции его концепции, — Грамши, говоря об интеллектуалах, использует соответствующее итальянское понятие «gli intellettuali». В переводе произведений Грамши на русский язык (Грамши А. Избранные произведения: В 3-х т. Т. III: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959; Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. Ч. I.

М.: Политиздат, 1991) этот и родственные ему термины обычно передаются как «интеллигент», «интеллигенция» и т. д. Поэтому в данной статье применительно к теоретическим построениям Грамши понятия «интеллектуал» и «интеллигент», «интеллектуалы» и «интеллигенция» употребляются как синонимичные, несмотря на то что русское по происхождению слово «интеллигенция» в целом ряде существенных аспектов отличается от развиваемой Грамши концепции интеллектуалов.

между революционно и реформистски настроенными социал-демократами, что в итоге привело к размежеванию русского социал-демократического движения на две фракции: большевиков и меньшевиков². Как подчеркивал Ленин в своей известной работе «Что делать?» (1902), в специфических условиях самодержавной царской России (где, в отличие от Германии и других западноевропейских стран, отсутствовали условия для ведения легальной революционной пропаганды) необходимо было создать революционную партийную организацию, состоящую из профессиональных революционеров и действующую в условиях строгого подполья и конспирации. Специфические условия самодержавной России послужили также причиной того, что марксистская теория, которой вдохновлялась русская революционная интеллигенция, не могла непосредственно и спонтанно проникнуть в сознание рабочего класса. «В России,— писал Ленин,— теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции»³. Поэтому и марксизм в условиях «абсолютистской, полуазиатской России»⁴ должен был быть привнесен в рабочее движение извне, т. е. усилиями революционной партии пролетариата, выступающей в роли его политического авангарда. Как отмечает Н. Боббио, эта идея авангардной партии профессиональных революционеров представляет собой главный вклад русского большевизма в политическую теорию марксизма⁵. Если западная социал-демократия разработала такую организационную форму, как массовая партия рабочего класса, то Ленин выступил в роли теоретика авангардной партии профессиональных революционеров, главная задача которой заключается во «внесении» социалистических идей в рабочее движение, которое, по мнению Ленина, самостоятельно, исключительно своими собственными силами может выработать только «тред-юнионистское сознание», центрированное на борьбе за узко понятые экономические интересы рабочего класса.

Грамши воспринял эти теоретические новации и использовал их для выработки революционной стратегии коммунистического

² Оформление понятия «гегемония» в ходе идеологических и организационных дискуссий в рамках русской социал-демократии обстоятельно освещено в работе: *Восcock R. Негемону. L.: Tavistok, 1986. P. 25–28.* Здесь же можно найти содержательные указания на зачаточные формы этой концепции, содержащиеся в работах К. Маркса (*Ibid.* P. 22–25). Хороший обзор грамшианской концепции гегемонии содержится также в работе: *Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии. М.: Международные отношения, 1990.*

³ Ленин В.И. Что делать? [1902] // Ленин В.И. Избранные сочинения: В 10 т. Т. 3. 1901–1904. М.: Политиздат, 1984. С. 36.

⁴ Ленин В.И. Задачи русских социал-демократов [1897] // Ленин В.И. Избранные сочинения: В 10 т. Т. 1. 1894–1900. М.: Политиздат, 1984. С. 412.

⁵ Bobbio N. Is there a Marxist doctrine of the State? [1976] // Bobbio N. Which Socialism? Marxism, Socialism and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1986. P. 35.

и рабочего движения на Западе, прежде всего в Италии⁶, учитывая, однако, принципиальные отличия, существовавшие между Западной Европой и Российской империей. Тем самым ленинская концепция гегемонии как политического союза рабочего класса и трудового крестьянства под руководством авангардной партии профессиональных революционеров была превращена в инструмент исследования структур политического господства в развитых капиталистических странах, основанных на комбинировании аппарата подавления и насилия с механизмами согласия. Именно такая комбинация предавала большую устойчивость политическому господству буржуазии на Западе по сравнению с военно-деспотическим правлением в царской России.

Это, в свою очередь, потребовало от Грамши пересмотра ортодоксально-марксистской концепции современного капиталистического государства. Эта концепция понимает государство как политико-юридическую надстройку и отождествляет его с правительством и подчиненным ему государственным аппаратом принуждения — армией, полицией, судами, тюрьмами и т. д. Государство в этом случае выступает в роли репрессивного аппарата, машины подавления, которое позволяет господствующему классу — буржуазии — осуществлять власть над рабочим классом в целях его капиталистической эксплуатации. Грамши считает такое понимание современного капиталистического государства в целом правильным, но нуждающимся в серьезном уточнении. Как отмечает Грамши, в развитых капиталистических странах политическое господство буржуазии основано на гибком механизме, сочетающем государственные аппараты насилия с негосударственной системой частных институтов: воспитательными и образовательными институтами, церковью, средствами массовой информации, политическими партиями и профсоюзами. Эти институты утверждают власть буржуазии не силой, но убеждением, т. е. посредством распространения в подчиненных социальных группах соответствующих идеологических представлений. На этом основании Грамши строит свою расширительную теорию современного буржуазно-парламентского государства. Как подчеркивает Грамши, в соответствии с его концепцией «гегемонии» «под „государством„ нужно понимать, помимо правительственного аппарата, также «частный» аппарат гегемонии, или гражданское общество»⁷.

⁶ Другим важнейшим идейным источником грамшианской концепции гегемонии послужили труды крупнейшего итальянского мыслителя XX века, философа-неогегельянца Бенедетто Кроче (1866–1952). Говоря о влиянии, оказанном философией Кроче на его интеллектуальное развитие, Грамши особенно подчеркивал значение его идеализма для формирования концепций гегемонии, а также для определения роли интеллектуалов в установлении и обеспечении такой гегемонии. «Именно она, — писал Грамши о философии Кроче, — властно приковала внимание

к изучению явлений культуры и сознания как элементов политического господства, к функции крупной интеллигенции в жизни государств, к проблеме гегемонии и консенсуса как необходимой формы конкретного исторического блока» (Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. I. М.: Политиздат, 1991. С. 206).

⁷ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. С. 245.

Система власти, основанная на гегемонии, определяется степенью согласия подчиненных социальных групп и слоев и соответствующим уменьшением масштабов насилия, необходимых для их подавления. Механизмом, обеспечивающим получение подобного согласия, служит разветвленная сеть институтов культуры и публичной сферы гражданского общества, функционирование которых способствует пассивному подчинению эксплуатируемых классов с помощью идеологии, распространяемой группами интеллигенции, выражающими интересы господствующего класса. «В этом смысле можно было бы сказать,— пишет Грамши о современном буржуазно-демократическом государстве,— что государство = политическое общество + гражданское общество, иначе говоря, государство является гегемонией, облаченной в броню принуждения»⁸.

Грамши сравнивает гражданское общество, получившее развитие в западном мире, с мощной системой «предмостных укреплений», поддерживающих устойчивость буржуазно-демократического государства и надежно защищающих власть капитала от последствий экономических кризисов. По словам Грамши, в развитых капиталистических странах Запада «„гражданское общество“ превратилось в очень сложную структуру, выдерживающую катастрофические „вторжения“ непосредственно экономического элемента (кризисов, депрессий и т. д.): надстройки гражданского общества в этом случае играют роль как бы системы траншей в современной войне»⁹. Как замечает П. Андерсон, комментируя этот важнейший аспект грамшианской концепции гегемонии, «на Западе гибкая и динамичная гегемония капитала по отношению к труду посредством этой стратифицированной структуры согласия представляла собой несравненно более сложную преграду для социалистического движения, чем та, которую оно преодолело в России. Экономические кризисы, в которых марксисты старого поколения усматривали основной источник революции в эпоху капитализма, этот политический строй мог сдержать и успешно преодолевать. Не могло

⁸ Там же. С. 247. Используя грамшианское понятие гегемонии, французский философ-марксист Луи Альтюссер (1918–1990), отправной точкой для которого в данном случае послужили теоретические построения Грамши в «Тюремных тетрадах», в 1960-е годы предложил в структуре современного капиталистического государства проводить различие между государственным аппаратом насилия и идеологическими аппаратами государства, являющихся проводниками господства буржуазии иными, ненасильственными средствами. Под «идеологическими аппаратами буржуазного государства» Альтюссер понимает всю совокупность институтов буржуазного гражданского общества — школы, университеты, церковь, профсоюзы, средства массовой информации и т. п., которые проводят

классовое господство буржуазии не посредством принуждения, но посредством убеждения, т. е. путем распространения соответствующих идеологических представлений, добиваясь с их помощью «активного или пассивного согласия» со стороны подчиненных социальных групп и обеспечивая тем самым соответствующие предпосылки для воспроизводства условий капиталистического производства. См. об этом: *Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses* [1970] // *Althusser L. Essays on Ideology*. L.; N. Y.: Verso, 1993. P. 1–60.

⁹ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 198.

быть и речи о фронтальной атаке пролетариата по российской модели. С этим политическим строем было необходимо вести затяжную и тяжелую „позиционную войну“¹⁰. Иными словами, в работах Грамши проблема интеллектуальной и культурной гегемонии, проводниками которой выступают отдельные группы интеллектуалов, приобретала решающее значение как для объяснения потенциала стабилизации и развития, которым обладает поздний или «организованный» капитализм в странах Запада, так и для поиска стратегии революционного ниспровержения власти капитала в развитых капиталистических странах. Для завоевания политической власти рабочему классу в этих странах необходимо было подорвать гегемонию правящего буржуазного класса прежде всего в гражданском обществе, т. е. в области культуры и идеологии. Как и при осуществлении политических и экономических форм борьбы, осуществление теоретической борьбы за достижение идейной гегемонии в гражданском обществе требовало создания новой культуры и нового социалистического «здорового смысла», который мог бы кардинально изменить образ мышления и поведения широких народных масс и послужить интеллектуальным и моральным фундаментом нового общества. Иными словами, революционная стратегия Грамши, разработанная им на основе концепции гегемонии, исходила из предположения, что рабочий класс и его союзники, помимо борьбы за свержение политической власти буржуазии, должны также бороться за интеллектуальную и культурную гегемонию в обществе и стремиться к ниспровержению господствующих идей правящего класса. Главным действующим лицом этих сражений за интеллектуальную и моральную гегемонию выступают различные группы интеллигенции; этим объясняется то важнейшее значение, которое Грамши в рамках своей концепции гегемонии придает интеллектуалам как производителям и распространителям знаний и их роли в борьбе как за поддержание гегемонии господствующего класса, так и за ее ниспровержение.

Таким образом, в рамках грамшианской концепции гегемонии интеллектуалы играют роль «приказчиков» и «организаторов» господствующей социальной группы, решающих задачи обеспечения социальной гегемонии и политического управления. Они действуют как через государственные институты, так и через «частные» институты гражданского общества. По словам Грамши, интеллектуалы необходимы господствующей социальной группе «1) для обеспечения „свободного“ согласия широких масс населения с тем направлением социальной жизни, которое дано господствующей группой,— согласия, которое „исторически“ порождается престижем господствующей группы

¹⁰ Андерсон П. Размышления о западном марксизме [1976] // Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Интер-Версо, 1991. С. 91. Грамшианская концепция гегемонии, «позиционной войны»

и интеллектуалов была подробно рассмотрена Андерсоном также в имевшей большой, хотя и неоднозначный резонанс статье: *Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci* // *New Left Review*. L., 1976–1977. № 100. P. 5–78.

(и, следовательно, оказываемым ей доверием), обусловленным ее позицией и ее функцией в мире производства; 2) для приведения в действие государственного аппарата принуждения, „легально“ укрепляющего дисциплину тех групп, которые не „выражают согласия“ ни активно, ни пассивно; этот аппарат учрежден для всего общества в предвидении возможности наступления такого критического момента в командовании и управлении, когда „свободное“ согласие исчезает»¹¹.

Говоря об интеллигенции как об «организаторе» культурной и идеологической гегемонии, Грамши прежде всего задается вопросом о том, является ли интеллигенция автономной и самостоятельной социальной группой или же всякая социальная группа имеет свою собственную, особую категорию интеллигенции или интеллектуалов? При ответе на этот вопрос Грамши предлагает принимать во внимание как теоретические, так и исторические соображения. В своих «Тюремных тетрадах» Грамши исходит из социально-функционального понимания общественной роли интеллектуалов, подчеркивая при этом, что в них было бы неправильно видеть, как это широко принято, лиц, специализирующихся на занятии умственным трудом и составляющих в силу этого отдельную социальную группу. По его мнению, в любой работе, какой бы неквалифицированной и механической она ни была, всегда присутствует момент интеллектуальной деятельности. «Каковы „максимальные“ границы понятия „интеллигент“? — спрашивает Грамши. — Можно ли найти единый критерий для характеристики всех различных и разобщенных видов интеллигенции и для установления в то же самое время существенных различий между этой деятельностью и деятельностью других социальных группировок? Наиболее распространенной методической ошибкой является, на мой взгляд, попытка искать этот критерий отличия в сущности интеллектуальной деятельности, а не наоборот — в совокупности системы отношений, поскольку интеллигенты (и, следовательно, группы, которые ими представлены) находятся в общем комплексе общественных отношений. Действительно, характерной особенностью рабочего, пролетария, например, является не то, что он занимается ручным трудом, а то, что он занимается этим трудом в определенных условиях и в определенных общественных отношениях... На этом основании можно было бы утверждать, что все люди являются интеллигентами, но не все люди выполняют в обществе функции интеллигентов»¹².

Иными словами, Грамши утверждает, что все люди являются интеллектуалами в том смысле, что всякая форма человеческой деятельности, даже самая неквалифицированная и тесно связанная с физическим трудом, включает в себя умственную деятельность в качестве своей неперменной составляющей. Тем не менее во всяком обществе

¹¹ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 465. ¹² Там же. С. 460–461.

можно выделить группу или группы лиц, специализирующихся именно на осуществлении умственной деятельности. Представителей этих групп обычно и принято именовать «интеллектуалами». Для Грамши принципиально важно то, что социально-профессиональная роль интеллектуалов в обществе обычно определяется тем местом, которое они занимают «в общем комплексе общественных отношений»¹³. Именно характер свойственных тому или иному обществу общественных отношений определяет, какие социальные практики относятся к числу интеллектуальных форм деятельности, а какие считаются воплощающими формы практической рациональности или максимы «здорового смысла»¹⁴.

Правильное понимание общественной функции интеллектуалов требует также учета особенностей исторического процесса формирования отдельных категорий интеллигенции в разных странах в разные эпохи, поскольку этот процесс всегда имел тенденцию принимать самые разнообразные формы. В основе грамшианской концепции интеллектуалов лежит определенное представление об исторической эволюции старых европейских обществ в сторону большей централизации и бюрократизации, связанной с преодолением феодальной раздробленности и с появлением в Европе Нового времени крупных централизованных государств, что повлекло за собой формирование национальных систем образования, местных и центральных административных органов, а также государственного аппарата управления в целом. По мнению Грамши, в этих условиях восходящим «корпоративным классам»¹⁵ для того, чтобы занять прочные позиции не только в экономике, но и в политике и культуре, необходимо было завоевать «моральную и культурную гегемонию» в обществе. Как подчеркивает Грамши, всякая восходящая социальная группа, стремящаяся к занятию господствующего положения в обществе, должна стремиться к тому, чтобы «выйти в своем развитии за пределы экономико-корпоративной фазы, чтобы подняться на ступень этико-политической гегемонии в гражданском обществе и стать господствующей в государстве»¹⁶. Решающую роль в процессе завоевания этой гегемонии играют интеллектуалы, функция которых заключается в установлении надежной связи между базисной социально-экономической структурой, являющейся основой социального господства класса, и надстроечными идеологическими и культурными институтами и явлениями. «Всякая социальная группа,— пишет Грамши,— рождаясь на исконной почве экономического производства,

¹³ Там же. С. 360.

¹⁴ Jones S. Antonio Gramsci. L.: Routledge, 2006. P. 82.

¹⁵ Т. е. классам, чьи социальные интересы в узком смысле этого слова были целиком и полностью обусловлены их социально-экономическим, узкоклассовым интересом и их местом в организации материального производства.

¹⁶ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т III: Тюремные тетради. С. 148.

органически создает себе вместе с тем один или несколько слоев интеллигенции, которые придают ей однородность и сознание своей собственной роли не только в экономике, но также в социальной и политической области»¹⁷. Подобные слои интеллигенции Грамши называет «органическими интеллектуалами»; их главная функция состоит в том, чтобы, выступая в роли носителей соответствующих знаний и навыков, выражать самосознание создавшего их социального слоя и поддерживать его социальное единство и однородность. С этой целью всякий восходящий социальный класс, претендуя на господство над всем обществом, создает вместе с собой соответствующих интеллектуалов, которые с помощью притязаний на универсальное значение понятий и концепций обосновывают его претензии на власть, а также выполняют важные управленческие и экспертные функции как в политической, так и в экономической сферах современного общества. В качестве примера Грамши ссылается на капиталистического предпринимателя, который вместе с собой создает также такие социальные типы интеллектуалов как инженер — специалист по промышленной и научно-технической организации, экономист — специалист по политической экономии, юрист — организатор и кодификатор нового права и т.д. Все они представляют собой различные категории «органических» интеллектуалов, без которых невозможно устойчивое функционирование не только современной капиталистической экономики, но и современного капиталистического общества как такового.

Выдающееся положение, занимаемое интеллектуалами в административно-бюрократической и рыночно-капиталистической системах современных обществ, служит основой для проводимого Грамши различия между «органическими» и «традиционными» интеллектуалами. Органическая интеллигенция создается социальными группами или группой, занимающей господствующие позиции в социально-экономической сфере и претендующей на господство над обществом в целом; представители этого слоя или слоев органической интеллигенции представляют собой своего рода «экспертов по легитимации» социально-экономического и политического господства тех групп или классов, которыми они созданы, не образуя в то же самое время отдельного социального класса. Характеризуя роль органической интеллигенции применительно к современному капиталистическому обществу первой половины XX века, Грамши писал, что «если не все предприниматели, то по крайней мере избранные должны были обладать способностями организатора общества вообще, всего его сложного служебного организма, вплоть до государственного аппарата (в силу необходимости создавать более благоприятные условия для расширения собственного класса) или должны обладать по крайней мере способностью выбирать „приказчиков“ (специальных служащих), доверяя им эту

¹⁷ Там же. С. 457.

организаторскую деятельность в области общих взаимоотношений за пределами предприятия. Можно заметить, что представители „органической“ интеллигенции, которую каждый новый класс создает вместе с собой и вырабатывает в своем поступательном развитии, являются большей частью „специалистами“ в области отдельных сторон основной деятельности нового социального типа, который новый класс вывел на свет»¹⁸.

Особое место среди органической интеллигенции современного общества занимают те ее представители, которые специализируются на исполнении управленческих и экспертных функций как в рамках административно-бюрократической системы управления, так и в рамках «частных» институтов современного гражданского общества. Как отмечает Грамши, развивая ряд идей и наблюдений М.Вебера¹⁹, для развитых капиталистических стран с преобладанием принципов формальной рациональности как в сфере государственного управления, так и в экономике, характерно определенное разделение труда. Это выражается в делении специалистов в области управления на тех, кто принимает решения, и на тех, кто снабжает их релевантной информацией, необходимой для принятия этих решений, т.е. носителей экспертного знания и квалификации. В результате как принятие важнейших политических и экономических решений, так и их экспертное обеспечение сосредоточивается в руках узкого круга специалистов, что, помимо всего прочего, приводит к упадку влияния представительных органов власти и к росту влияния исполнительной власти в политической сфере жизни современных обществ. На Западе «можно также наблюдать,— пишет Грамши, прослеживая эту тенденцию,— что органы, принимающие решения, все более проявляют тенденцию подразделять свою деятельность на два „органических“ вида: вынесение решений как их основная функция и технико-культурную работу, в ходе которой вопросы, требующие разрешения, сначала изучаются экспертами и анализируются с научной точки зрения. <...> Этот аппарат является одним из тех механизмов, при помощи которых кадровое чиновничество в конце концов взяло под свой контроль демократические режимы и парламенты; теперь данный механизм органически расширяется, захватывает в свою орбиту крупных специалистов, занимающихся частной практической деятельностью, которая таким образом контролирует и режимы и чиновничество»²⁰. Эта тенденция в сочетании с растущим объемом задач, решение которых возлагает на себя государство, а также углублением

¹⁸ Там же. С. 457–458.

¹⁹ Грамши были известны работы М.Вебера, посвященные анализу рационального бюрократического господства и партийно-политической жизни стран Западной Европы, прежде всего Германии. На это, в частности, указывают его

ссылки на работу Вебера «Парламент и правительство в новом устройстве Германии» (1918), с которой он имел возможность ознакомиться. См. об этом: Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 473–474.

²⁰ Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. I. С. 435.

специализации и профессионализации государственного управления вообще и политического управления в частности ведет к возрастанию роли бюрократического сектора в политике и экономике и к тому, что парламент утрачивает значительную часть возложенных на него функций контроля над институтами государственного управления²¹.

Как подчеркивает Грамши, в современном мире категория интеллектуалов и, прежде всего органических интеллектуалов, «невероятно расширилась». «Демократически-бюрократическая система современного общества,— пишет Грамши,— произвела внушительную массу интеллигентов, существование которых не всегда оправдано общественными потребностями производства, хотя и необходимо для политических нужд основной господствующей группы»²². В этой связи Грамши указывает на колоссальное расширение административно-бюрократического слоя, который обладает относительной автономией от господствующего— капиталистического—способа производства, хотя и действует, как правило, в его интересах. Во второй половине XX века категории интеллектуалов, занятых обслуживанием административно-бюрократической и рыночно-капиталистической систем современных обществ, расширились еще больше, причем этот процесс сопровождался формированием новых слоев интеллектуалов, занимающих промежуточное положение между «высшими» и «низшими» слоями этой социально-профессиональной категории²³. Все эти тенденции, вместе взятые, способствовали развитию далеко идущего процесса стандартизации и бюрократизации функций, выполняемых интеллектуалами в современном обществе, а также формированию специфических, характерных именно для этих социально-профессиональных групп общества принципов конкуренции и кадрового отбора.

Таким образом, в современном обществе социальные и профессиональные функции, выполняемые интеллектуалами, обусловлены в первую очередь требованиями современной индустриально-капиталистической системы с ее императивами целесообразности, эффективности, экономичности и максимизации прибыли. Тем не менее и в современном обществе интеллектуалы обладают определенной

²¹ См. об этом: Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 237–238.

²² Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 466.

²³ За последние десятилетия появился целый спектр исследований, посвященных такому характерному для развитых стран Запада феномену 1980–2000-х годов, как «новая мелкая буржуазия» и характерным для нее новым слоям интеллектуалов. Пионерской работой в этой области стало исследование французского социолога Пьера Бурдьё «Различие: Социальная критика суждения

вкуса», увидевшее свет в 1979 году (Bourdieu P. La Distinction: Critique sociale du jugement. P.: Minuit, 1979), а образцовым воплощением этой исследовательской программы— работа канадской последовательницы французского социолога Мишель Ламонт «Деньги, формы морали и манеры: Культура французского и американского высшего среднего класса» (Lamont M. Money, Morals, & Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1992), в которой особый акцент сделан на изучение категории интеллектуалов в рамках «высшего среднего класса».

автономией, что объясняется как их ролью производителей культурных и моральных смыслов и ценностей, так и особенностями их положения в институциональных структурах современного гражданского общества. Подобная «автономия» особенно характерна для представителей «традиционной» интеллигенции, которые — в отличие от органической интеллигенции — не столь тесно связаны с господствующим способом производства материального производства. Как отмечает Грамши, всякой восходящей социальной группе помимо тех слоев органических интеллектуалов, которые она воспитывает и взращивает сама для удовлетворения своих собственных нужд, в наследство от прошлого достается и целый ряд категорий традиционной интеллигенции, которые ей необходимо ассимилировать для того, чтобы поставить их себе на службу и добиться полной социальной гегемонии в обществе. «Всякая „существенная“ социальная группа,— пишет Грамши,— выходя на историческую арену из предшествующего экономического базиса как продукт его развития, могла найти, по крайней мере в предшествующей истории, ранее возникшие категории интеллигенции, которые являлись свидетельством непрерывности исторического развития, не нарушаемого даже самыми сложными и радикальными изменениями социальных и политических форм»²⁴.

Традиционная интеллигенция существует как бы в «порах» общества; она связывает прошлое с будущим как звенья непрерывного исторического процесса²⁵. Таким образом, с деятельностью традиционной интеллигенции связан момент исторической преемственности в развитии современного общества и культуры, тогда как органические интеллектуалы выступают скорее носителями политических, социальных и организационно-технических изменений. К числу представителей традиционной интеллигенции Грамши относит священнослужителей, медиков, «то есть всех тех, кто „борется“ или делает вид, что „борется“, против смерти и болезней»²⁶, юристов старой формации, учителей, администраторов, а также ученых, идеологов и философов. Как правило, традиционная интеллигенция имеет свои собственные механизмы формирования, равно как и определенные социальные слои, из которых она черпает свои кадры. По словам Грамши, на Западе «сложились слои, которые по традиции „производят“ интеллигентов, причем такими слоями являются именно те, которые специализируются в „сбережении“, а именно мелкая и средняя земельная буржуазия и некоторые слои мелкой и средней городской буржуазии»²⁷. Так,

²⁴ Там же. С. 458–459.

²⁶ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 459.

²⁵ «Именно интеллигенция,— писал, в частности, Грамши об итальянской интеллигенции,— ощущает свою преемственность и преемственность своей истории, только у интеллигенции и была своя история» (Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. I. С. 379).

²⁷ Там же. С. 464.

например, в Италии сельская буржуазия производила в основном чиновников и лиц свободных профессий, тогда как городская — „техников“ и организаторов промышленного производства. Поэтому развитый промышленный Север Италии поставлял обществу в основном техников для промышленности, а отсталый аграрный Юг — чиновников и представителей свободных профессий. В особенности церковнослужители в традиционном обществе выступают в качестве сплоченной социальной категории, которая монополизирует целый ряд общественно важных областей общественной деятельности. «Наиболее типичной из этих категорий интеллигенции, — пишет Грамши о традиционной интеллигенции, — являются церковнослужители, узурпировавшие в течение длительного времени (на целую историческую эпоху, которая и характеризуется частично этой монополией) некоторые важные области общественной деятельности: религиозную идеологию, то есть философию и науку эпохи, включая школу, воспитание, мораль, правосудие, благотворительность, общественную помощь и т. д.»²⁸. Грамши подчеркивает, что в Европе в результате длительной исторической эволюции духовенство было уравнено в правах с земельной аристократией, в результате чего оно из категории традиционной интеллигенции превратилось в органическую интеллигенцию этого социального класса. «Категорию церковников, — пишет он, — можно рассматривать как категорию интеллигенции, органически связанную с земельной аристократией: она была юридически уравнена с аристократией, наряду с которой она участвовала в эксплуатации феодальной собственности на землю и пользовалась государственными привилегиями, связанными с собственностью»²⁹.

По причине своей относительной автономии от господствующего способа материального производства категории традиционной интеллигенции обычно представляют собой замкнутые касты, пропитанные специфическим корпоративным духом и потому ощущающие себя независимыми и самостоятельными по отношению к господствующему социальному классу. В этом Грамши видит одну из причин пристрастия представителей традиционной интеллигенции к различным идеалистическим философским доктринам, которые оправдывали в их глазах представление о самих себе как об «автономных», «независимых», «свободно парящих» над обществом интеллектуалах, а саму интеллигенцию представляли в роли самостоятельной социальной силы, наделенной особой духовной миссией в обществе. «Так как в этих различных категориях традиционной интеллигенции живет „корпоративный дух“, так как они чувствуют свою непрерывную историческую преемственность и свои „особые качества“, — пишет Грамши, — то они и считают себя как бы автономными и независимыми от господствующей социальной группы. Эта позиция „самообособления“ не остается

²⁸ Там же. С. 459.

²⁹ Там же. С. 459.

без далеко идущих последствий в области идеологии и политики: вся идеалистическая философия может быть легко увязана с этой позицией, занятой социальным комплексом интеллигенции, и определена как выражение той социальной утопии, в соответствии с которой интеллигенты считают себя „независимыми“, автономными, обладающими собственными чертами и т. д.»³⁰.

Касаясь роли традиционной интеллигенции в условиях модернизации старых европейских обществ, Грамши отмечает, что восходящий в социальном отношении класс, если он желает достичь гегемонии в обществе, должен «ассимилировать» ключевые слои традиционной интеллигенции. По его словам, «одной из наиболее характерных черт всякой группы, которая развивается в направлении установления своего господства, является ее борьба за ассимиляцию и „идеологическое“ завоевание традиционной интеллигенции — ассимиляцию и завоевание, которые совершаются тем более быстро и действенно, чем энергичнее данная группа формирует одновременно свою собственную органическую интеллигенцию»³¹. Примером успешной ассимиляции традиционной интеллигенции восходящей социальной группой — буржуазией — Грамши считает английское общество XVIII–XIX веков. В этот период в нем на смену земельной аристократии в качестве господствующей социальной группы приходит класс капиталистических предпринимателей, связанных с такими секторами бурно растущей капиталистической экономики, как торговля, банковское дело и финансы. Особенностью развития английского общества на данном этапе было то, что новая буржуазия управляла обществом не напрямую, а через своих «доверенных лиц» — выходцев из рядов земельной аристократии и традиционной интеллигенции, которые и на новом этапе развития страны продолжали выступать в роли хранителей ее политических и культурных традиций. Благодаря этому, как отмечает Грамши, «в более высокой сфере (политики и культуры. — Т.Д.) сохранилось почти монопольное положение старого земельного класса, который теряет экономическое главенство, но надолго сохраняет политико-интеллектуальное превосходство и ассимилируется новой группой, находящейся у власти, как „традиционная интеллигенция“ и как руководящий слой. Старая земельная аристократия объединяется с промышленниками как с помощью „шва“, который в других странах является как раз тем, что объединяет традиционную интеллигенцию с новыми господствующими классами»³².

Напротив, неудачные попытки «ассимиляции» традиционной интеллигенции делают буржуазию слабой и несамостоятельной в политическом отношении и заставляют ее становиться в положение

³⁰ Там же. С. 460.

³² Там же. С. 472–473.

³¹ Там же. С. 463.

младшего партнера могущественных социальных и политических сил, доставшихся современным обществам от прошлого. В частности, в Италии XIX века национальная буржуазия по целому ряду причин не смогла из ведущей социально-экономической силы превратиться в руководящий класс, который мог бы возглавить борьбу итальянского народа за свое национальное освобождение. Будучи не в силах завоевать идеологическую гегемонию в обществе и перетянуть на свою сторону традиционную интеллигенцию, она была вынуждена обратиться к Пьемонту (Сардинскому королевству), северному итальянскому королевству, как к орудию для достижения своей гегемонии. Сходная ситуация сложилась во второй половине XIX века и в Германии, где рабочий класс, несмотря на быстрое развитие, был еще слишком слабым и политически «незрелым», чтобы возглавить объединение страны путем демократической революции «снизу», а буржуазия, напуганная незавершенной буржуазно-демократической революцией 1848–1849 годов, проявила, по характеристике К. Маркса, политическую трусость (она действовала, писал Маркс, «без веры в себя, без веры в народ, брюзжа против верхов, страшась низов»³³) и предоставила руководство борьбой за объединение страны традиционной земельной аристократии в лице прусского юнкерства. Поэтому как в Италии, так и в Германии объединение раздробленных земель в единое национальное государство происходило не путем революции «снизу» и образования демократической республики, а при помощи революции «сверху» — путем войн, которые велись наиболее сильными государствами (Пьемонтом в Италии, Пруссией в Германии) под руководством традиционной земельной аристократии, младшим партнером которой выступала буржуазия, и при сохранении монархического образа правления³⁴.

Правда, необходимо отметить, что и сама традиционная интеллигенция обычно склонна сопротивляться попыткам восходящего социального класса включить ее в систему своей гегемонии. Причиной

³³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 22.

³⁴ Грамши называет такую форму исторического развития «пассивная революция», считая ристорджименто (процесс национального объединения Италии в конце XVIII–XIX веке), а также процесс создания путем революции сверху, «железом и кровью», Германской империи Бисмарком ее самыми яркими примерами в современной истории. Под «пассивной революцией» в данном случае понимается такой переход к буржуазным порядкам, который, в отличие от Великой французской революции 1789 года, осуществляется без активной поддержки широких народных масс. В результате политическое господство буржуазии оказывается крайне хрупким и неустойчивым, а ее идейная гегемония — половинчатой, что заставляет ее идти на союз

с социальными силами «старого порядка». Они представлены обычно теми или иными слоями земельной аристократии, а также бюрократией, члены которой, как правило, по своему социальному происхождению также являются выходцами из рядов земельной аристократии. Согласно Грамши, причина того, что политические и социальные процессы в той или иной стране приобретают форму «пассивной революции», обусловлена 1) конкретно-историческим соотношением сил на мировой арене, заинтересованных в том или ином векторе развития определенной страны, 2) соотношением политических сил внутри самой этой страны и, наконец, 3) соотношением военно-политических сил между противоборствующими сторонами (Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 200–208, 201 особенно).

этого служит как характерное для традиционной интеллигенции представление о своем самостоятельном и независимом положении в обществе, так и стремление многих ее членов держаться подальше от политики. Материальные условия жизни традиционной интеллигенции также вносят свой вклад в поддержание этих характерных для ее круга представлений. По всем этим причинам для традиционной интеллигенции привычно смотреть на себя как на представителей «касты или особого сословия», являющихся «автономными и независимыми от господствующей социальной группы»³⁵, что, однако, не мешает ей выполнять важные функции по обеспечению интеллектуальной и моральной гегемонии господствующей социальной группы.

Отношения отдельных слоев и представителей традиционной и органической интеллигенции к господствующей социальной группе и к обществу в целом определяются целым рядом факторов и обстоятельств. Согласно Грамши, в любом обществе слои и категории интеллигенции образуют иерархически упорядоченную систему положений в зависимости от институтов, в которых они действуют, и функций, выполняемых ими применительно к задаче достижения и поддержания социальной гегемонии; этими двумя факторами определяется степень близости отдельных слоев интеллигенции к господствующей социальной группе. «Взаимоотношения между интеллигенцией и миром производства,— писал он,— отнюдь не непосредственные, что характерно для основных социальных групп; они являются в значительной степени „опосредствованными“ всей социальной тканью, комплексом надстроек, „деятелями“ которых и являются интеллигенты. Можно было бы измерить степень „органичности“ различных слоев интеллигенции, их более или менее тесную связь с основной социальной группой, регистрируя градацию функций и надстроек снизу доверху»³⁶.

На вершине этой пирамиды находится творческая интеллигенция — философы, ученые, писатели, художники, — создатели мировоззрений, идеологий и теоретических систем; в самом ее низу — интеллигенты-администраторы, выполняющие функцию распространения ценностей и культуры господствующего социального класса и являющиеся в этом смысле носителями и проводниками социальной гегемонии применительно к широким массам населения; наконец, промежуточные надстройки занимают интеллигенты-организаторы, без которых ни одна социальная группа не может существовать. Роль творческой интеллигенции особенно велика в странах с развитым гражданским обществом, где ее представители стремятся объединить воедино социально значимые группы и слои общества в «историческом блоке» (например, английских буржуа и земельную аристократию, прусских юнкеров и германских промышленников). Отказ творческой

³⁵ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 460.
³⁶ Там же. С. 464–465.

интеллигенции от роли проводника социальной гегемонии приводит к «органическому» кризису, который, представляя собой кризис авторитета, способен привести общество к распаду. В структурном и идеологическом отношении творческая интеллигенция играет более важную роль, чем другие категории интеллигентов; тем не менее и эти подчиненные группировки выполняют важные функции по установлению и поддержанию социальной гегемонии, поэтому они также заслуживают того, чтобы быть включенными в состав «исторического блока».

Грамши оценивает роль традиционной интеллигенции необычайно высоко, как в силу того значения, которое он придавал образованию, так и благодаря вкладу, вносимому широкими слоями традиционной интеллигенции в развитие национальной культуры. В глазах Грамши образование выступало важнейшей формой трудовой деятельности. Он всегда подчеркивал, что мышление и физический труд не стоит изображать в качестве форм деятельности, отделенные друг от друга непроходимой стеной, поскольку само приобретение знаний и профессиональных навыков также является трудовой деятельностью, от которой существенно зависит развитие современного общества. В противном случае родители детей из «простого народа» начинают видеть в тех успехах, которые делают в образовании их одноклассники из более привилегированных слоев общества, некий «трюк» в ущерб им самим, не понимая, что причина этого кроется в различии навыков и компетенций, с которыми в школу приходят дети из привилегированных и простых семей³⁷. «Они видят,— пишет Грамши,— как какой-нибудь господин (а для многих, особенно в деревне, господин означает интеллигент) ловко и с видимой легкостью совершает работу, которая их детям стоит слез и крови, и считают, что здесь какой-то „трюк“»³⁸. По мнению Грамши, этот идеологический предрассудок является важнейшей причиной того, что система образования становится одним из главных институтов общества, способствующих воспроизводству социального неравенства, поскольку образование в классическом духе оказывается исключительной привилегией правящей элиты. Безусловно, Грамши признавал всю важность развития специализированного профессионально-технического образования в современной цивилизации, где «все виды практической деятельности стали столь сложными и науки так переплелись с жизнью, что каждый из видов практической деятельности стремится к созданию школы для собственных руководителей и специалистов, а следовательно, к созданию группы интеллигентов — специалистов более высокой квалификации, которые преподавали бы в этих школах»³⁹. Тем

³⁷ В данном аспекте концепция Грамши обнаруживает явное сходство с концепцией «культурного капитала», развивавшейся Пьером Бурдьё для анализа социального строения современных обществ Запада и характерных для них механизмов социальной мобильности.

³⁸ Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. I. С. 451.

³⁹ Там же. С. 433.

не менее он подчеркивал, что хотя развитие специализированного профессионально-технического образования позволит детям из низших слоев общества овладеть профессиями, дающими им возможность заработать себе на хлеб, подобная узкая специализация предопределяет будущую судьбу учеников, способствуя закреплению за ними низкого социального статуса. Следует признать, что это противоречие между профессиональным и традиционным образованием продолжает сохраняться и воспроизводиться и в современном обществе.

Традиционная интеллигенция вносила и вносит огромный вклад в развитие культуры. Как отмечает Грамши, несмотря на то что представителей творческой интеллигенции можно рассматривать как «создателей» «идеологий» в интересах господствующего класса, ни «интересы», ни «идеологии» нельзя механически отождествлять с тем или иным классовым положением. Интеллектуалы производят знание и идеологии, которые, как правило, не сводятся к простому отражению классовых интересов. В качестве социальной группы интеллектуалы обычно развиваются медленнее, чем другие социальные группы, и хотя они обычно и выражают интересы правящего класса, они одновременно выражают и культурные традиции всего народа в целом⁴⁰. Будучи «приказчиками» господствующего социального класса, интеллигенты осуществляют функцию сочленения и опосредования экономики и культуры; они производят идеи, которые массы «спонтанно» усваивают как законные, справедливые и «само собою разумеющиеся» и превращают в разновидность «здорового смысла», воплощенного в повседневном мышлении и поведении людей⁴¹. Это становится возможным благодаря тому, что идеи, продуцируемые интеллигенцией, не сводятся к отражению и выражению ее собственных социальных интересов или же социальных интересов господствующей группы. С этой точки зрения интеллигенты являются «организаторами» социальной гегемонии, которая, как отмечает Грамши, играла решающую роль в гражданских обществах стран Западной Европы, где опора ведущих социальных групп на прямые формы господства, прежде всего на насилие, была скорее исключением, нежели правилом.

Тем не менее, несмотря на свою высокую оценку социального и культурного значения традиционной интеллигенции, Грамши камня на камне не оставляет от свойственного ей «идеалистического», по его словам, представления об интеллектуалах как о «„независимых“

⁴⁰ Высоко оценивая вклад традиционной интеллигенции в развитие национальной культуры и отказываясь оценивать его исключительно в категориях «выражения классовых интересов», будь то своих собственных, будь то господствующей социальной группы, Грамши удерживается тем самым от нигилистического отношения ко всей

предшествующей культуре как «буржуазной», характерного для многих левых теоретиков начала XX века.

⁴¹ Об этом аспекте грамшианской концепции гегемонии см.: *Eagleton T. Ideology: An Introduction*. L.: Verso, 1991. P. 115–117.

автономных и обладающих собственными чертами»⁴² работников умственного труда и противопоставляет им идею политической партии рабочего класса как «коллективного интеллектуала» — организатора, руководителя и воспитателя широких народных масс. Используя и творчески переосмысляя идеи великого флорентийского политического теоретика Н. Макиавелли, высказанные им в знаменитом сочинении «Государь», Грамши пишет о том, что современный Государь — основатель новых политических и моральных «порядков и обычаев» и проводник «духовной и моральной реформы» — не может быть отдельной выдающейся личностью, но должен представлять собой коллективный субъект социальной эмансипации, оформленный в качестве коммунистической партии рабочего класса. «Если бы в современную эпоху был написан новый „Государь“, — отмечает Грамши, — то его главным действующим лицом была бы не героическая личность, а определенная политическая партия, которая — в различные времена и при различных внутренних отношениях различных наций — стремится к основанию нового типа государства (будучи сознательно и с исторической необходимостью основана для этой цели)»⁴³.

Отправной точкой для рассмотрения Грамши проблемы связи между интеллектуалами — выходцами из непролетарских слоев — и рабочим движением стала ленинская концепция руководства рабочим классом со стороны его революционного авангарда в виде организации профессиональных революционеров. Грамши вынес из ленинского наследия идею о том, что революционная интеллигенция, пролетариат и крестьянство должны войти друг с другом в политический союз для того, чтобы суметь совершить социалистическую революцию. Грамши называет такой союз «исторический блок» и подчеркивает, что революционная интеллигенция призвана выполнить в его рамках важнейшую роль организатора и идейного наставника рабочего класса и его союзников. При переходе к социализму революционная интеллигенция должна выражать и направлять классовое сознание пролетариата и бороться за установление в обществе его идейной и моральной гегемонии. С этой целью Грамши предлагает концепцию коммунистической партии как «современного Государя» и «коллективного интеллектуала» как организации, которая сочетает творческую инициативу масс с руководящей и направляющей ролью партийной интеллигенции.

Для того чтобы миссия «современного Государя» — осуществление социального освобождения — могла увенчаться успехом, необходимо, чтобы рабочий класс — главная движущая сила масштабных социально-политических изменений — мог выдвинуть из своих рядов свою собственную интеллигенцию, своих собственных «организмических интеллектуалов». В статье, посвященной итогам III съезда

⁴² Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: ⁴³ Там же. С. 134.
Тюремные тетради. С. 460.

Коммунистической партии Италии в Лионе, состоявшегося в феврале 1926 года, Грамши писал: «Рабочий класс лишь постольку созрел к действию и доказывает, что он исторически созрел для выполнения своей миссии руководства борьбой против капитализма, поскольку он оказывается в состоянии выдвинуть из своих собственных рядов все специальные кадры, необходимые в современном обществе для практической организации институтов, в которых воплотится осуществление пролетарской программы»⁴⁴.

Грамши отмечает, что развитие европейского капитализма привело к появлению целого ряда новых социальных слоев — техников и организаторов производства, инженеров, ученых-экономистов, юристов и т. д. Именно эти категории интеллигенции могли бы, по замыслу Грамши, стать кадровой основой для формирования новой, органической интеллигенции современного рабочего класса. Почвой для этого процесса будет служить, в первую очередь, техническое образование, которое, по мнению Грамши, будучи тесно связано с промышленным трудом, может стать основой для формирования новых категорий рабочей интеллигенции. Только глубокое знание технических и административных сторон современного массового промышленного производства позволит осуществить те мероприятия — социализацию промышленности и рабочее самоуправление, — которые в качестве своих программных целей выдвигают сторонники социализма.

Важно, однако, чтобы органические интеллектуалы рабочего класса обладали не только техническими знаниями и практическими навыками. Не менее важно и то, чтобы они принимали активное участие в борьбе за установление в обществе интеллектуальной и моральной гегемонии новой восходящей социальной силы. Усилия по завоеванию гегемонии увенчаются успехом только в том случае, если новая органическая интеллигенция овладеет не только техническими, но и политическими знаниями и навыками. Таким образом, для Грамши характерный представитель органической интеллигенции рабочего класса — это технический специалист, который одновременно является профсоюзным или партийным активистом. Органический интеллектуал должен принимать активное участие в общественной жизни; по словам Грамши, «деятельность нового интеллигента не может уже сводиться к ораторству, внешнему и кратковременному возбудителю чувств и страстей, но должна заключаться в активном слиянии с практической жизнью в качестве строителя, организатора, „непрерывно убеждающего“ делом, а не только ораторствующего»⁴⁵.

Задача партии как «коллективного интеллектуала» заключается при этом в установлении правильных взаимоотношений между

⁴⁴ Грамши А. Итоги и значение III съезда Коммунистической партии Италии // Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980. С. 200.

⁴⁵ Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. Ч. I. С. 344.

органической интеллигенцией — выходцами из рядов рабочего класса — и представителями традиционной интеллигенции, а также в осуществлении идейной гегемонии в рамках гражданского общества. Завоевание подобной гегемонии мыслилось Грамши как обязательное условие успеха социалистической революции в странах Западной Европы, где, в отличие от России, власть буржуазии в меньшей степени опиралась на прямые средства принуждения, и в большей степени — на косвенные средства поддержания классового господства, связанные с использованием метода убеждения и согласия и проводимые через институты гражданского общества⁴⁶. По аналогии с опытом Первой мировой войны 1914–1918 годов Грамши называет эту революционную стратегию завоевания политической власти «позиционной войной», противопоставляя ее стратегии «красногвардейской атаки на капитал», успешно примененной большевиками в России в 1917–1918 годах, где гражданское общество находилось в зачаточном состоянии, а правящие классы были глубоко дискредитированы в глазах широких народных масс. «На Востоке государство было всем, — пишет Грамши, — гражданское общество находилось в аморфном, первичном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная цепь укреплений и казематов»⁴⁷. В условиях позднего капитализма «гражданское общество» принимает форму сложно организованной структуры, смягчающей последствия экономических кризисов и потрясений. Поэтому революционная стратегия ниспровержения власти капитала на Западе требовала длительной и затяжной «позиционной войны» за овладение «командными высотами» гражданского общества, его «прочной цепи крепостей и казематов», завоевание культурной и моральной гегемонии. По мнению Грамши, это было под силу только коммунистической партии рабочего класса и его партийной интеллигенции.

⁴⁶ Как верно отмечает в этой связи М. Уолцер, «настоящий бастион власти буржуазии — это обыденная жизнь. Именно в повседневных делах и отношениях и, что еще важнее, в лежащих в их основе идеях и привычках и проявляется гегемония того или иного класса. Власть в государстве нельзя захватить, пока эта гегемония существенно не подорвана» (Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века [1988]. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 129). Сходным образом толкует значение культурного аспекта гегемонии в развитых капиталистических странах и Ричард Беллами. «Капитализм, — пишет он, интерпретируя идею гегемонии Грамши, — продолжает

существовать, поскольку рабочие принимают его общее мировоззрение, признавая тем самым культурное господство буржуазии, делающее излишним ее обращение к политической силе ради сохранения власти. Поэтому массы должны быть освобождены от порабощения культурной гегемонией капиталистических классов, прежде чем сможет быть брошен успешный вызов самому государству» (Bellamy R. Modern Italian Social Theory: Ideology and Politics from Pareto to the Present. Stanford: Stanford University Press, 1987. P. 126).

⁴⁷ Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. С. 200.

Проблема, однако, заключается в том, что в настоящее время как идея авангардной партии рабочего класса, так и тип «органически» связанного с ней партийного интеллектуала в развитых капиталистических странах Запада являются скорее достоянием прошлого. Как справедливо отмечает в одном из своих выступлений Ю. Хабермас, «фигура партийного интеллектуала принадлежит к ушедшей в историю модели идейных левых партий. После 1945 года этому типу уже не было места на Западе. <...> Современный тип интеллектуала резко отличается от этого канувшего в прошлое типа. Те интеллектуалы, что пришли после 1945 года,—такие как Камю и Сартр, Адорно и Маркузе, Макс Фриш и Генрих Бёлль,—скорее похожи на интеллектуалов, принадлежащих к предшествующему по отношению к ним типу — партийных по взглядам, но не связанных партийной политикой писателей и профессоров. Извлекая уроки из истории, они откликаются на события и по собственной инициативе — то есть без партийного поручения и коллективного решения,— публично используют свои профессиональные познания вне сферы своей основной работы»⁴⁸. Идеи Грамши о «современном Государе» могут, однако, быть истолкованы и в более расширительном смысле, поскольку в современных условиях под «коллективным интеллектуалом» можно понимать институты и группы лиц, являющихся носителями коллективной рациональности и выступающих единым фронтом на авансцене современного общества — бизнес-элиты, авангардистские контркультуры, альтернативные общественные движения, научно-исследовательские сообщества, транснациональные массмедиа и т. п.⁴⁹. Поэтому этот аспект концепции интеллектуалов Грамши наряду с другими его открытиями, сделанными в первой половине XX века,—выявлением роли интеллектуалов в поддержании гегемонии господствующей социальной группы, различием «традиционных» и «органических» интеллектуалов и т. д.—и в настоящее время продолжает сохранять свою эвристическую ценность для анализа современных тенденций и процессов, происходящих в интеллектуальной среде.

Об этом, в частности, свидетельствует парадоксальный, на первый взгляд, факт активного использования идей «левого» мыслителя Грамши о культурно-идеологической гегемонии и роли интеллектуалов теоретиками «новых правых» в 1980-е годы, сыгравший роль одного из важных факторов в «консервативном повороте» 1980-х — начала 1990-х годов на Западе. Таким образом, грамшианская концепция гегемонии оказалась обоюдоострым оружием. Если в 1970-е годы, по авторитетному наблюдению П. Андерсона, «ни один термин из введенных Грамши не пользовался такой широкой и многогранной популярностью

⁴⁸ Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала [2006] // Неприкосновенный запас. 2006. № 3. С. 6–7. ⁴⁹ Jones S. Antonio Gramsci. P. 82–83.

у левых, как „гегемония“»⁵⁰, то на рубеже 1970-х—1980-х годов им воспользовались уже теоретики «новых правых» для того, чтобы положить конец затянувшейся, на их взгляд, идейной гегемонии «новых левых» и социал-либералов в интеллектуальной и политической жизни Запада⁵¹. Не угасает интерес к идейному наследию Грамши и в наши дни, свидетельством чего может служить глубокое и разностороннее влияние его идей на довольно широкий спектр исследований, обобщенно называемых «Cultural Studies» и получивших большое распространение в 1990–2000-х годах в ряде западных, прежде всего англоязычных стран; здесь также на первом плане находятся грамшианская концепция гегемонии и его концепция интеллектуалов⁵².

⁵⁰ Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci. P. 5.

⁵¹ Классическим образцом переосмысления наследия Грамши в духе «новых правых» является сборник статей известного французского политического теоретика А. де Бенуа «Культурная революция „справа“: Грамши и „новые правые“»: Benoist A. de. Kulturrevolution von rechts: Gramsci und die Nouvelle Droite. Krefeld: Sinus, 1985.

⁵² Об этом аспекте использования грамшианской концепции гегемонии см.: Turner G. British Cultural Studies: An Introduction. 2nd ed. L.: Routledge, 1996. P. 193–198.

Литература

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М.: Интер-Версо, 1991.

Грамши А. Избранные произведения: В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959.

Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980.

Грамши А. Тюремные тетради: В 3 ч. Ч. I. М.: Политиздат, 1991.

Ленин В.И. Избранные сочинения: В 10 т. М.: Политиздат, 1984–1987.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.

Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии. М.: Международные отношения, 1990.

Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999.

Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас. 2006. № 3. С. 5–13.

Althusser L. Essays on Ideology. L.; N. Y.: Verso, 1993.

Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci // New Left Review. L., 1976–1977. № 100. P. 5–78.

Bellamy R. Modern Italian Social Theory: Ideology and Politics from Pareto to the Present. Stanford: Stanford University Press, 1987.

Benoist A. de. Kulturrevolution von rechts: Gramsci und die Nouvelle Droite. Krefeld: Sinus, 1985.

Bobbio N. Which Socialism? Marxism, Socialism and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1986.

Bocock R. Hegemony. L.: Tavistock, 1986.

Eagleton T. Ideology: An Introduction. L.; N. Y.: Verso, 1991.

Jones S. Antonio Gramsci. L.: Routledge, 2006.

Turner G. British Cultural Studies: An Introduction. 2nd ed. L.: Routledge, 1996.

Виталий Куренной

КАРЛ МАНХЕЙМ

Карл Манхейм (1893–1947) — венгерский интеллектуал еврейского происхождения, биография которого тесно вплетена в основные социально-политические катаклизмы Европы первой половины XX века. Его жизненный путь можно подразделить на три периода: венгерский (до 1919 года), германский и британский, который начинается в 1933 году и продолжается до конца его жизни¹.

В 1917 году Манхейм защищает в Будапештском университете диссертацию по философии, посвященную структурному анализу теории познания². Помимо академической деятельности Манхейм был вовлечен в интеллектуальную жизнь двух основных венгерских интеллектуальных центров, стремящихся способствовать решительному культурному и социальному обновлению Венгрии. Лидером группы, ориентировавшейся на либеральный образец, был Оскар Яжи, вторую возглавлял Георг Лукач. Манхейм взаимодействовал с обоими направлениями, не примыкая решительно ни к одному из них. В годы революции либеральное правительство, в которое входил Яжи, сменилось советским, в котором культурную политику определял Лукач, окончательно перешедший на коммунистические позиции. Политически Манхейм симпатизировал скорее Яжи, признавая в то же время высокий интеллектуальный авторитет Лукача.

После того как Венгерская советская республика была ликвидирована, Манхейм перебирается в Германию. Немецкая академическая среда была ему уже знакома: в частности, во время семестровой

¹Подробнее о биографии и эволюции взглядов Манхейма см.: Кеттлер Д., Мейя Ф. Карл Мангейм // *Немецкая социология*. СПб: Наука, 2003. С. 275–288; Кеттлер Д., Мейя Ф., Штер Н. Ранние культурно-социологические работы Карла Манхейма // *Манхейм К. Избранное: Социология культуры*. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 473–494. См. также сжатый очерк: Малинкин А. О Карле Манхейме // *Манхейм К. Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994. С. 671–674.

²Мангейм К. Структурный анализ эпистемологии. М.: ин-он РАН, 1992. С. II (Сокращенный перевод работы.) В диссертации ретроспективно можно вычитать формулировку проблемы, которая объясняет последующее смещение фокуса интересов Манхейма с философии на социологию знания, поскольку он признает, что

выбор той или иной интерпретации теоретико-познавательной системы связан с факторами, лежащими за пределами самой системы и внутренней проблематики теории познания. В диссертации это поясняется весьма кратко: выбор одной из трех дисциплин, задающих характер соответствующей интерпретации системы эпистемологии (психология, логика или онтология), «был связан с различными „философскими“ уклонами в различные эпохи» (Мангейм. Указ. соч. С. 16). Не отрицая наличие у теории познания собственной, нередуцируемой проблематики, Манхейм, однако, признает, что различные способы решения этой проблемы зависят от внешних факторов: «Эпистемологический поиск... не есть поиск надсистемный, поскольку не может быть такой вещи, как полностью обособленное мыслящее создание» (Указ. соч. С. 36).

стажировки в Берлине наставником Манхейма был Георг Зиммель. С 1922 года Манхейм устраивается в Гейдельберге, в этом же году он женится на Юлишке Ланг, также венгерской беженке. Здесь он в качестве докторанта Альфреда Вебера готовит и защищает в 1925 году диссертацию, в которой анализирует консерватизм с позиций социологии знания³. Манхейм, несмотря на критику его диссертации А. Вебером (расценившей ее как «исторический материализм»), остается в Гейдельберге в качестве приват-доцента, пока, наконец, в 1930 году не получает профессию во Франкфурте. Этому предшествует публикация наиболее известной работы Манхейма «Идеология и утопия» (1929), вызвавшей широкую дискуссию 1929–1930 годов, в которой участвовали, в частности, П. Тиллих, Х. Арндт, Г. Маркузе, Г. Шпайер. Во Франкфурте Манхейм фактически не контактирует с Институтом социальных исследований⁴, ограничиваясь коммуникацией с кружком религиозных социалистов Тиллиха. В этот период его ассистентом является Норберт Элиас, готовивший вторую диссертацию под руководством Манхейма. В 1933 году Манхейм, отстраненный как еврей от преподавания, получает место доцента в Лондонской школе экономики. С 1941 года он перебирается в Институт образования при Лондонском университете, где только в 1945 году получает место профессора педагогики. Этот период отмечен, помимо прочего, сложностями вхождения в новое для него институциональное и дисциплинарное пространство, которое не вполне дружелюбно было настроено по отношению к тому типу социологической работы, которую практиковал Манхейм⁵. Классическая интерпретация, на длительный период определившая доминирующий способ восприятия идей Манхейма в англо-американской социологии, была дана Робертом Мертоном в 1945 году в работе «Социология знания». Признавая Манхейма крупным социальным теоретиком, он, однако, критикует его работы за перегруженность отвлеченными рассуждениями и призывает к эмпирической конкретизации и уточнению его интуиций. В британский период Манхейм сходит с группой христианских мыслителей «Моот», в которую входил также Т.С. Элиот.

Биографическая траектория Манхейма в германский период позволяет говорить о преобразовании юношеских установок, нацеленных на социально-культурные преобразования, в академическую позицию, дистанцированную от прямых политических выступлений и активности в публичной сфере. За решительным поворотом к академическим

³ Исследовательская программа «социологии знания», в форму которой отлились академические интересы Манхейма, воспринята от Макса Шелера. В своей вступительной речи в должность приват-доцента Манхейм назвал М. Шелера, М. Вебера и Э. Трельча образцовыми представителями немецкой социологии.

⁴ Адорно, Хоркхаймер и Маркузе были наиболее радикальными критиками манхеймовской концепции социального согласия.

⁵ Это был трудный начальный период становления социологии как дисциплины в Англии — Лондонская школа экономики была единственным учреждением, в котором на тот момент существовала кафедра социологии.

занятиям в области социологии знания можно, тем не менее, рассмотреть более широкую интеллектуальную стратегию, в рамках которой научные интересы Манхейма выступают как способ оформления его определенных практических установок средствами социологии. Обращение Манхейма к социологии — это результат поиска адекватного своему времени и собственным возможностям способа влияния на социально-культурную и политическую жизнь. Характерна в этой связи его оценка интеллектуальной ситуации, в которой он оказался в Гейдельберге — сразу после начала германского периода своей жизни, находясь, надо полагать, на жизненном перепутье. Диагностируя интеллектуально-культурную среду Гейдельберга, он замечает, что она располагается между двумя полюсами. Первый из них образуют социологи, воспринявшие импульсы незадолго до этого скончавшегося Макса Вебера, второй — кружок Стефана Георге. Иными словами, «на одной стороне находится университет, на другой — бескрайний мир литературы»⁶. Исходя из своего венгерского жизненного опыта, он пишет: «Кружок Георге... представляет собой продиктованный благими намерениями эксперимент одиноких интеллектуалов, пытающихся разрешить различные проблемы духовной бесприютности... Они обманывают себя, воображая, будто у них есть почва под ногами. Они ушли в себя, укрывшись плащом культуры, и не замечают мира, затерявшись в самих себе. Жизнь в защищенном окрестными холмами Гейдельберге рождает в них ощущение того, что они существуют, что они представляют собой нечто важное и действенное; но как только прогремит гроза, они сразу же станут символами ушедшего века».

В итоге Манхейм избирает научный путь как адекватный ответ на вызовы своего времени, считая академические занятия способом совмещения социально-политической и исследовательской установки: наука понимается им как важнейший инструмент разрешения политических вопросов, позволяющий выйти за узкие границы «общинного мирака интеллигенции»⁷. Социология, таким образом, должна стать инструментом культуры, а социальное знание — инструментом «вмешательства в социальный процесс и его регулирования»⁸. Это соответствует его собственному пониманию специфики современной установки сознания на преобразование мира, «для которой все идеи дискредитированы, все утопии уничтожены»⁹. Опыт непредсказуемости и иррациональности политической жизни Европы стал для Манхейма мотивом реализации научной и практической программы, которую

⁶ Письма из Гейдельберга 1921 года. Цит. по: Кеттлер Д., Мейя Ф., Штер Н. Указ. соч. С. 476–477.

⁷ Указ. соч. С. 478.

⁸ Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7–8. (Далее цитируется как иу.) Русский перевод соответствует английскому — расширенному — изданию работы.

⁹ иу. С. 214.

можно проследить на протяжении его немецкого и британского периода. Ее можно свести к следующим основным пунктам. Во-первых, выяснить социальный генезис непримиримых политических идеологий, ограничив тем самым их претензию на безусловность. Во-вторых, сформировать фундированный социологическим знанием социальный консенсус, не впадая при этом в безграничный релятивизм нигилистического толка. Наконец, на основе этого реализовать планируемый социальный порядок в духе свободы, препятствуя саморазрушительным социально-культурным тенденциям современности, формирующим, в частности, политическую склонность масс к формированию авторитарных режимов. Позиция Манхейма в своей последней части может быть резюмирована следующим образом: «Поддержание демократии не может быть предоставлено свободной и незапланированной игре социальных сил и групп в том смысле, как это понимает радикально-либеральное течение мысли. Такого рода „либералистская демократия *laissez-faire*“ всегда содержит в себе опасность превращения в свою тоталитарную противоположность. „Воинственная демократия“, напротив, предполагает „планирование ради свободы“, которое в рамках социального регулирования должно гарантировать достоинства личности»¹⁰. Сказанное не означает, что Манхейм недооценивает негативные последствия распространения в обществе парадигмы управления и планирования. Именно в бюрократизации Манхейм видит одну из главных опасностей, угрожающей «свободному мыслительному процессу», — равно как и группе, поддерживающий этот свободный «интеллектуальный процесс», т. е. интеллигенции¹¹. Против концепций социального планирования (к числу которых можно отнести и концепцию Манхейма) в послевоенный период резко выступил ряд либеральных теоретиков, прежде всего Ф.А. фон Хайек («Контрреволюция науки») и К. Поппер («Нищета историцизма»).

В контексте этой широкой практической и теоретической программы Манхейма, с течением времени изменявшей подходы и акценты, играет заметную роль теория интеллектуалов¹², известная как теория «относительно свободно парящей интеллигенции»¹³. Концепция

¹⁰ Bernsdorf W., Knospe H. (Hrsg.) Internationales Soziologenlexikon. Band 1. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1980. S. 268.

¹¹ См. особенно: Манхейм К. Эссе о социологии культуры // Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 154–158. (Далее цитируется как эск.)

¹² Термины «интеллигенция» и «интеллектуалы» Манхейм терминологически не дифференцирует, мы также используем их здесь как синонимы.

¹³ Понятие всегда используется Манхеймом со ссылкой на Альфреда Вебера. Конкретный источник цитирования не называется — ни у самого Манхейма, ни в доступной нам вторичной литературе о Манхейме. Однако в размышлениях Вебера фигура свободно парящих «духовных слоев» (или «интеллигенции») встречается регулярно, причем из этой позиции вытекают особенности, которые амбивалентно оцениваются Вебером. Ср. в поздней работе 1953 года: «Однако после совершенных с их („духовных слоев“.—В.К.) участием великих преобразований и последовавших за этим социальных дезинтеграциях и политических революциях XIX века

интеллигенции эскизно разрабатывается уже в работе о консерватизме, где проблема интеллигенции вводится в ходе анализа социального субстрата немецких идеологов политического романтизма и консерватизма¹⁴. Говоря о Германии конца XVIII — начала XIX веков, Манхейм определяет эту группу как утратившую связь с собственными «историческими и социальными корнями», не имеющую прочного социального и экономического положения, «неукорененную» в государстве. Нестабильность собственного положения заставляет интеллектуалов постоянно искать более надежное место: «По причине трудностей, связанных с ведением интеллектуалом независимого образа жизни, нет ничего удивительного, что после бурной молодости, проходившей в оппозиции к миру и обществу, человек проявлял тенденции к поиску тихой пристани на постах в бюрократическом аппарате. Биографии большинства литераторов того периода свидетельствуют об этом». Поиск заказчика в лице правительства заставляет их колебаться между Пруссией и Австрией (чем пользовался, в частности, Меттерних, «знавший как пользоваться услугами такого рода»). Социальная неукорененность позволяет интеллектуалам быть «приверженцем любой философии», находить «аргументы в пользу всякого политического дела», которому интеллектуал «служит по случаю». Эту готовность «узаконить любое дело и любые обстоятельства» Манхейм относит к негативным особенностям «свободно парящей» интеллигенции.

К положительно оцениваемым чертам интеллектуалов-романтиков Манхейм относит их способность к широким философским обобщениям исторического процесса («пристрастие к историософским проблемам»), ибо, как он подчеркивает, «чем более сложным представляется социальный процесс, тем нужнее люди, которые в состоянии пролить свет на направление его развития». Подвижность интеллектуалов,

они все больше социально освобождались и, уподобляясь ставшим самостоятельными облакам, возвысились над социальными и политическими членениями общества, — отчасти уже в полном обособлении от этого членения, отчасти еще в известной духовной связи с ним, сохраняя влияние на него» (Вебер А. Третий или четвертый человек. О смысле исторического // Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. СПб.: Университетская книга, 1999. С. 232). Понимание интеллигенции как наиболее беспокойной и подвижной социальной группы современного общества, со всей отчетливостью заявлено во втором томе работы Вильгельма Генриха Риль «Естественная история народа как основание немецкой социальной политики», посвященном «гражданскому обществу» (Riehl W. Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik. 2. Bd. Die bürgerliche Gesellschaft. Stuttgart, 1866). Работа впервые была опубликована в 1851 году и за 15 лет выдержала шесть немецких изданий.

Русский перевод вышел в 1883 году (Риль В.Г. Гражданское общество. СПб., 1883). В своих критических оценках «тех, кто сделал из интеллигенции (Intelligenz) профессию», Риль во многом предвещает различные типы критики интеллигенции (включая критику вековцев), а его работа заслуживала бы самого пристального внимания в качестве прототипа многих более поздних социальных концепций интеллигенции. Риль посвящает «пролетариям духовного труда» отдельную главу, анализируя структуру «четвертого сословия» (сословия «наемных работников»). Согласно Рилью, именно пролетарии умственного труда образуют в Германии «борющуюся церковь четвертого сословия», которое «открыто и осознанно порвало с традиционной социальной организацией» (Riehl. Ibid. S. 313).

¹⁴ Здесь и далее цитируется: Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 622–625.

вытекающая из их социальной неукорененности, обуславливает, в свою очередь, их специфическую «восприимчивость»: «Сами ни в чем не сведущи, но пусть только возьмется за какое-нибудь дело, пусть только примут чьи-нибудь интересы — и будут разбираться в этом лучше, определенно лучше, чем те, кому эти интересы были навязаны самой действительностью, их социальным положением». Их основная добродетель — не постоянство, а чутье на перемены. Интеллигенты всегда фальшивы, их работы «даже сознательно сфальсифицированы», но их отличает выдающаяся способность: «Эти писатели всегда, однако, что-нибудь очень точно подметят». Тем самым они производят специфическую продуктивность политической дискуссии, формируя то, что Манхейм называет «качественным мышлением»: «Без наличия такого слоя социально свободных и независимых интеллектуалов все духовное наполнение нашего становящегося все более капиталистическим общества испарилось бы и остались бы одни лишь голые интересы, поскольку они лежат в основании и идей, и идеологий». Манхейм описывает этот процесс «духовного наполнения» как «нахождение высшего уровня и смысла среди фактов наличной ситуации». Удивительно точную формулировку этой процедуры Манхейм находит в словах Новалиса: «Необходимо романтизировать мир... Придавая благородный смысл тому, что вульгарно, черты таинственности — банальному, знание неизвестного — известному, видимость бесконечности — конечному, я романтизирую мир»¹⁵.

Намного более подробно и структурированно тема интеллигенции развернута в работе «Идеология и утопия», поскольку именно интеллигенция дает обществу людей, «главная задача которых заключается в том, чтобы создавать для данного общества интерпретацию мира»¹⁶. Отправным пунктом работы является краткий анализ перехода от средневекового статичного общества, в котором право на интерпретацию мира было монополизировано кастой священнослужителей, к динамичному современному обществу, в котором место этой касты, тяготеющей к схоластике и удовлетворению собственной потребности в систематизации, занимает «свободная интеллигенция». Представители этой новой группы рекрутируются из постоянно меняющихся социальных слоев и жизненных ситуаций, а способ их мышления «не подвергается более регулированию со стороны какой-либо организации или касты»¹⁷. Свободная интеллигенция становится рупором различных конкурирующих между собой социально обусловленных типов мышления и опыта. Для объяснения динамики интеллектуальной продукции Манхейм использует модель рыночной конкуренции¹⁸, в которой

¹⁵ Манхейм характеризует эту особенность консервативного мышления следующим образом:

«В консервативном сознании... утопия уже с самого начала погружена в бытие» (Ив. С. 196).

¹⁶ Ив. С. 15.

¹⁷ Ив. С. 16.

¹⁸ Рыночная модель используется уже Рилем, который пишет: «Германия производит больше духовного продукта, чем нуждается и способна оплатить» (Riehl. Ibid. S. 313).

интеллектуалы стараются приобрести благосклонность тех или иных общественных групп. Борьба интеллектуалов разveивает иллюзию о том, «будто существует только один тип мышления»¹⁹. Обнаружение этого обстоятельства играет принципиальную роль в процессе демократизации знания, определившего в том числе и политическую динамику современного общества. Этот процесс проходит несколько этапов, каждый из которых отмечен определенным типом компенсации утраченного единого представления о мире в сфере знания²⁰. Первой реакцией было возникновение «теории познания», стремившейся устранить эту неопределенность путем анализа познающего субъекта. Динамика этой дисциплины, а также психологическое, историческое и антропологическое расширение сферы познания обнаружили, что «субъект ни в коей мере не является столь надежной точкой для создания новой концепции мира, как предполагалось раньше»²¹. Современный этап связан с возникновением более глубокого социологического подхода, исходящего из того, что «знание коренится в социальной сфере»²².

Все эти проблемы и споры долгое время оставались уделом узкой группы интеллектуалов, пока рост демократизации не втянул в эту полемику широкие слои общества. Дискуссии на отвлеченные философско-гносеологические темы — это лишь «сублимированная интенсификация и утонченная рационализация того социального духовного кризиса, который по существу охватил все общество»²³. В этой новой демократизированной ситуации произошел специфический сплав политики и науки (в силу тенденции к рациональному обоснованию политических идей), что и позволило также (в рамках критики политических оппонентов) более глубоко проникнуть в экзистенциальные и социальные основы мышления. Их обнаружение первоначально приняло форму разоблачения²⁴, и образцовым примером такого разоблачения является критика идеологии у Маркса.

Общий интеллектуальный кризис, закончившийся полным распадом единой картины мира, резюмируется двумя понятиями, которые

¹⁹ Там же.

²⁰ Позднее (Эск. С. 94–98) Манхейм использует несколько иной тип периодизации — по типу социальной самоидентификации индивидов и групп, которая зависит от «природы тех других, глазами которых люди видят себя». Наиболее длительный этап — самоопределение перед лицом Бога, затем следует самоидентификация по отношению к «разуму» (эта модель достигает своего расцвета в эпоху Просвещения). В период Реставрации, наступившей после поражения Великой французской революции, масштабом самоидентификации становится «история». На смену историцизму приходит, наконец, социологический тип самоидентификации — через «определение своего места в существующем

социальном порядке». Социологический тип мышления впервые обнаруживается в полной мере у пролетариата.

²¹ Ив. С. 20.

²² Ив. С. 34. Это и есть, собственно, подход Манхейма, который определяет основной тезис социологии знания следующим образом: «Существуют типы мышления, которые не могут быть адекватно поняты без выявления их социальных корней» (Ив. С. 8).

²³ Ив. С. 35.

²⁴ Ив. С. 40.

Манхейм выносит в заглавие своей работы,— идеология и утопия. Открытие *идеологии* обнаруживает, что мышление определенных (господствующих) групп таким образом вплетено в их социальную ситуацию, что скрывает действительное состояние общества как от них самих, так и от других²⁵. *Утопия*, напротив, характеризует стиль мышления угнетенных групп, которые заинтересованы в уничтожении и преобразовании существующего общества. Эта установка позволяет им видеть только те элементы общества, которые направлены на его отрицание и предвосхищение изменения существующей ситуации. Два эти понятия, таким образом, во всей полноте обнаруживают современный кризис основ мышления, прежде всего, в политической сфере, побуждая к «безыдейной предвзятости и иррационализму». Однако Манхейм считает, что выход на первый план понятий идеологии и утопии должен побудить нас обратиться к новому рациональному поиску «реальности», выработать комплексное понимание, адекватно отражающее эту ситуацию в целом. Это адекватное понимание не тождественно релятивизму, но представляет собой «динамический реляционизм» — «единственно возможную и адекватную форму поисков выхода в мире, где существует множество видений, каждое из которых, гипостазировав себя в некую абсолютность, со всей очевидностью демонстрирует свой частичный характер»²⁶. Динамический реляционизм не претендует на абсолютное снятие различных перспектив в рамках некоторой законченной системы взглядов, но представляет собой динамическую и историческую систему, требующую постоянных усилий по ее созданию и поддержанию.

Таким образом, Манхейм учитывает марксистское понимание идеологии как совокупности взглядов, являющихся не продуктом реализации осознанных намерений, а продуктом, обусловленным глубинными социальными причинами²⁷. Однако Манхейм осуществляет генерализацию марксистского анализа идеологии, распространяя тезис об идеологической природы также и на комплекс идей мыслителя «социалистически-коммунистического направления», который обычно полагает, что его собственное мышление «совершенно свободно от каких бы то ни было проявлений идеологии»²⁸.

²⁵ Понятие «идеология» конкретизируется Манхеймом в форме противопоставления частичной и тотальной идеологии. Частичная идеология означает недоверие отдельным идеям, ложность отдельных мыслей, обусловленную психологическим интересом (частичная идеология занимает «промежуточное положение между простой ложью и теоретически неверно структурированной точкой зрения» [иу. С. 60]). Тотальная идеология вытекает из всей структуры сознания какой-то группы или эпохи, это определенная система мысли, переживания и интерпретации в целом.

²⁶ иу. С. 86.

²⁷ Социальная доминанта не сводится у Манхейма (как и у Макса Шелера) к структуре, обусловленной положением индивидов и групп, занимаемых ими по отношению к средствам производства. Он понимает социальное бытие как «исторический жизненный процесс, естественно порождающий из себя „центры систематизации“ — реальные жизненные доминанты, которые могут носить не только экономический, но и, как, например, в Средние века, религиозный или иной характер» (Малинкин. Указ. соч. С. 672).

²⁸ иу. С. 108.

Понятие «относительно свободно парящей интеллигенции» разрабатывается в главе «Может ли политика быть наукой? Проблемы теории и практики», которая признается большинством комментаторов как полемически направленная против Макса Вебера и его знаменитых работ «Политика как призвание и профессия» и «Наука как призвание и профессия». В этих работах М. Вебер настаивает на несовместимости политики и науки: первая является ареной ценностной борьбы, вторая — ценностно-нейтрального познания. Следовательно, политика не может быть наукой, а к науке не должна примешиваться политика. Для Манхейма, напротив, именно социология знания (или «политическая социология») способна сформировать такое общее понимание ситуации, которое позволит различным политическим силам совместно работать над ее решением. Это вытекает из специфики современной политической и социокультурной ситуации, когда не только проявляется «партийность» любого политического знания, но и его *частичный* характер»²⁹. Структурная ситуация современного общества достигла такого состояния, когда «*политическая социология как знание о становлении всей политической сферы вступает в стадию своей реализации*»³⁰. Это состояние отвечает рациональным методам буржуазно-демократического мышления, использующимся для решения социальных конфликтов и «сохраняющим свою действенность... пока вообще будет возможно применение эволюционных методов классовой борьбы»³¹.

Задача интеграции частичного политического знания в рамках социально-научного подхода формулируется Манхеймом как проблема *синтеза*: «Все политические аспекты являются лишь частичными, поскольку история в ее целостности слишком огромна, чтобы, наблюдая с отдельных возникающих в ней позиций, ее можно было бы полностью охватить. Однако именно потому, что все эти аспекты наблюдения возникают в одном и том же потоке исторических и социальных событий, что их неполнота конституируется в атмосфере становящегося целого, дана возможность их противопоставления друг другу, и синтез их является задачей, которая постоянно ставится и ждет своего решения»³². Достигаемые в ходе решения этой задачи синтезы, впрочем, «не абсолютны, а относительны», и «адекватным синтезом может быть лишь динамический, постоянно вновь совершаемый синтез»³³. Частичность партийных мировоззрений, вырастающих из различного социального опыта соответствующих классов и социальных групп, нельзя представлять себе как набор элементов, которые могут посредством простого сочетания образовать некое законченное целое («суммарный синтез»). Различие между ними основано «не только на отборе

²⁹ ИУ. С. 126.

³² ИУ. С. 129.

³⁰ ИУ. С. 127.

³³ Там же.

³¹ Там же.

элементов содержания, но проявляется и в расщеплении аспектов, в постановке проблем, а также в использовании различного категориального аппарата и различных принципов организации материала»³⁴. Тем не менее, Манхейм полагает возможным синтез «стилей мышления», о возможности которого свидетельствует, в частности, история их смешения и взаимопроникновения. Хотя и не уточняет, до какой степени такой синтез возможен.

Если резюмировать обсуждаемый здесь вопрос в более современном социально-философском понятийном аппарате, то можно сказать, что Манхейм со всей радикальностью ставит проблему несоизмеримости *концептуальных схем*³⁵, используемых различными социальными группами, полагая, однако, что сама возможность тематизации этой проблемы, а также исторический опыт говорят о том, что между носителями этих различных концептуальных схем, формирование которых обусловлено социальным опытом их носителей, возможно достижение определенного уровня взаимопонимания. Речь не идет о возможности «точного перевода», поскольку не существует независимого, «абсолютного» критерия их соотнесения, «внешнего» по отношению к отдельным концептуальным схемам (перевод, выражаясь в терминах У.В.О. Куайна, всегда «неопределен»). Однако позиция Манхейма предполагает, что между носителями различных концептуальных каркасов, 1) возможно взаимопонимание, 2) возможно описание этой ситуации в целом за счет расширения «категориального аппарата» нашего мышления и его «формальных средств»³⁶.

В контексте постановки проблемы синтеза возникает, кроме того, вопрос о «носителе синтеза», о социальной группе, которая в силу своего положения в обществе обладает «волей к тотальному синтезу». Такой волей, на первый взгляд, обладают «средние классы», которые в силу своего социального положения «ищут среднего между двумя крайностями»³⁷. Однако буржуазия, выступающая в роли такого «среднего класса», обладает волей лишь к «статичной» форме синтеза, выражающейся в принципе «золотой середины». А такой статичный синтез — это, скорее, «карикатура на подлинный синтез, чем его действительное выражение, так как этот синтез может быть только динамическим»³⁸. К такому динамичному и при этом целостному синтезу может быть способен «только тот слой, который сравнительно мало связан с каким-либо классом и не имеет слишком прочных социальных корней»³⁹. А это и есть «относительно социально свободно парящая интеллигенция».

³⁴ иу. С. 130.

³⁶ Там же.

³⁵ См. анализ этой проблемы, например, в работе: Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Аналитическая философия: Избранные тексты. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 144–159.

³⁷ иу. С. 131.

³⁸ Там же.

³⁹ иу. С. 132.

В работе «Идеология и утопия» Манхейм сразу оговаривается, что не будет входить в сложную социальную проблему интеллигенции, но все же существенно уточняет свою концепцию интеллигенции. Во-первых, он определенно указывает на то, что интеллигенция не является классом и «социология, ориентированная *только* на классы, никогда не постигнет этот феномен»⁴⁰.

Во-вторых, эта группа обладает собственным типом социальной связи, объединяющим ее в группу. Такой связью является образование: «причастность к одной и той же сфере образованности все более вытесняет различия по рождению, сословию, профессии и имущественному положению, объединяя отдельных образованных людей именно под знаком этой образованности»⁴¹.

В-третьих, в отличие от Макса Вебера, который *нормативно* вменяет высшему образованию ценностную (мировоззренческую и политическую) нейтральность, Манхейм констатирует следующее: «Сословные и классовые связи отдельных индивидов полностью тем самым не устраняются, однако своеобразие этой новой основы заключается именно в том, что она сохраняет в своей полифонии многоголосие детерминант, создавая гомогенную среду, в которой могут меряться своими силами эти конфликтующие единицы. Таким образом, *современное образование* исконно является сферой борьбы, миниатюрной копией борющихся в социальной сфере стремлений и тенденций. В соответствии с этим образованный человек многократно детерминирован в своем духовном горизонте. Следствием полученного образования является то, что он испытывает влияние полярных тенденций социальной действительности, тогда как человек, который не связан в результате полученного образования с целым и непосредственно участвует в социальном процессе производства, воспринимает только мировоззрение определенных общественных кругов, и его действия полностью детерминируются определенным социальным положением»⁴².

В-четвертых, специфика этого слоя интеллигенции, конституируемой современным образованием, состоит в том, что он «постоянно обновляет свой состав, рекрутируя его из своего все расширяющегося социального базиса»⁴³.

В-пятых, метафора «свободного парения» не означает, что интеллигенция «парит над всеми классами в безвоздушном пространстве»⁴⁴. Ровно наоборот: «Он объединяет в себе все импульсы, заполняющие социальную сферу. Чем больше число классов и социальных

⁴⁰ Там же.

⁴¹ иу. С. 133.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Такое вульгаризированное понимание широко распространено среди критиков Манхейма, полагающихся главным образом на свою сугубо языковую интуицию. Однако оно совершенно не отражает то содержание, которое он действительно вкладывал в понятие «относительно свободно парящей интеллигенции». В эссе о «Проблеме интеллигенции» Манхейм несколько раз

слоев, из которых рекрутируются различные группы интеллигенции, тем многообразнее и противоречивее по своим тенденциям становится сфера образования, которая их объединяет. И отдельный индивид в большей или меньшей степени испытывает влияние всей совокупности борющихся тенденций»⁴⁵. Тем самым также получает более полную социальную конкретизацию понятие «восприимчивости», использовавшееся в работе о консерватизме. Эта восприимчивость объясняется, прежде всего, специфическим социальным опытом представителей группы интеллигенции.

Перед интеллектуалами в социально-политическом отношении стоит выбор, обусловленный их относительно свободным положением. Они могут или примкнуть к какому-то из борющихся классов, и такие люди «действительно обнаруживаются во всех лагерях»⁴⁶. Или предпринять попытку «понять собственную природу, определить собственную миссию, которая состоит в том, чтобы выражать духовные интересы ценного». Первое решение, однако, не освобождает интеллектуалов «от постоянного недоверия со стороны исконных представителей класса», к которому они примыкают. Этим, кстати, объясняется и «фанатизм радикализировавшихся интеллектуалов»⁴⁷, являющийся «духовной компенсацией» неустойчивости собственных жизненных связей и потребности в преодолении недоверия как по отношению к самим себе, так и со стороны других.

Колеблющийся, нерешительный характер интеллектуала, произвольность его мышления являются следствием той специфической ситуации, в которой он находится: «Часто встречающееся среди интеллигентов „отсутствие твердых убеждений“ — лишь обратная сторона того, что только они и могут иметь подлинные убеждения»⁴⁸.

Исходя из своего специфического понимания «адекватности»⁴⁹, Манхейм полагает, что путь примыкания к другому классу не отвечает собственному социальному положению интеллектуалов, тогда как именно оно и должно достичь «конкретного осознания». Интеллектуалы должны ясно осознать «свое положение и связанные с ним задачи и возможности». Этот путь, считает Манхейм, «имеет отнюдь не

специально уточняет свою позицию по этому вопросу (ср., в частности, Эск. С. 106, 158).

⁴⁵ Иу. С. 134.

⁴⁶ Иу. С. 135.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Иу. С. 136.

⁴⁹ Быть «адекватным» означает для Манхейма «принимать мир таким, какой он есть», «рассматривая свою позицию в связи с изменением

общего порядка». Наиболее же адекватным взглядом на современный мир является для Манхейма взгляд социологический, поскольку именно эпистемологические инструменты социологии наиболее релевантны нашей действительности. Если использовать по отношению к этой формуле мировоззренческие критерии самого Манхейма, то его собственную позицию следует квалифицировать как консервативную. Ср. сходную аппликацию критериев консерватизма, используемых Манхеймом, по отношению к Л. Витгенштейну: *Блур Дэвид*. Витгенштейн как консервативный мыслитель // *Логос*. 2002. № 5 / 6. С. 47–64.

менее прочные традиции, чем первый путь с его тенденцией к саморастворению интеллигенции в других классах»⁵⁰.

Если интеллигенция в настоящее время не может проводить свою собственную политику⁵¹, то это не означает, что она не может совершать такие действия, «которые имеют исключительно важное значение для всего социального процесса». Эти действия «состоят в первую очередь в том, чтобы в каждой данной ситуации найти ту позицию, которая предоставляет наилучшую возможность ориентироваться в происходящих событиях,—позицию стража, бодрствующего в темной ночи»⁵². Метафора ночного сторожа раскрывается затем как потребность «в общей ориентации и перспективе», вытекающая из особой социальной позиции интеллектуала. Эта потребность вызвана тем, что интеллектуал обладает «значительно большей свободой выбора», чем классы или группы, имеющие ясно выраженные социальные интересы. Постоянная работа над целостной ориентацией и широкой перспективой, в свою очередь, превращает интеллигенцию в специфический «динамический промежуточный слой», который воплощает в себе стремление к «экзистенциальному посредничеству», «к соединению политического решения с предшествующей ему тотальной ориентацией»⁵³. Эта целостная ориентация сохраняется также в том случае, «если интеллектуал примыкает к какой-либо партии»⁵⁴.

Важным штрихом, завершающим конкретизацию понятия «относительно свободно парящей интеллигенции» в работе «Идеология и утопия», является программа институционализации этой посредующей функции интеллектуалов в виде определенного подразделения при учебных заведениях⁵⁵: «Если в соответствии с общей тенденцией времени количество партийных школ будет возрастать, то тем более желательно, чтобы был создан некий форум—будь то в университетах или в специализированных высших учебных заведениях,—где бы изучалась эта *политическая наука высшего типа*. Если партийные школы ориентированы исключительно на тех, чье решение

⁵⁰ иу. С. 137.

⁵¹ А Мангейм полагает, что это именно так, хотя, судя по его формулировке в работе «Идеология и утопия», он допускает возможность такого рода политики.

⁵² Там же.

⁵³ иу. С. 138.

⁵⁴ иу. С. 137.

⁵⁵ Мангейм разбирает и другие известные формы институционализации передачи политических знаний («клубы», «партийные школы» и др.), указывая на их несоответствие текущей социально-политической ситуации. Осторожные реформаторские предложения Мангейма близки идеям Макса Шелера по поводу реформирования немецкого университета. В 1921 году Шелер писал: «Можно было бы еще ввести „Академии политических и социальных наук“; они бы решали задачу, которой у нас, в Германии, так досадно пренебрегают: ставили бы специально-научное знание на службу общественно важных, в особенности политических вопросов современности» (Шелер М. Университет и народный университет // Логос. 2005. № 6. С. 75).

предписано заранее, то новый тип обучения предназначается для тех, кто еще стоит перед актом выбора или решения. Чрезвычайно желательно, чтобы те интеллектуалы, чьи интересы строго обусловлены их происхождением, именно в молодые годы восприняли бы эту концепцию целостности и широкую перспективу»⁵⁶. В практическом плане проект институционализированной «политической социологии» *«не диктует решения, а пролагает путь к принятию решений»*, «бросает свет на такие связи в сфере политики, которые едва ли замечались ранее»⁵⁷. Эта формулировка, однако, является крайне осторожной, что фактически (если мы зададимся вопросом о том, *как именно на практике* может быть реализован проект предлагаемой Манхеймом «политической социологии») сближает ее с пониманием роли науки в докладе Макса Вебера «Наука как призвание и профессия». Вебер же утверждает: в аудитории «следует, если, например, речь идет о „демократии“, представить ее различные формы, проанализировать, как они функционируют, установить, какие последствия для жизненных отношений имеет та или иная из них, затем противопоставить им другие, недемократические формы политического порядка и по возможности стремиться к тому, чтобы слушатель нашел такой пункт, исходя из которого *он* мог бы занять позицию в соответствии со *своими* высшими идеалами»⁵⁸.

В связи с этой темой мы сделаем краткое аналитическое отступление. Краткие указания Манхейма относительно проекта институционализации «политической социологии» в контексте размышления об «относительно свободно парящей интеллигенции» позволяют, на наш взгляд, говорить о том, что группа «свободно парящей интеллигенции» выступает в работе «Идеология и утопия» не просто как «образованная буржуазия» (*Bildungsbürgertum*), но главным образом как *сообщество университетских преподавателей*. Именно это сообщество, согласно институциональным нормам модели университета Гумбольдта, воплощает в себе *свободу, уединение и исследование*, а также предполагает наличие среди преподавателей конкурирующих точек зрения. Гумбольдт, впрочем, возлагал заботу об этой конкуренции на государство, не особо доверяя корпоративному духу университетских преподавателей, способных искоренить любое инакомыслие: «Государство должно заботиться только о богатстве, т. е. мощи и разнообразии умственных ресурсов — путем правильного выбора привлекаемых к этому делу людей, и о свободе их деятельности. Свободе же опасность угрожает не только со стороны государства, но и со стороны самих учреждений, которые при своем возникновении приобретают определенный дух и впоследствии склонны подавлять проявление

⁵⁶ иу. С. 138–139.

⁵⁷ иу. С. 139.

⁵⁸ Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 721–722.

иною духа. Государство должно предотвратить и те недостатки, которые могут произрасти отсюда»⁵⁹.

Ряд перечисленных ключевых понятий встречается, например, в следующем рассуждении Манхейма, описывающем условия «динамического синтеза»: «Только в тот период времени и в той стадии наблюдения, которые посвящены размышлениям, может образоваться социологическая и логическая сфера, необходимая для исследовательского синтеза. И только свобода, основанная на возможности выбора, конститутивно присутствующая и после принятия решения, позволяет принять подлинное решение. Только наличие подобного свободно парящего слоя, ряды которого все время пополняются индивидами различного социального происхождения, обладающими различными типами мышления, обязаны мы взаимопроникновением различных тенденций, и только на этой основе может возникнуть намеченный нами ранее, все время заново совершаемый синтез»⁶⁰. Совершенно недвусмысленные указания, позволяющие опознавать в наиболее чистом образце «относительно свободно парящей интеллигенции» именно университетских преподавателей и ученых, сплошным образом рассеяны и в более поздней разработке темы интеллигенции⁶¹. В качестве основного отличительного свойства интеллектуала здесь называется, например, «свободное исследование», наличие постоянного «импульса, побуждающего к постановке вопросов и исследованию». Этот аспект работы Манхейма сам заслуживает того, чтобы стать предметом исследования средствами социологии знания. Манхейм описывает интеллигенцию как широкий исторический и социальный феномен, но при этом мы регулярно опознаем в этом описании ряд черт *идеального типа немецкого университетского ученого*. При этом поразительно, что Манхейм не обращается специально к проблеме университета. Это своего рода «слепое пятно» его анализа интеллигенции, что тем более странно для социологически мыслящего автора, для которого первоочередным предметом рефлексии должно было бы быть *его собственное социальное положение*. Черты университетского преподавателя регулярно проявляются в его описаниях интеллигенции, начиная с перечня профессий, несовместимых с ее ролью: «В высоккодифференцированном обществе общее положение вещей становится для большинства индивидов все более непостижимым. Это относится и к человеку, стоящему у сверлильного станка, и к служащему, и к фермеру. Кругозор чиновника и дипломата может охватывать значительную часть социального аппарата, но и они утрачивают контакт с массами, и они видят лишь фрагменты целого. Поэтому вопрос заключается не в том, какие профессии позволяют видеть действительность в полном

⁵⁹ Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Бер-

лине // Неприкосновенный запас. 2002. № 2 (2002). С. 7.

⁶⁰ Ив. С. 138.

⁶¹ См. особенно эск. С. 156–157.

объеме, а в том, какие сегменты общества находятся в диапазоне видимости с данной жизненной позиции. В этом отношении интеллигент имеет известные преимущества. Его потенциальный диапазон шире, и сама его отстраненность помогает ему избегать оптической ограниченности частной профессии и интересов. Интеллигенту не угрожает опасность, подстерегающая практика, склонного воспринимать мир под углом зрения своей профессии или своих частных социальных контактов. Основной род занятий делает интеллигента восприимчивым к стереотипам, скорее маскирующим существующие проблемы, чем обнажающим их. Интеллигент может отказаться от обязательств, сужающих его кругозор и стесняющих его свободу действий»⁶². Здесь об «интеллигенте» и его «основном роде занятий» говорится как о чем-то само собой разумеющимся, но Манхейм ни разу не использует здесь понятия «университетский ученый». В продолжение к только что процитированным словам он пишет: «Склонность интеллигента к утрате связи с реальностью имеет нечто общее с его тенденцией не выходить за пределы своих ученых занятий и общаться лишь с себе подобными», в ссылке уточняя, что хорошим примером такого типа является отец Бенджамина Дизраэли (!). Не менее показательно и следующее описание: «Развитие интеллигенции соответствует завершающей фазе становления социального сознания. Интеллигенция — последняя группа, пришедшая к социологической точке зрения, поскольку место интеллигенции в общественном разделении труда лишает ее непосредственного доступа к какой-либо из значительных и функциональных сфер общества. *Уединенность исследователя и его зависимость от публикаций* (курсив мой. — В.К.) позволяют ему составить лишь вторичное, „не из первых рук“ мнение о социальных процессах. Не удивительно, что эта страда долгое время оставалась в неведении относительно социального характера изменений»⁶³.

На этом мы завершим анализ концепции интеллигенции в работе «Идеология и утопия», оставив без рассмотрения часть, посвященную утопическому мышлению и его динамике, которая, в общем виде, сводится к тому, что в современном обществе интенсивность утопического мышления снижается, политика становится все более «прозаичной»: «В этом находит свое выражение такая установка сознания на преобразование мира, для которой все идеи дискредитированы, все утопии уничтожены. Эту надвигающуюся „прозаичность“ следует в значительной степени приветствовать как единственное средство овладеть настоящим, преобразовать утопию в науку, уничтожить лживые и не соответствующие нашей действительности идеологии. Для того чтобы существовать в полном соответствии с действительностью такого рода, где совершенно отсутствует какая бы то ни было трансцендентность, будь то в форме утопии или идеологии,

⁶² ЭСК. С. 148–149.⁶³ ЭСК. С. 102.

требуется, вероятно, едва ли доступная нашему поколению жесткость или предельная, ни о чем не подозревающая, наивность недавно вступившего в мир поколения»⁶⁴.

Наиболее подробно проблема интеллигенции разработана Манхеймом в эссе «Проблема интеллигенции: Исследование ее роли в прошлом и настоящем», входящем в единый цикл «Эссе о социологии культуры», который был создан в начале 1930-х годов — незадолго до эмиграции в Англию. После эмиграции Манхейм дорабатывал текст, но так и не опубликовал его. В английском переводе этот текст был доступен с 1956 года. Тема интеллигенции развернута здесь с максимальной систематической и исторической подробностью, но в целом ее разработка детализирует и уточняет более ранние тезисы Манхейма с привлечением более широкого исторического материала. Эта разработка исходит из того, что «интеллигенция как специфическая группа вообще и интеллигенция, сформировавшаяся после Средневековья, в частности, образуют главный предмет социологии духа»⁶⁵. Здесь же намечается исследовательская программа изучения этого предмета, которая включает в себя следующие «основные вопросы»: а) социальная база интеллигенции⁶⁶; б) ее специфические объединения⁶⁷; в) ее прогрессивная (восходящая) и регрессивная мобильность; г) ее функции в крупном, многосоставном обществе. Анализ этих социальных аспектов позволяет нам до определенной степени понять характер поведения интеллигенции, однако здесь нет каких-то универсальных отношений детерминации. В конечном счете необходимо спуститься на уровень индивидуальной биографии, уделяя внимание большому числу социальных факторов, что в конечном счете признает и Манхейм: «Наиболее важными являются следующие моменты: социальное происхождение индивида, характер конкретной стадии его карьеры в данный момент — вне зависимости от того, находится он на подъеме, переживает период стабильности или испытывает состояние упадка; продвигается вверх в одиночку или в качестве члена какой-либо группы; встречает на своем пути препятствия, мешающие продвижению, или отброшен назад, на исходные позиции; на какой стадии находится

⁶⁴ иу. С. 138.

⁶⁵ эск. С. 119.

⁶⁶ Этот вопрос важен с точки зрения влияния понимания мотивов выбора мировоззренческой ориентации человека, оказавшегося в группе интеллигентов.

⁶⁷ Манхейм приводит прекрасный исторический анализ различных форм объединений интеллектуалов, включая средневековые объединения каменщиков, менестрелей, духовенства, но также салонов, кофейен, богемных кружков и клубов,

предваряя тем самым исторические изыскания Ю. Хабермаса, направленные на выявление различных форм «публичности». При этом Манхейм подчеркивает принципиальную для интеллектуалов роль малых неформальных объединений: «Между закрытой организацией кастового типа и открытыми свободными группами существуют многочисленные промежуточные типы объединений, к которым могут присоединяться интеллектуалы. Взаимные контакты интеллигенции часто носят неформальный характер, причем наиболее распространенной формой организации является небольшая группа близких по духу людей» (эск. С. 120).

социальное движение, в котором он участвует: начальной, срединной или заключительной; какова позиция его поколения в отношении других поколений; какова естественная среда его социального обитания; и, наконец, каков тип объединения, в рамках которого он осуществляет свою деятельность»⁶⁸.

С точки зрения эвристической продуктивности размышлений Манхейма для анализа современного положения интеллигенции мы особо выделим его постановку вопроса о *социальной среде обитания интеллигенции*. К сожалению, это едва ли не самая скудная и эскизная часть его работы. Он выделяет три типа такой «среды»: *локальный, институциональный* (или организованный) и *обособленный*⁶⁹. Локальный характерен для небольших сообществ—это своего рода интеллигенция малых городов и региональная интеллигенция, которая «обычно связана с местными органами самоуправления»⁷⁰. Наиболее интересному типу среды обитания—институциональному—Манхейм уделяет совсем немного внимания, упоминая лишь христианство и современные политические партии. Не приводя серьезного обоснования, он утверждает также, что «гуманисты прошлых эпох являют собой другой пример (институционального.—В.К.) сообщества образованных людей, которые действовали в тесной связи с феодальной стратой»⁷¹. Наконец, «обособленный» тип интеллигенции распространен очень широко, но при этом Манхейм замечает, что эта обособленность не является абсолютной (например, большинство журналистов связаны обязательствами, «взятыми на себя прессой»⁷²). Несмотря на краткость и сугубо интуитивный характер, нам представляется, что этот набросок может быть продуктивен для разработки моделей и категориального аппарата для эмпирического анализа современных интеллектуальных групп⁷³.

Если обратиться от намеченной исследовательской программы к основным идеям эссе «Проблема интеллигенции», то следует заметить, что ряд ключевых тем «Идеологии и утопии» здесь исчезают вовсе. Так, мы не встречаем здесь больше идеи «синтеза»—ее место занимает понятие динамичного «интеллектуального процесса», который формируется и в котором принимает участие интеллектуал. Тем самым исчезает даже гипотетическая возможность для развертывания какой-то особой политики интеллигенции как консолидированной социальной группы⁷⁴. Наконец, мы не встречаем здесь и намека на

⁶⁸ Эск. С. 148.

⁶⁹ Эск. С. 145.

⁷⁰ Эск. С. 146.

⁷¹ Эск. С. 146.

⁷² Эск. С. 147.

⁷³ Схожая типология (без влияния Манхейма) была использована для описания «моделей социального действия» в рамках эмпирического исследования интеллектуально-активной группы, представленного в настоящем издании.

⁷⁴ «...Интеллигенция ни в коем случае не является классом, она не может создавать партию и не способна к согласованным действиям. Такие

проект институционализации «политической социологии» в виде особых учреждений при университетах⁷⁵.

Эссе об интеллигенции представляет собой, по сути, ансамбль разных подходов к проблеме интеллигенции, позволяющих автору с весьма разных ракурсов высветить этот феномен. Анализ Манхейма — это сложный фасетчатый взгляд, логика построения которого могла бы стать предметом отдельного исследования. Но здесь мы ограничимся лишь изложением некоторых выводов Манхейма, которые представляются релевантными для тех вопросов, которые сегодня адресуются феномену интеллигенции (релевантность в данном случае не исключает необходимости критического к ним отношения).

В исторической перспективе социальное самосознание интеллигенции является наиболее поздним продуктом становления современного общества. Поскольку все прочие группы и классы имеют четкие социально-экономические интересы, они приходят к такому самосознанию раньше (первым классом, овладевшим «социологическим» самосознанием, был, согласно Манхейму, пролетариат). Интеллигенция, по сути, должна эмансипироваться от того идеологического давления, которое оказывают на нее другие носители социологического самосознания. Эти группы определяют для интеллигенции социальные роли, не соответствующие ее действительному социальному положению. Поэтому интеллигенции приходится преодолевать примерно те же трудности, с которыми связано становление феминизма и молодежных движений⁷⁶. К принятию чуждых их собственной природе социальных интерпретаций мира (к «раболепию») интеллектуалов подталкивает также «ощущение беспомощности, охватывающее их, когда они, волшебники в сфере концепций и короли в сфере идей, сталкиваются с необходимостью установить собственную социальную идентичность. Они обнаруживают, что не обладают ею, и остро осознают это»⁷⁷. Инструментом освобождения от господствующих интерпретаций социального порядка является для интеллигенции «социология знания»⁷⁸.

Интеллигенция не может представлять интереса для политика, ибо не является «классом», социальной группой с понятными и однородными интересами, тогда как «политику мало дела до

попытки обречены на поражение, ибо политическое действие зависит прежде всего от общих интересов, которых интеллигенции недостает в большей степени, чем любой другой группе. Ничто не чуждо этой страте более, чем единомыслие и согласие» (эск. С. 104).

Манхейм получает во Франкфурте постоянное место профессора, мотив к созданию и легитимации проектов новых учреждений попросту пропадает.

⁷⁶ Эск. С. 98–100.

⁷⁵ Это можно объяснить сугубо социологически: проект нового учреждения, намеченный в «Идеологии и утопии», может быть понят как проявление озабоченности, связанной с чрезвычайной сложностью получения профессуры. Но когда

⁷⁷ Эск. С. 103.

⁷⁸ Эск. С. 102.

своеобразия таких политически неопределенных элементов, поскольку он оперирует ясными реальностями, объединяющими людей или разобщающими их»⁷⁹.

Интеллигенты могут занять сторону любого класса и любой группы, иметь различные профессии, но всегда «вносят в свою профессиональную ситуацию особую мотивацию и специфические установки, которые социолог не может не идентифицировать»⁸⁰. В обобщенном виде эта мотивация интеллигента, проливающая также свет на специфику политического поведения интеллигенции, определяется следующим образом: «полученное образование вооружило его знаниями, позволяющими рассматривать актуальные проблемы с разных сторон в отличие от большинства участников дискуссий, которые видят проблему только с одной стороны. <...> Приобретенные интеллигентом знания делают его потенциально более лабильным. Он легче изменяет свою точку зрения и менее связан односторонней установкой, ибо способен сопоставлять несколько противоречивых подходов к одному и тому же предмету. <...> Способность схватывать различные стороны одной и той же проблемы и легкость, с какой эта личность принимает иные оценки ситуации, позволяют ей чувствовать себя непринужденно в широкой сфере поляризованного общества. Однако это делает ее менее надежным союзником по сравнению с теми, чьи позиции основаны на более ограниченном выборе из всего многообразного спектра явлений, в котором предстает перед ними действительность. Что касается политической деятельности, то интеллигенты не так часто поддаются соблазну голосовать за списки, выдвигаемые теми или иными партиями, и отстаивать привычные программы и кандидатуры, освященные и собственным опытом, и традициями отцов»⁸¹. Манхейм прекрасно отдает себе отчет в недостатках «колеблющегося» характера интеллигенции. Свобода от ограниченных социальных перспектив и отсутствие прямого давления, связанного с необходимостью учета практических последствий своих действий⁸², необходимы для поддержания позиции интеллектуала. Отрицательным же следствием такой позиции является возможность утраты «связи с реальностью»: «Идеи, не встречающие возражений, не способные на ошибку, легко становятся самоцелью и источником опьянения, которому их создатель предается в одиночестве. Мыслитель, чьи сентенции не поддаются опровержению реальными событиями, склонен забывать основную цель мышления — знать и предвидеть, чтобы действовать. Свободное и беспрепятственное мышление временами порождает иллюзию величия, ибо одна лишь способность обмениваться идеями относительно

⁷⁹ ЭСК. С. 104–105.

⁸⁰ ЭСК. С. 104.

⁸¹ ЭСК. С. 105.

⁸² То есть то самое отсутствие «ответственности», которое позднее стало одним из главных критических аргументов Г. Шельски в адрес интеллектуалов.

наиболее острых проблем создает соблазнительную видимость овладения ими»⁸³. В силу этого Манхейм пытается установить условия, при которых интеллигенция, свободная от прямой ответственности за свои идеи (что является необходимым условием ее существования), тем не менее не теряет контакт с реальностью.

Интеллигенция с трудом поддается социологическому определению, и все же ее «социальный тип» может быть определен в силу «характерного отношения к культуре»⁸⁴. Манхейм выделяет четыре таких разновидности.

1. Различие физического и умственного труда. Значение этого фактора, способного придавать типу труда значение социального статуса, уменьшается в современном обществе «с профессиональной специализацией». Здесь тип труда «становится во все большей степени неотъемлемым свойством профессии и все в меньшей мере — символом статуса»⁸⁵.

2. Различие между «свободными профессиями» и «оплачиваемыми профессиональными занятиями». Под первыми понимается занятие «занятие искусством, наукой и религией ради них самих, без вознаграждения». Впрочем, замечает Манхейм, «высокий моральный статус» таким образом понятых свободных профессий очень часто может лишь маскировать тот факт, что «престиж такого труда определяется не материальной незаинтересованностью, а социальным положением, делающим его возможным»⁸⁶.

3. Различие между «образованными» и «необразованными» людьми. Понятие «образованный» (Gebildeten) включает три *взаимозаменяемых* принципа селекции — уровень культуры, служебное и общественное положение и доход⁸⁷.

4. Процесс бюрократизации общества, формализующий признак образованности посредством системы разного рода «свидетельств» (образовательных сертификатов) выдвинул новый критерий — «обладание практическими знаниями».

Свою попытку сформулировать социальные критерии идентификации интеллигенции по типу отношения к культуре Манхейм резюмирует так: «Четыре описанных критерия культурности и образованности соответствуют четырем социальным типам, четко различаемым по их профессиональным характеристикам, поведению и социальной ориентации. Хотя эти типы возникли в разные периоды истории, они до сих пор существуют бок о бок и в современном обществе. Думать, что они не обладают подлинными чертами интеллигенции, было бы ошибочно в той же степени, как и видеть в них единственно возможные

⁸³ ЭСК. С. 149.

⁸⁴ ЭСК. С. 110.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ ЭСК. С. 111.

⁸⁷ Здесь предвосхищается идея П. Бурдьё о конвертируемости трех видов капитала — культурного, социального и экономического соответственно.

варианты»⁸⁸. И все же есть одна общая черта, которая объединяет все эти типы, позволяя идентифицировать интеллектуала. Эту черту можно назвать специфической социальной *эксцентричностью* (это наш термин, не использующийся Манхеймом). Интеллектуалы «проявляют в поведении характерные отклонения от образа действий своих собратьев, не занятых интеллектуальным трудом. Этот объединяющий их интерес является альтернативным источником мотивации, в силу которой поведение индивида отклоняется от норм, предписываемых его классовой принадлежностью. Учитель, не принимающий вознаграждения за определенные услуги, тем самым в известном смысле отрекается от своего классового положения конторского служащего, рабочего в белом воротничке. Государственные служащие часто отказываются вступать в профсоюзы во имя престижа, основанного лишь на том, что они разделяют взгляды, присущие их профессии. Амбивалентность образованных индивидов и их отклонение от поведения, предписываемого им классовой моделью, можно объяснить их обособленным дискурсом, претендующим на создание группы единомышленников со специфическим *esprit de corps* и увеличение дистанции между теми, что общаются друг с другом в рамках этого дискурса, и теми, что стоят за его пределами»⁸⁹.

Социальную и культурную роль «образованности» (в широком смысле, включающем все перечисленные типы) Манхейм определяет ключевым для его интерпретации социокультурной и политической роли интеллигенции понятием «*включенность в ситуацию, касающуюся всех нас*»: «„Быть образованным“ означает нечто вроде включенности в ситуацию, касающуюся нас всех, но не оказывающую существенного воздействия ни на кого в отдельности. Познавательный горизонт каждой личности включает по меньшей мере сферу ее действия, в которой она приобретает основы профессиональных знаний. Представления личности о человеческом обществе могут выходить далеко за пределы радиуса ее действий, но никакая профессия и никакое положение в обществе не требуют понимания забот и интересов всех людей. Именно образованный человек сохраняет *en rapport*⁹⁰ к делам всего общества, а не только к своим собственным, и именно в этом смысле можно говорить, что он включен в ситуацию, касающуюся всех нас»⁹¹. Доступ к знаниям является необходимым условием вовлеченности в данную ситуацию. Существует два основных источника знания — континуум повседневного опыта и эзотерические формы знания, которые являются продуктом целенаправленных усилий и культивируемой традиции. В примитивных культурах они образуют единый комплекс, но при возникновении сравнительно сложных социальных структур

⁸⁸ ЭСК. С. 112.

⁹⁰ Связь, зависимость (фр.).

⁸⁹ ЭСК. С. 113.

⁹¹ Там же.

обособляются (в том числе социально) и в этом виде доминируют на протяжении длительных исторических периодов (включая существование замкнутой касты священнослужителей, в которую эволюционирует христианская церковь вопреки своей изначальной демократичности). Только в современную эпоху усвоение эзотерических знаний перестает быть сословной привилегией, и становится широко доступным для всех социальных групп.

Это социологическое изменение приводит к разрушению единого мировоззрения, «и авторитарный образ мышления в рамках закрытой схоластической системы уступает место тому, что можно назвать *интеллектуальным процессом*. В своей основе этот процесс состоит в поляризации нескольких сосуществующих мировоззрений, отражающих социальные конфликты и противоречия сложной цивилизации. Современный интеллигент, пришедший на смену интеллигенту, воспитанному на традициях схоластики, не намерен примирять или игнорировать альтернативные взгляды, возможные в окружающем его порядке вещей, а выявляет противоречия и участвует в конфликтах, разделяющих общество»⁹². Таким образом, образованность открывает доступ к современному интеллектуальному процессу, позволяющему интеллектуалам включиться в «ситуацию, касающуюся всех». Интеллектуал оказывается в этой ситуации не благодаря какому-то особому ментальному качеству, но в силу того, что интеллектуальный процесс является объективным социокультурным феноменом современного общества, в котором обнаруживается его подлинная сущность, состоящая в *демократизации культуры*⁹³. Демократизация — это основная тенденция современности, затрагивающая сферу экономики, общества, культуры политики (Манхейм использует в качестве обобщающего немецкое понятие «Geist» — «дух»). Но демократизация — это не только рост автономии, свободы и установления равенства. Своим социально-психологическим последствием этот процесс имеет также утрату «чувства безопасности» и нарастающей «неуверенности»: *«Неуверенность как общая судьба, ставшая в наши дни уделом не только беднейших, угнетенных слоев населения, является одной из характерных черт современной эпохи*. Бывшие элиты могут оплакивать случившееся. Обреченность на неуверенность — это настоящая трагедия. Но она также открывает путь к моральному и культурному росту. Совершенно неправильно интерпретировать крушение прежних иерархий и порядков как симптом морального и культурного упадка. Наоборот, нужно видеть в этом потенциально положительный фактор воспитания человечества. Если общество с жесткой иерархической структурой не может больше обеспечить нам надежную ориентацию и базу для самооценки,

⁹² ЭСК. С. 115.

⁹³ Проблеме демократизации в «Эссе о социологии культуры» посвящена третья часть — «Демократизация культуры».

мы должны принять этот вызов и создать новые модели ориентации, основанные на более глубокой и более подлинной, чем социальная, человеческой правде»⁹⁴. Интеллектуалы, в свою очередь,— это группа, которая является наиболее полным воплощением тенденции к демократизации духа, ибо «их основная черта состоит в том, что *они брошены на произвол судьбы*» (курсив мой.— В.К.) и поэтому способны к участию в самых разных социальных движениях, к отстаиванию чужих интересов»⁹⁵. Одна из возможностей, которая обнаруживается именно в современной демократической ситуации, заключается в том, что утрату чувства безопасности, неуверенности, исчезновение безусловной определенности индивиды и группы могут попытаться компенсировать путем антидемократических политических и социальных стратегий — диктатуры, авторитаризма, национализма, стремления к установлению общественной стабильности. Демократизация создает социальные и культурные механизмы, «заставляющие индивида отказаться от своей автономии». Этому тем более способствует то обстоятельство (здесь Манхейм ссылается на Карла Шмитта), что «демократию, как правило, разрушают не антидемократические силы; она терпит крах в результате действия бесчисленных факторов самонейтрализации, развивающихся в рамках демократической системы»⁹⁶. Интеллектуалы могут стать и по факту становятся выразителями также и этих антидемократических тенденций, тем самым, однако, изменяя своей собственной социальной и культурной сущности, заключающейся в том, что они «брошены на произвол судьбы». Тем самым они утрачивают социальную, культурную и идеологическую адекватность, релевантным выражением которой является автономное действие. В таком случае интеллигенция «отказывается от самосознания и от способности действовать своим особым, только ей присущим образом»⁹⁷. Только сохраняя эту адекватность, интеллектуал соответствует типу «относительно свободно парящей интеллигенции», который воплощает в себе общие структурные особенности современного общества как такового.

В этой связи можно отметить, что описание социального типа «интеллектуала» у Манхейма сходно с описанием пролетариата⁹⁸ у Маркса в том отношении, что он также выступает в роли «его (общества.— В.К.) *всеобщего представителя*»⁹⁹. Подобно интеллектуалам, которые, согласно Манхейму, состоят из представителей других классов, будучи их, так сказать, отщепенцами, пролетариат, согласно Марксу, также является продуктом разложения других сословий и классов:

⁹⁴ Эск. С. 228–229.

⁹⁵ Эск. С. 148.

⁹⁶ Эск. С. 169.

⁹⁷ Эск. С. 158.

⁹⁸ В более ранние периоды истории — с другими «передовыми» социально-экономическими классами.

⁹⁹ Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Государственное изд-во полит. лит-ры, 1955. С. 425.

«ибо не стихийно сложившаяся, а искусственно созданная бедность, не механически согнувшаяся под тяжестью общества людская масса, а масса, возникающая из *стремительного процесса* его разложения, главным образом из разложения среднего сословия,— вот что образует пролетариат»¹⁰⁰. Но у Маркса пролетариат—этот «всеобщий представитель» общества, который, эмансипируя себя, эмансипирует все общество («весь народ»),— достигает этой своей цели путем революционного свержения другого класса, который «сосредотачивает в себе все недостатки общества»¹⁰¹. Для Манхейма не существует такого простого манхейского решения—не потому, что такие попытки невозможны, а потому, что они в конечном счете обречены на неудачу в силу неадекватности реальной социокультурной ситуации.

Следует, наконец, обратить внимание на завершающие размышления Манхейма в эссе «Проблема интеллигенции». Здесь Манхейм ставит вопрос о шансах на выживание групп, являющихся «носителями свободного процесса мышления» или «интеллектуального процесса». Он отмечает *историческую хрупкость* этого феномена как такового: «Вполне возможно, что этот процесс, как мы его понимаем, является эфемерным и ограничивается немногими краткими историческими эпизодами. Один из них приходится на период существования свободных городов-государств в Греции, другой, пожалуй,—на непродолжительную фазу истории Рима, и третий—на эпоху, наступившую после Возрождения, но, конечно, не на всю целиком»¹⁰². Фактически интеллектуальный процесс—это «побочный продукт исторического разложения», т. е. разложения социальных порядков, в рамках которых жизнь протекает в соответствии с тем или иным устойчивым регламентом. Такого рода регламентацию Манхейм называет «институциональная культура»: «Либерализм и свободное мышление—лишь эпизоды между периодами институциональной культуры»¹⁰³. Отмечая необходимость расширения бюрократии в современном обществе, он полагает, что именно в ней заключается одна из опасностей современному интеллектуальному процессу—наряду с распространением в политике практики «манипулирования мышлением» и «упадком независимого среднего класса»¹⁰⁴. Этому процессу, полагает Манхейм, интеллигент может противопоставить только следующий образ действий: «Прежде всего пусть он критически оценит пределы своих возможностей и свои потенциалы. Его страта не стоит над партиями и особыми интересами, и никакая политическая программа или экономические обещания не могут сплотить ее в политически активную группу. Единственное, что

¹⁰⁰ Указ. соч. С. 428.

¹⁰³ Там же.

¹⁰¹ Указ. соч. С. 425.

¹⁰⁴ Эск. С. 157. Эти идеи также перекликаются с критикой Ю. Хабермаса факторов, ведущих в современном обществе к сокращению сферы «публичности».

¹⁰² Эск. С. 155.

объединяет эту страту,— интеллектуальный процесс, отмеченный неустанными попытками дать явлениям критическую оценку, установить диагноз и сделать прогноз, определить возможности выбора, если они существуют, понимать и определять характер различных точек зрения, а не просто отрицать или принимать их. Интеллигенты часто пытались отстаивать определенные идеологии с самозабвением людей, стремящихся обрести положение, каким они не обладали раньше. Пытались раствориться в рабочем движении или стать „мушкетерами“ свободного предпринимательства, обнаружив в конечном счете, что потеряли больше, чем надеялись получить. Явное отсутствие социальной идентичности своего места в жизни предоставляет интеллигенту уникальные возможности. Пусть он примыкает к различным партиям, но при этом сохраняет свою собственную точку зрения и не утрачивает своей мобильности и независимости, являющихся его лучшими качествами. Его причастность к различного рода организациям должна стать не источником самоотрицания, а дополнительным стимулом для критического анализа. Бюрократические машины имеют большие возможности для обеспечения нужного им единомыслия и конформизма, но для своего выживания в долгосрочной перспективе они должны также использовать критические суждения, на которые не способно мышление, находящееся под контролем. Иногда демократии проявляют нерешительность из-за недостатка согласованности и единодушия, тогда как диктатуры в конце концов терпят крах ввиду отсутствия независимых аналитиков. Свободное общество не может безнаказанно игнорировать ни то, ни другое»¹⁰⁵.

Если попытаться отнести к анализу интеллигенции, принятому Манхеймом, исходя из современной ситуации, то можно отметить следующее. Во-первых, мы имеем дело с прогрессирующей деградацией тех социальных порядков, которые для Манхейма все еще представлялись сравнительно устойчивыми,— это, в первую очередь, социальные «классы». Современные интеллектуалы, которые выражают готовность встать на сторону какого-то «класса», испытывают серьезные затруднения в своих попытках обнаружить консолидированную социальную группу такого рода. Во-вторых, уже во второй половине XX столетия в современных обществах прокатилось несколько волн все более широкой массовизации образования. Модель «образованного» человека, обладающего независимым источником дохода (рантье), давно вытеснена на периферию, если не исчезла вовсе,— а это очень важная модель, с которой соотносятся многие размышления Манхейма. В-третьих, несколько последних десятилетий мы имеем дело с масштабным процессом изменения социокультурных и экономических функций знания. Современное общество не случайно называют «обществом знания» (а также «когнитивный капитализм», «постиндустриальное

¹⁰⁵ ЭСК. С. 158.

общество»). Та «образованность», которая позволяла интеллигенции конституироваться в виде определенного социального типа, «относительно» огражденного от непосредственных практических и экономических интересов, в настоящее время, напротив, является важнейшим движущим фактором современной социально-экономической системы. Ее специфика заключается в том, что она все более масштабно подчиняет то, что можно назвать «образованностью» и «интеллектуальностью», целям и задачам различных институтов. Это относится как к экономическим корпорациям, так и к другим институциональным формам — бюрократии, образовательным учреждениям, масс-медиа и т.д. Именно интеллектуальность, понимаемая, правда, весьма инструментально, распознана современным обществом как основной источник динамики и развития. Следствием этого является ее все более глубокая интеграция в структуру современного капитализма. Эти и другие изменения не позволяют считать концепцию интеллектуалов Манхейма вполне адекватной современной социокультурной ситуации, однако она обладает достаточным ресурсом эвристической продуктивности, чтобы выдержать необходимые коррективы.

Литература

Источники

- Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
- Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
- Манхейм К. Структурный анализ эпистемологии. М.: ИНИОН РАН, 1992.
- Манхейм К. Эссе о социологии культуры // Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.

Вторичная литература

- Кеттлер Д., Мейя Ф. Карл Манхейм // Немецкая социология. СПб.: Наука, 2003. С. 275–288.
- Кеттлер Д., Мейя Ф., Штер Н. Ранние культурно-социологические работы Карла Манхейма // Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 473–494.
- Малинкин А. О Карле Манхейме // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 671–674.
- Gabel Joseph. Karl Mannheim and Hungarian Marxism. Transaction Publishers, 1991.
- Hofmann Wilhelm. Karl Mannheim zur Einführung. Junius Verlag, 1996.
- Kettler David, Loader Colin, Meja Volker. Karl Mannheim and the Legacy of Max Weber (Rethinking Classical Sociology). Ashgate, 2008.
- Remmling Gunter W. Sociology of Karl Mannheim. Humanities Press, 1975.

Александр Кустарев

Флориан Витольд Знанецкий

Небольшая книга «Социальная роль человека знающего» появилась в 1940 году и затем дважды переиздавалась (1965 и 1985)¹. Свою задачу Знанецкий определяет так: «Хотя знание — его содержание, структура и ценность — не сводимы к социальным фактам, они *могут быть объяснены* социологически, и это то, чем занята социология знания, если она не тщится быть эпистемологией»².

Книга Знанецкого до сих пор мало востребована и не заметна в тени таких классиков, как Маркс, Дюркгейм, Шелер, Вебер и Манхейм, или работавших уже после него Мертона, Куна или Бурдьё. Знанецкий отчасти сам этому способствовал, поставив свою работу в стороне от магистралей. Вряд ли случайно он почти не упоминает своих предшественников и уж тем более не ссылается на них и не цитирует их, как будто он начинает работать на пустом месте. А приведенный выше его выпад в адрес тех, кто тяготеет к социологическому детерминизму в теории познания (cognition), ясно указывает на его особую позицию.

Эта особая позиция значит, во-первых, что социологическое объяснение той или иной системы знания есть частичное и оставляет место для других объяснений. И во-вторых, Знанецкий подчеркивает, что социолог должен атрибутировать знание «независимо от позитивной или негативной их оценки в критериях эпистемологии и логики»³. Знанецкий нигде не пользуется понятиями «подлинное» или «ложное» сознание, как и самим понятием «сознание». Его интересует знание-вещь, а не ментальность. Знание у него атрибутируется как нужное или ненужное для кого-то в той или иной ситуации.

Протаганиста, или носителя, или владельца, или конструктора знания Знанецкий называет «scientist», напоминая, что это слово происходит от латинского *scire* (знать) и обозначает согласно самому широкому своему смыслу человека «знающего». Этому вполне соответствует французское «*savant*». По-английски это «*man of knowledge*», что Знанецкий и использует в названии своей книги.

Поскольку в английском словом «scientist» теперь называют профессиональных «ученых», Знанецкий специально предупреждает, что в его версии социологии знания «ученый» в силу особого характера

¹ Znaniecki F. The Social Role of the Man of Knowledge. Harvard, 1965.

² Ibid. P. 10.

³ Ibid. P. 12.

его знания,— только разновидность «человека знающего». В русском языке этой проблемы нет, и разницу между «знающим» и «ученым», пожалуй, особенно подчеркивать не надо.

«Знающий человек» у Знанецкого исполняет определенную «социальную роль», адекватную определенному «социальному кругу» (social circle)⁴. Идею «социального круга» лучше всего иллюстрируют пациенты врача. Социальный круг может быть очень маленькой нишей, но может простирается на все общество. Он может сужаться и расширяться. Иметь постоянный или переменный состав. Соответственно, роли могут требовать мало или очень много исполнителей. Индивид может полностью раствориться в своей роли, или исполнять ее время от времени. Настаивать на том, чтобы его использовали в данной роли, или уклоняться от ее исполнения. Он может выступать в нескольких ролях попеременно. Роли могут возникать на какой-то отрезок времени и исчезать, или существовать в виде постоянных вакансий.

Тот, в ком нуждается социальный круг и кто обладает требуемыми свойствами, имеет определенный социальный *статус*, т. е. его «социальный круг» дает ему некие права и даже навязывает их. За это «знающий человек» должен выполнять определенную социальную функцию и вести себя ожидаемым образом.

Этюд Знанецкого разворачивается параллельно в двух планах — систематики и проблематики. Здесь мы решились их разделить и рассмотреть по отдельности, хотя некоторого взаимного перекрытия этих планов избежать, конечно, не удастся.

Систематика: общество и роли

Потребности в знаниях, которыми потребители не располагают сами, приводят к возникновению не одной, а целого набора ролей⁵, в которых выступает «знающий человек». Знанецкий начинает с социальных ролей, которые он называет «технологический лидер» и «технологический эксперт»⁶.

Ролевая программа *технологического лидера* состоит в том, чтобы зафиксировать проблемную ситуацию и составить план действий в данной ситуации. Эта роль нужна тогда, когда стоит задача, которую нужно решать коллективно⁷. Чаще всего эту роль берут на себя те, кто располагает властью — наследственной или выборной. Знанецкий подчеркивает, что в ходе исполнения роли *технологического лидера*

⁴ Р. Мертон, высоко оценивший инструментальность этого понятия, предлагает в качестве его поясняющих синонимов понятия *audience* и *public* (Merton R. Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill, 1957. P. 482), а также *client* (P. 210).

⁵ Знанецкий использует понятие «роль» не слишком строго, заменяя это слово нередко такими словами, как «функция», «обязанность» (duty) и «паттерн».

⁶ Znaniecki. Ibid. P. 38.

⁷ Ibid. P. 38.

прежде всего проверяется знание исполнителя и только потом его качества как общественного лидера группы.

К знанию *технологического лидера* предъявляются такие требования: оно 1) должно быть надежным, 2) дающим возможность предвидения, 3) широким и разнообразным⁸. «Лидер» должен свести (редуцировать — *reduce*) то, что ново и неопределенно, к тому, что известно, и найти выход из новой и неопределенной ситуации, применяя надежную комбинацию старых и проверенных истин о вещах и процессах⁹. Знание или компетенция «технологического лидера» проверяется на практике, и он отвечает за результат.

Технологический эксперт привлекается в помощь лидеру и специализируется на «диагностических задачах»¹⁰. В отличие от лидера он не несет ответственности за результат. Примеры экспертов в прошлом: астрологи, геоманты, авгуры, демографы, геологи... Со временем номенклатура экспертизы, разумеется, становится все шире по мере усложнения системы знания и в частности системы наук. Эксперт располагает обычно не широкими, а специальными знаниями, и его задача — обеспечить средства для достижения уже поставленной (без его участия) цели. «Он также не иницирует новое знание; он только совершенствует существующее»¹¹.

Рядом с *технологическим лидером* и *технологическим экспертом* у Знаниецкого фигурирует еще *независимый изобретатель*. Конвертирование изобретательства в социальную роль затруднительно. Общество долго отказывалось предоставить изобретателю формальный статус, потому что изобретатели опасны как разрушители рутины¹². В старые времена их обвиняли в колдовстве и уж во всяком случае маргинализировали и блокировали их активность. Так обстояло дело в античности, а в Китае эта практика была глубоко присуща всей культуре и предельно институционализирована.

Упомянутые социальные роли с их характерными программами и специфическим по содержанию, структуре и кодификации знанием сложились в ходе усиления контроля общества над силами природы. Но «...подобный контроль не установлен над культурными, политическими и социальными явлениями»¹³. Знаниецкий считает это многозначительным и объясняет это различие.

Он напоминает, что социальные роли, в которых индивиды, сведущие в общественных делах (*social scientists*), выступали почти исключительно в прошлом и по большей части выступают до сих пор, возникают, как и все вообще социальные роли, в ответ на потребность в социально полезном знании со стороны определенных кругов,

⁸ Ibid. P. 42–44.

¹¹ Ibid. P. 51.

⁹ Ibid. 45.

¹² Ibid. P. 56.

¹⁰ Ibid. P. 48.

¹³ Ibid. P. 63.

каковую потребность взявшие на себя соответствующую роль должны были удовлетворить.

Знания об обществе конвертируются в социальную роль первоначально в ответ на потребности власти. Те, кто возглавляют общества, то есть лидеры, суверены, властители, по своему положению и по определению должны думать за всех. Но у них нет на это времени, и в былые времена у них не было надобности готовить себя к этой работе или развивать у себя соответствующие качества, поскольку для легитимизации их господства было достаточно воинской или наследственной харизмы. А если репутация «знающих» и была им нужна для укрепления авторитета, то именно только как репутация. Поэтому реальную мыслительную работу они поручали наемникам. Этим наемникам Знанецкий дает этикетку «мудрецы» — «sages»¹⁴. «Мудрецы» в сфере знания об обществе — аналогия «технологов» в сфере знания о природе. Их можно было бы назвать «технологии общества», или, если угодно «политтехнологии» — этикетка, еще не известная во времена Знанецкого и покрывающая некоторые практики, которые также в то время были в зачаточном виде и мало оторефлексируются.

Задача «мудрецов» — оправдывать (conservatives) существующий порядок или предлагать (novationists) на его место другой, который они в случае удачной замены будут затем в свой черед отстаивать как существующий. Этим всегда занимались отцы церкви в первые века христианства, потом, например, «гуманисты», или «протестантские проповедники» в раннем модерне и, наконец, ученые-натуралисты, привлекавшиеся на службу новому порядку большевиками и нацистами¹⁵. Их задача — поддержать в своей пастве ощущение правоты (праведности) и неправоты (неправедности) «других». Эти «другие» могут быть реальными оппонентами или воображаемыми. Мысль «мудрецов» в этом случае базируется на двух постулатах: 1) правота-праведность опирается на истину, 2) неправота-неправедность опирается на ошибочное суждение¹⁶. И соответственно их знание, которое они сообщают своей пастве, прежде всего предполагает, что им известно, в чем состоит истина. Паства же («социальный круг»), со своей стороны, хочет эту истину знать.

«Социальная роль мудреца не позволяет ему создать основу для практического контроля над культурной реальностью, потому что она предполагает такое знание, которое не подвергается практическому испытанию на успех или неуспех, — в противоположность *технологическому лидеру, эксперту и изобретателю*». Если оно и проверяется, то только на адекватность той культуре, которую мудрец обслуживает. В его роль также не входит конструирование теоретического знания о

¹⁴ Ibid. P. 72.

¹⁶ Ibid. P. 75.

¹⁵ Ibid. P. 73.

культуре, независимое от практических целей, поскольку это требует объективности, что несовместимо с социальной ролью мудреца¹⁷.

В двух словах: *технолог* манипулирует природой, поскольку находится вне ее, а *мудрецу*, чтобы манипулировать культурой, надо выйти из нее, что лишит его социальной роли *мудреца*.

Объективное теоретическое знание, скажем, в области социологии и экономики, может быть применено для решения практических проблем, подобно знанию в области физики и биологии, но ничего не дает для построения или защиты идеологических систем: «Оно только дает указания тем, кто эти системы создает или приемлет, как их реализовать»¹⁸.

Систематика: социальные роли ученых

Затем Знанецкий переходит к рассмотрению сферы науки как ролевой структуры. Он считает важным то, что *ученые* принимают историческую эстафету от других носителей «когерентного комплекса священного знания (lore)». Классические роли этого рода — мандарины, талмудисты, схоласты. Во всяком случае, связь науки об обществе в плане преемственности с религиозным знанием выглядит у Знанецкого намного более значимой, что связь науки с опытом разных агентур общественной практики.

Как будто бесполезное священное знание вопреки своей независимости от повседневной практики всегда ценилось очень высоко. Но оно было не личным знанием индивида, а потенциально всеобщим (сверхличным) — *superindividual*¹⁹. И имело отношение к «духовности», что придавало ему особое достоинство, поскольку в религиозном космосе царство духа располагается выше царства чувственного опыта²⁰. Наука наследует оба эти свойства сакрального знания. А вместе с ними и соответствующий ему институт — «школу сакрального знания» (*sacred school*)²¹.

«Статус и функция *ученого-священнослужителя (religious scholar)* жестко связаны с его участием (как учащегося и как учителя) в процессе передачи сверхличного знания, расположенного выше всяких сомнений, и абсолютно неизменного по содержанию и по форме. Поэтому вполне очевидно, что у него не было никакой возможности как-то изменить это знание»²². Истина не может быть новой; добавления делаются через интерпретацию или переоткрытие.

Поэтому, казалось бы, сакральное знание, столь озабоченное своей неизменностью («священное — по определению неизменное»

¹⁷ Ibid. P. 79–80.

²⁰ Ibid. P. 96.

¹⁸ Ibid. P. 80.

²¹ Ibid. P. 99.

¹⁹ Ibid. P. III.

²² Ibid. P. 104.

[Вебер]), тем более не может секуляризироваться. Но именно это радикальное преобразование произошло в Европе. Отчасти это был имманентный процесс, поскольку в соперничестве *сакральных школ* апелляция к авторитету не действует на «третью сторону», что помогает развитию иного рода аргументалистики. Разногласия между школами также вызывают скептицизм технологов и мудрецов. Секулярное знание возникает и как оппозиция сакральному, и попросту незасисимо от него²³. Здесь уместно вспомнить, какое значение придавал Макс Вебер влиянию светской учености и опыта на священное знание²⁴.

Знанецкий обнаруживает и кратко характеризует такие роли: *открыватель правды; систематизатор; контрибutor; борец за правду; эклектик и историк знания; распространитель знания*. Сюда же можно было бы добавить и еще одну фигуру, хотя Знанецкий рассматривает ее в отдельной главе. Эта фигура — *исследователь (открыватель фактов; открыватель проблем)*, занимающий маргинальное положение относительно институционализированной («школярской») науки («нормальной науки» в терминологии Томаса Куна).

Открыватель истины подобен пророку сакрального знания. Но пророк уверяет, что истина открылась ему напрямую (провидение, божественное откровение). *Открыватель истины* в секулярном духе на это ссылаться не может; его аргумент — это рациональная очевидность (*rational evidence*).

Современный «знающий человек», находящийся у истоков новой школы, оказывается в парадоксальном положении. Он начинает как бунтовщик и не обнаруживает для себя *готового социального паттерна*, кроме как роль признанного секулярного ученого (*secular scholarship*), т. е. он должен вернуться в систему, против которой он поднял бунт. До сих пор, напоминает Знанецкий, теория считается признанной, только когда ее включают в университетский курс. Это сложный и непрямой процесс, и Знанецкий признается, что он до сих пор (1940 год) плохо понят²⁵. Развитых представлений о нем пришлось ждать еще лет тридцать — до работ Бурдьё, не ссылающегося, между прочим, на Знанецкого.

Другие социальные роли ученых имеют менее парадоксальный статус. Они либо существуют уже в школах сакральных учений, либо появляются в ходе их превращения в школы секулярного (научного) знания, либо в школах независимого светского философствования, либо уже по ходу оформления сферы науки.

Систематизатор — самая, пожалуй, классическая роль в религиозных системах. Никакая секулярная школа не может обойтись без систематизатора. Они пишут учебники.

²³ Ibid. P. 113–115.

²⁵ Ibid. P. 118.

²⁴ См. очерк о Максе Вебере в настоящем издании.

Разработчики (контрибуторы) заняты коррекцией и редукцией индуктивных обобщений. Эта функция хорошо видна в диалогах Платона, широко практиковалась в Античности и в Средние века положила начало регулярной функции, дополняющей систематизатора; она полностью развилась, когда ученые, следуя Аристотелю, отказались от генерализаций, навязываемых им извне, и стали сами заниматься индуктивными операциями и делать «правдоподобные» выводы методом редукции. Ныне это обязанность претендента на профессиональный статус ученого — именно за это дают ученую (первую) степень²⁶.

Зафиксировать роли *систематизатора* и *разработчика* не трудно. Им, кстати, вполне соответствуют такие функции «нормальной науки» Куна, как «поиск важных фактов», «согласование фактов с теориями» и «артикуляция теории». Знаниец добавляет к ним кое-что, требующее гораздо более развитого социологического воображения.

Борец за правду появляется в ходе борьбы школ, которые плодятся и фрагментируются. Почему это происходит, невозможно объяснить однозначно. Может быть, разнообразие научных школ коренится в разнообразии индивидуальностей, их выстраивающих и к ним примыкающих. Разногласия могут быть очень принципиальны как, например, между материализмом и спиритуализмом, но иногда они возникают по совершенным пустякам, отчего не перестают быть очень ожесточенными. Можно также предположить, что они нагнетаются искусственно в конкуренции за престиж и влияние. Воинствующий полемист, занятый только одной полемикой, — фигура яркая, но не частая. Эту роль время от времени берут на себя открыватели, систематизаторы и контрибуторы²⁷.

Независимо от успешности борьбы каждого из них, все вместе исполнители этой роли полезны для науки; они совершенствуют логический аппарат и язык науки, поскольку социальная функция борца требует от него создавать специальные *формы* демонстрации — словесные и знаковые. К тому же полемика требует семантической унификации дискурса, и ее результат — точные формализованные дефиниции.

Роль *электика* и *историка знания* появилась сравнительно недавно в атмосфере чрезвычайного разнообразия враждующих школ. Появляются люди, не желающие примкнуть ни к одной из них. Желющих выполнять эту роль теперь становится все больше.

Наконец, роль *распространителя знания* требует, вероятно, больше всего исполнителей. Это прежде всего армия учителей и примыкающих к ним популяризаторов знания. С ними связана экспансия науки и ее утверждение в самой важной, как считает Знаниец, социальной роли. Эту роль он объясняет так: «Ученые хотят всех убедить, что... обладание знанием придает человеку „трансцендентную

²⁶ Ibid. P. 130–131.

²⁷ Ibid. P. 136–137.

ценность“»²⁸, но не отрывает его от практики, поскольку «...индивид, вооруженный знанием, строго организованным по теоретическим стандартам, успешнее решит практические проблемы, чем тот, кто обучился лишь тому, что нужно непосредственно в практических целях... Убеждение, что секулярное теоретическое знание есть самая важная часть личной культуры, повышает ценность личности для общества, выражено в том, что процесс демократизации повсюду... сопровождается распространением все более высокого и широкого умственного образования, делая доступным для масс нейтральное общее знание (*disinterested general knowledge*)... Отсюда—возрастающая академизация подготовки к исполнению профессиональных ролей... Их исполнение теперь поручается тем, кто в детстве и ранней юности обучался теоретическим дисциплинам, имеющим очень мало или вовсе никакого отношения к его будущей профессии, а потом несколько лет проходит профессиональную подготовку, где практические знания понимаются как приложение фундаментального корпуса систематического научного знания... процесс обучения теперь все больше направляется секулярными учеными, которые убеждены в том, что, хотя знание само по себе еще не сила, дает человеку силу, но только в том случае, если это чистая теория, то есть объективная система истин, и человек должен правильно понимать реальность с тем, чтобы эффективно ее контролировать»²⁹.

Знанецкий здесь фиксирует самоувердительный просветительно-гуманистический энтузиазм науки. Рост авторитета науки, конечно, продолжается с начала модерна и до сих пор, но и скептицизм в отношении науки в XX веке тоже нарастал (см., например, его обсуждение в знаменитом докладе Вебера «Наука как профессия»), и теперь отношение не только общества в целом, но и самой научной общины к возможностям и экзистенциальной ценности науки гораздо более двусмысленно, чем раньше.

Сам Знанецкий оставался верен духу гуманизма и просвещения до конца. Это не мешало ему видеть, как сами научные школы, достигая зрелости и утвердив свое положение в научной общине и в большом обществе, сами начинают тормозить развитие науки. Как скажет позднее Томас Кун, «нормальная наука не любит новое». Поэтому он не рассматривает фигуру *исследователя* в ряду других социальных ролей «школярской науки». Ему он посвящает отдельную главу, назвав ее «Исследователь как создатель нового знания».

Все развитие знания, пишет Знанецкий «обеспечивают те „знающие“ („scientists“), которые в своей социальной роли делают больше, чем их заказчик от них ждет (курсив мой.—А.К.)»³⁰. И это одиночки,

²⁸ Ibid. P. 161.

³⁰ Ibid. P. 164.

²⁹ Ibid. P. 162–163.

хотя развитие коммуникаций теперь позволяет им все больше объединяться и даже нащупывать некоторые формы институционализации своей активности³¹. Коллеги чаще всего признают их достижения задним числом (*ex post*), хотя популяризаторы из сенсационалистских побуждений, наоборот, с этим неосторожно торопятся.

Знанецкий усматривает две разновидности исследователей — *открыватель фактов* и *открыватель проблем*. Это могут быть разные индивиды, или один индивид начинает с обнаружения новых фактов, а затем переходит к проблематизации и обобщениям.

Чем мотивирован *открыватель фактов*? Социологизм Знанецкого в этом месте обнаруживает агрессивность и, вероятно, вызовет недовольство самих профессиональных «научников» и эпистемологов науки. Знанецкий оговаривается, что отчасти *открывателем* движет чисто эстетическое и интеллектуальное возбуждение (*thrills*), т. е. любопытство. Но прежде всего он бунтовщик. Его бунт главным образом мотивирован «желанием избавиться от интеллектуального ига профессиональной науки. Часто это технолог, мудрец или ученый, не добившийся успеха, который не смог быть конформен традиционным требованиям; иногда это аутсайдер и самоучка-любитель. Этот бунт (*rebellion*), однако, не только личная проблема неукорененности; он деперсонализирован и объективирован как сомнение в полноценности (валидности — *validity*) самого того знания, которое культивируют научные круги, провоцирующие его на восстание (*revolt*)»³².

Такие персонажи существуют всегда, но в некоторые эпохи их становится особенно много и они особенно активны. Знанецкий упоминает доклассическую Грецию и Европу с начала xv века. А с середины XIX века именно такие открыватели новой фактуры создают психологию, социологию, экономику и политическую теорию.

Открыватель проблем, он же *индуктивный теоретик*, не восстает против научного рационализма. Он отвергает догматизм.

Догматизм имеет разные корни: а) который навязывают теоретическим концепциям *технологи* и *мудрецы* во имя практической полезности; б) который поддерживает *сакральная школа*, считающая, что истина от Бога; в) который секулярные *ученые* базируют на рациональной очевидности онтологических принципов и формальной необходимости логики³³.

Технологи не склонны к теоретической проблематизации — только случайно и побочно к практике. То же и *мудрецы*: «Теоретическая проблематизация не только выходит за пределы их нужд, но и противоречит им». Для них проблемы решены наперед — поэтому они *мудрецы*. Как уточняет Знанецкий, «в работах мудрецов открыто

³¹ Ibid. P. 165.

³³ Ibid. P. 179.

³² Ibid. P. 173–174.

сформулированы только те проблемы, которые они уже решили конформно их идеологии»³⁴.

Статус *индуктивного теоретика* теперь социально менее зависим от признания со стороны технологов, мудрецов и научных школ; теперь существует всемирное сообщество исследователей, но признание этой общины создателю новой и альтернативной теории тоже никак не гарантировано, и к тому же его теории всегда грозит пересмотр³⁵.

В сфере естественных наук исследователи видят свою роль в постепенном движении к «абсолютно верному и всеохватывающему знанию»³⁶. Но в сфере наук о культуре такого суммирования-движения якобы не может быть, поскольку у каждой культуры правда своя. Преодолев наивный этноцентрический догматизм *мудрецов*, полагающих, что только та культура, к которой они принадлежат, правильна, *ученые* в сфере гуманитарного знания сперва кинулись к другой крайности: они «отождествили относительность с субъективностью и пытались свести необозримое и бесконечно сложное разнообразие культурных систем к психологической и психобиологической фактуре», но «такой подход оставляет большинство теоретических проблем, связанных с культурой, не только неразрешимыми, но даже необнаружимыми»³⁷.

Объяснительная пригодность (validity) любой теории, конечно, относительна, но «знание как тотальность таких ограниченно пригодных теорий обладает высшей формой значимости, которую термин «истинность» в его научном смысле попросту не в состоянии выразить»³⁸.

И именно с этим связана социальная роль исследователя-теоретика. Эта роль — «творческое участие в исторической эволюции культуры». Социальный круг, предъявляющий спрос на эту роль расширяется до всего человечества. Работа ученого создает «единственный и незаменимый мост между прошлым и будущим, а также обеспечивает динамику всеобщего и нарастающего „знания человечества“»³⁹.

Проблематика: социальная роль «человека знающего» и характер знания

Сквозную тему своего этюда Знанецкий декларирует в первой главе, озаглавленной «Социология и теория знания», в вопросительной (проблематизирующей) форме: «Есть ли функциональная зависимость между социальной ролью „знающего человека“ и характером знания, которое он культивирует?» Он тут же парафразирует этот вопрос с некоторыми техническими уточнениями: «Зависят ли системы знания и метод построения, применяемый их протагонистами, от социальных

³⁴ Ibid. P. 180.

³⁷ Ibid. P. 196.

³⁵ Ibid. P. 186.

³⁸ Ibid. P. 198.

³⁶ Ibid. P. 192.

³⁹ Ibid. P. 198.

паттернов, которым «знающие» должны следовать (conform) как участники определенного общественного порядка, и от способов, которыми носители знания актуализируют эти паттерны?»⁴⁰

Этот вопрос может показаться риторическим, поскольку Знаниецкий с самого начала называет социальную обусловленность знания в качестве *raison d'être* «социологии знания», и по ходу своей книги иллюстрирует эту обусловленность везде, где только может.

Но, оформляя главную теорему своей версии социологии знания как вопрос, Знаниецкий галантно уклоняется от догматизма. Он не утверждает, что каждой социальной роли строго соответствует специфически содержательное и особо организованное знание. А это значит, что надлежит непрерывно проверять эту теорему, что и должно составить основное занятие социолога, интерпретирующего ту или иную систему знания (любого порядка) или какой-то фрагмент этой системы.

При этом интерпретатор может обнаружить, что данный фрагмент знания не имеет очевидной социальной обусловленности, что и допускает подход Знаниецкого, поскольку он сам же и напоминает в самом начале, что знание «не сводимо полностью к социальному факту».

И хотя в тексте Знаниецкого много признаков социологической редукции, он все же не оказывается жертвой строгой редукционистской диеты, что позволяет ему зафиксировать двустороннюю зависимость паттернов ролей и паттернов знаний. Такое впечатление, что Кун, предпочтя редукционизм совсем другого рода и игнорировавший все экзогенные факторы перемен в науке, получил гораздо менее содержательные результаты, хотя первоначальный эффект его книги был очень велик и уж, конечно, намного больше, чем книги Знаниецкого.

Главная теорема Знаниецкого может и должна быть перевернута. Если между социальным заказчиком, социальной ролью протагониста знания и самим этим знанием есть зависимость, то это означает, что не только роль предопределяет знание, но и наоборот — всякое новое знание чревато новой социальной ролью. Знаниецкий не эксплицирует это, но явно следует этому представлению, когда настаивает на том, что агентура науки об обществе не вполне совместима, если совместима вообще с той социальной ролью, которую «знающий человек» выполнял с незапамятных времен согласно паттерну *мудреца*.

⁴⁰ Ibid. P. 22.

Проблематика: мудрость и научность

Позитивная наука создает альтернативу «мудрости» старого образца и выдвигает проект новой социальной роли вместо *мудреца*⁴¹. Это — *ученый* в узком смысле слова, или «научник», которого Знанецкий в дальнейшем называет «scholar» (а не scientist), хотя нигде не эксплицирует это определение установочным образом⁴².

Параллельно социальная роль *мудреца* разделяется на две. Программа одной из них — построение аксиологической системы (иногда Знанецкий называет это «идеологией») вокруг религиозного, морально-го, политического и экономического идеала. Программа второй роли — реализовать эту аксиологическую систему. Вторая задача похожа на задачу технолога в сфере контроля над силами природы. У первой задачи параллели нет⁴³. Понятно почему. Природой мы пользуемся, но не создаем ее. Культуру мы создаем сами. Пользуясь понятиями, которых Знанецкий не знал, мы можем теперь сказать, что культуртехнологии или политехнологии управляют не культурой, а массами.

Но и сходство задачи реализации поставленной цели в сфере природы и общества глубоко не идет. Затруднительно разделение ролей лидера и эксперта в сфере социального действия.

Были попытки создать политехнологию как знание о средствах для достижения уже поставленной и необсуждаемой цели. Хрестоматийный образец и пионер этой тенденции, конечно, Макиавелли. Он первым формализовал отношения между властителем и его советником в виде стандартной технологической задачи: дано — увеличить владения (укрепить власть), требуется показать, как это сделать. Однако следовать маккиавелистской методике за пределами такой простейшей задачи оказалось трудно из-за «аксиологических проблем», т. е. конфликта целей, поскольку средства для выполнения одних целей сами оказываются целями в другой аксиологии общественного блага⁴⁴.

Зато эта проблематика дает новую работу *мудрецам*. Им надлежит теперь помочь ответственным деятелям (властителям, предпринимателям, планирующим биографию индивидам) разобраться с этим «конфликтом целей». Знанецкий: «Всякому, кто хочет стать технологическим лидером в сфере культуры, планируя рационально активность своей группы, нужен прежде всего такой *мудрец*, который покажет ему, как расположены выбранные им ценности в ряду принятых ценностей этого рода [в той же системе ценностей] и какую функцию затеянная

⁴¹ Ibid. P. 80.

⁴³ Ibid. P. 83.

⁴² Я был бы не прочь предложить на место пары понятий «знающий человек» и «ученый» другую пару — «знаток» и «научник» (или «школяр»), если бы не знал, как русская ученая среда не любит заурядных понятий и неологизмов с оттенком сленга.

⁴⁴ Ibid. P. 85–86.

им активность будет выполнять среди нормативных паттернов его общества или всего человечества в его эпоху. Роль *мудрецов* в этом смысле будет скорее возрастать, чем уменьшаться с развитием социального планирования. Но, разумеется, их роль возрастет только в том случае, если они перестанут воевать друг с другом в тщетных попытках „доказать“ пригодность (validity) своих идей и негодность идей своих оппонентов и займутся кооперацией и синтезом»⁴⁵.

Но, как предупреждает Знанецкий, в наше время ни *технологический* (культурный) лидер, ни *мудрец-философ* не сможет исполнять свои роли, если не будет в наличии фонда чисто теоретического безоценочного ненормативного знания, «потому что он не может овладеть им сам, наблюдая за тем фрагментом реальности, которую он и его группа хотели бы изменить, как это делали раньше технологи до появления современной науки о природе»⁴⁶. Помимо того, что такого знания не было, мир был весь у деятеля и его *мудреца* как на ладони; во всяком случае, они не отдавали себе отчета в ограниченности своего кругозора.

Наконец, сами *мудрецы*, с их ценностями и тенденциозным поведением, из субъекта суждения становятся объектом научного суждения об обществе, или должны быть, как выражается Знанецкий, «объективно обследованы»⁴⁷. Потому что *культурные лидеры* и их *мудрецы-философы* — сами часть проблемы, которую они собираются решать, и их социальный заказ, по существу, в силу этого коррумпирован. «Новые непредставимые (*undreamed-of*) возможности могут быть обнаружены только объективной, строго теоретической наукой, не ограниченной никакими техническими и идеологическими интересами. Тот, кто формулирует теоретические проблемы, не должен действовать по наводкам технолога и философа... даже технология в сфере природы теперь следует за теорией»⁴⁸.

Социальная роль *ученых* (всех вместе), таким образом, ориентирована на виртуального трансцендентного заказчика, т. е. на человечество, для текущих и будущих нужд которого создается эта нарастающая и все более четко артикулированная «сумма науки».

Но становление этой новой социальной роли оказывается затруднительно. Правящие группы в обществе (тоталитарном обществе, как уточняет Знанецкий в 1940 году; сейчас это уточнение кажется излишним) делают все, чтобы превратить *ученых* в *мудрецов*. Публика тоже предпочитает «мудрецов», нуждаясь в разясняющем комментировании происходящего в обществе и с обществом. Тысячи мелких (*diminutive*) мудрецов, функционирующих в масс-медиа и других сферах коммуникации, как подчеркивает Знанецкий, не обращаются к объективному теоретическому знанию вообще или манипулируют его

⁴⁵ Ibid. P. 87.⁴⁷ Ibid. P. 88.⁴⁶ Ibid. P. 87–88.⁴⁸ Ibid. P. 89.

обрывками⁴⁹. Публика, недовольная существующим положением дел, предъявляет теперь претензии не только к власти, но и к ученым. Они, дескать, «не создали технологии, которая хотя бы отдаленно напоминала бы техническую инженерию, или медицину»⁵⁰. Ученые, конечно, сами напрашиваются на это, уверяя, что располагают каким-то «особым знанием». И потом в силу отчасти внушенного им, а отчасти самовнушенного комплекса неполноценности начинают ориентироваться на прикладные цели⁵¹. Либо извращая и коррумпируя аутентичную науку. Либо попросту выполняя социальную роль, для которой нужно не их знание науки, а только авторитет их научных позиций и регалий.

И Знанецкий считает нужным предупредить, что требования поставить обществоведение на службу социальным целям и идеалам способствуют (в его время) увековечению того паттерна «знатока общества» (*social scientist*), который до сих пор мешал развитию действительно полезной социальной технологии. К сожалению, Знанецкий не уточняет, какую социальную технологию он считает «действительно полезной», но обсуждение этого вопроса не входит теперь в наши задачи. Как и не входит в наши задачи выяснять, что изменилось в этом плане с тех пор⁵².

Можно думать, однако, что «действительно» эффективным будет применение научного знания в конструировании обществ-культур только в том случае, если это знание попадет в руки эффективного (адекватного) пользователя. Но кто он? На эту роль претендовал «передовой отряд рабочего класса». Итоги его попыток построить «научно обоснованный коммунизм» хорошо известны. Кто следующий? Как он обнаружится? Теоретически? Экспериментально?

Знанецкий не морализирует и не настаивает, что ученые обязаны воздерживаться от роли *мудрецов*. Он только подчеркивает, что это две разные социальные роли, и индивид должен выбирать, а если он хочет выступать в обеих ролях, то это его право, но он должен быть готов к тому, что слугой двух господ быть не просто и даром ему это не пройдет.

⁴⁹ Ibid. P. 81–82.

⁵⁰ Ibid. P. 63.

⁵¹ Ibid. P. 83.

⁵² У меня впечатление, что изменилось очень мало или не к лучшему. Наука заметно повлияла на политические дискурсы, включая пропаганду. В политических практиках много симуляции научного подхода и бездумного использования науки не впопад. Но это впечатление, конечно, может оспариваться.

Проблематика: знание, традиция и обновление

Заказчик предъявляет спрос — исполнитель обеспечивает предложение. Навязать *социальному кругу* нечто новое *человек знающий* не может. «„Нормальный“ человек знающий» в этой схеме выглядит как участник равновесной системы, где совокупное знание — как ресурс и как институт — укладывается в образ общества в духе Дюркгейма.

Большинство социальных ролей *человека знающего* выглядят именно так. Ролевое поведение — рутинное по определению, поскольку ожидаемое.

Общество враждебно новому знанию. Знаниец так часто возвращается к этой теме (даже, пожалуй, теореме), что наиболее подробный комментатор и настойчивый пропагандист его книги Луис Козер считает «неофобию» общества чуть ли не главной темой всего построения Знаниецкого.

Это сильное упрощение. Знаниецкий, похоже, и в самом деле считает, что общество не хочет (даже в наше время) предоставить устойчивый и высокий статус *изобретателю* и *исследователю*, но он же указывает на ряд механизмов, допускающих регулярное обновление корпуса знания.

Изобретатель, исследователь и открыватель истины у Знаниецкого сильно напоминают пророков или харизматических вождей Вебера. Их маргинальное положение в системе не означает их полной внесистемности. И знание, включающее харизматический элемент, уже соответствует образу неравновесного и динамичного общества в духе Вебера.

Все же Знаниецкий, похоже, думает, что эти роли актуализируются только в эпохи, когда, как он выражается, «существующий порядок уже нарушен», то есть переломно-кризисные эпохи. Возможность *институционализации перемен* он не обсуждает. Между тем именно эти попытки не прекращаются с середины XIX столетия и нельзя сказать, что они были совсем уж безуспешны.

В модерне, когда привычной стала общественная установка на экономический рост, т. е. на непрерывное изменение, свободные *изобретатели* оказались востребованы как капиталисты-предприниматели (новаторы Шумпетера), и это была уже полноценная социальная роль. Она укрепилась с созданием патентной системы, как бы коррумпирована, пристрастна и консервативна она ни была. Интерес представляет опыт советских нии и даже госплановские попытки рутинизировать изобретательство. Конечно, он экономически оказался менее эффективным, чем американская научная политика, как государственная, так и корпоративная. Но по своему содержанию он тоже был по-своему продуктивен и интересен.

Проблематика: роли, индивиды, группы

Хотя Знанецкий и считает свой этюд упражнением в «социологии знания», центральное понятие у него — «социальная роль» и, как замечает Вернер Штарк, «это не социология знания в собственном смысле слова, а скорее социология носителей знания, то есть людей, которые производят, хранят и передают знание. Эти *men of knowledge* выполняют в обществе функцию; они находятся в определенной общественной среде и сформированы ею, и изучение социального аспекта знания исходит из этого факта и ограничивается этим. Уже само название книги Знанецкого показывает, куда он клонит»⁵³.

Роли, конечно, еще не люди, и не социальные группы, но исполнители ролей — индивиды, группирующиеся на основе исполняемых ими ролей и включенные в самые разные коллективности, или ассоциированные с ними. Может быть, поворот, который Знанецкий дает социологии знания, не решает многих еще плохо понятых проблем процесса познания (на что и жалуется Штарк), но зато он эффективно включает знание как ресурс и институт в ткань общественной жизни. И это активизирует целый содержательный пласт социологии.

Разумеется, за образом «человека знающего» у Знанецкого просматривается более привычный для социально-определяющих (и самоопределяющих) практик образ «интеллектуала» или «интеллигенции». Они легко и подставляются на место выбранной Знанецким этикетки *Man of Knowledge*. Почему Знанецкий совершенно отказывается от этих понятий? Он нигде этого не объясняет сам, и мы даже не знаем наверняка, задумывался ли он над этим.

Мы можем осторожно предполагать, однако, что это объясняется его желанием использовать как можно менее расхожее понятие, учитывая, что понятия «интеллектуал» и «интеллигенция» уже в то время были очень популярны и к тому же оценочно коррумпированы, широко употребляясь как социально-сословные этикетки.

В частности, разные протагонисты разного знания обнаруживали склонность считать «интеллектуалами» только себя. И некоторые научные по замыслу концептуализации этого понятия также предполагали, что не всякое знание делает его носителя «интеллектуалом». Если пользоваться терминологией Знанецкого, то можно увидеть, например, что *мудрецы* в собственном нарративе неохотно считают интеллектуалами *технологов*. А *ученые* — *мудрецов*. *Технологи* и *мудрецы* не готовы назвать интеллектуалами *изобретателей* и *исследователей*, не включенных в господствующие школы. Или, наоборот, именуют их именно интеллектуалами, но вкладывают в это понятие осудительно-презрительную оценку. Те со своей стороны платят им той же монетой.

⁵³ Stark W. Wissenssoziologie. Stuttgart, 1960. S. 23–24.

Схема Знанецкого ставит их всех на одну доску. Хотя в его заключительных пассажах об *исследователях* нетрудно предположить апологетическую интенцию, на самом деле в принципе она ему чужда. Его социология *человека знающего* по замыслу нейтральна и теряет нейтральность только для тех, кто хотя бы подсознательно выстраивает иерархию знания. Вины Знанецкого тут нет. Такое оценочное коррумпирование нейтральных теорем имеет место всегда и абсолютно на совести тех, кто сам к этому склонен.

Но пользуются или не пользуются протагонисты разных видов знания этикеткой «интеллектуалы» (как это было типично со времен дела Дейфуса в самом конце XIX века вплоть до начала нашего века), определяя себя или своих коллег-конкурентов, они находятся друг с другом в непростых отношениях, связывая себя с интересами разных *социальных кругов*, т. е. самого разного рода коллективностей — от всего общества в целом или больших общественных классов до самых мелких, причудливых и ситуативных фрагментов общественности. И уже таким образом попадают в конфликтные отношения друг с другом. А помимо этого, производители — носители того или иного знания конкурируют друг с другом за исполнение не всех, но некоторых социальных ролей, то есть на рынке потребления знания.

Эта сторона дела не была до Знанецкого подмечена и остается до сих пор мало отрефлексирована в социологии знания. Знанецкий тоже ее не слишком педалирует, но определенно фиксирует, и тут он был и остается пионером, на что обращает особое внимание бывший поклонником этюда Знанецкого другой классик социологии Роберт Мертон.

Заключение

Этюд Знанецкого написан очень давно. Ссылаются на него редко. Значит ли это, что социология знания и социология вообще не продвинулись в тех исследовательских направлениях, которые Знанецкий наметил? Для того чтобы получить об этом представление, нужно сперва зафиксировать эти направления. В нашем очерке мы сделали только несколько намеков на них. Чтобы подкрепить их, обратимся теперь за помощью к Роберту Мертону. Приведем в заключение пассаж из его комментария к этюду Знанецкого: «Еще много предстоит понять в основах классовой идентификации интеллектуалов, в их тенденции к отмежеванию (*alienation*) от господствующих или подчиненных слоев общества (*population*); понять, почему они уклоняются от одних исследовательских задач и радостно хватаются за другие, чреватые немедленными ценностными импликациями, вопреки тому, что как будто требует нынешние правила научной работы, враждебные культурным предрассудкам; объяснить, почему наблюдается такая склонность к техницизму и бегство от опасных мыслей; понять

процесс бюрократизации интеллектуалов, в ходе которого проблемы практической политики (policy) превращаются в проблемы администрирования; определить те сферы общественной жизни, где уместно экспертное и позитивное знания, а где достаточно мудрости простого человека — короче, предстоит уделить больше внимания тому, как меняется роль интеллектуалов и какие последствия эти перемены имеют для структуры, содержания и влияния их работы по мере того, как организационные проблемы общества предъявляют интеллекту все возрастающие и противоречивые требования»⁵⁴. Это было сказано в 1949 году. Можно уже подводить итоги. И Знанецкий сказал, от кого мы можем это ожидать. Есть такая социальная роль — *эkleктики и исто-рики науки*. Очередь за ними.

⁵⁴ Merton. Ibid. P. 485.

Александр Филиппов

Арнольд ГЕЛЕН и ХЕЛЬМУТ ШЕЛЬСКИ ¹

В 1975 году немецкий социолог Хельмут Шельски опубликовал книгу «Работу делают другие». В этой книге исследование проблем интеллектуалов сопрягается с исследованием государственной бюрократии. Шельски говорит о том, что интеллектуалы превратились в «новый клир», противопоставляют себя образованному чиновничеству и хотят господствовать, не неся никакой сопряженной с господством ответственности. Большую книгу Шельски можно было воспринять и как научный трактат, и как памфлет. И то и другое было бы справедливо, но только отчасти. Сейчас, по прошествии многих лет, и научная, и идеологическая составляющие этой книги кажутся несколько устаревшими. Однако она по-прежнему представляет интерес не только как памятник эпохи, свидетельство острой идейной борьбы середины 1970-х годов, но и как определенная теоретическая платформа, на которой, пожалуй, нельзя впрямую основывать никакие исследования, но которую не следует игнорировать в теоретической и прикладной исследовательской деятельности. Одну из частей своей книги Шельски назвал «Анти-социология». Он действительно занял критическую позицию по отношению к современной ему социологии в ФРГ, и это резкое размежевание с коллегами дорого ему обошлось.

В некрологе Шельски Ральф Дарендорф писал: «Со свойственной ему смесью иронии и решительности он сначала следовал путем Федеративной Республики, в некотором отношении оказал на него влияние, во всяком случае, одобрял и интерпретировал для многих. Затем, в шестидесятые годы, к иронии и решительности добавилось немного горечи. Шельски начал видеть свое окружение и свое сословие, как сословие социологов, так и сословие интеллектуалов, в более блеклом свете. Можно было бы сказать, что действительность последовала за ним, возможно это был поворот, по меньшей мере,—изменение тенденции. Маститый профессор приветствовал это, но в последние годы не был склонен к ликованию... Духовная переработка этого периода

¹ В основу данной статьи положены две главы, написанные автором для книги «ФРГ глазами западногерманских социологов» (М.: Наука, 1989. С. 145–195). Материал статей заново структурирован и частично модифицирован за счет добавлений и сокращений, переводы ряда цитат модернизированы или исправлены.

в трудах Хельмута Шельски остается между тем важной составной частью немецкой послевоенной истории»².

Пожалуй, «немного горечи» — это слишком мягко. И уж точно, совсем не немного было этой горечи в отношениях с коллегами. «Я всегда считал себя социологом, который высказывается лишь о социальной действительности Федеративной Республики в определенные моменты времени», — писал Шельски в «Ретроспективах антисоциолога»³. Но что значит «антисоциолог» и «антисоциология»? Говорили же благожелательные к нему авторы о том, что, «конечно, совсем не легко установить, чем, собственно, отличается совершенно *социологическая антисоциология* Шельски от работ его коллег по профессии...»⁴. Шельски, продолжает Пришинг, никогда не утверждал, что не хочет иметь с социологией ничего общего. Скорее тут его рьяные критики поторопились объявить, что он своими нападка поставил себя вне «цеха».

Так или иначе, книга Шельски «Работу делают другие» — маргинальная. Ее автор только-только покинул основанный им факультет социологии в Билефельде, обосновавшись на юридическом факультете в Мюнстере. Он еще недавно принадлежал к истеблишменту немецкой социологии и образовательной бюрократии. Но он уже бросает вызов и гуманитарной общественности, и своим коллегам.

Чтобы лучше понять Шельски, целесообразно рассмотреть его «антисоциологию» интеллектуалов в связи с позицией Гелена, которая, в свою очередь, в известной мере наследует концепции Й. Шумпетера, получившей распространение и признание после Второй мировой войны. В связи с этим и весь ход нашего изложения будет следующим: от Шумпетера мы перейдем к Гелену и только от него — к Шельски, которому и посвятим основную часть статьи.

I

В книге Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия»⁵ значительную часть главы тринадцатой «Растущая враждебность» занимает раздел «Социология интеллектуалов», предваряемый общими рассуждениями о социальной атмосфере капитализма.

Капитализм, утверждал Шумпетер, «создает критическое умонастроение, которое, вслед за тем как оно разрушило моральный

² Dahrendorf R. Suche nach Wirklichkeit: Nachruf auf einen bedeutenden Soziologen // Zeit. 1984. 3. März. S. 6.

³ Schelsky H. Rückblicke eines «Anti-Soziologen». Opladen, 1981. S. 85.

⁴ Prisching M. Soziologische Anti-Soziologie: Eine kritische Übersicht über die Arbeiten Helmut Schelskys // Helmut Schelsky als Soziologe und politischer

Denker: Grazer Gedächtnisschrift zum Andenken an den am 24. Februar 1984 verstorbenen Gelehrten / Hrsg. O. Weinberger, W. Krawietz. Stuttgart, 1985. S. 65.

⁵ Schumpeter J. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Bern, 1946 (мы цитируем работу по ее бернскому изданию 1946 года, которым пользовалось большинство немецких авторов).

авторитет столь многих других учреждений, направляется, наконец, против своего собственного: буржуа, к своему удивлению, видит, что рационалистическая установка не задерживается на [критике] полномочий королей и пап, но переходит к атаке против частной собственности и всей системы буржуазных ценностей»⁶. Отказывая этому умонастроению в истинности, Шумпетер не сомневался в его социальной эффективности, имеющей, как он полагал, внерациональные основания. При капитализме люди склонны действовать, исходя из «индивидуального утилитаризма». Ориентируясь на ближайшие личные выгоды и невыгоды, они склонны винить в своих неприятностях и разочарованиях не самих себя, а преимущественно окружающую действительность. Этот «импульс враждебности» можно было бы преодолеть, была бы только эмоциональная привязанность к окружающему. Но этого-то и не может создать для себя капитализм. Но тогда «импульс враждебности», не встречая противодействия, становится постоянной составляющей душевной жизни. «Считающийся доказанным вековой прогресс, соединенный с индивидуальной неуверенностью, воспринимаемой очень болезненно,— вот лучший рецепт для создания социального беспокойства»⁷.

Зафиксируем эти важные моменты: истолкование социально-политической критики капитализма как продолжения буржуазно-просвещенческой критики феодально-религиозных учреждений, а также обращение к индивидуальному опыту, индивидуальному горизонту переживания и действия, отсутствие эмоциональной привязанности к рационалистически-утилитаристскому обществу, которая могла бы пересилить индивидуальную враждебность. Именно отсюда совершается переход к интеллектуалам — той самой группе, которая опирается на совокупный неблагоприятный жизненный опыт людей и *заинтересована* в увеличении и организации враждебности.

Вообще в любой социальной системе, писал Шумпетер, обстоятельства, способствующие враждебности к ней, вызывают к жизни не только саму установку, но и группы, которые эти обстоятельства используют. Но ни одна другая система не порождает их именно в силу своей внутренней логики, не воспитывает и не «субсидирует» их. Кто же эти враждебные группы при капитализме? Любые определения будут затруднительны. Это не класс в том смысле, в каком называют классом крестьян или промышленных рабочих. Интеллектуалы, утверждал Шумпетер, «приходят со всех концов социального мира, и значительная часть их деятельности состоит в том, чтобы бороться друг с другом и ломать копыта за классовые интересы, которые не суть их собственные»⁸. Их не определишь и как просто обладателей дипломов о

⁶ Schelsky H. Die Arbeit tun die Anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. 2. Aufl. Opladen, 1975. S. 231.

⁷ Schumpeter. Ibid. S. 235.

⁸ Ibid. S. 236.

высшем образовании, хотя «потенциальный интеллектуал» — это дипломированный специалист. Врачей и адвокатов можно назвать интеллектуалами, только если они начнут писать на темы, не связанные с их профессией, а журналисты — почти исключительно интеллектуалы. «Фактически интеллектуалы — это люди, которые употребляют власть сказанного и написанного слова, а особенность, отличающая их от других людей, которые делают то же самое, состоит в отсутствии прямой ответственности за практические вещи. Эта особенность, в общем, объясняет и другую — отсутствие тех знаний из первых рук, которые может дать лишь фактический опыт. Третьей особенностью следовало бы назвать критическую установку, которая возникает из-за того, что положение интеллектуала — это положение зрителя, а в большинстве случаев и постороннего; но столь же важно здесь и то, что наибольшие виды на успех он имеет в качестве помехообразующего фактора»⁹.

Впрочем, эта жесткая характеристика не помешала Шумпетеру утверждать, что он вовсе не считает интеллектуалов такими людьми, которые обо всем говорят, но ничего не понимают. Шумпетер рассматривал капитализм как то общество, которое не порождает интеллектуалов, но создает особо благоприятные условия для их существования. Он усматривает их предшественников не столько в софистах и риториках v–iv веков до н. э. (эта параллель сыграла затем значительную роль у Гелена), сколько в средневековых монахах, к письменным трудам которых имела доступ лишь ничтожная часть тогдашнего населения. Если они и развивали тогда неортодоксальные взгляды, то с непременным риском быть обвиненными в еретичестве. «Но если монастырь породил интеллектуала средневекового мира, то именно капитализм освободил его и одарил печатным станком. Медленное развитие интеллектуалов-мирян было просто другим аспектом этого процесса; одновременность возникновения гуманизма и капитализма бросается в глаза»¹⁰. Постепенно место индивидуального покровителя, феодального сеньора, покупавшего не только выступления, но и молчание интеллектуала, замещает «коллективный покровитель» — буржуазная публика. Здесь в особенности характерны типы Вольтера и Руссо. Применительно к концу xviii века можно уже уверенно говорить о власти интеллектуала-публициста, заключенной в использовании общественного мнения.

Характерно, что почти все европейские правительства предприняли в это время энергичные попытки обеспечить себе поддержку интеллектуалов. И все эти попытки провалились. Но равным образом их невозможно было и усмирить. «В капиталистическом обществе — или в обществе, в котором капиталистический элемент имеет решающее значение, — любое нападение на интеллектуалов должно тут же натолкнуться на частные крепости буржуазного хозяйства, из которых все или, по меньшей мере, часть даст защиту преследуемым. Кроме того,

⁹ Ibid. S. 237.¹⁰ Ibid. S. 238–239.

такое нападение должно происходить согласно буржуазным принципам законодательного и административного процесса, которые, конечно, можно искажать и извращать, но которые, далее определенного момента, препятствуют преследованию»¹¹. Важно правильно понять мысль Шумпетера. Он вовсе не идеализирует буржуазию в смысле ее приверженности к закону и правопорядку. Напротив, утверждает он, в некоторых случаях буржуазия может даже решительно одобрить применение незаконного насилия, но «только на короткое время». Почему при чисто буржуазном режиме Луи Филиппа полиции можно стрелять в бастующих, но нельзя устраивать «охоту на интеллектуалов»? Потому что, какое бы недовольство ни вызывали действия кого-либо из них у буржуазии, свободы интеллектуалов суть буржуазные свободы. «Благодаря тому, что буржуазия защищает интеллектуалов как группу — конечно, не каждого индивида, — она защищает себя самое и свою форму жизни»¹². Правительство, достаточно сильное, чтобы держать в узде интеллектуалов, не остановится перед уничтожением основных буржуазных институтов, в том числе и частной собственности, частного предпринимательства. «Таким образом, свобода общественной дискуссии, которая включает в себя свободу критиканствовать по отношению к основам капиталистического общества, в длительной перспективе неизбежна»¹³. Именно этой критикой живут интеллектуалы. Такова общая характеристика. Не менее важны в исследуемой нами связи и некоторые конкретные моменты. Например, возникновение и развитие крупных газетных концернов Шумпетер считал очень благоприятным обстоятельством для усиления влияния интеллектуалов (хотя газетный концерн тоже ведь *капиталистическое* предприятие). Отдельный журналист, конечно, может очень остро ощущать свою зависимость. Именно поэтому, описывая для публики свое положение, он нарисует картину «рабства и мученичества». «В действительности это должна была бы быть картина завоеваний. Завоевания и победа в этом, как и во многих других случаях, — мозаика, составленная из поражений»¹⁴.

Другой важный момент — развитие системы образования и воспитания. Во-первых, образование — одна из важных причин частичной безработицы людей с высшим образованием. Во-вторых, вследствие или вместо этой частичной безработицы создаются неудовлетворительные условия труда для работников с высшим образованием: либо они трудятся на рабочих местах, не требующих столь высокой квалификации, либо (впрочем, здесь нет строгой дизъюнкции) их заработок ниже, чем у работников ручного труда. Наконец, в-третьих, человек, прошедший через систему высшего образования, часто становится непригоден (психологически) для ручного труда, хотя при этом он может

¹¹ Ibid. S. 242–243.¹³ Ibid. S. 244.¹² Ibid. S. 243.¹⁴ Ibid. S. 245 (Прим.).

не получить никаких навыков для профессиональной работы. По этим трем причинам и происходит приток людей с высшим образованием в те сферы, где очень размыты стандарты и критерии профессиональной работы, т. е. они увеличивают собой число «недовольных интеллектуалов». Здесь уже можно, утверждает Шумпетер, говорить о четко очерченной группе, имеющей пролетарскую окраску и выраженный групповой интерес. Хотя истоки недовольства интеллектуалов не совпадают с общими причинами атмосферы враждебности к капитализму, именно интеллектуалы служат радикализации антикапиталистических настроений и антикапиталистической политики (в частности, за счет той роли, которую они играют в рабочем движении). Они редко становятся профессиональными политиками и получают ответственные посты¹⁵, но зато входят в состав «политических штабов», придавая всему, что происходит, оттенок своей особой «ментальности». В свою очередь, это занятие политикой порождает у них новые групповые интересы уже именно как у политической силы. Атмосфера враждебности к капитализму не оставляет незатронутым, согласно Шумпетеру, и управленческий аппарат. Дело в том, что европейская бюрократия имеет «до- или внекапиталистическое происхождение»¹⁶. Она не полностью отождествляет себя с капитализмом. В то же время по своему воспитанию она очень близка к интеллектуалам, а потому — особенно теперь, когда ею уже утрачен налет «благородства», — их взгляды становятся для нее заразительными. Сюда добавляется, что при расширении управленческого персонала его начинают вербовать непосредственно из числа интеллектуалов.

II

Подход А. Гелена поначалу не очень сильно отличается от подхода Шумпетера. Если мы обратимся к подборке статей, получившей в 7-м томе собрания его сочинений¹⁷ название «Критика интеллектуалов»¹⁸, то обнаружим, что ключевые положения первой статьи этого раздела — «Что получится из интеллектуалов?» (1958) — связаны с той же трудностью, что и затруднения Шумпетера. Определить понятие «интеллектуал», констатирует Гелен, очень сложно. Поэтому, не давая формального определения, он перечисляет различные группы интеллектуалов. В их число попадают обладатели дипломов о высшем образовании; учителя, врачи, чиновники, судьи, инженеры, техники, ученые, лица «свободных профессий» и (в значительной части) профессиональные

¹⁵ Как бы ни были редки такие случаи, значение их всякий раз очень велико. То, что Шумпетер его не оценил, нанесло, на наш взгляд, большой ущерб его анализу.

¹⁶ Ibid. S. 250.

¹⁷ Gehlen A. Gesamtausgabe. Bd. 7 / Hrsgg. V. K.-S. Rehberg. Frankfurt a. M., 1978.

¹⁸ Статьи, ранее входившие в последний прижизненный сборник работ Гелена «Взгляды» (Gehlen A. Einblicke. Frankfurt a. M., 1976), мы цитируем по этому сборнику.

политики. Их становится все больше: «богатому обществу» они нужны все сильнее. Можно было бы ожидать, что это позволяет всем им смотреть в будущее с оптимизмом, как то свойственно, например, инженерам, ученым-естественникам и т. п. На самом деле этого нет. У врачей долго длится и дорого стоит обучение, а заработок прямо не связан с качеством работы. Юристы учатся меньше, но их средний заработок ниже, чем у квалифицированного рабочего. Недовольство учителей вызвано их крайне низким социальным статусом. Заниматься «свободными профессиями» очень рискованно: слишком велика конкуренция и товарищей по ремеслу, и даже со стороны мертвых (чьи произведения охотнее раскупаются, чем произведения живых). Оригинальность художника становится помехой при получении заказа. Итак, в любом случае нет ни гарантированной оплаты по результату работы, ни обеспечения (гарантированного) прожиточного минимума, т. е. того, на что, говорит Гелен, всегда может претендовать квалифицированный рабочий.

А ведь нормативные представления об уровне жизни, для них недостижимом, интеллектуалы разделяют вместе со всем обществом. Они не могут сплотиться для групповой защиты своих интересов, ибо изолированы друг от друга жадой достижения индивидуального успеха. При их внутренней гетерогенности у них нет четко обозначенного противника (каков предприниматель для профсоюза), поэтому им заказаны обычные формы общественного протеста. Поэтому же, продолжает Гелен, подавленное состояние характерно именно для молодых. Об этом знает каждый преподаватель высшей школы. Он слышит от студентов, что «нет никакой свободы», «сделать ничего нельзя» и т. п. Но этим он не ограничивается. Ведь интеллектуалы, говорит он, имеют дело с «духом», который отнюдь не исчерпывается профессиональными знаниями и информацией. «Ничего не помогает, это надо признать: он [дух.— А. Ф.] хочет господствовать. Всякое рациональное мышление высвобождает импульсы действия, которые не поглощаются им, не говоря уже об иррациональном; нельзя отнять у духа компетенцию принимать решения о своей собственной компетенции»¹⁹. Что значит «хочет господствовать»? Это значит, что, помимо самостоятельного определения границ своей компетенции, интеллигенция еще стремится обладать тем особым авторитетом, какой был у нее в добуржуазную эпоху. Служила ли она феодальным сеньорам или выступала против них (Вольтер), условием возможности такого авторитета была существовавшая в то время иерархическая структура. В современном обществе такой строгой иерархии нет, а потребность духа господствовать имманентна ему и не удовлетворяется. Конъюнктура может сложиться благоприятно для того, чтобы тот или иной интеллектуал получил значительное влияние. Но к его собственно интеллектуальным качествам

¹⁹ Gehlen A. Gesamtausgabe. Bd. 7 / Hrsgg. V. K.-S. Rehberg. Frankfurt a. M., 1978. S. 246.

это отношения не имеет. Гелен невысоко оценивает и влияние прессы: она может вести пропаганду лишь в пользу того, что уже предрешено.

Конечно, нельзя недооценивать и серьезную информационную работу. Однако именно тут журналистов подстерегают те же неустрашимые трудности, что и всех нас, прежде всего политиков. Во всех важных случаях мы вынуждены ныне обращаться не к своему собственному опыту, а к опыту из вторых рук, потому что наш собственный опыт дает лишь частные сведения. Не говоря уже о необозримой сложности происходящего, оно еще к тому же (в случае по-настоящему масштабных событий) всегда уникально. И дело не в недостатке информированности: самые информированные газеты ФРГ расценили приход к власти де Голля как фашистский путч, что было совершенно неправильно. В прошлом газеты были ближе к источникам власти, имели опыт из первых рук. Ныне они находятся в таком же положении, что и остальные граждане. «Не только публицисты, но очень многие думающие люди, прежде всего молодежь, чувствуют, что неуволимо сгущающиеся события бросают им вызов, требуют от них реакции; им тогда грозит опасность слишком уж легко перейти к раздраженной критике происходящего, ибо дух как раз ориентирован на овладение и вмешательство»²⁰. Инкриминируя обществу причины своей досады, они как раз и борются за «несобственные» цели.

В статьях, написанных Геленом в 1964, 1970 и 1974 годах, акценты менялись не только сообразно внутренней логике развития его идей (остававшейся во многом неизменной с 30-х годов), но и в соответствии с социальной ситуацией в ФРГ. В статье 1964 года «Ангажированность интеллектуалов по отношению к государству» Гелен дает совершенно шумпетеровское определение понятия интеллектуалов (через «власть сказанного и написанного слова»), подразумевая под ними «публицистов и ангажированных писателей», существующих необходимо и столь же необходимо разочарованных, готовых к ненависти²¹. Обращают на себя внимание уверенное использование в определении понятий «класс» и «власть» и не менее уверенное утверждение, что интеллектуалы не только необходимы, но и необходимо готовы к ненависти (не просто к критике!). По сравнению со статьей 1958 года ново и утверждение о существовании специфического «этоса» интеллектуалов, а именно распространение и утверждение ими «прогрессивной филантропической этики»²². Это — принципиально важный момент.

«Я держусь того мнения, — пишет Гелен, — что Бог в слишком уж многих сердцах стал человеком и что имеется нового рода обмирщение религии, которое на этот раз идет не только через отказ от посюстороннего, но и через мораль. Тогда человечество становится субъектом и

²⁰ Gehlen. Ibid. S. 248.

²² Ibid. S. 16.

²¹ Gehlen. Einblicke. S. 11–12.

объектом своего собственного прославления, однако выступает под именем христианской религии любви»²³. Мораль эту Гелен считает лживой, однако нападать на нее полагает донкихотством: слишком многое на эту мораль работает: и рационализм нашей эпохи, пришедший на смену просветительскому пафосу, и демократические установки, и широкое распространение в мире нищеты, и «безумная» уверенность, будто широта наших убеждений может соответствовать масштабам мирового общения. «Тем не менее против этой „этики убеждения“, как и против всякой другой такого рода следует заметить, что она убеждает лишь наполовину. Фрагментарна каждая „этика“, даже если она переполняет сердце, которая не контролируется *этикой ответственности*»²⁴.

Класс интеллектуалов, говорит Гелен (здесь это понятие он уже берет в совершенно специфическом смысле, в то время как статья 1958 года рассматривала разные группы интеллигенции), — это социальный слой людей, обладающих особым «этосом», т. е. типичным, характерным поведением. Такой этос он прямо связывает с определенной этикой, этикой гуманности²⁵ — обмирщенной христианской этикой любви. И именно внутреннее убеждение (в том числе и в истинности такой этики), не дополненное ответственностью, соответствует всеобщей форме интеллекта, не знающего никаких общественных ограничений, адекватного системе мирового общения и уже потому абстрактного. Таким образом, этика интеллектуалов не инспирирует конструктивного поведения. «Она есть этика созерцающих и критикующих, может проживаться лишь как речь, как выражение, как агитация, прежде всего как упрек и обвинение. Правда, она пробирается и в совесть действующему, но он не может жить только с нею одной, он должен возмещать последствия своего поведения»²⁶. Истинный крест, который ему приходится владеть: противоположность веления совести и давления обстоятельств, объективного положения вещей.

Что же это значит? Отрицание любой критики? Отнюдь нет. Критика, говорит Гелен, может быть и вполне предметной, и правильной в чисто объективном смысле. Но она ведь предполагает, что есть некто другой, в отличие от критикующего призванный отвечать за свои действия. «В отличие» потому, что свобода критики гарантирована Конституцией (ст. 5 Основного закона ФРГ), а значит, критика оказывается безответственной. Другое возражение, которое напрашивается тут же: Гелен пытается очернить *все* левые силы. Но и такое предположение он отклоняет: он не против деятелей профсоюзов, социал-демократов и т. п., т. е. тех, кто интегрирован в систему современного

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. S. 17. Различение «этики убеждения» и «этики ответственности» ввел М. Вебер. На Вебера и ссылается Гелен в этом очень веберовском по духу рассуждении.

²⁵ Гелен здесь употребляет слова «humanitar», «humanitarismus», переводимые и как «гуманный», «гуманность», и как «гуманитарный», «гуманитарность»: этика гуманности гуманитариев.

²⁶ Ibid. S. 18.

капитализма. Для Гелена же они суть люди, имеющие исторический опыт ответственного управления. А острое его анализа направлено против тех, кто такого опыта не имеет и не предполагает иметь, но зато готов к постоянной критике. «Откуда берется это болезненное отношение к чужой власти? Пожалуй, из того, что, в сущности, речь идет о борьбе между двумя аристократиями. На одной стороне у нас публицисты и писатели, чья потенциальная власть, как известно, очень высока, на другой — те, кто поддерживает ход вещей в государстве и хозяйстве — как работодатели и вожди профсоюзов, депутаты всех партий, чиновники, судьи, руководящие служащие во всех бюро и т. д. ... Поэтому надо, пожалуй, говорить о борьбе одной аристократии с другой, организованной в институтах»²⁷.

Казалось бы, тут Гелен окончательно раскрывает карты: его статья не более чем «научная сатира» на гуманитарную интеллигенцию. Но и это впечатление обманчиво, ибо сразу после всех неприятных высказываний о борьбе «аристократии духа» за власть Гелен сочувственно добавляет: что ж, это вполне естественно. Любой этос стремится к господству, ибо полностью осуществить себя он может только в господствующем, а не в подавленном состоянии. Положение интеллектуалов скорее все-таки незавидное. Они способны только к агитации, а социальный прогресс ныне требует совсем другого, и потому они мало что могут для него сделать. У просветительских идеалов нет будущего (Гелен был один из тех, кто разделял концепцию «индустриального общества» и считал необходимым существование в нем неравенства), а ведь это основной козырь гуманитарной критики. Но главное — это потеря «духом» (а он, как мы помним, «хочет господствовать») особого привилегированного положения, какое он занимал прежде, будучи чем-то редким. «Научная цивилизация» широко распространила образование, обычным стало использование понятий. В этих условиях велико желание интеллектуалов как-то обособиться. Это может увлечь их в мир фантазий, радикально оторвать от действительности, привести к конфликту с массовой потребностью в безопасности. Но выводы отсюда Гелен делает опять-таки совсем не такие негативные, как можно было бы ожидать. Он рекомендует государственным, хозяйственным, административным и культурным организациям «активно искать контакты с интеллектуалами»²⁸, даже создавать для этого специальные институты, а в результате бы очистилась, разрядилась общая атмосфера. Это «тем нужнее нам, немцам, что у нас нет позитивного сплочения, которое характеризует великие нации»²⁹.

Статья «Шансы интеллектуалов в индустриальном обществе» (1970) уже мало что дает содержательно нового. Мы встречаем здесь

²⁷ Ibid. S. 21.²⁹ Ibid.²⁸ Ibid. S. 24.

те же утверждения, что и в прежних работах: об интеллектуалах-аутсайдерах современного общественного развития, об исключительной сложности происходящего, которую невозможно постигнуть в целом, но зато можно «отдать должное» этой сложности, активно работая в каком-то месте этой системы, имея дело с давлением объективных обстоятельств; о том, что вне такой работы можно стать только «возмущенным моралистом и критиком», у которого отсутствует «чувство реальности». Здесь же приводятся и примеры: оторванность от жизни «студентов и других болтунов», собирающихся изменить мир, но не имеющих в руках рычагов даже для того, чтобы повлиять на местное управление. А когда нет возможности совершать реальные общественные деяния, тогда дело быстро приходит к «театрализованному самопредставлению», а репортеры берут на себя роль «хора в античной трагедии», драматизирующего происходящее и взвинчивающего его напряжение.

За этой жесткой характеристикой, явно навеянной событиями конца 60-х годов, следует уже известное рассуждение о борьбе «двух аристократий», снова упоминается ст. 5 Конституции ФРГ, а среди привилегий «интеллектуальной аристократии» называется, между прочим, и «щадающий режим» для студентов идеологических специальностей, которые не столь сильно вовлечены в напряженную погоню за успеваемостью³⁰. Общий вывод статьи пессимистический: если в конце XIX — начале XX века интеллигенция пыталась воздействовать на ход вещей через новые научные или мировоззренческие идеи, то современная интеллектуальная молодежь возвращается к формулам «поздней эпохи париков» (т. е., собственно, Просвещения): «еще больше свободы, еще больше равенства, долой теперешних властителей, да здравствуют будущие»³¹. Легко заметить, что социология здесь уже совершенно отступает на задний план и вместе с социологическим анализом исчезли сочувственные интонации. Статья 1974 года «О власти писателей» усиливает эту тенденцию. Однако в ней некоторое развитие получают и собственно социологические положения. Гелен отталкивается здесь не только от Шумпетера, но и от Хайека, идеи которого, изложенные в статье «Интеллектуалы и социализм»³², по большей части сходны с идеями Шумпетера. Он подробно — включая исторические экскурсы — рассматривает и «аристократические», и «пролетарские» (страсть к критике) особенности интеллектуалов. За этой двойственностью скрывается серьезная проблема: в наши дни, говорит Гелен, интеллектуалы больше не находят той мощной поддержки, какую они имели в пору расцвета свободного предпринимательства. Именно потому, что буржуазии нужна была *эта* свобода, она не могла запретить свободную

³⁰ Ibid. S. 36–37.

³¹ Ibid. S. 38.

³² Hayek F.A. Studies in philosophy, politics and economics. L., 1967. P. 178–194.

критику. В наше время «интеллектуалы стали слишком самостоятельны, они не ведают, что лучшее место в жизни — второе и что либеральное общество не будет для них надолго лучшей питательной почвой, потому что это общество порождает из самого себя слишком много не поддающихся учету врагов; у них также нет по-настоящему действенного оружия»³³. Поскольку настоящего общественного престижа они так и не добились, интеллектуалы стремятся стать вождями «бессловесных масс», дискриминированных меньшинств и т. д. Их час бьет в периоды после проигранных войн или тогда, когда правительство серьезно скомпрометирует себя (дело Дрейфуса, «Уотергейт»).

Здесь же мы встречаем обычное утверждение, что занятие критикой, а не какими-то реальными делами навязывает критикующему «абсолютные масштабы». Однако настоящий интерес представляют только последние высказывания Гелена: во-первых, о том, что для интеллектуалов характерно отрицать свое влияние, а во-вторых, о том, что «два столетия длящаяся борьба интеллектуалов за большое влияние со времени распространения телевидения привела прямо-таки к учреждению контрправительства, которым легальное правительство может быть запугано и вынуждено к отказу от своих целей»³⁴ (здесь Гелен приводит обычный для него в эти годы пример с отказом правительства США от войны во Вьетнаме³⁵).

Наконец, уточнить позицию Гелена поможет нам обращение к его последнему крупному философскому труду «Мораль и гипермораль»³⁶. Речь идет не о том, чтобы входить в философские тонкости этой работы, а именно об уточнении некоторых моментов уже известных нам идей. Преимущественно это связано с понятием «этнос гуманизма». Гелен насчитывает четыре несводимых друг к другу основания морали: 1) стремление к взаимности; 2) «физиологические добродетели» (инстинктивное стремление к благополучию, переходящее в эвдемонистическую мораль); 3) родовая (клановая) мораль братской любви, предельным выражением которой и является «гуманизм»; 4) институциональный этнос. Поскольку эти основания несводимы друг к другу, мораль необходимо плюралистична. Но поскольку высшего, единого регулятора морали нет, взаимоотношение разных этносов является серьезной проблемой, в особенности «гуманистического» и «институционального», связанного с моральной регуляцией поведения в социальных институтах. Среди институтов Гелен избирает

³³ *Gehlen. Gesamtausgabe. Bd. 7. S. 290.*

³⁴ *Idid. S. 294.*

³⁵ В самом начале 1990-х годов на одном из семинаров по социологии политики в Билефельском университете Н. Луман рассказывал, что на Гелена тяжелое впечатление произвела поездка в США. В этой стране, якобы говорил он, нет никакого правительства, одно только телевидение.

³⁶ *Gehlen A. Moral und Hypermoral. Frankfurt a. M., 1969.*

в первую очередь государство, в котором, как он говорит, наиболее развиты специфические этические закономерности и вытекающие из них возможности столкновения с иными видами моральной регуляции.

Гуманитаризм возник, по Гелену, первоначально как этос взаимоотношения членов рода или клана. Эта мораль оказалась очень гибкой, способной к утрате родовой специфики и универсализации, а при сочетании с эвдемонистическими установками — к широкому распространению. Изначальная локализация гуманитаризма — семейная организация: «Нельзя ранить любого другого человека, следует видеть в нем „брата“ и т. д. Различающие, дифференцирующие права по отношению к другим группам при этом тормозятся, и, наконец, достигается идеология субстанциального равенства всех людей»³⁷. Однако не непосредственно отсюда Гелен делает вывод о неприменимости вражде «гуманитаризма» любому государственному устройству. Напротив, — с этого, собственно, и начинается его трактат, — Гелен доказывает соответствие общечеловеческого учения киников и стоиков новому уровню мирового общения в Античности, когда на смену полисной обособленности пришли большие, захватывающие чуть ли не всю ойкумену царства и империи, а на смену гражданину полиса — «человек вообще», «естественный человек». Конечно же тот, кто учил о «добром естественном человеке», оказывался советником царя: так вместе с новой этикой появились и новая политика, и новый класс — интеллектуалы, ориентированные на патриархальный способ правления, на понимание общества как «большой семьи» и потому вступающие в столкновение с рационализированным финансовым и управленческим аппаратом³⁸.

Между тем эта рационализация государственного аппарата изначально связана с государственными гарантиями внутренней и внешней безопасности перед лицом суровых обстоятельств. Именно это понятие — «давление обстоятельств» — вошло в состав основной аргументации консервативных теоретиков ФРГ и стало как бы клеймом в устах леворадикальных теоретиков. «Поскольку государство должно гарантировать собой все благополучие народа вовне и внутри, в конечном счете его существование, оно находится под давлением необходимости добиваться успеха, и таким образом обосновывается приоритет рациональности»³⁹. А раз эта объективная рациональность служит препятствием для «гуманитаризма» даже в самых благоприятных для него обществах, то можно заключить: именно ослабление государства и снижает здесь некоторые барьеры, что, собственно, и говорит Гелен. При

³⁷ Ibid. S. 89.

³⁹ Ibid. S. 115.

³⁸ Столкновения «этики братской любви» и рационализирующих, то есть все больше и больше подчиняющихся сугубо предметным соображениям сфер социальной жизни, — это старая тема социологии религии Макса Вебера.

этом он усматривает причины ослабления государственного авторитета в западных странах в растущей внешней безопасности и внутреннем благосостоянии. Но материальное благосостояние не сглаживает внутренних общественных противоречий — отчасти из-за того, что «образовалась новая оппозиция, так называемая интеллигенция, чьи потребности во власти отнюдь не удовлетворены, квазиаристократия, атакующая уже нестабильный государственный авторитет: теологи, социологи, философы, редакторы и студенты образуют ее ядро»⁴⁰. Именно под этим углом зрения Гелен и рассматривает некоторые аспекты немецкой истории и современности. Он обстоятельно выясняет позицию Лютера («Лютерова реформация на долгое время сделала безопасной для государства церковь как фактор власти в политике и собственной политической мощи»⁴¹) и К. Барта, чье влияние в германоязычных странах было очень велико в те годы (Барт с его идеей «политического богослужения» выступает для Гелена примером тех теологов, которые наряду с прочими интеллектуалами выдвигают абсолютные моральные критерии для оценки и критики государственной деятельности). Много места Гелен уделяет поражению Германии во Второй мировой войне. Из этого поражения следует, говорит он, что Германия перестала быть великой державой, самостоятельным действующим лицом мировой политики. Поэтому ее безопасность гарантирована другими государствами и в ней нет теперь места истинно государственному этосу, стремящемуся к беспредельному самоутверждению и не знающему иной, более высокой цели. Политические добродетели отступают на второй план перед добродетелями массовой эвдемонистически-гуманитарной морали. Теряется самое чувство этоса власти. «Ко всему прочему под влиянием беспримерного разгрома и после разрушения всех внутренних резервов индивиду у нас вернулись к своим частным интересам и их кратковременным горизонтам. Там-то они и находят эгалитарную мораль семьи, эгалитарную особенно в тяжелые времена, мысли о благополучии и феминизм, каковые изначально даже тождественны с моралью гуманитаризма»⁴². Таким образом, вся проблематика постоянно предстает в двойном свете: в свете общей современной социокультурной ситуации на Западе (иногда с особым акцентированием «немецкой судьбы») и в свете специфических слоев — носителей этой культуры, опять-таки с сильным акцентированием особенностей «побежденной» (в одном месте Гелен даже пишет «окончательно побежденной») нации. А для такой нации характерно, что не отверженные слои (как это должно было бы следовать из концепции ressentiment), но именно привилегированные, т. е. «такие, которые фактически или даже юридически освобождены от неразрешимых этических

⁴⁰ Ibid. S. III.⁴¹ Ibid. S. 128.⁴² Ibid. S. 143. Здесь Гелен, конечно, идет вслед за Ницше. Но с ним он старается размежеваться, решительно подчеркивая плюрализм морали.

конфликтов, касающихся каждого думающего человека, вовлеченного в активную, длительную борьбу, будь то политическую или хозяйственную»⁴³, — именно они ответственны за «гипертрофию морали». А это, как мы уже видели, «теологи, редакторы, социологи» и т. п. Впрочем, «ответственны» — неподходящее слово. Гелен и здесь обращается к различению «этики убеждения» и «этики ответственности». С его рассуждениями на этот счет мы уже знакомы. Добавим только, что в 1975 году Гелен — на основании тех же самых выкладок — счел нужным заявить, что это различие он не считает плодотворным, так как никакой ответственности интеллектуалы не подлежат⁴⁴.

Подведем предварительные итоги. Первое, что бросается в глаза, — это даже не ужесточение тона геленовской критики. Poleмика в те годы была настолько острой, что Гелена еще можно считать относительно сдержанным. Куда важнее его трудности с проведением чисто социологического анализа в рассуждениях, заявленных как социологические. А ведь Гелен называл социологической и свою позицию в книге «Мораль и гипермораль». Добиться определенности здесь не очень просто, но различать социологическое и несоциологическое необходимо. Ведь и у Шумпетера (а далее мы покажем, что и у Шельски) — те же проблемы. Конечно, у Шумпетера это еще не так сильно выражено. Но принципиальное определение деятельности интеллектуалов как «критиканства» — нечто большее, чем сухая эмпирическая констатация, а параллели между современными интеллектуалами и софистами, риторам, деятелями гуманистического Возрождения, а затем Просвещения — нечто большее, чем обычные исторические аналогии. Взаимопереход социологических (по месту и функции в обществе) и содержательно-культурологических (по форме и содержанию критических высказываний и их укорененности в долгой традиции) определений делает неясным: то ли из континуальности (в известных пределах) социального статуса следует некое постоянство высказываний, то ли отчасти из этого последнего делается заключения о первой.

Трудности в определении, о которых в унисон твердят эти авторы, не случайны. Это трудности социологизма, пытающегося дать не какой-то срез, а целостное видение социальной проблемы, причем такой, которая прямо связана с производством и воспроизводством идей. Очевидно, что решение могло прийти только на путях преодоления социологизма: через обращение к истории, к антропологии, к психологии, к содержательному анализу проповедуемых интеллектуалами идей.

Одна из характерных особенностей, отличающая Гелена и Шельски от Шумпетера, состоит в том, что Шумпетер все время говорил о проблемах капитализма и атмосфере враждебности к нему (хотя и выводил «критиканство» интеллектуалов из других истоков), а западногерманские авторы (вообще-то державшиеся концепции

⁴³ Ibid. S. 150.

⁴⁴ См.: Gehlen. Einblicke. S. 135.

«индустриального общества») крайне неохотно выводят свои исследования интеллектуалов на определения общества, в котором эти интеллектуалы ведут свою разрушительную работу. При этом, конечно, много говорится о «современном обществе», «современном западном обществе» — но все это ведь не определения. На наш взгляд, это связано с особенностями нового немецкого консерватизма, поневоле балансирующего между консервативными представлениями довоенного периода и теми идеями, которые зарождались в период образования ФРГ. У многих тогда было ощущение, что после войны неимоверными совместными усилиями удалось создать совершенно новое, процветающее общество. Об этом много пишет Гелен. Его ученик и друг Шельски тоже говорил об этом с полной определенностью. Но отсюда становится понятно, что, строго говоря, никаких внутренних социальных причин в этом благоустроенном обществе для радикального размежевания с ним, в особенности в тот момент, когда (в конце 60-х годов) многолетние совместные усилия наконец начали давать свои плоды, быть не может. В любопытной статье 1971 года «Что является немецким» Гелен писал: «Я должен признаться, что, путешествуя в Англию или Францию, не могу избежать впечатления более острого разделения классов...»⁴⁵ Значит, получается, надо искать иные, несоциальные причины интеллектуального недовольства. Пока построение «нового общества» еще продолжалось, Гелен указывает на социальные истоки недовольства (статья 1958 года), социальные именно в смысле традиционно-социологическом: низкий престиж, низкая зарплата и т. п. А уже в статье 1970 года среди социальных причин недовольства указывается выключенность интеллектуалов из процессов практического влияния на функционирование общества. Наконец, в статье 1974 года среди социальных причин недовольства перечисляются такие, что должны наводить на мысль о недовольстве и «критиканстве» интеллектуалов как «сущностном» их определении. Отсюда обращение к примерам из истории и культурной традиции. И вот какое любопытное следствие напрашивается из всего сказанного, если вновь сравнить Гелена и Шумпетера. Ведь у Шумпетера именно капитализм представляет собой то единственное общество, где вполне расцветают издавна существовавшие «критиканы». А предворяют их в феодальном обществе сначала гуманисты, затем идеологи Просвещения. Именно за продолжение традиций Просвещения критикуют интеллектуалов Гелен и особенно Шельски. Критика гуманитарно-гуманистического способа мышления занимает важное место у Гелена. Во всяком случае, по отношению к последнему можно определенно сказать, что критика его ведется не во имя капитализма и не в защиту капитализма. Строго говоря, и европейское Средневековье не могло бы удовлетворить Гелена — из-за того, что, по его мнению, именно с возникновения монотеистических

⁴⁵ Ibid. S. 108.

религий (а сюда относится и христианство) начинается деградация, декаданс институтов. Так что здесь в виде масштаба критики действительности — именно критики, только своеобразной, консервативной, — неявно предлагался тоже весьма далекий от нее идеал — что-то вроде наилучшего государства, каким его рисовал Платон.

III

Если специфическое видение проблемы интеллектуалов у А. Гелена нам пришлось восстанавливать по ряду источников, то концепция Х. Шельски может быть изложена по одной, правда, очень объемной книге. «В марте 1975 года, — свидетельствует Д. Беринг, — „Западногерманское издательство“ (одно из крупнейших издательств ФРГ. — А. Ф.) объявило о выходе „самой агрессивной книги года“, и резонанс книги Х. Шельски „Работу делают другие“ был действительно примечательным. Почти все влиятельные газеты дали рецензии. Они были насквозь полемичными и чрезвычайно эмоциональными»⁴⁶. Кажется, ни одна книга не имела с тех пор в ФРГ такого же резонанса и отдаленных идеологических последствий. В немалой степени успеху книги способствовала личная популярность ее автора. Х. Шельски (1912–1984) с середины 50-х годов был одним из ведущих социологов в ФРГ. Трудно переоценить его роль в становлении западногерманской социологии и как теоретика, и как социолога-прикладника. Заметна и его организаторская роль: в создании крупного социологического исследовательского центра в Дортмунде, в проектировании и организации во второй половине 60-х годов нового университета в Билефельде с единственным в Европе социологическим факультетом. Шельски с гордостью вспоминал, что три разных по партийному составу правительства предлагали ему пост министра, который он отверг в пользу академической свободы.

Известность в качестве влиятельного консервативного публициста Шельски приобретает с начала 70-х годов. Одновременно нарастает его разочарование в академической социологии. Широко известными стали его слова, что социология в ФРГ «находится в состоянии духовного истощения (фрустрации) и отсутствия неожиданных идей»⁴⁷. Важными вехами на пути разрыва Шельски с академической социологией ФРГ стали уход из Билефельдского университета (1973), уже упомянутый раздел «Антисоциология» в книге «Работу делают другие» (1975) и книга «Ретроспективы антисоциолога» (1981), содержащая не только полемику, но и личные выпады. Для Шельски служение науке предполагало высказывание вместе с социологическим суждением ясных «за» и «против», «бесстрашие перед лицом неустрашимых субъективности и индивидуальности этого оценивания и прямо-таки провокационное

⁴⁶ Bering D. Die Intellektuellen: Geschichte eines Schimpfwortes. Stuttgart, 1978. S. 6. ⁴⁷ Schumpeter. Ibid. S. 419.

предание их гласности, дабы побудить других к столь же внятному обнаружению их оснований познания»⁴⁸.

Эти «провокационные» намерения во многом определяют специфику книги «Работу делают другие». И это же затрудняет ее понимание в интересующем нас отношении. Основной тезис книги таков. В современном обществе, пишет Шельски, имея в виду промышленно развитые западные страны, прежде всего свою собственную, в результате длительного исторического процесса образовались новые классы. Эти классы борются между собой. «В сущности говоря,— писал Шельски,— здесь речь снова идет о древнем для истории Европы *споре светской и духовной власти* в новой форме»⁴⁹. Центральными оказываются политический статус классов, истоки и природа их власти. В какой новой форме идет борьба светской и духовной власти? Самое общее определение, которое дает этому Шельски,— борьба «интеллектуалов и работников»⁵⁰. Она оттеснила на задний план старое противостояние пролетариата и буржуазии. Очевидно, что основной интерес Шельски сосредоточен на интеллектуалах. Именно их он сопоставляет с духовной властью. Духовная власть связана с тем воздействием, какое оказывает на людей сообщение определенных «смыслов» в том самом значении, в каком говорят и о «смысле жизни». Тех, кто «наставляет» остальных, в чем смысл жизни, Шельски называет «наставниками в спасении»⁵¹. Так духовная власть интеллектуалов еще более уподобляется религиозной, т.е. власти уже не вполне и не исключительно политической.

Только тут мы имеем дело не с христианской религией, говорит Шельски, а с переродившейся идеологией Просвещения. Эта критическая идеология была направлена при своем рождении против господства абсолютистского государства и христианской догмы. В ходе истории и то, и другое сначала пошатнулось, а затем и вовсе отступило. Но критическая установка Просвещения при этом не исчезла. Историческая диалектика, утверждает Шельски, состояла в том, что «критически-агрессивная установка при отсутствии реальной субстанции какого-нибудь противника почти автоматически превращается в притязание на господство, которое живет иллюзией и искусственным производством старой вражды»⁵². Какой именно вражды? Уже упомянутой: между светской и духовной властью. Только теперь в духовную власть переродились наследники того самого Просвещения, которое

⁴⁸ Schelsky H. Die Arbeit tun die Anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. 2. Aufl. Opladen, 1975. S. 9.

⁴⁹ Ibid. S. 13.

⁵⁰ Словом «работник» мы здесь и далее во избежание недоразумений переводим немецкое «der Arbeiter».

⁵¹ Словом «спасение» мы переводим два разных понятия, встречающихся у Шельски: «Erlösung» — «спасение-избавление» и «Heil» — «достигнутое спасение», «спасение-благо».

⁵² Ibid. S. 16.

так активно боролось с клерикалами. Этот «новый клир» пытается, согласно Шельски, утвердиться *над* «мирской» сферой, т. е. *над* политической и хозяйственной жизнью.

Для того чтобы выяснить, кого же именно Шельски считал «новым клиром», «интеллектуалами-проповедниками» и т. п., надо при-смотреться к его категориям ближе. При этом необходимо иметь в виду, что его принципиальной теоретической позицией была антропологическая концепция институтов, разработанная под непосредственным влиянием «философской антропологии» А. Гелена. Антропологически Шельски трактовал и М. Вебера, ряд категорий социологии которого он широко здесь использует.

Человек, повторяет Шельски известный антропологический зачин⁵³, отличается от животного тем, что не просто живет, но «ведет свою жизнь», т. е. «дистанцируется» от своих жизненных проявлений, может осмыслить их. Когда такие «осмысления» объединяются в социально значимые образы, возникают «смысловые или духовные руководящие системы»⁵⁴. Понятно, что здесь «человек» — это «человек вообще», родовое существо, а не конкретный индивид. Потому что конкретный индивид может оказаться совсем не таким самостоятельным в деле осмысления, не он сам ведет свою жизнь, за него это делают другие. Представления о смысле жизни определяют поведение человека, но кто распоряжается этими представлениями, тот и является господствующим, подчиняющим себе других. Политическое господство тоже определяет поведение. Поэтому Шельски сопоставляет их: «Каждая духовная руководящая система предлагает... во „внутреннем“, в том, что касается придания смысла жизни человека, то же самое, что дает политическое господство применительно к внешнему и социальному поведению человека: [она позволяет] создать „порядок“ и тем самым придать надежность поведению. Это единство цели при, конечно, идеально-типически совершеннейшем различии в средствах, каковыми являются, соответственно, *применение силы или придание смысла*, создает основу как для кооперации, так и для конкуренции, как для гармонии, так и для вражды этих двух основных форм руководства людьми или исполнения власти»⁵⁵. В этом месте Шельски и вводит в рассуждение категории М. Вебера. Вебер, говорит он, исследовал вопрос о происхождении социальных форм религиозных руководящих систем по аналогии с тем, как он ставил вопрос в своей социологии господства. Для него безразличны были «правильность» или «неправильность» политического устройства или религиозной догмы. Как социолога его интересовало только то, что люди *верят* в законность этого устройства и ценность этой доктрины. Среди форм легитимного

⁵³ Здесь Шельски ссылается на Х. Плеснера. Та же формулировка есть в книге Гелена «Человек» (см.: Gehlen A. Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 3. Aufl. H., 1944. S. 18).

⁵⁴ Schelsky. Ibid. 40.

⁵⁵ Ibid. S. 41.

господства, которые выделял Вебер (легально-рациональное, традиционное, харизматическое), именно харизматическое господство он называл «средством власти» духовных руководящих систем. «Божественный дар», которым наделен харизматический вождь, заставляет массы людей верить в его обеты, в том числе в главное обещание «спасения», т. е. освобождения от тягот жизни.

«Освобождение от жизненного груза в обетовании, что „смысл“ жизни, исполнение потребностей и желаний, которые считаются существенными, гарантировано, несмотря на всю нужду и труд, несмотря на бессилие и страдание, относится, вероятно, к жизненно необходимым и безусловным притязаниям человека как „провиденциального“, т. е. отягощенного сознанием своего будущего, существа. Тот, кто исполняет эти потребности, обладает „властью“ над людьми, может найти у них покорность и послушание»⁵⁶. Те, кто обладает властью смыслополагания, враждебны миру труда. Это когда-то подметил еще Вебер. В самом деле, труд — это связь человека с миром объективных законов, с природой, которая способна к объективному принуждению. Дух — это свобода, в том числе свобода от давления обстоятельств.

Тут Шельски совершает важный ход в своем рассуждении. Он говорит: духовному вождю, чтобы добиться власти над людьми, мало обещать им благо и спасение. Надо еще, чтобы они остро ощущали нужду в спасении. И сознание такой нужды он должен в них внедрить. Но это — момент чрезвычайно тонкий. Ведь Шельски сам говорит о том, что исполнение «провиденциальных» потребностей человека дает власть духовному вождю. И эти потребности не суть нечто внушенное, но относятся к базисным определениям человека. Тогда зачем еще сильнее обострять горе и нужду в сознании людей? Обратим внимание на то, что Шельски, решая социологическую, и даже специально социологическую, задачу: определить новый класс и зафиксировать его место в социально-политической структуре ФРГ, — далеко выходит за рамки всякой социологии. Он не только отправляется от антропологии, но и долгое время движется в системе антропологических категорий. Эти его рассуждения мы выносим за скобки, ибо в результате Шельски так и не объяснил, какова та мера нужды и горя, которую переходят в своих оценках заинтересованные в господстве интеллектуалы. А ведь это очень важно. Слишком просто было бы полагать, что все те, кто получил академическое образование и теперь занимается добыванием и распространением какой-либо информации (примерно так говорит Шельски в предварительных тезисах к книге), являются представителями этого нового класса. Ведь если признано, что они выполняют антропологически необходимую функцию, то, значит, дела от века обстояли так, как обстоит сейчас. В каком-то смысле Шельски как раз это и говорил: от века существующее место духовной власти замещается

⁵⁶ Ibid. S. 43.

теперь новыми лицами. Однако и профессии этих лиц — журналистов, писателей, ученых — не вчера возникли. Да и не всех журналистов, писателей, ученых относит Шельски к новому классу. Что-то должно было произойти с исполнением самих профессиональных обязанностей, чтобы можно было говорить о переходе их в новое состояние: в состояние нового класса.

Ни понятие «интеллектуалов», ни понятие «интеллигенции» Шельски не считал научно плодотворными⁵⁷. Они могут послужить разве что предварительному уразумению, ибо перешли уже в обыденную речь. Из многообразных определений, имеющих в науке, полагал Шельски, можно вывести лишь негативные следствия: «Эту группу, как и во всех случаях религиозных движений, нельзя отнести к определенным социальным слоям, потому что она никоим образом не представляет давно известные интересы социальных групп, но представляет независимую от социального статуса заинтересованность верующих в спасении»⁵⁸.

Впрочем, помимо рассмотрения через социальную структуру, есть ведь еще возможность рассмотрения через социальную функцию. То, что Шельски были ближе функциональные определения, должно быть уже ясно из предшествующего изложения. Но традиционные функциональные подходы он тоже отверг: одна и та же группа может иметь противоположные функции (т. е. быть и полезной, и вредной для одной и той же социальной системы, но в разных отношениях), а тогда функциональное определение будет нечетким. «Поэтому именно интеллектуалам как группе никогда нельзя давать дефиницию применительно к ее общественным „функциям“, она — в самой высокой степени — определяется личностными целями жизни [ее членов] и субъективными истолкованиями высших ценностей»⁵⁹. У личности могут быть художественные, религиозные, образовательные потребности, не находящие никакого институционального выражения, оформления, поддержки. А отсюда следует, что «власть влияния этих носителей нового социального благовествования покоится на том, что они одновременно и выполняют социально необходимые общественные функции, и способны подчинять их своим субъективным, основанным на мнении или вере высшим ценностям, и исходя из них заниматься враждебной обществу практикой. С точки зрения интересов самоутверждения общества, „интеллектуалы“ функционально столь же неизбежны, сколь и опасны»⁶⁰. Итак, не столько социальное положение или социальная функция как таковые, сколько *внутреннее этическое решение* либо оставляет человека в сфере честного служения, либо делает его одним из новых «господ и хозяев спасения».

⁵⁷ См.: Ibid. S. 99. Редкий случай, когда Шельски, помимо понятия «Intellektuellen», вводит и термины «Intelligenz» и «intelligentsia».

⁶⁰ Ibid. S. 106.

⁵⁸ Ibid. S. 104.

Понятно, что это не так много прибавляет к социологическому определению интеллектуалов. И Шельски полностью отдает себе в этом отчет. «Разлад,— пишет он,— который выступает при каждой попытке дать социологическую дефиницию этих групп, стремящихся к обещающему спасение религиозному господству, состоит в том, что все социальные группы, которые необходимо назвать в этой связи, с одной стороны, выполняют общественно необходимые деловые функции и институциональные задачи, будь то даже только функции и задачи всегда нужных социальных осмыслений и профессионально-этических обязательств; с другой стороны, однако, нападая на общество, которое хранит их и которому они должны служить, переводят именно эти осмысления и социально-моральные результаты на функционирование ради обещающего спасение господства»⁶¹.

У этих рассуждений есть важный логико-теоретический аспект, уяснение которого помогает понять как полемический, так и содержательный характер концепции Шельски. Еще во времена ранних социалистов, а потом и у Маркса остро стоял вопрос о том, кто именно станет, так сказать, мотором радикальных перемен. Практическо-политический смысл этого вопроса очевиден, однако у него есть и теоретический смысл. Если общество как-то устроено, то все входящие в него группы находят место в этом устройстве и уже потому не очень пригодны для решения задачи по его тотальному изменению. Выход, который нашел Маркс, хорошо известен: промышленных рабочих он назвал классом, который находится в двойственном состоянии: с одной стороны, он включен в систему капиталистического производства, является необходимой составляющей социальной жизни; с другой стороны, он лишен того, что выходит за пределы его воспроизводства как рабочей силы, в наибольшей мере отчужден от универсальной, родовой природы человека. Более поздние рассуждения Маркса и марксистов об абсолютном и относительном обнищании рабочего класса должны были не только уточнить описания, но и каким-то образом справиться с бросающимися в глаза изменениями в социальном положении трудящихся. Уже в конце XIX — начале XX века сомнения в том, что пролетариат является, как теперь сказали бы, антисистемным, получают все большее распространение. В начале 30-х годов XX века немецкий социолог Ханс Фрайер наряду с А. Геленом бывший учителем Шельски пишет своеобразный манифест «Революция справа»⁶², в котором отмечает эту черту индустриального пролетариата и делает вывод о том, что революционным потенциалом в обществе не может обладать ни одна из его групп. Этот взгляд на пролетариат Фрайер сохранял и в 1950-е годы, на что обращает внимание Шельски⁶³.

⁶¹ Ibid. S. 117–118.

⁶³ См.: Schelsky. Ibid. S. 65.

⁶² Freyer H. Die Revolution von rechts. Jena, 1931. Книга готовится к печати в русском переводе в издательстве «Праксис».

Между тем революция, говорит в начале 30-х Фрайер, все-таки возможна. Ее движущим началом должен быть *народ*, который не является особой социальной группой или совокупностью групп, но рекрутируется из всех социальных слоев и классов. Народом не оказываются, им становятся. Народ — это не определение в социологических терминах, описывающих объективное положение в объективной структуре, а результат действия в соответствии с некоторой этико-политической установкой. А поскольку революция (пусть даже и консервативная «революция справа») означает преодоление современного социального мира, мира труда и объективных закономерностей, этико-политическая установка народа представляет собой нечто враждебное такому устройству, которое через несколько десятилетий друзья и ученики Фрайера Гелен и Шельски назовут «давлением обстоятельств».

Конечно, консервативная революция справа — совсем не то же самое, что революция слева. Ей чужд пафос гуманитарности, в ходе этой революции, говорил Фрайер, происходит *эмансипация государства*. Однако логика рассуждений здесь во многом одна и та же, на что — с очевидным умыслом — обращает внимание сам Шельски. Правда, он не цитирует «Революцию справа», однако он специально указывает: «От того, кто, не стесняя себя рамками своей научной дисциплины, начнет изучать, что же „стоит за“ микросоциальным прогрессом или хотя бы эволюцией понятий, не укроется, что „идеология общности“ первой половины [двадцатого] века, нацеленность которой на квазирелигиозное удовлетворение потребностей нельзя недооценивать, как и то, что в интеллектуальном смысле ее возникновение и самореализация связаны как раз с тогдашней немецкой социологией, исторически и социально продолжается сегодня в обетовании „группы“ и „неискаженной коммуникации“». Не случаен неосознанный параллелизм текстов Ханса Фрайера и Юргена Хабермаса: духовных вождей движения молодежи, „культы общности“ и „культы коммуникации“ объединяет между собой одна и та же самоотдача одному и тому же романтически-религиозному социальному устремлению»⁶⁴. Таким образом, тот, кто смотрит на происходящее через призму сугубо социологических рассуждений, не видит того, что позволяет рассмотреть антропологический и этико-политический анализ. Однако этот анализ релевантен именно в социологическом отношении.

До сих пор все рассуждения Шельски — частью социологические, частью антропологически «трансцендирующие» социологию — в общем, сводились к попытке доказать существование религиозной власти интеллектуалов. Однако в подзаголовке книги написано: «Классовая борьба и господство интеллектуалов-проповедников» — в равносильном переводе — «жреческое господство интеллектуалов». Интеллектуалы для Шельски — и те и другие. Проповедники — это харизматические

⁶⁴ Ibid. S. 275.

вожди, обещающие благо избавления. Жрецы — это действующие лица «предприятия спасения», как называл современную, рационализированную религию Макс Вебер. Пожалуй, именно во втором значении, в значении «жрецов» они выступают у Шельски тогда, когда речь заходит о «классовом господстве». И конечно, это до известной степени ослабляет пафос его предшествующего анализа, в котором была показана ограниченность и неудовлетворительность подхода, опирающегося на понятия классов и социальных слоев.

Сколько ни говорить о религиозном господстве, все-таки непосредственно от него перейти к понятию «нового класса» нельзя. Иначе пришлось бы употреблять понятия иносказательно. А Шельски именно хотел добиться непосредственного перенесения категорий классового анализа общества на описание интеллектуалов. И потому Шельски подчеркивает, «что господство социальной группы опирается не только на формы согласной веры — религиозной веры в спасение или рациональной веры в легитимность, — но, как минимум, столь же сильно обусловлено „средствами производства жизни“ (Маркс), т. е. реальностями существующих в данный момент форм труда»⁶⁵. Для «классового анализа» он привлекает следующие постулаты:

- 1) постулат о дуалистическом расчленении общества на два враждующих блока населения, интересы которых, обусловленные социальной структурой, противоречат друг другу;
- 2) постулат об эксплуатации производительного труда одной группы населения другой группой;
- 3) постулат о монополизации функций, на которых держится господство (т. е. присвоение господствующей группой необходимых функций в процессе производства жизни);
- 4) постулат об оценивающем, партийном отношении в классовой борьбе (т. е. принадлежность к одному из этих классов определяет оценки и мышление отдельных людей).

Эти постулаты Шельски рассматривает как «обобщение» основных постулатов Маркса — по его собственным словам, он «обобщает» их так, чтобы можно было совместить положения Маркса со взглядами других авторов. Но даже и «обобщенный Маркс» не вполне подходит Шельски: со слишком уж большими натяжками пришлось бы вписывать «экономическое понятие классов» (как он называет Марксово понятие классов) в его концепцию. И потому Шельски обращается к другим авторам, прежде всего к Торстейну Веблену, дававшему, как известно, антропологическую интерпретацию классового деления общества в книге «Теория праздного класса»⁶⁶. От Веблена Шельски берет (идущее, впрочем, еще от Сен-Симона) определение класса «производительного труда» как класса, занятого в непосредственном производстве материальных жизненных благ, а также понятие эксплуатации и угнетения,

⁶⁵ Ibid. S. 167.

⁶⁶ Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.

основанного на диффамации ценности и престижа этого труда. В противоположность этому неработающий, праздный класс «устанавливает и проводит для всех высшие ценности жизни»⁶⁷, т. е. определяет правила престижа, или — это уже термин самого Шельски — осмысления жизни. Но это определение «эксплуататорского» класса пока в основном негативное, через «не». И Шельски приходится просто назвать его представителей. Он находит их среди преподавателей и учащихся, теологов и журналистов, организаторов досуга и деятелей искусства — всех тех, кого он называет «смыслопроизводителями». Именно «смыслопроизводители» как новый класс эксплуатируют производителей материальных благ (конечно же для Шельски к последним относятся не только собственно рабочие, но и инженеры, бизнесмены и т. п., которых он, правда, называет эксплуатируемыми с меньшей уверенностью; подробнее об этом ниже). «Смыслопроизводители», как мы уже видели, по Шельски, совершенно необходимы. Это-то и дает им основание для господства. Но как они подчиняют себе «промышленный класс»? Шельски называет здесь два основных пути: 1) через обесценение «смыслопроизводителями» трудовой этики и наивысшей результативности труда (*Leistung*) как ее основы; 2) через смещение личностных смыслов из сферы труда в сферу досуга, что дает возможность господствовать над свободным временем.

Посмотрим, что тогда получается. Если «промышленный класс» включает в себя и организаторов производства, руководителей и специалистов, то тогда все эти высокообразованные люди, выполняющие по роду деятельности сложные и ответственные руководящие функции, оказываются совершенно неспособны к внутреннему самоопределению и попадают в зависимость от «смыслопроизводителей». Выглядит ли это нелепо? Шельски рассуждает следующим образом. Он разделяет «работников» на «сверхпроизводящих» («*mehrleistende*») и «социально гарантированных» («*sozialgesicherte*»). Рабочие как раз относятся ко вторым. Они выполняют простые, относительно безответственные операции и к тому же включены в систему социальных гарантий, что дает им возможность «не перерабатывать». Эта их спокойная, нормальная жизнь (именно 1975 год стал переломным в ускоренном росте массовой безработицы в ФРГ) возможна именно благодаря тем, кто вынужден «перерабатывать», т. е. в первую очередь руководителям, специалистам и т. п. (сюда, впрочем, добавляются и рабочие, работающие по совместительству в нескольких местах). Но для «перерабатывающих», «сверхпроизводящих» характерны не только более высокие доходы, но и возможность действовать более самостоятельно, ответственно, индивидуально. И это определяет весь их образ жизни, а не только трудовую деятельность. В образе жизни находит продолжение «структура труда», определяющая противоположность «самостоятельных» и «исполняющих»,

⁶⁷ Schelsky. Ibid. S. 172.

причем современная тенденция, по мнению Шельски, состоит в увеличении числа «исполняющих» и уменьшении «самостоятельных». «Исполняющие» ориентированы на чужую заботу и опеку — не только в процессе труда, но и во всем, что с легкой руки уже упомянутого Э. Форстхоффа начало в ФРГ называться «попечением о существовании» («Daseinsvorsorge»), т. е., собственно, социальными гарантиями, куда включаются гарантии на случай болезни, нужды, кризисов и т. д. Эту опеку осуществляют господствующие в обществе группы. Казалось бы, «исполняющие» свободны вне процесса труда: в сфере потребления, распоряжения своим свободным временем и т. д. Но именно здесь они и подпадают под господство тех, кто манипулирует их потреблением, организует их досуг, лечит, учит и развлекает их. «Самостоятельный» человек подвержен этому куда меньше, чем «опекаемый»⁶⁸.

Итак, субъект господства — интеллектуалы. Объект — «исполняющие» работники. Новые формы господства: обучение, опека, планирование. Переключки со взглядами Шумпетера и Гелена очевидна, так что сходства и различия позиций можно не анализировать. Лишь один момент стоит выделить особо. Для Шумпетера происходившие процессы были совершенно объективными. Взгляды интеллектуалов он в основном сводил к их социальному положению и социальной ситуации в целом. При всем фатализме Гелена культурное содержание выполняет у него (в более поздних сочинениях) роль относительно независимой детерминанты в определении интеллектуалов. А у Шельски без соответствующего субъективного этического решения, строго говоря, вообще не возникает само качество господства, не преступается грань между господством и служением. Это более чем усложняет социологические построения, но зато дает возможность говорить о вменении вины. Это тем более важно, что его рассуждения о субъективном решении рефлектирующей элиты заставляют вспомнить более ранние социологические исследования Шельски по проблеме рефлексии и субъективности.

В 1949 году (год образования ФРГ) он опубликовал статью «О стабильности институтов, в особенности конституций», где, опираясь на Гелена и Б. Малиновского, обосновал схему, кочевавшую потом по многим его работам: базовые, «витальные» потребности человека удовлетворяются институтом, этот социальный институт способствует возникновению новых, «выведенных» потребностей, а их удовлетворяет следующий и т. д. (это крайне упрощенное изложение). Стабильность под угрозой, если потребности меняются, а институт нет или, наоборот, при неизменных потребностях изменился институт. Так бывает при социальных потрясениях, в том числе — тема для Германии более чем

⁶⁸ В 1976 году был опубликован сборник публикации Шельски, который так и назывался: «Самостоятельный и опекаемый человек» (*Schelsky H. Der selbständige und der betreute Mensch.* Stuttgart, 1976).

актуальная — при поражении в войне. Что же касается «новых», «выведенных» потребностей, то здесь Шельски имеет в виду в первую очередь духовные потребности современного мышления, находящегося в процессе прогрессирующей рационализации. Оно лишает человека способности действовать наивно, доверяясь основным институциональным идеям. Над идеологиями и программами институтов надстраивается «дополнительный верхний слой критически-аналитических потребностей сознания»⁶⁹. Стабильность институтов зависит от того, удастся ли совместить удовлетворение этих потребностей со способностью институтов мотивировать поведение, необходимое для их функционирования. Тогда Шельски считал, что для этого нужно только, чтобы институты разных уровней взаимно разгружали друг друга: базовые институты будут удовлетворять только базовые, а высшие — «выведенные» потребности. Поддержание общественного равновесия есть высшее благо. Раньше для этого было достаточно тройное разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная). Теперь государство не сможет конституироваться как стабильный институт, если не будет учитывать общественную силу предпринимательства или прессы (характерно, что предприниматели и пресса называются в одном ряду).

Итак, уже во время образования ФРГ критико-аналитическая, рефлексивная установка воспринималась Шельски как угроза социальной стабильности. В 1957 году в статье «Может ли быть институционализирована постоянная рефлексия?» он углубляет исследование этого вопроса на примере религиозной веры. В современном обществе, пишет Шельски, исчезает традиционная форма религиозной веры, тесное переплетение религиозной, социальной и частной жизни в «христианской общине». Этот процесс идет еще от Просвещения, принуждавшего выбирать между рядом небесспорных утверждений. Но, таким образом, исчезло и однозначное отождествление индивидуального Я с определенными истинами. Оно, говорит Шельски, стало «спиритуалистичнее». Вместо внешних гарантов истинности индивид обратился к неисчерпаемым в рефлексии глубинам душевной жизни. Может ли именно это быть институционализировано? Применительно к религии речь идет тут о соединении новой формы веры с общиной и церковью. В политике выясняется вопрос о легитимности (естественной законности) современного государства. Так или иначе, стабильность важнейших институтов ставится под вопрос именно субъективной «спиритуалистичностью». Мы не поймем всю значимость этого вопроса в концепции Шельски, если не учтем, что для него, как и для Гелена, институт — это не спланированная и рационально созданная социальная организация (хотя институт и может возникнуть из организаций).

⁶⁹ Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie der Bundesrepublik. Dusseldorf; Köln. 1965. S. 47.

Институт укоренен глубже, чем планирующая, целеполагающая деятельность человека. По Гелену, институт в его совершенной форме заставляет человека действовать инстинктоподобно, проникает в глубины его сознания и воли, избавляет от необходимости целерационально планировать свои действия, снимает груз исполнения жизненных потребностей. Но главное — он еще освобождает человека от сознания потребности как таковой, делая ее исполнение само собой разумеющимся. Потому-то, говорит Шельски, личность воспринимает как свои истинные потребности, составляющие «смысл жизни», то, что не гарантировано. Институционализуется, т. е. гарантируется, банальное; банально — институционализованное. «Таким образом, и на вопрос, институционализуется ли постоянная рефлексия, можно будет ответить утвердительно и признать этот процесс как таковой, только если имеется — быть может, сомнительное — мужество утверждать, выносить и желать установить надолго „банальность“ своего настоящего»⁷⁰. Получается, что даже возвышенные потребности можно гарантированно удовлетворить лишь в банальной форме.

Применительно к постоянной рефлексии это заключается во внешней регуляции чувств и побуждений людей. Всякому институту присущ некий внутренний нормативный идеал. Между этим нормативным идеалом и «тривиальной стабильностью» института всегда есть напряжение (проявление такого напряжения Шельски называет «призывом наверх»). Внешнее регулирование постоянной рефлексии состоит в том, что именно меркой институционального идеала она измеряет действительность, т. е. субъективность проявляется в стереотипных формах. Итак, внешние опоры духовной жизни исчезли (в смысле привязанности не к идеалам, а именно к реальности институтов). Но тогда возрастание субъективности отдельных индивидов должно препятствовать их взаимодействию и взаимопониманию. Потому-то они так ищут его, стремятся к «истинному пониманию», к диалогу. Возможность ориентироваться на стереотипы обеспечивает взаимопонимание. Принцип диалога выражает своеобразную институционализацию рефлексии. Однако институт укоренен в объективном внешнем мире, он не позволяет оставаться в сфере поисков взаимопонимания, субъективность «выталкивается» обратно, в сферу интимной духовной жизни. Противоречие между непрерывно рефлектирующей субъективностью и современными институтами остается⁷¹. Наконец, в статье Шельски

⁷⁰ Ibid. S. 265.

⁷¹ В 1960 году в статье «Человек и институты» Гелен расценил рассуждения Шельски помимо их парадоксальности как доказательство существования учреждений, «смысл которых состоит в использовании этой подвижности, пестроты, бесполезности и безвредности субъективного» (*Gehlen. Gesamtausgabe. Bd. 7. S. 75*). Применительно,

например, к изобразительному искусству он усматривал «вторичную институционализацию субъективизма» в том, что богатые любители, собиратели, критики, издатели и т. п. создали «возбуждающую среду, в которой буквально каждая человеческая страсть находит свой шанс...» (*Ibid. S. 76*). Замеченная Шельски парадоксальность показывает, что он более глубоко понимал происходящие процессы.

«Значение понятия классов для анализа нашего общества» (1961) мы находим важное положение о «просачивании» социологических теорий в социальную реальность, превращении их в идеологии, служащие самопредставлению общества или больших социальных групп. Так, в ФРГ идеология «бесклассовости» усиливает социальный оптимизм и сама поддерживается им, выступая в качестве фундамента демократизации, ибо без оптимизма нет демократии. Это не мешает Шельски позитивно оценивать конфликтологическую парадигму социологического анализа, предложенную Р. Дарендорфом в 1957 году⁷². Не став пока идеологией, она дает большие возможности для социологического анализа. Но в противоположность Дарендорфу Шельски подчеркивает: «Интеграция и конфликт конституируют не две различные, всякий раз замкнутые в себе структуры нашего общества, но совместно проявляются в каждом структурно важном отношении социальной конституции и всякий раз — специфическим образом»⁷³. Итак, здесь снова говорится, что интеграция чревата конфликтом.

Важен и другой момент. Шельски утверждает, что в современном обществе нет и нельзя постулировать социальные структуры, олицетворяющие потребность человека в свободе, т. е. нет группы, класса и т. п., чья потребность в свободе была бы той самой потребностью, которая свойственна современному человеку как таковому. Напротив, практически все структуры современного общества вытесняют «человека как такового» в это обезличенное, самоотчужденное состояние. «Поэтому пафос освобождения не находит больше конкретного противника, но должен направляться просто против насилия общества над „человеком“»⁷⁴. Сопоставим это с утверждением Гелена, что определенного классового противника нет именно у интеллектуалов. Тогда здесь нетрудно выстроить цепочку: интеллектуал — субъективность — критическая рефлексия — совокупная антиинституциональная ориентация. Получается, что именно ситуацию интеллектуала Шельски описывал как положение современного человека.

В противоположность расхожему мнению, что Шельски в своих социологических сочинениях с самого начала специализировался на разыскании стабильных структур, мы обнаруживаем у него явное предощущение грядущего конфликта, а истоки этого конфликта обнаруживаются в напряженном взаимодействии со стабильными институтами критически-рефлектирующей субъективности, которая хотя и описывается как свойство современного человека вообще, но социологически может быть зафиксирована только как нечетко очерченная группа интеллектуалов. Подтверждение нашей точки зрения мы находим у известного западногерманского социолога В. Липпа, участника

⁷² Dahrendorf R. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. Stuttgart, 1957. ⁷³ Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. S. 378.

⁷⁴ Ibid. S. 384.

мемориального сборника «Хельмут Шельски — социолог в Федеративной Республике». По мнению Липпа, Шельски был «социологом свободы». В период, к которому относятся цитированные нами статьи, первоначальный порыв, связанный с восстановлением страны после войны, уже иссяк. Упрочились и утвердились новые структуры: бюрократия, техника, автоматизация, средства массовой коммуникации, система социальных гарантий. Тогда в США Д. Белл с удовлетворением говорил о «конце идеологии», а в ФРГ А. Гелен — о «конце истории» и «культурной кристаллизации», означавшей окончательное отвержение всех основных структур. Именно в них искал Шельски место и возможность свободы — и находил ее в неконформистской установке по отношению к обществу, в уединении, в институционализации постоянной рефлексии. И тут он оказывался ближе не к Гелену и даже не к Дарендорфу (с его знаменитыми дистинкциями в «Человеке социологическом»⁷⁵), а к Хабермасу и всей Франкфуртской школе. По Липпу, соответствующий понятийный аппарат он пытался в начале 70-х годов использовать для контакта с левым студенческим движением. Но в отличие от франкфуртцев он оставался институционалистом. «Шельски не нравилось у Гелена не только то обстоятельство, что у того слишком мало оставалось места движению рефлексии, поискам смысла отдельным человеком и свободе субъекта. Прежде всего, Шельски не мог согласиться, что цельные „истинные“ институты были только в прошлом и даже только в архаическую эпоху развития человечества, а в настоящем надо констатировать их „отсутствие“»⁷⁶. Но, отказываясь видеть, как Гелен, только упадок в современных институтах, теоретически осмыслить реально происходившие процессы упадка он не смог и потому под конец впал, подобно Гелену, в культур-критические ламентации. Не все обстояло гладко и с постижением субъективного. По Липпу, антиинституциональное поведение Шельски понимает трагическим образом: оно не только оказывается виноватым перед существующими институтами, но и не имеет гарантий новой институциональной целесообразности, «и в конце концов даже там, где подчеркивается диалог, дискуссия, аргументация, обстоятельства оказываются против него»⁷⁷. Правда, Липп, как нам кажется, переоценивает склонность Шельски сводить баланс институционального и субъективного в пользу последнего. Дело не в одном институционализме Шельски, но и в том, что он чувствовал себя тысячью нитей привязанным именно к данным, не без его участия созданным институтам ФРГ именно как гарантам индивидуальной свободы.

⁷⁵ Dahrendorf H. Homo sociologicus. 3. Aufl. Köln, 1961.

Bundesrepublik: Eine Gedächtnisschrift von Freunden, Kollegen und Schülern / Hrsgg. v. H. Baier. Stuttgart, 1986. S. 87.

⁷⁶ Lipp W. Institution, Reflexion und Wahrheit — Wege in Widersprüche. Helmut Schelskys Institutionenlehre // Helmut Schelsky — ein Soziologe in der

⁷⁷ Ibid. S. 92.

Итак, в те годы, когда Гелен сочувственно-социологически говорил о трудностях интеллигенции, Шельски не без тревоги писал о напряженном отношении между критической рефлексией и стабильностью институтов. Когда Гелен клеймил разбушевавшуюся субъективность, Шельски рассуждал о том, что рефлексия (в предельном социальном осуществлении — «элита рефлексии», интеллектуалы) грозит опрокинуть самые условия своего существования. Еще со времени классического немецкого идеализма, говорит Шельски, техника рефлексии состояла в том, что обращение мышления на себя самое служило оценке социальных отношений с точки зрения несомненных целей. Для нынешней рефлектирующей элиты эти ценности суть «посюстороннее спасение», «окончательная эмансипация всего общества» и т. п. При этом она стремится «монополизировать рациональность», выдает свое знание за высшее, интегральное знание, рациональность как таковую, снимающую ограниченность других родов знания. Недаром Шельски недобрым словом поминает немецкую традицию ставить разум выше рассудка, а ценностную рациональность — выше целевой.

Рассуждая о видах знания, Шельски целит в Юргена Хабермаса. Он напоминает о знаменитом членении знания у М. Шелера на знание ради господства (практического овладения миром), знание ради образования (внутреннего саморазвертывания личности) и знание спасения (участия личности в божественной мирооснове). Отдавая приоритет «эмансипаторному знанию» (знанию, позволяющему человеку эмансипировать себя и общество), Хабермас, говорит Шельски, делает выбор в пользу знания ради спасения. Культивирование «интимно-личностного» развития, наряду с принципом диалога, обговаривания, критического переосмысления, — это буржуазно-либеральный идеал. И поскольку по ранней книге Хабермаса об общественном мнении «Структурные изменения общественности»⁷⁸ можно было судить о его либеральной установке, она встретила позитивное отношение Шельски. Но когда критика локальная превратилась, как решил Шельски, в критику тотальную, а субъективность вышла за пределы частной жизни и стала меркой для этой тотальной критики, она перестала быть той непосредственной личностной субъективностью, которая предполагается в буржуазно-гуманистической традиции.

Вообще, в такой критике все близкое, знакомое, сподручное отвергается в пользу постулированных идеалов, многие из которых суть недопустимая экстраполяция этого близкого и знакомого. Именно так — вслед за Геленом — трактует Шельски и утопический идеал «большой семьи», который выдвигают «новые левые», отвергая реальную семью как обитель частной жизни. За конкретными обвинениями Шельски скрывается, однако, очень сложный вопрос: существует ли

⁷⁸ Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darmstadt, 1962.

еще в современном обществе (а для Шельски это в первую очередь западногерманское общество) инстанция, которая была бы компетентна «мыслить всеобщее». Это не сугубо философский вопрос. Это совершенно конкретная проблема. Если известно, что любое профессиональное знание локализовано границами своего предмета, то естественны поиски тех, кто мог бы познавать (и нести ответственность) за общество в целом. Это должны быть люди, не только не ограниченные узкими профессиональными воззрениями, но и узким классовым или групповым интересом. Неоднократно предпринимались попытки увидеть в этой роли суверена или работников государственного аппарата. Так было и в Германии в эпоху строго иерархического деления общества. Тогда предполагалось, что верхушка общества, помимо частного «верхушечного» интереса, желает сохранения и процветания всего общества.

Но одновременно существовала и другая традиция — традиция «общественного мнения», «общественности» или (в формулировке А. Вебера и К. Маннгейма) «свободно парящей интеллигенции». Здесь и возникает своеобразное родство-противостояние интеллигенции и бюрократии. Если Шумпетер и Гелен преимущественно обращали внимание на сродство претензий интеллектуалов и иерархической структуры общества, то Шельски больше заинтересован не тем высшим слоем управляющих, о которых Шумпетер пишет, что они имеют «добуржуазное» происхождение, а судьбами «образованной буржуазии» и «буржуазной образованности». Либеральное государство в Германии, пишет Шельски, возникло благодаря образованным чиновникам. «Этот слой „слуг государства“ жил *этосом служения*, который налагал на них такие же обязательства по отношению к объективности, как и по отношению к основанной на автономии совести идеалистической нравственности»⁷⁹. Конечно, это касается только нормативных представлений. В жизни играли свою роль и другие соображения. Однако характерно, что именно из этого слоя вышли и М. Вебер, и Ф. Лассаль, и О. Бисмарк, и А. Швейцер. Даже нацистский режим не смог бы существовать, не сумей он использовать это самое стремление чиновников служить «объективно необходимому». И в то же самое время именно этот слой дал наиболее решительных борцов с нацизмом внутри Германии, полагает Шельски. С этим же слоем он связывает и послевоенное возрождение. Историческое значение этого слоя состоит в том, что он соединяет, опосредует «практически ориентированную функциональность» и следование «буржуазно-гуманистическим» идеалам. Основным институтом, объединяющим и опосредующим оба этих момента, является немецкий университет в том виде, как он был основан В. фон Гумбольдтом. Ныне же, продолжает Шельски, именно это «стабилизированное напряжение» между, с одной стороны, индивидуально-нормативной нравственностью, а с другой — развитием и общественным приложением

⁷⁹ Schelsky. Die Arbeit tun die Anderen. S. 113.

функционального знания находится в процессе разрушения. Кризис образования, неспособного соединить передачу функциональных знаний с нравственно-гуманистическим воспитанием, кризис университета, ставшего базой возникновения среди студентов преимущественно гуманитарных (т.е., в свою очередь, лишенных «функциональных знаний» и соответствующих установок) специальностей тех самых тенденций, которые Шельски определил как «новую религию спасения», — все это Шельски рассматривает в связи с соответствующими изменениями и в аппарате управления. «В наши дни давно уже отказались от сопряженных с „государственной службой“ обязательств, предусматривавших свободное от господства и нейтральное по отношению к партиям служение общему благу в рамках основной политической конституции общества, в которой воздают должное личным усилиям (Leistungen)»⁸⁰. У этого отказа есть две стороны. С одной стороны, появилась возможность эксплуатировать готовность к служению, которая сохраняется у «образованного слоя». Подчиняясь политикам, которых больше интересует успех на выборах, чем общее благо; подчиняясь «макиавелистской господствующей клике», какая была в нацистской Германии, «он служит целям, за которые, исходя из своих просвещенчески-нравственных высших целей, отвечать не может»⁸¹. С другой стороны, именно этот опыт приводит к тому, что данный слой «чувствует обязанность политически „ангажироваться“, т.е. самому стремиться к политическому господству», отказаться от „свободы от господства“»⁸². Однако в целом Шельски считает теперь естественной враждебность «социально-религиозной элиты» всем техникам, инженерам, управляющим — всем, кто имеет дело с объективными закономерностями, с «давлением обстоятельств». Никакого настоящего развития идея о том, что — им же самим описанная — моральная деградация государственного аппарата и превращение университетского профессора из «слуги государства» в «социал-религиозного проповедника» представляет собой двуединый процесс, у него не получает. Зато много и подробно говорится о том, что современный престиж образования не имеет под собой реальной почвы и что это пережиток тех времен, когда оно соединяло в себе нравственный, институциональный и функциональный моменты.

Таким образом, легко ощутить у Шельски ту же тоску по какому-то большому, выходящим за круг обыденного существования и даже принципиально трансцендирующим его целям, которую он находит у своих сограждан. Шельски соглашается с Геленом, что целей таких на самом деле нет. Значит, все построения новой «рефлектирующей элиты» ложны. Но тоска по ним есть — оттого-то есть социальный базис, поддающиеся внушению интеллектуалов-проповедников

⁸⁰ Ibid. S. 124.⁸² Ibid.⁸¹ Ibid.

люди (в 1979 году Шельски написал целую книгу, посвященную критике одного из таких интеллектуалов — Э. Блоха⁸³; в специальном ее разделе «Община Блоха» он рисует «социальный портрет» его последователей, людей, не находящих утешения в круге наличного существования). Гелен и Шельски отрицают не только конкретные цели и аргументацию левого молодежного движения в ФРГ, его идеологов и «симпатизантов», но всякую, как мы уже сказали раньше, претензию на высшую, «интегральную» рациональность вообще. У них очень печальный опыт. Оба автора сильно обожглись на молодежном движении и порожденном им младоконсерватизме. Только у Гелена в последний период его творчества этатизм вытеснил либерализм, так что Шельски, остававшийся убежденным либералом, достаточно резко критиковал его в своих поздних работах. В приложении ко второму изданию книги «Работу делают другие», отвечая на критику, Шельски с сожалением отмечал, что до сих пор еще не исследован вопрос: не есть ли в ФРГ, как и в США, классический либерализм единственно возможная форма консерватизма?

Многое говорит за то, что Шельски показывает нам проблему именно в праволиберальной перспективе. Правильно расставить акценты и, быть может, еще сильнее приблизиться к социальной реальности ФРГ нам поможет одно из острейших выступлений Шельски. Шельски — социолог ФРГ по преимуществу — дополняет свое теоретическое исследование «персональными делами» наиболее характерных, но его мнению, представителей «нового клира». В книге «Работу делают другие» таких «дел» три: знаменитого психоаналитика А. Мичерлиха; крупного иллюстрированного еженедельника «Шпигель» и его издателя Р. Аугштайна, а также Нобелевского лауреата писателя Г. Бёлля («дело» Э. Блоха, как мы уже говорили, разрослось до целой книги).

Проиллюстрируем его подход именно «делом Бёлля». Бёлль был не только писателем, но и публицистом. В начале 70-х годов темой его публицистики неоднократно становились террористы, в том числе и знаменитая группа Баадера — Майнхоф. Бёлль принадлежал к тем «симпатизантам», кто смещал общественное мнение в сторону сочувственно-терпимого отношения к «гонимым», «жертвам системы». Но политические просчеты Бёлля образуют не основной, а вспомогательный материал для Шельски. Шельски отнюдь не инкриминирует возникновение или развитие терроризма критикуемым интеллектуалам. «Не философия мнимых радикалов „Франкфуртской школы“ или „левых писателей“ является причиной анархистского террора Баадера — Майнхоф, но беспомощно упущенные всеми демократическими партиями Федеративной республики духовные тенденции в университетах. О том, что там происходило, Бёлль и другие писатели подозревали столь

⁸³ Schelsky H. Die Hoffnung Blochs: Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten. Stuttgart, 1979.

же мало, сколь и депутаты всех партий бундестага»⁸⁴. Шельски специально подчеркивает, что крупные «левые» теоретики (Маркузе, Негт) и писатели (Йенс, Вальраф) отмежевались от терроризма. Он явно предчувствовал реакцию, подобную упрекам Р. Аугштайна, заявившего после выхода книги, что Шельски ставит интеллектуалов на одну доску с террористами и призывает к вмешательству государство. Но этого у Шельски нет: «Террористы, такие как банда Баадер—Майнхоф, именно благодаря применению физического насилия исключаются из группы смыслопроизводителей и посредников смысла, которые были предметом моего исследования»⁸⁵. Шельски как социолога интересует специфика той «публичности», в которой Бёлль с большой энергией, бросая на чашу весов весь свой писательский авторитет, проводил свои мнения. Как мы видели, Шельски совмещает в своей книге два подхода: от «жреческого» и от «классового» господства. Соответственно этому исследование о «Шпигеле» акцентирует «классовый» аспект и называется «Шпигель. Боевой листок классовой борьбы», а исследование о Бёлле — «жреческий»: «Бёлль — кардинал и мученик». Это не мешало ему и в случае с Бёллем начать с «классовых» аналогий, заявив, что Бёлль борется за обладание и господство над средством производства, называемым «публичность». В доказательство Шельски приводит заявления Бёлля о консерватизме мелкой провинциальной печати в ФРГ. Для Шельски это свидетельство того, что концентрация средств массовой информации Бёлля не раздражает как таковая. Критикуя крупные газетные концерны, он имеет в виду лишь Шпрингера, но не Аугштайна, а критики теле- и радиокорпораций у него вообще нет. Бёлль критикует печально известную шпрингеровскую газету «Бильд», но он не учитывает, говорит Шельски, что ввести контроль на свободном рынке печатной продукции очень трудно. Если Бёлль спрашивает, кто притянет к ответу «Бильд», то Шельски, соглашаясь с ним по существу вопроса, спрашивает все же: а кто притянет к ответу самого Бёлля? Не только «Бильд» распространяет ложную информацию. То же делал и Бёлль, защищая террористов (что сам потом и признал, не указав, правда, в чем именно он искажил или передал ложную информацию).

Натолкнувшись на резкую публичную критику, Бёлль, продолжает Шельски, использовал ее, чтобы окружить себя ореолом мученичества. Критику любого рода он называл «фашистской травлей интеллектуалов». Шельски цитирует многочисленные заявления Бёлля, что тот не может жить в «этой стране» (ФРГ), не может работать в атмосфере травли. Не сомневаясь в искренности его слов, Шельски, однако, замечает, что Бёлль охотно использует возможность «публичных страданий» «в стремлении оставаться в центре событий»⁸⁶. Мы видим,

⁸⁴ Schelsky. Die Arbeit tun die Anderen. S. 356.

⁸⁶ Ibid. S. 359.

⁸⁵ Ibid. S. 433.

что Шельски снова и снова возвращается к мысли о независимой моральной инстанции, способе ее конституирования и силе воздействия, о любопытных преобразованиях универсалистской этики в руках тех, кто претендует на исключительное ее представительство. Здесь Шельски «побивает» Бёлля его же собственным универсализмом. «Но есть еще одна сторона, которую я нахожу достойной презрения,— пишет он почти сразу вслед за тем высказыванием, которым мы оборвали наше предшествующее изложение.— Тот самый Бёль, который жалуется, что невозможно духовно работать в обстановке постоянных гонений, который чувствует себя преданным, который хочет покинуть страну и т. д., этот самый Бёль не тратит ни единой мысли или фразы по поводу того, что в этой стране есть немалая группа духовно работающих, которых три или четыре года постоянно подвергают гонениям, оскорбляют, оплеывают, жены которых подвергаются угрозам и оскорблениям, по отношению к которым сознательно применяется настоящий „психотеррор“, а нередко и физическое насилие; он, кажется, не знает, что этими методами некоторые из них были доведены до самоубийства или тяжелых заболеваний; он не хочет видеть, что „эту страну“ давно уже покинул ряд людей, чтобы иметь возможность снова духовно трудиться. Конечно, это были не писатели, но ученые, а немецкие университеты для Бёлля — на Луне»⁸⁷.

Противоречивую книгу Шельски можно правильно понять, только если оценивать все его содержательные высказывания с точки зрения его же высказываний теоретических. Из теоретических высказываний должно следовать, что не только «левая», но и «правая» пресса относится к органам «смыслопроизводства». А политические симпатии Шельски заставляют его почти исключительно критиковать «левых». Тогда понятно, почему он говорит, что Бёль и «Шпигель» борются со Шпрингером за власть. С другой же стороны, «виновны» в господстве только гуманистически-универсалистски настроенные «смыслопроизводители». Тогда понятна критика именно «левых». Понятно и утверждение Шельски, что «Шпигель» представляет «новый класс», а Шпрингер и его «Бильд» — старый, капиталистический. Интерес же Шельски направлен именно на этот новый класс — вот он его и критикует. А вот как соединились эти две оценки на страницах одной книги, ответить труднее.

Определенный свет на эту проблему может пролить критика и антикритика Шельски. При том что позиция его вообще не отличается ясностью, понимания она встретила еще меньше, чем заслуживала. Достаточно сказать, что сам Шельски заключил свою книгу выражением опасения, что понята она будет как «травля интеллектуалов». Так и случилось, и даже Хабермас не удержался от этого ярлыка. Впрочем, тот же Хабермас приводит поистине убийственные замечания

⁸⁷ Ibid.

Р.Левенталья о «трех ложных отождествлениях», на которых базируется Шельски: 1) отождествление «общественного сектора» и класса; 2) отождествление влияния и власти и 3) отождествление необходимо кратковременного эсхатологически-хилиастического притязания веры и религии, способной к долговременному влиянию на обыденную жизнь общества⁸⁸. Хабермас к тому же называет среди истоков неоконсервативной критики «нового класса» не только идеологические клише времен процесса Дрейфуса. Он указывает и на реальные тенденции в обществе: например, на увеличение доли «академических профессий», повышение роли системы науки и воспитания. Шельски же пишет лишь о небольшом круге людей, создавая конструкцию, которая соответствует «разве что самим неоконсервативным интеллектуалам». Но, подобно Шельски, Хабермас указывает и на важную роль кризиса в системе образования. Реформа образования проходила действительно под влиянием леволиберальных установок, но из ее во многом непредвиденных последствий неоконсерваторы сделали вывод о разрушительных культур-революционных намерениях интеллектуалов, объединяя критику общества, левый терроризм и систему образования в одну «фатальную связь».

Среди теоретиков, более позитивно относящихся к Шельски, его теоретическая конструкция тоже не нашла особого сочувствия. Уже цитированный М.Пришинг полагает, что определение интеллектуалов как элиты рефлексии приводит Шельски к порочному кругу, а в понятии «нового класса» он просто противоречит себе, ибо с ним плохо совместимы определения, близкие к понятию «свободно парящей интеллигенции». Издателя, редактора, леворадикального студента и профессора объединяет только то, что они воздействуют на общественное сознание. Но нельзя — здесь Пришинг совпадает с Левенталем — путать влияние и власть. Нельзя, продолжает он, не учитывать различий между «левыми» обществоведами, нельзя отождествлять их с обществоведами вообще, а тех — с интеллектуалами как таковыми. Нельзя забывать, что аппарат информации и социализации в ФРГ имеет скорее либерально-консервативный, чем «левый», характер. Впрочем, соавтор Пришинга по мемориальному сборнику Х.Зайдль более свободно использует соответствующие понятия. Хотя он (как и многие сочувствующие Шельски авторы) склонен видеть в «господстве смыслопроизводителей» временный феномен, сильно переоцененный Шельски в смысле значимости и долговременности, он видит в этих понятиях иную, «практическую» пользу. «Теперь каждому глупому университетскому кривляке или лодырю можно возразить, что сам-то он — смыслопроизводитель; можно классифицировать всякого болтуна, который еще и не разговаривал в своей жизни с рабочим и уж тем более не занимался ручным трудом,

⁸⁸ Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darmstadt, 1962. S. 46.

но захлебываясь говорит об угнетении как члена эксплуататорского класса элиты рефлексии...» и т.д.⁸⁹ То, что так наивно высказывает Зайдль, действительно нашло применение у неоконсервативных идеологов. С точки зрения возможности такого применения Шельски и критиковали чаще всего, он же отвечал, что оценивают не содержание, а воздействие книги.

Легко заметить, что все такого рода возражения часто бьют мимо цели. С самого начала было ясно, что большинство построений Шельски относительно «классовой борьбы» нельзя понимать совершенно буквально. Точно так же и его высказывания о леворадикальном движении суть лишь моменты более обширного построения, так и не подвергнутого соответствующей критике. Но самой непредсказуемой оказалась реакция Г. Бёлля, постаравшегося стать выше личных обид. Бёллер предложил рассмотреть ту объективную тенденцию, в результате которой разрушились общезначимые авторитеты, а их место заступили «относительно ненадежные силы»: писатель, да и вообще интеллектуалы. «То, что общественность, общество и даже государство,— писал Бёллер,— не порождает больше чувствительно функционирующей моральной инстанции... это я нахожу гораздо более беспокояющим...»⁹⁰ Если для Шельски Бёллер слишком уж объективистски смотрит на вещи и потому напрасно не ощущает своей вины в происходящем, то главное для него все-таки в другом: в современных условиях всякий, кто начинает ориентироваться на средства массовой информации, будь то писатель или ученый, создавший общедоступный бестселлер, не может избежать и сопряженных с этим опасностей. Ему навязывают ту самую роль, которую Бёллер так болезненно воспринимает. «Что можно противопоставить этому? На это есть лишь один последовательный ответ: *молчание* в этого рода средствах коммуникации...» На такое молчание Шельски выражал готовность обречь и себя.

Воспринимая Шельски как теоретика правых партий, Бёллер задавал вопрос, откуда такая пропасть между интеллектуалами и хдс? Для Шельски это лишнее свидетельство того, что для Бёлля писатели — политическая сила, это основная ошибка политической позиции писателя. И отсюда же, говорит Шельски, ошибочное мнение о моей книге, будто я снова пишу о противоречии между «духом» и «властью». «Я хочу высказать это ясно: я сожалею как раз о тождестве „духа“ и власти в современной ситуации Федеративной Республики, ибо это уводит „дух“... на партийно-политические фронты власти, которые он затем пытается реализовать как свои собственные. Противоположность „смыслопроизводителей“, вскрывшаяся в Федеративной Республике, состоит в отношении *литературы и науки*. Почему господин Бёллер усматривает

⁸⁹ Seidl Chr. Das Glück braucht keinen Vormund // ⁹⁰ Schelsky. Die Arbeit tun die Anderen. S. 434.
Helmut Schelsky als Soziologe und politischer Denker. S. 108–109.

оппонента по диалогу в хдс?.. Потому что он в своем общественном воздействии ставит себя на этот уровень. Почему не хочет он, что касается „другой стороны“, войти в диалог с такими философами, как Гелен или Люббе, такими политологами, как Хеннис или Кальтенбруннер, или такими социологами, как Альберт или Луман? В опасности — не „общественное мнение“, но его духовно продуктивным истокам в литературе и науке по ту сторону партийно-политических или „соотнесенных с властью“ идентификаций угрожает ныне в Федеративной Республике опасность взаимонепонимания. Здесь корень поляризации»⁹¹.

Практических результатов это предложение не имело. Дискуссия, несмотря на всю ее интенсивность, выдохлась довольно быстро. Идеологическая составляющая оказалась важнее научной. В академической среде не только идеи позднего Шельски, но и самое имя его упоминаются крайне редко. Антисоциология не стала новым проектом, представление об интеллектуалах как новом клире не превратилось в базовую метафору социологических исследований. Ее отзвуки можно найти в некоторых важных, влиятельных социологических трудах последующих десятилетий. Вряд ли знаменитая книга Зигмунта Баумана о законодателях и интерпретаторах создавалась без влияния той постановки вопроса, эволюцию которой мы сейчас проследили. Вряд ли можно правильно понять весь большой проект социологии А. Гидденса, в которой проблематика доверия ставится в связи с «онтологической потребностью в безопасности», если не иметь в виду рассуждения Шельски о манипуляциях потребностью в спасении. Вся социология риска У. Бека возникла из того различия между «знанием из первых рук» и вторичным знанием, которое так много значит для антропологически фундированной социологии интеллигенции. Однако все это именно большие социологические проекты. Социология интеллигенции в том виде, какой она приняла в середине 70-х годов, безусловно, потерпела неудачу. Можно предположить, что эта неудача связана с самой природой этой социологии, которая не могла быть ничем иным, кроме как социологической самокритикой интеллектуалов, к которой они не имели ни желания, ни способности.

⁹¹ Schelsky. Die Arbeit tun die Anderen. S. 439.

Литература

- Бевлен, Т. Теория праздного класса. М., 1984.
- Bering D. Die Intellektuellen: Geschichte eines Schimpfwortes. Stuttgart, 1978.
- Dahrendorf R. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. Stuttgart, 1957.
- Dahrendorf H. Homo sociologicus. 3. Aufl. Köln, 1961.
- Dahrendorf R. Suche nach Wirklichkeit: Nachruf auf einen bedeutenden Soziologen // Zeit. 1984. 3. März.
- Gehlen A. Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt. 3. Aufl. H., 1944.
- Gehlen A. Moral und Hypermoral. Frankfurt a. M., 1969.
- Gehlen A. Einblicke. Frankfurt a. M., 1976.
- Gehlen A. Gesamtausgabe. Bd. 7 / Hrsgg. V. K.-S. Rehberg. Frankfurt a. M., 1978.
- Freyer H. Die Revolution von rechts. Jena, 1931.
- Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darmstadt, 1962.
- Habermas J. Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt a. M., 1985.
- Hayek F.A. Studies in philosophy, politics and economics. L., 1967.
- Lipp W. Institution, Reflexion und Wahrheit — Wege in Widersprüche. Helmut Schelskys Institutionenlehre // Helmut Schelsky — ein Soziologe in der Bundesrepublik: Eine Gedächtnisschrift von Freunden. Kollegen und Schülern / Hrsgg. v. H. Baier. Stuttgart, 1986.
- Prisching M. Soziologische Anti-Soziologie: Eine kritische Übersicht über die Arbeiten Helmut Schelskys // Helmut Schelsky als Soziologe und politischer Denker: Grazer Gedächtnisschrift zum Andenken an den am 24. Februar 1984 verstorbenen Gelehrten / Hrsg. O. Weinberger, W. Krawietz. Stuttgart, 1985.
- Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie der Bundesrepublik. Dusseldorf; Köln. 1965.
- Schelsky H. Die Arbeit tun die Anderen: Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. 2. Aufl. Opladen, 1975.
- Schelsky H. Die Hoffnung Blochs: Kritik der marxistischen Existenzphilosophie eines Jugendbewegten. Stuttgart, 1979.
- Schelsky H. Zur Entstehungsgeschichte der bundesdeutschen Soziologie: Ein Brief an Rainer Lepsius // Kölner Ztschr. Soziol. und Sozialpsychol. 1980. Jg. 32, H. 3.
- Schelsky H. Der selbständige und der betreute Mensch. Stuttgart, 1976.
- Schelsky H. Rückblicke eines «Anti-Soziologen». Opladen, 1981.
- Schumpeter J. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Bern, 1946.
- Seidl Chr. Das Glück braucht keinen Vormund // Helmut Schelsky als Soziologe und politischer Denker.

Олеся Кирчик

ПЬЕР БУРДЬЕ ¹

Анализ интеллектуальной практики и шире символического производства образует одну из смысловых осей социологической рефлексии Пьера Бурдьё. Вокруг нее группировался анализ таких разных предметных областей, как образование и наука, литература и искусство, политика и масс-медиа.

Несмотря на «вездесущность» этой проблематики, Бурдьё избегает четкого определения понятия «интеллектуал». Поскольку вопрос о том, «кто интеллектуал, а кто нет, кто „истинный“ интеллектуал, в чем проявляется истинная сущность интеллектуала», — объективно неразрешим ². Решение этого вопроса является одной из основных ставок в борьбе за «власть над умами», разворачивающейся между интеллектуалами. Таким образом, сам факт критической рефлексии над полем интеллектуального производства, в соответствии с его теорией, помещает субъекта этой рефлексии в указанную борьбу, в которую на публично-политическом уровне Бурдьё включается в 1990-е годы в качестве одной из ключевых фигур интеллектуальной жизни Франции.

Предметом того, что можно назвать *социологией интеллектуалов* Пьера Бурдьё, является рассмотрение функций интеллектуалов и рефлексия над социальными условиями интеллектуальной практики. Ее связанная реконструкция затрудняется тем, что, не существуя в виде законченной теории, она скорее вычитывается из отдельных статей и книг, рассматривающих функционирование различных сфер культурного производства (научного, журналистского, литературного и др.), а также из работ, посвященных проблемам господства и воспроизводства социального порядка, наконец, из многочисленных лекций и интервью социолога, затрагивающих напрямую проблемы отношений интеллектуалов и власти. Цельное восприятие затрудняется также тем, что его установки, в частности, в отношении форм политического участия интеллектуалов, претерпели с течением времени довольно существенное изменение. Однако наиболее существенные моменты его концепции, окончательно оформившейся к 1990-м годам, проявились уже в его первых работах.

Свои основные позиции в борьбе за определение *подлинно* интеллектуальной практики он обозначает в одной из ранних статей,

¹ Автор приносит благодарность А.Т. Бикбову и Н.А. Шматко за ценные советы, данные при подготовке данной статьи. ² Bourdieu, 1994 (1987), 213.

написанной в соавторстве с Ж.-К.Пассероном, под названием «Социологи мифологий и мифологии социологий»³. В этой полемической статье он резко критикует характерную для французской традиции фигуру интеллектуала-эссеиста — философа или писателя, выдающего «пророчества» относительно предметов, с которыми знаком понаслышке, и противопоставляет ей фигуру интеллектуала-исследователя, отчасти напоминающего «специфического интеллектуала» Фуко, чьи притязания на истину обеспечены строгим научным методом⁴. В дальнейшем Бурдье будет постоянно возвращаться к критике «эссеизма» и «журнализма». Его главной мишенью станут те, кого он называл «философами», узурпирующие право говорить о любом предмете от имени социально признанной компетенции, чаще всего не обеспеченной техническими знаниями⁵. Наконец, в 1990-е годы Бурдье объявляет войну новому типу интеллектуала, созданному масс-медиа и для масс-медиа, которого он называет «медиатическим интеллектуалом». Под видом истин, по Бурдье, эти «ложные интеллектуалы», или «специалисты по общим местам», в действительности транслируют банальные, усвоенные всеми идеи, составляющие господствующую точку зрения, или доксу.

Интеллектуальный проект Бурдье становится понятнее, если принимать в расчет его установку на радикальную социальную критику, которая и должна составлять основную функцию интеллектуалов. Соответственно, главную задачу социологии он видел в разоблачении любых форм господства, эффективность которых покоится на незнании и неузнавании их объективных механизмов и на признании их легитимности со стороны доминируемых. Если Бурдье нередко ставил интеллектуалам «неудобные вопросы» (и они, как правило, отвечали ему взаимностью), то по причине того, что признавал за ними огромную власть — «заставить видеть или верить, пролить свет, сделать эксплицитным, объективированным опыт, в большей или меньшей степени спутанный, неясный, несформулированный»⁶. Эту власть они могут поставить на службу господствующим, но также подчиненным в социальном поле. Констатируя фундаментальное значение культурного в широком смысле производства в политической борьбе, он отмечал, что сами культурные производители, и в частности интеллектуалы, остаются вне критики, поскольку те, кто *делегуирует* им право суждения о социальном мире, не обладают необходимыми средствами для этой критики, а те, кто пользуется этим правом, сами в ней не заинтересованы в

³ Bourdieu P., Passeron J.-C., 1963.

⁴ Данная оппозиция на эпистемологическом уровне выражает оппозицию между дедукцией и индукцией, «чистым» теоретизированием и обобщением на основе эмпирического наблюдения. Первое неизменно оказывалось у Бурдье под подозрением в схоластике, догматизме, консерва-

тизме. Наконец, данная оппозиция передает его стремление утвердить дисциплинарную автономию социологии по отношению к философии.

⁵ См., к примеру: Бурдье, 1993 (1980); Bourdieu, 1984b, 72–74.

⁶ Bourdieu, 1994 (1987), 217.

силу защиты корпоративных интересов⁷. По этой причине Бурдьё был склонен придавать особую важность анализу социальных условий, в которых это делегирование осуществляется и используется.

Бурдьё стремился понять *экономии* символических феноменов и изучать специфическую логику производства и обращения культурных благ, избегая при этом некритического переноса экономических концептов в сферу культуры. В данном обзоре речь пойдет об основных теоретических инструментах социоанализа Бурдьё, среди которых такие понятия, как «символическое насилие» и «символическая революция», «поле» и «капитал», «автономия» полей культурного, или символического, производства. Наконец, будет рассмотрена специфическая концепция «ангажированности» и «коллективного интеллектуала» Бурдьё, при помощи которых он пытался решить ключевой для послевоенной французской мысли вопрос об отношениях интеллектуалов и власти. Мы предлагаем пользоваться этим «ящичком с инструментами» недогматически, так, как это делал сам Бурдьё, избегавший широких обобщений и предпочитавший выстраивать объект исследования при помощи конкретных операций исходя из специфических свойств универсума, ставшего объектом его социологической рефлексии.

Символическое насилие и символический капитал: интеллектуалы в структуре господства

Вслед за Вебером Бурдьё приписывал фундаментальное значение тому измерению господства, которое он называет *символической властью*, состоящей в способности поддерживать веру в естественность и непреложность социального порядка, закона, действующих классификаций и иерархий. Этой властью в высшей степени наделены лица и инстанции, уполномоченные говорить от лица государства, имеющего монополию на *легитимное символическое насилие*. В ряде работ от «Производства господствующего дискурса» до «Что означает говорить»⁸ Бурдьё анализирует производство и функционирование «господствующего дискурса», обладающего перформативной властью создавать группы, присваивать идентичности через официальные государственные классификации, различные формы исключения и посвящения (дипломы об образовании, удостоверения и т. д.)⁹. Символическая власть, по Бурдьё, есть в буквальном смысле власть создания мира (*world making*).

Однако государство не имеет абсолютной монополии на производство представлений о социальном мире. Как указывает Бурдьё, в действительности в обществе всегда существует конфликт между различными символическими властями, одной из которых являются

⁷ Bourdieu, 1984b, 63.

⁸ Bourdieu, 1976; Bourdieu, 1982.

⁹ Более подробно о понятии «символическая власть» см. статью «Социальное пространство и символическая власть» (1986) в: Бурдьё, 2005.

интеллектуалы¹⁰. Подобно тому как у Макса Вебера специализированный корпус священников узурпирует «легитимную монополию на средства спасения», интеллектуалы, по Бурдьё, в процессе углубления разделения (идеологического) труда получают «монополию на производство дискурса о социальном мире»¹¹. Интеллектуалы являются специализированными производителями символических благ («на полной ставке»), обладающими властью «учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира... а значит, и сам мир»¹². Иными словами, интеллектуала отличает обладание символической властью, покоящейся на социально признанном научном авторитете или культурной легитимности, т. е. на праве публичного высказывания от имени Науки или Искусства.

В силу этой специфической компетенции культурные производители потенциально способны производить «символические революции», которые только и являются истинными революциями: чтобы изменить мир, необходимо изменить ментальные схемы его восприятия и оценивания. Так, по Бурдьё, борьба сторонников Просвещения в XVIII веке была той символической революцией, которая сделала возможной спустя несколько десятилетий политическую революцию во Франции.

Однако большинство интеллектуалов не склонны напрямую вмешиваться в политическую борьбу или производить критический пересмотр оснований социального порядка. Это объясняется специфическим положением культурных производителей в социальной структуре (в «пространстве социальной борьбы»). Оригинальный вклад французского социолога в теорию интеллектуальной практики, в частности, состоит в определении социальной позиции интеллектуалов как *подчиненной фракции господствующего класса*. Будучи господствующими в сфере владения культурным капиталом (степени, признание и т. д.), ученые, писатели и другие производители символических благ являются подчиненными по отношению к политической и экономической власти¹³. В качестве одного из важных следствий такой позиции Бурдьё называет свойственный большинству интеллектуалов конформизм, молчаливое согласие с господствующим порядком вещей, что расходится с распространенным представлением об интеллектуалах как о группе, противопоставленной господствующему классу, но также с идеей о том, что интеллектуалы напрямую выражают интересы власть имущих.

¹⁰ К интеллектуалам Бурдьё, как правило, относит тех, кого он называет «культурные производители», включая в эту категорию писателей, фило-

софов, университетских профессоров. Иногда он использует этот термин в более узком смысле, имея в виду в основном ученых, специалистов по социальным наукам.

¹¹ Bourdieu, 1984b, 65.

¹² Бурдьё, 2005 (1977), 95.

¹³ Бурдьё, 1994 (1987).

Согласно теории практики Бурдьё, если интеллектуалы участвуют в том, что Вебер называл «приручением подвластных», то это происходит не сознательно, а в силу их места в разделении идеологического труда, спонтанного согласования габитусов, производимого, в частности, системой образования. Институт образования является ключевым звеном в процессе культурного и социального воспроизводства¹⁴. Школа и университет формируют общую «доксу» по поводу мира, закрепляя существующие социальные иерархии. Категории, которыми оперируют в процессе своей деятельности преподаватели¹⁵ и другие образованные люди, в измененной форме воспроизводят основные деления социального мира, тем самым способствуя их символической эффективности¹⁶.

В ряде работ Бурдьё осуществляет радикальную критику университетской институции, одновременно указывая на сложность таковой, поскольку категории, применяемые к ее осмыслению, являются продуктом самой системы образования. Уже сама иерархия дисциплин (философия или математика наверху, геология и география внизу), методов (количественные против качественных) и предметов (теоретических и практических) воспроизводят фундаментальные социальные оппозиции «буржуазный / народный», «мужской / женский» и т. д. Однако принципы этих делений остаются имплицитными и не обсуждаются, являясь частью университетской доксы, т. е. коллективной формы верования в естественность функционирования институции, разделяемой всеми ее членами. На деле же категории познания, в том числе научного, являются продуктом истории: «Значительная часть нашего бессознательного есть не что иное, как история образовательных институций, продуктом которых мы являемся. Заняться историей данных учреждений, как это сделал Э. Дюркгейм¹⁷, — значит заниматься историей, какую сами историки практически игнорируют»¹⁸. Наиболее действенным средством против «детерминизма бессознательного», определяющего наше мышление и восприятие, является историческая работа объективации.

История является одной из действенных форм защиты против символического насилия, «абсолютизма любого рода», поскольку позволяет показать произвол, лежащий в основе закона, обычая, установлений, и тем самым сделать видимыми социальные механизмы господства. Эту механику узурпации Бурдьё переносит на мир самых

¹⁴ Bourdieu, 1970.

¹⁵ Так, в исследовании «Категории профессорского восприятия» (Bourdieu P., de Saint Martin M., 1975) анализируются категории, с помощью которых преподаватели оценивают студентов, а также практики кооптации профессиональных коллективов, направляемые теми же категориями.

¹⁶ Бурдьё, 1996а, 16.

¹⁷ Бурдьё неоднократно указывает на то, что идея «истории символических форм» заимствована им у Дюркгейма, в то время как Фуко возводит свой «генеалогический» метод к Ницше, что является для него не чем иным, как проявлением философского «вкуса» или философского «шика».

¹⁸ Бурдьё, 1996b, 14.

рациональных принципов самого «чистого разума» (математика, логика) и самых незаинтересованных принципов самого «чистого искусства»: «Все эти поля, даже самые „чистые“ — наука, искусство — имеют в своей основе закон, о котором говорят, что он „закон и ничего больше“»¹⁹. Осуществить символическую революцию значит разрушить фундаментальный закон того или иного универсума²⁰.

Метод социоанализа, разработанный Бурдьё, предполагает эпистемологический разрыв с «идеалистической философией» науки и искусства, который был обозначен уже в его ранних статьях²¹. Его цель состояла в том, чтобы преодолеть «нарциссизм творца», вписанный в представление об интеллектуальной работе как «чистом акте творения». Социальные условия теоретической рефлексии накладывают на нее ограничения, о которых часто забывают сами интеллектуалы: «Отношение интеллектуала к [социальной.— *Прим. ред.*] позиции интеллектуала не отличается какой-то особой природой, и... интеллектуал не больше, чем официант, дистанцируется от своего занятия и от того, что по существу его определяет»²². Для преодоления некритического, нерелексивного отношения интеллектуала к собственной практике требуется «объективировать объективирующего субъекта», т.е. поместить его в историю и в социум. Такая работа объективации предполагает, с одной стороны, анализ категорий мышления и инструментов познания, с другой — социальных условий производства и обращения интеллектуальных продуктов.

Теория поля и конкурентной борьбы в полях культурного производства

Основным инструментом анализа интеллектуалов Бурдьё, является понятие «поля». «Поле» — это отдельный универсум внутри социального мира, выделившийся в процессе возрастающей социальной дифференциации, характеризующей современность²³. В этом смысле

¹⁹ Бурдьё, 1996b, 16.

²⁰ Согласно Бурдьё, такую революцию совершил, к примеру, Э. Мане, подвергший радикальному пересмотру фундаментальный закон, на котором покоилась академическая традиция. Он перевернул норму академизма, помпезного искусства, согласно которой «быть художником означало писать старое, а если хотели приблизиться к современности, то нечто восточное. Он взялся писать людей со складывающимися цилиндрами» [Бурдьё, 1996a, 22]. Понятно, что символические революции осуществить чрезвычайно трудно, поскольку они обычно встречают жестокое сопротивление со стороны всех тех, кто становится их жертвами. Компетенции последних в этих условиях очень быстро обесцениваются, целые

области компетенций могут отойти в прошлое. Таким образом, символическая борьба связана с борьбой за неизменность границ. Но она не была бы такой драматичной, если бы помимо защиты специфического рынка заинтересованные лица не стремились защитить нечто более фундаментальное — свое видение мира. Символическая революция нередко воспринимается как крушение мира постольку, поскольку она есть крушение мира ментального.

²¹ См., например: Bourdieu, 1966, 1971.

²² Бурдьё, 1993 (1980), 280.

²³ Более подробно о генеалогии понятия «поля» см. книгу «Метод искусства» (Bourdieu, 1992).

можно говорить об отдельных полях — научном, университетском, литературном, художественном, — обладающих собственной историей, своими правилами, своими ставками и своим *illusio*, т. е. верой в ценность социальной игры, которую с необходимостью разделяют все участники поля. Фундаментальным законом любого поля является запрет на сомнение относительно его базовых верований: «Поле — это установленная, учрежденная точка зрения, а люди, входящие в данный универсум, видят все, кроме этой точки зрения. То, что они видят меньше всего и есть то, что позволяет им видеть, — точка зрения. Она — не что иное, как исторический произвол, чей филогенез и онтогенез необходимо анализировать»²⁴. Развернутый анализ университетских полей в критические для их истории моменты, связанные с контекстом 1920-х годов в Германии и мая 1968 года во Франции был проделан в книгах «Политическая онтология Мартина Хайдеггера» и «Homo Academicus», а также анализ поля литературного производства времен Флобера — в «Метод искусства».

Понятие поля позволяет преодолеть неопределенность анализа в терминах «политического контекста» и «биографии», дать систематическое и «реляционное» описание культурных производителей и их произведений. Реляционный подход предполагает, что любое социальное пространство является совокупностью силовых отношений, в которые включены все агенты поля. Именно структура этих отношений задает пространство того, что может или не может быть сделано в пределах поля, а также определяет такие предпочтения, как выбор места и темы публикации и т. д.²⁵ Иными словами, нет исследователя или писателя, который не занимал бы позиции в социальном пространстве, и понять по-настоящему, что он говорит или делает, можно только путем соотнесения его слов и действий с его позицией и с позициями других агентов соответствующего поля. Аналитически сконструировать поле — значит выстроить пространство значимых различий, которое статистически, через распределение свойств (или капиталов, в терминологии Бурдьё), описывает позицию агента, определяющую его взгляд на это поле²⁶.

Такая объективация структур универсума, к которому принадлежит ученый, не означает «нигилистического отрицания» науки на

²⁴ Бурдьё, 1996b, 18. Русские переводы статей разных лет, содержащих подробный анализ становления и функционирования отдельных полей (юридического, религиозного, научного и др.), изданы в двухтомнике: Бурдьё П. Социология социального пространства: В 2 т. СПб: Алетейя, 2005.

²⁵ Бурдьё, 2001 (1997).

²⁶ Работа объективации, заключающаяся в выстраивании объективного пространства позиций и соответствующих им точек зрения, проделана в книге «Homo academicus». О трудностях операции кодификации, сопутствующей построению такого объекта исследования, как «университетское поле», в частности, о сложности порвать с обыденными и официальными классификациями, при помощи которых склонен мыслить и сам исследователь, проводящий такую работу, см. главу I «Homo Academicus» (Bourdieu, 1984a).

манер постмодернистского анализа научной практики, но имеет целью логический контроль над эффектами, производимыми социальными детерминантами интеллектуальной деятельности. Преимущество понятия «поля», по мнению Бурдьё, состоит также в том, что оно позволяет избежать частичной объективации, предметом которой становятся взгляды научных и политических оппонентов²⁷. В качестве классического примера такой «социологии интеллектуалов» он приводит известный труд «Опиум для интеллектуалов», в котором Р. Арон описывает социальные детерминанты этических и политических взглядов тех, кого он называет «интеллектуалами», т. е. Ж.-П. Сартра, С. де Бовуар и других левых мыслителей, не задумываясь о той точке зрения, с которой он осуществляет свою объективацию. В ответной статье²⁸ Симона де Бовуар производит симметричную редукцию «правой мысли», игнорируя пространство, в котором она располагается. Таким образом, социология знания или науки, заключает Бурдьё, будет оставаться «лишь наиболее безупречной формой дисквалификации противника до тех пор, пока берет в качестве объекта своих противников и их стратегии, а не... поле позиций, исходя из которых они родились»²⁹.

Для преодоления социального давления, в особенности сильного в том случае, если предметом анализа является поле, частью которого является сам исследователь, Бурдьё рекомендует принцип двойной объективации, или рефлексивности, в соответствии с которым объективирующая дистанция должна быть установлена также по отношению к самому исследователю, т. е. по отношению к субъекту объективации. В формулировке самого Бурдьё, «понять адекватно, безотносительным или же как можно менее относительно образом философское произведение М. Хайдеггера, литературное Г. Флобера или живописное Э. Мане, значит прежде всего по-новому расположить познающего субъекта, аналитика, в поле производства, внутри которого он ведет свой анализ, а также по-новому расположить познаваемый объект в поле, где он произвел свой продукт»³⁰. Однако он тут же оговаривается, что принцип двойной объективации чрезвычайно трудно применить на деле.

Анализируя закономерности функционирования различных сфер символического производства (литература, наука, религия, высокая мода и т. д.), Бурдьё исходит из того, что они являются полями отношения сил и, соответственно, конкурентной борьбы за сохранение или изменение этого соотношения. Например, в академическом мире ведется борьба между факультетами, а также внутри каждой дисциплины, причем цели и правила этой борьбы устанавливаются исходя из специфики каждого поля. В том, что касается научного поля, то целью борьбы здесь является обретение специфической власти, какой

²⁷ Bourdieu, 1984a, 295–296.

²⁹ Бурдьё, 2005 (1976), 508.

²⁸ De Beauvoir S. La pensée de droite aujourd'hui // ³⁰ Бурдьё, 1996b, 21.
Les Temps Modernes. 1985. № 112–113, 114–115.

является научный авторитет (для сравнения—в литературном и художественном поле этой власти будут соответствовать специфические формы культурной легитимности). Вопреки описаниям идеалистической философии науки или «научной агиографии», в научном поле практики агентов могут быть описаны в терминах конкурентной борьбы за достижение монополии на установление легитимных границ осуществления научной практики—иными словами, за определение поля проблем, методов и теорий, которые могут считаться научными»³¹.

Бурдьё выделяет в научном поле две формы власти, соответствующие двум аспектам научного капитала³². С одной стороны, это власть институциональная (административный капитал), связанная с занятием высоких должностей в научной иерархии (руководство лабораторией или факультетом), участием в различных комитетах, а также с контролем над средствами производства и воспроизводства (гранты, контракты, власть назначать на должности). С другой стороны, слабо институционализированный, «чистый» научный капитал, относительно автономный—в зависимости от дисциплины—от административного капитала и связанный с признанием со стороны коллег. Позицию исследователей в поле можно описать исходя из структуры их научного капитала, т. е. из соотношения в нем «чистого» и «институционального» капитала, одновременное накопление которых на практике затруднительно: на одном полюсе будут находиться обладатели большого объема специфически научного капитала, а на другом—обладатели большего объема административного³³. При этом возможна конвертация чисто научного авторитета в экономический и политический капиталы, однако, как указывает Бурдьё, обратное происходит гораздо чаще.

Таким образом, структура научного поля определяется в каждый момент соотношением сил между участниками борьбы, или структурой распределения капиталов. Каждый агент действует под давлением структуры этого пространства тем больше, чем меньше его относительный вес—в наибольшей степени ему подвержены новички. Так, всегда присутствуют доминирующие ученые или школы, которые задают «актуальные» исследовательские вопросы и подходы, уменьшая шансы на внимание и на финансирование менее удачливых коллег. В силу того что в науке сосуществуют два вышеуказанных принципа доминирования, практически любые стратегии ученых содержат одновременно политическое и научное измерение. При этом Бурдьё настаивает на искусственности или даже невозможности различения внутреннего и внешнего (соответствующего борьбе за власть в поле) интереса к тому,

³¹ Бурдьё, 2005 (1976), 480.

³² Как показано в «Homo Academicus», в академическом поле и даже в каждой дисциплине также действуют множественные принципы иерархии, что ведет к неоднозначности иерархий,

помогающей поддерживать *illusio* поля, «маскировать» свойственные ему отношения силы (Bourdieu, 1984a, 33).

³³ См.: Бурдьё, 2001 (1997).

что представляется важным тому или иному исследователю. Агенты используют стратегии³⁴, имеющие целью навязать видение интеллектуальной (научной) практики, соответствующее тем научным способностям, которыми они обладают в качестве выпускников того или иного учебного заведения или членов определенного института, стремясь занять доминирующее положение внутри поля. Успех притязаний на легитимность зависит, соответственно, от относительной силы тех групп, чьи интересы эти требования выражают.

Исходя из этого Бурдьё критикует теорию научных революций Куна, представлявшего их как результат имманентного развития науки. В основе трансформаций научного поля лежит тот факт, что агенты в поле занимают позиции, статистически определяющие их взгляды и практики, направленные либо на поддержание, либо на изменение структуры силовых отношений, производящей это поле³⁵. Доминирующие в поле и претенденты прибегают, соответственно, к противоположным стратегиям — сохранения или подрыва. Главной стратегией, направленной на изменение отношений в научном поле, как и в других полях символического производства, является *дистанцирование*, выражающееся в поиске новых тем, методов, стилей и позволяющее претендентам «вырваться из анонимности и незначительности»³⁶. В поле науки логика различия проявляется в значимости, придаваемой оригинальности, новизне вклада и, в частности, в борьбе за первенство (в открытии). Данная стратегия отражается в названиях групп, претендующих в тот или иной момент занять доминирующие позиции: к примеру, «новые философы», «новый роман» и т.д. В силу этого оппозиция между «старым» и «новым», «традиционалистским» и «новаторским», частично перекрывающая деление между «старыми» и «молодыми», является одним из фундаментальных принципов деления внутри полей символического производства.

Как отмечает Бурдьё, принцип дистанцирования тем больше управляет конкурентной борьбой в поле символического производства, чем выше степень его *автономии*, т.е. в идеале поле, совершенно независимое от внешней по отношению к нему власти, будет подчиняться исключительно закону конкурентной борьбы за чисто культурное (или научное) признание со стороны коллег, являющихся одновременно

³⁴ Обращение к понятию «стратегия» позволяет, согласно Бурдьё, порвать с иллюзией незаинтересованности [Бурдьё, 1993 (1980)], однако оно же вводит в его теорию конкуренции двусмысленность, связанную с историей употребления этого термина. В экономической и интеракционистской теории («рационального выбора») стратегия соотносится с сознательным расчетом индивидов по максимизации (экономической) прибыли. Однако теория Бурдьё не предполагает такого «цинического» прочтения, поскольку

агенты действуют в поле, во многом руководствуясь подсознательными диспозициями (габитус) или «чувством игры», ставкой в которой является специфический интерес, не позволяющий сводить борьбу в поле к борьбе за экономическую или политическую власть.

³⁵ Бурдьё, 2002 (1996), 108–109.

³⁶ Бурдьё, 1993 (1971).

клиентами и конкурентами. Поэтому в той мере, в какой «авторитет» писателя, художника или ученого функционирует как круговая порука взаимного признания между коллегами, «интеллектуальное поле представляет собой почти реализованную модель социального пространства, которое как бы не знает других принципов дифференциации и иерархизации, кроме исключительно символического дистанцирования»³⁷.

Идеологическая функция символических систем (относительная автономия полей ограниченного производства)

Вопреки часто повторяемому упреку в адрес Бурдьё в том, что он сводит функционирование полей символического производства к функционированию поля политики, он эксплицитным образом обозначает разрыв с марксистской традицией, редуцирующей символическое производство к интересам обслуживаемых им классов. Он пытается преодолеть редукционизм такого типа, который он называет «ошибкой короткого замыкания», состоящей в попытке установить прямую связь между культурной продукцией и позицией производителя в социальной структуре, между текстом и контекстом (к примеру, когда говорят, «это выражение набирающей силы буржуазии») ³⁸. Этому служит вводимое им различие между «полем узкого производства» как системой, производящей символические блага для круга специалистов, и «полем массового производства», адресующимся непроизводителям, или «широкой публике», включающей как интеллектуальные слои господствующего класса, так и другие социальные классы ³⁹. Их принципиальное различие состоит в том, что если поле «массового производства» подчиняется требованиям конкурентной борьбы за завоевание как можно более широкого рынка, то специфическая логика функционирования «полей узкого производства» диктуется по преимуществу нормами, которые пытается вырабатывать само поле, стремящееся, таким образом, к самореферентности, или замыканию на себя.

Бурдьё рассматривает становление научного, художественного и других полей символического производства как историю их постепенной автономизации в том, что касается производства, обращения и потребления символических благ, от экономической и политической власти, стремящихся устанавливать легитимные деления и критерии оценки, внешние по отношению к этим полям. Процесс формирования автономных полей неразрывно связан с появлением специфических категорий производителей, художников или интеллектуалов, которые получают возможность соотносить свою деятельность в большей

³⁷ Бурдьё, 1993 (1971).

³⁹ Бурдьё, 1993 (1971), 51.

³⁸ Бурдьё, 1994 (1984), 142; см. также: Бурдьё, 2005 (1977), 94.

степени с правилами, коллективно выработанными внутри поля (художественный стиль или научный метод), чем с принуждениями извне (цензура, политический заказ или вкус клиентуры). При этом «незаинтересованность», «свободное творчество» или «нейтральность» становятся элементами профессиональной идеологии интеллектуалов и других культурных производителей, вписанной в саму логику функционирования поля⁴⁰.

Конечно, на деле автономия ограниченных полей символического производства всегда оказывается относительной. Поскольку поле ограниченного производства как система специфических силовых отношений соотносится с социальным полем в его совокупности, где господствует власть, отличная от культурной или научной легитимности, «функции, объективно предписываемые каждой категории производителей позицией, занимаемой ею в поле, и связанные с этим системы чисто культурных интересов как бы постоянно перекрываются и дублируются внешними функциями, которые объективируются в процессе выполнения и через выполнение внутренних функций»⁴¹. И хотя поля символического производства стремятся нейтрализовать внешние принципы деления (политические, экономические) или, по крайней мере, их интеллектуально переопределить, подчинив внутренним законам функционирования поля, они являются микрокосмами символической борьбы между классами, воспроизводящими в превращенном, неузнаваемом виде структуру социальных классов в целом⁴².

Таким образом, собственно идеологическая функция символических систем выполняется автоматически, за счет структурной гомологии⁴³ с полем борьбы классов, и оказывается детерминированной дважды — выражая интересы классов и их фракций, но также «специфические интересы тех, кто их производит»⁴⁴. Символические производители выполняют политическую и идеологическую функцию легитимации господства (символического насилия), лишь служа собственным интересам во внутренней борьбе за власть внутри поля. В качестве примера Бурдье приводит случай консервативных идеологов, которые служат интересам господствующих только «по остаточному принципу». Именно с этой способностью переопределять, преобразовать

⁴⁰ Так, Бурдье, анализируя становление литературного и художественного поля времен Флобера во Франции, показывает формирование представления о культуре как о «высшей реальности» и идеологии «свободного, бескорыстного творчества»: утверждение абсолютной автономии «творца» совпадает с усилиями противопоставить свободу творчества как «народу» (народный вкус), так и «буржуа» (экономическая власть).

⁴¹ Бурдье, 1994 (1971), 60.

⁴² Бурдье, 2005 (1977), 92–93.

⁴³ При помощи термина «гомология» Бурдье описывает отношения структурного и функционального соответствия, или «сходства в различии», существующие между относительно автономными полями или же, к примеру, между институтами, удаленными друг от друга во времени, такими как современная французская система образования и средневековая католическая Церковь (ср.: Bourdieu, Passeron, 1977, 194–200).

⁴⁴ Бурдье, 2005 (1977), 93–94.

классификации непосредственно политические в научные или культурные связана действенность символической власти, которой обладают интеллектуалы: она *признается* и не воспринимается как произвол в силу легитимности слов и того, кто их произносит. Именно вера «превращает власть слов и лозунгов во власть поддерживать или низвергать порядок»⁴⁵.

При этом если поле поэзии, как и поле естественных наук, объективно тяготеет к полюсу автономии (относительно, прежде всего, социального заказа доминирующего класса), то поле социальных наук оказывается, напротив, наиболее подверженным гетерономии, т. е. подчинению внешнему по отношению к нему закону. Это обусловлено тем, что цель внутренней борьбы за научный авторитет в поле социальных наук, т. е. за право производить и внушать легитимное видение социального мира, является в то же время одной из целей борьбы в политическом поле. Историки, социологи и другие представители поля социальных наук наравне с журналистами и политиками как профессионалы «объяснения и навязывания категорий конструирования реальности» ведут борьбу за монополию *легитимного символического насилия*, т. е. за власть навязывать собственное представление о социальном мире⁴⁶. Хотя социальные науки не предназначены для борьбы за навязывание доминирующего видения мира, все же они включены в этот процесс постольку, поскольку их результаты становятся инструментами такой борьбы.

Однако внутри поля социальных наук, как и в других полях, есть также свои более гетерономные и более автономные области. Внутри относительно автономного поля можно выделить два полюса, между которыми ведется борьба: интеллектуала, консультирующего власть, эксперта, работающего по заказу и под контролем государственной администрации, и критического интеллектуала⁴⁷, выявляющего механизмы, которые обеспечивают поддержание установленного порядка. В силу этого борьба между наукой и «ложной наукой доксоффов», выпадающей в неопределенную область между интеллектуальным и политическим полями, непременно вносит свой вклад в борьбу между классами. *Доксоффы* Бурдьё называет «мнимых ученых», которые выдают за научное знание нейтрализованную и эвфемизированную (и поэтому символически действенную) форму господствующего представления о социальном мире⁴⁸. Под видимостью независимости от

⁴⁵ Бурдьё, 2005 (1977), 95.

⁴⁶ Бурдьё, 2002 (1996), 124.

⁴⁷ Эти две функции гомологичны функциям *lectores* и *auctores* в философском и литературном (художественном) поле: если первые как комментаторы «священных текстов» способствуют становлению и охранению академического

канона, а значит, молчаливому воспроизводству профессионального корпуса посредством практик кооптации, то вторые склонны позиционировать себя как «творцов» и не признавать институциональной власти внутри поля, производить «символические революции» посредством практик трансгрессии (Bourdieu, 1999).

⁴⁸ Бурдьё, 2005 (1976).

социального и политического заказа они производят «эзотерическое» знание, в действительности скрывающее дорефлексивное согласие с существующим порядком. Примером такой ложной науки *par excellence*, ортодоксии для Бурдье являются все образцы универсализирующего теоретизирования, от французской истории и философии, оперирующих глобальными обобщениями и телеологическими схемами, до американской политологии, транслирующей господствующую идеологию. Во всех этих случаях мы имеем дело с «ученым жаргоном», в эвфемизированном виде воспроизводящим категории и деления официального видения мира или с тем, что Бурдье называет стратегией ложного разрыва с обыденным языком. Таким образом, задача борьбы с символическим насилием совпадает у Бурдье с задачей определения условий автономной, а значит истинной, научной практики.

В силу вышесказанного любая общественно-научная мысль, как подчеркивает Бурдье, получает неустранимое политическое измерение. Однако это не означает, что история, социология и другие общественные дисциплины должны отказаться от притязаний на научность. Необходимым условием всякой интеллектуальной практики становится знание социальных условий своей научной практики (рефлексивность), а социология науки — одним из необходимых условий научной социологии. В свете идеи о том, что идея о нейтральности научной, даже самой «чистой» мысли является фикцией, к тому же «небескорыстной», основной вопрос социологии науки получает у Бурдье особенно парадоксальную форму: «Каковы социальные условия возможности развития науки, свободной от внешнего принуждения и социального заказа, если известно, что в этом случае прогресс в направлении научной рациональности не является прогрессом в направлении политической нейтральности?»⁴⁹

Бурдье-интеллектуал: «за ангажированное знание»⁵⁰

Ставя вопрос об ангажированности знания, имеющего предметом социальный мир, Бурдье радикально порывает с теорией аксиологической нейтральности науки, ставшей ядром профессиональной идеологии социологов. Он стремится преодолеть веберовскую дихотомию «scholarship» беспристрастного поиска истины и «commitment» (убеждений) как политического, ценностно ориентированного действия, указывая на искусственность этого противопоставления.

Не переставая видеть в социологии эффективное оружие изменения мира, Бурдье тем не менее со временем существенно поменял

⁴⁹ Бурдье, 2005 (1976), 205.

⁵⁰ Так называлась последняя публичная лекция Пьера Бурдье, прочитанная в январе 2001 года (Бурдье, 2002).

свою концепцию политически действенной интеллектуальной практики (тем самым заслужив упреки в непоследовательности). Молодой Бурдьё считал возможным вести политическую деятельность лишь путем социологического демонтажа социальных механизмов символического насилия, действующих лишь до тех пор, пока они остаются скрытыми. С настороженным отношением к прямому политическому действию связан, в частности, его отказ от участия в событиях мая 1968 года и их неоднозначная оценка. Однако начиная со второй половины 1980-х годов он все больше выступает за прямое вмешательство интеллектуала в пространство политической борьбы, на манер Золя или Сартра, что совпадает с превращением Бурдьё в публичного интеллектуала, открыто выступившего против гегемонии неолиберализма⁵¹.

Показывая в своих работах как социальные издержки, так и пагубные последствия неолиберальной политики для науки и культурного производства в целом, Бурдьё ставит целью изобрести новую роль для интеллектуала, чья непосредственная функция, или даже *обязанность*, состоит в том, чтобы «вступать в бой, вынося свои знания за пределы научного сообщества»⁵². Однако, выступая определенно за «ангажированное знание», Бурдьё резко критикует фигуру как «партийного», так и «органического» (в терминологии Грамши) интеллектуала как выразителя «профессиональной идеологии аппаратчиков»⁵³. В отличие от них подлинный интеллектуал, по Бурдьё,—это «тот, кто может установить сотрудничество, сохраняя позицию разрыва»⁵⁴. Иными словами, условием возможности политической деятельности интеллектуалов является сохранение и укрепление их автономии: «Именно укрепляя свою автономию (и тем самым среди прочего свою свободу по отношению к властям), интеллектуалы способны усилить эффективность политического действия, цели и средства которого находят свое обоснование в специфической логике полей культурного производства»⁵⁵. Тем самым теоретически снимается противоречие между отказом от ангажированности «партийного интеллектуала» и

⁵¹ В 1993 году, накануне выборов во Франции, вышла книга «Нищета мира», основанная на серии социологических интервью, призванных показать страдания наименее обеспеченных слоев общества, ставшие следствием проводящейся правительством неолиберальной политики. Книга получает широкий резонанс за пределами узконаучной среды, и можно считать, что с этого времени Бурдьё становится собственно публичным интеллектуалом. Вскоре он присоединится к социальному движению 1995 года, приняв участие в уличных манифестациях, подписывая петиции, давая многочисленные интервью и продолжая выпускать книги. Его политические работы напрямую относятся к последним годам жизни (1998, 2001b).

⁵² См.: Бурдьё, 2002.

⁵³ В особенности Бурдьё неоднократно критикует советскую модель отношения науки и партии как крайнего проявления политического монополизма, узурпации одновременно репрезентативной (выражение интересов пролетариата) и научной (научный социализм) легитимности партией-государством, навязывающей ученым критерии истины извне (см., к примеру, Бурдьё, 1993 [1990]).

⁵⁴ Бурдьё, 1993 (1990), 318.

⁵⁵ Bourdieu, 1992, 462.

от любых других форм политического участия интеллектуала, между научной работой и политическим действием.

Однако в связи с «неолиберальным поворотом», обозначившимся в Европе и в мире с конца 1970-х годов, автономия «полей узкого производства» вновь оказалась под угрозой — уже не прямого политического давления (цензура, прямое навязывание тем и методов, как, к примеру, в СССР), но экономизма, подчиняющего рыночной логике все поля, навязывая им внешнюю проблематику и критерии оценки в виде численных показателей, цифр продаж, рейтингов, опросов общественного мнения и пр. Если исторически все интеллектуальные поля формировались в оппозиции к коммерческому, то сегодня они все больше подпадают под его власть. Бурдьё показывает искажающий эффект конкуренции, обычно представляемой как условие свободы и прогресса, на поля культурного производства, испытывающие коммерческое давление: «Она имеет своими следствиями унификацию, цензуру, консерватизм»⁵⁶. В последней опубликованной при жизни социолога книге «Наука о науке и рефлексивность» Бурдьё пишет об опасном регрессе, угрожающем современной науке, в связи с ее подчинением экономическим интересам и соблазнам сферы масс-медиа⁵⁷. В другой статье конца 1990-х, анализируя функционирование интеллектуального поля, социолог отмечает его все возрастающую зависимость, обусловленную механизмами медиатизации⁵⁸.

Одним из наиболее заметных проявлений медиатизации интеллектуальной практики стало появление новой фигуры интеллектуала, черпающего свою легитимность не в поле ограниченного производства, но в признании со стороны журналистов. Еще в 1984 году Бурдьё публикует небольшую статью под названием «Хит-парад французских интеллектуалов, или Кто будет судьей легитимности судей»⁵⁹, в которой он подвергает критике имплицитные принципы, положенные в основу опроса, проведенного журналом «Lire». «Репрезентативная выборка», составленная редакцией журнала, включала как известных ученых, так и журналистов, а также промежуточные фигуры писателей-журналистов или «медиатизированных интеллектуалов». Он показал, что в действительности этот хит-парад, где рядом оказались Клод Леви-Строс и Бернар-Анри Леви, легитимировал самих судей: его главным результатом стало стирание границ между теми производителями, которые напрямую подчинены социальному спросу, и теми, кто в силу специфической конкуренции между коллегами способен сам создавать спрос, всегда его опережая.

С середины 1990-х годов Бурдьё предпринимает настоящий «крестовый поход» против тв-журнализма, являющегося частью

⁵⁶ Бурдьё, 2002 (1996), 135.

⁵⁸ Bourdieu, 1999.

⁵⁷ Bourdieu, 2001a.

⁵⁹ Bourdieu, 1984a.

более общей кампании против господства неолиберальной идеологии. В 1995 году он публикует в «Libération» статью против Ф. Соллерса, выступившего в поддержку кандидата от правой партии, и дал обширное интервью еженедельнику «Télérama» о «нищете масс-медиа», которые имели широкий резонанс⁶⁰. Спустя еще год вышла небольшая книга «О телевидении и журналистике»⁶¹, вызвавшая поток резкой критики в адрес Бурдье со стороны влиятельных журналистов и редакторов. В этой книге анализируются скрытые механизмы отбора и цензуры, бессознательно используемые журналистами, а также влияние телевизионных рейтингов на информационную политику. Показывается огромная власть телевидения, способная создавать известность автору одним фактом его упоминания или приглашения в телевизионную студию. Однако логика журналистского поля, определяющая механизмы отбора, отдает приоритет «специалистам по общим местам», «ложным интеллектуалам». К примеру, в философском поле гетерономная журналистика усиливает позиции новых или медиатизированных философов, эмблематическим представителем которых для Бурдье являлся Бернар-Анри Леви⁶².

Эти *fast-thinkers*, производители культурного фастфуда, «мыслящие быстрее своей тени»⁶³, не являются в глазах французского социолога интеллектуалами в строгом смысле слова. Этим «пародийным интеллектуалам» он противопоставляет фигуру критически настроенного интеллектуала, чья символическая легитимность основывается на специфическом капитале, приобретенном в «узком» поле символического производства. Параллельно Бурдье уточняет свою концепцию интеллектуала, производящего «легитимно ангажированное знание», которое может родиться «только в ходе работы, подчиненной правилам научного сообщества»⁶⁴. Поскольку современная наука является коллективным предприятием, интеллектуал не может быть изолированным индивидом, но только частью сообщества, в чье общее дело каждый его участник вносит свой вклад соразмерно своей компетенции. Именно в этом смысле следует понимать термин «коллективный интеллектуал», появляющийся у Бурдье впервые в послесловии к «Методу искусства»⁶⁵.

Пытаясь перейти от слов к делу, в 90-е годы он предпринимает ряд инициатив, направленных на выработку коллективного интеллектуального проекта, который объединил бы разрозненные усилия критически настроенных европейских интеллектуалов высокого

⁶⁰Подробнее об этом см.: Champagne P., Christin O., ⁶³Бурдье, 2002 (1996), 30. 2004, 194–195.

⁶⁴Бурдье, 2002.

⁶¹Бурдье, 2002 (1996).

⁶⁵Bourdieu, 1992.

⁶²Против этого философа Бурдье публикует текст, выдержанный в сугубо критическом тоне, в книге «Contre-feux» 1998 года.

уровня⁶⁶ и который исключал бы как медиатизированных интеллектуалов, так и журналистов, чьи интеллектуальные амбиции он считал нелегитимными. В отличие от этих последних истинные в понимании Бурдье интеллектуалы в силу относительной автономии полей культурного производства, все еще способны сохранять критическую настроенность и, «не поддаваясь уступкам, которых всегда требует политика... взывать к ценностям гражданской добродетели»⁶⁷. Из этого «интереса ко всеобщему»⁶⁸ французский социолог хотел вывести «реалистическую» программу для коллективного действия интеллектуалов, которая должна была бы иметь целью создание «европейского социального движения»⁶⁹ и в которой нашли отражение свойственное позднему Бурдье стремление вернуть интеллектуальной деятельности ее *утопическую* функцию и вывести науку из пространства амфитеатров и лабораторий в пространство прямого политического действия. «Настал момент, когда ученые совершенно полноправно *обязаны* вмешаться в политику, чтобы предложить утопии с содержащимися в них истиной и рационализмом»⁷⁰.

В статьях и выступлениях, относящихся к его последнему, «ангажированному», периоду, он неоднократно призывает к установлению «нового типа сотрудничества между критическими интеллектуалами, имеющими критический взгляд не только на социальный порядок, но и на самих себя», и общественными движениями, которые «предполагают изменение социального мира, а также методов его осмысления и изменения»⁷¹. По его мнению, социальное движение сопротивления неолиберальной политике может быть эффективным, только если оно интегрирует гражданских активистов, профсоюзы и исследователей. Против экономического фатализма и фетишизма последние должны разработать и предложить «рациональные утопии», характеризующиеся «неприятием, с одной стороны, чистого стремления выдать желаемое за действительное, которое всегда дискредитирует утопию», и, с другой стороны, «обывательской уплощенности, сосредоточенной на фактах»⁷².

Однако то, что можно назвать «рационалистическим оптимизмом» Пьера Бурдье, с неизбежностью упирается в неразрешимый парадокс совместимости власти ученых (технократии, предполагающей вытеснение профанов из сферы принятия решения) и ценностей

⁶⁶ К попыткам по созданию общеевропейского интеллектуального пространства было, к примеру, можно отнести журнал «Liberté», основанный Бурдье в 1990 году и выходивший в виде приложения к четырем крупным европейским газетам.

культуры к действиям политическим или интеллектуальным, которые можно назвать универсальными» (Бурдье, 1994 [1987], 217).

⁶⁹ См., к примеру, Bourdieu, 2001b, Бурдье, 2002.

⁶⁷ Bourdieu, 1995.

⁷⁰ Бурдье, 1993 (1990), 317.

⁶⁸ В той мере, в какой поля культурного производства предписывают им незаинтересованность, отказ от преследования экономических интересов, они «могут привести производителей

⁷¹ Бурдье, 1993 (1990), 315.

⁷² Бурдье 2005 (1998): 80. См. также Бурдье, 2002.

демократии, в котором, судя по всему, отдавал себе отчет сам социолог. Именно выход интеллектуала на «улицу», личная ангажированность, в том числе и телесная, были предложены им для разрешения этого противоречия. Но сможет ли он найти общий язык с теми, чьи интересы он предполагает выражать, сможет ли он определить общие с ними цели и выработать общую программу действия? Иными словами, какое место рациональные утопии, предложенные автономными исследователями (что само по себе становится все более проблематичным в силу усиления зависимости производителей культуры от рыночной логики), займут на рынке, все больше формируемом «бессмысленным социальным заказом»?

Литература⁷³

- Bourdieu P.* (1966) *Champ intellectuel et projet créateur* // *Les Temps modernes*. 1966. № 246.
- Bourdieu P.* (1970) *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris: Éditions de Minuit.
- Bourdieu P.* (1971) *Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe* // *Scolies*. 1971. № 1.
- Бурдье П. (1993) Рынок символической продукции // *Вопросы социологии*. 1994. № 1–2. (1971, *Le Marché des biens symboliques*).
- Bourdieu P. & de Saint Martin M.* (1975) *Les Catégories de l'entendement professoral* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1975. № 3.
- Bourdieu P., Boltanski L.* (1976) *La production de l'idéologie dominante* // *Actes de la recherche en sciences sociales*, 2 (2). P. 3–73.
- Бурдье П. (2005) *Поле науки* // *Социальное пространство: поля и практики*. СПб.: Алетейя. (1976, *Le champ scientifique*)
- Бурдье П. (2005) *О символической власти* // *Социология социального пространства*. СПб.: Алетейя. (1977, *Sur le pouvoir symbolique*)
- Бурдье П. (1993) *Мертвый хватает живого. Об отношениях между историей овеществленной и историей инкорпорированной* // *Социология политики*. М.: Socio-Logos. (1980, *Le mort saisit le vif*)
- Bourdieu P.* (1982) *Ce que parler veut dire: L'économie des échanges linguistiques*. Paris: Librairie Arthème Fayard.
- Bourdieu P.* (1984a) *Homo academicus*. Paris: Éditions de Minuit.
- Bourdieu P.* (1984b) *Questions de sociologie*. Paris: Éditions de Minuit.
- Бурдье П. (1994) *Объективировать объективирующего субъекта* // *Начала*. М.: Socio-Logos, 1994. (1984, доклад по поводу выхода в свет книги «Homo Academicus»)
- Бурдье П. (2005) *Социальное пространство и символическая власть* // *Социология социального пространства*. СПб.: Алетейя. (1986, *Espace social et pouvoir symbolique*)
- Бурдье П. (1994) *Поле интеллектуальной деятельности как особый мир* // *Начала*. М.: Socio-Logos. (1987, *Le champ intellectuel: Un monde à part*)
- Бурдье П. (2003) *Политическая онтология* Мартина Хайдеггера. М.: Праксис. (1988, *L'ontologie politique de Martin Heidegger*)
- Бурдье П. (1993) *Политический монополизм и символические революции* // *Социология политики*. М.: Socio-Logos. (1990, *Monopolisation politique et révolution symbolique*)
- Bourdieu P.* (1992) *Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris: Éditions du Seuil.
- Bourdieu P.* (1995) *Le refus de la complaisance* // *Page des libraires*. № 34.
- Бурдье П. (2002) *О телевидении и журналистике*. М.: Прагматика культуры, Институт экспериментальной социологии. (1996, *Sur la télévision et le journalisme*)
- Бурдье П. (1996a) *Университетская докса и творчество: против схоластических делений* // *Socio-Logos'96*. М.: Socio-Logos.
- Бурдье П. (1996b) *За рационалистический историзм* // *Socio-Logos'97*. Социо-Логос постмодернизма. М.: Институт экспериментальной социологии.

⁷³ В начале списка приведены в хронологическом порядке процитированные источники на французском и русском языках, если имеет место перевод (в этом случае в скобках указаны название и год издания оригинала); в конце списка —

использованные работы о Бурдье (в алфавитном порядке). Почти все русские переводы книг и статей П. Бурдье можно найти в открытом доступе на сайте: <http://bourdieu.name/>

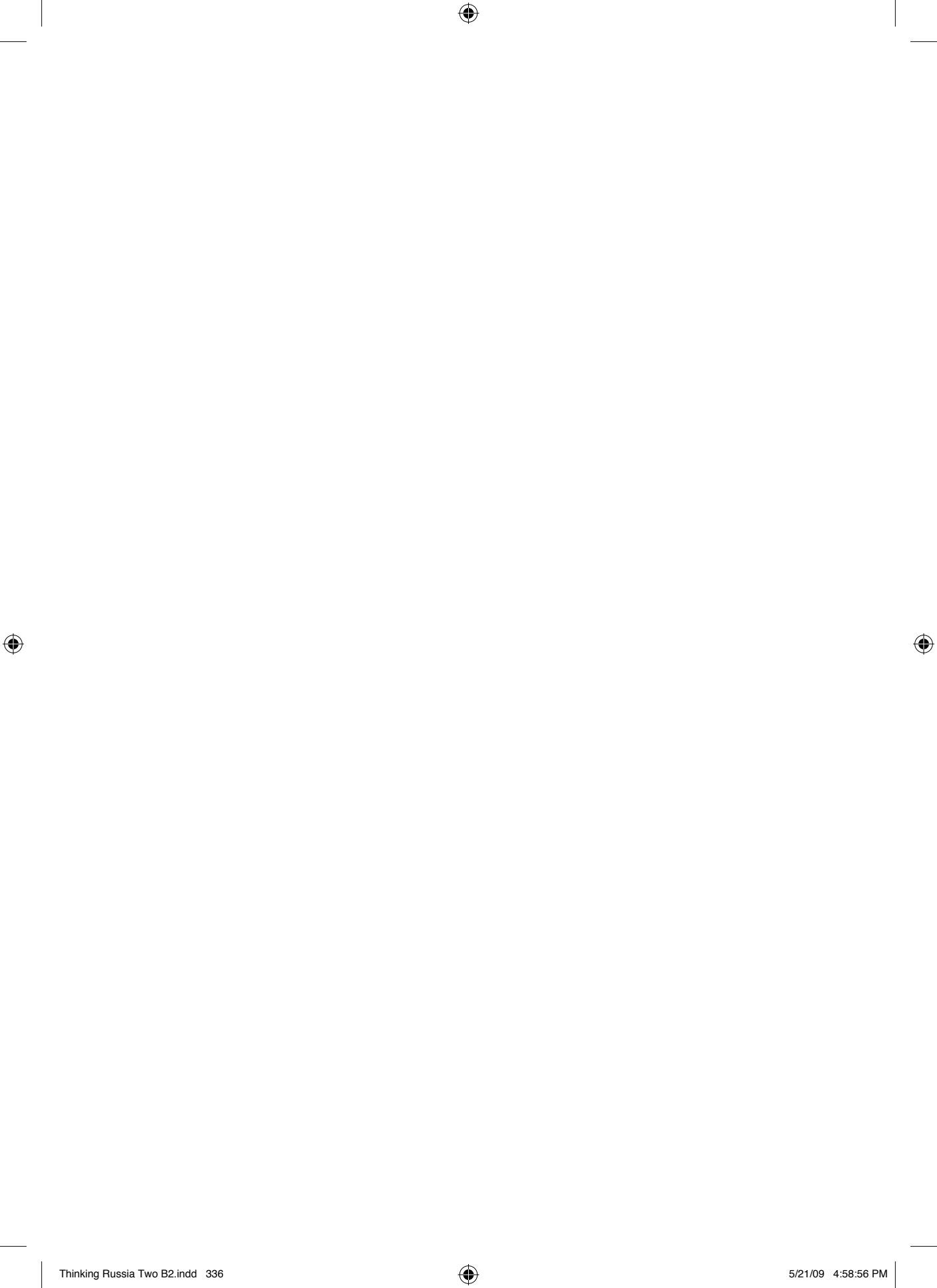
- Бурдьё П. (2001) Клиническая социология поля науки // Socio-Logos'2001. Социоанализ Пьера Бурдьё. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя. (1997, Les usages sociaux de la science: pour une sociologie clinique du champ scientifique)
- Бурдьё П. (2005) Разумная утопия и экономический фатализм // Космополис. № 2 (12). (1998, A reasoned utopia and economic fatalism)
- Bourdieu P. (1998) Contre-feux: propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale. Paris: Liber-Raisons d'agir.
- Bourdieu P. (1999) Le fonctionnement du champ intellectuel // Regards sociologiques. № 17–18.
- Bourdieu P. (2001a) Science de la science et réflexivité. Paris: Éditions Raisons d'agir.
- Bourdieu P. (2001b) Contre-feux 2: pour un mouvement social européen. Paris: Raisons d'agir.
- Бурдьё П. (2002) За ангажированное знание // Неприкосновенный запас. № 25.
- Champagne P., Christin O. Mouvements d'une pensée: Pierre Bourdieu. Paris: Bordas, 2004.
- Бикбов А. Бурдьё / Хайдеггер: контекст прочтения. Послесловие в книге П. Бурдьё «Политическая онтология Мартина Хайдеггера». М.: Праксис, 2003.
- Бикбов А. Социоанализ культуры: внутренние принципы и внешняя критика. ИЛО. № 60. 2003.
- Може Ж. (L'engagement sociologique 1995). Социологическая ангажированность // Поэтика и политика. Альм. Рос.-фр. центра социологии и философии Ин-та социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1999.
- Шматко Н. Анализ культурного производства Пьера Бурдьё // Социс. 2003. № 8.
- Шматко Н. Введение в социоанализ Пьера Бурдьё. Предисловие к книге П. Бурдьё «Социологии политики». М.: Socio-Logos, 1993.

CASE





STUDIES



Андрей Веретенников

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В США: ИСТОРИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

История и идеология интеллектуальных течений часто подвергается ревизии со стороны их собственных представителей. Во многих случаях ревизии подлежат основные положения и интуиции движений, причем настолько глубокие, что основатели едва ли могли бы прийти к согласию со своими идейными наследниками. Этот очерк посвящен истории трансформации идеологии одного из наиболее влиятельных философских течений XX столетия — логического позитивизма и движения за единство науки — в США под влиянием антикоммунизма и культурно-политических тенденций эпохи начала холодной войны. Именно логический позитивизм образует концептуальное ядро так называемой «аналитической философии» — философского направления, сегодня уже с трудом поддающегося четкому доктринальному определению, однако не только продолжающего оставаться наиболее влиятельным в англосаксонском мире, но и осуществляющего активную возвратную экспансию в континентальную Европу.

Данная трансформация, происходившая в США, затронула практически всю академическую философию и является, с моей точки зрения, одной из основных причин, в силу которых аналитическая философия середины — конца XX века приобрела именно тот формалистичный вид, в каком она нам известна в настоящее время. В результате этого процесса большинство академических философов к концу прошлого века превратились из лидеров американского интеллектуального поля в его аутсайдеров. Более того, часто они воспринимаются не просто в качестве людей, игнорирующих проблемы, волнующие сколько-нибудь широкие слои публики, и на которых не обращают внимания, но скорее в качестве врагов любого «интеллектуального» дискурса. Общая обеспокоенность проблемой самоустранения интеллектуалов из публичного дискурса Америки сегодня практически не принимает в расчет философов, работающих в американских университетах, в качестве «интеллектуалов»¹. Они, по выражению Ницше, «заперлись в башне из слоновой кости».

¹ В качестве подтверждения можно указать на ряд работ, в рамках которых эта тенденция прослеживается достаточно четко. Среди них *Russel Jacoby. The Last Intellectuals. American Culture in the Age of Academe*. NY: Basic Books, 1987; *Michael J. Anxious Intellectuals. Academic Professionals, Public*

Intellectuals and Enlightenment Values. Duham and London: Duke University Press. 2000; *Wilshire B. The Moral Collapse of University. Professionalism, Purity and Alienation*. NY: State university of NY, 1990; *Small H. (ed.) The Public Intellectual*. Oxford: Blackwell, 2002; *Etzioni A. and Bowditch A.*

Философия логического эмпиризма², зародившаяся в континентальной Европе начала XX века и существующая поныне в той или иной форме «философии науки», является не только ярким примером ревизии своих собственных установок и оснований. Она является во многом уникальным случаем. В 1930-х годах, будучи практически сведенной на нет внеакадемическими силами у себя на родине в континентальной Европе³, она оказалась более чем конкурентоспособной в англоязычном мире. Стоит добавить, что это произошло в ситуации, когда США и страны, составлявшие Pax Britannica, начиная с Первой мировой войны активно аккумулировали интеллектуальные ресурсы, извлекаемые теми или иными способами из воюющей и межвоенной Европы. Это процесс, помимо прочего, очень высоко поднял планку академической и интеллектуальной конкуренции в странах, ставших интеллектуальными бенефициариями европейских военно-политических катаклизмов. Эти страны, кроме того, обладали уже и собственными сложившимися философскими школами — прагматизмом, неореализмом, абсолютным идеализмом, религиозной философией и т. д. Тем не менее успех европейского неопозитивизма в США был ошеломляющим⁴. В итоге философское и интеллектуальное сообщество, оказавшееся в англоязычной сфере влияния, прежде всего США, волей-неволей изучало и усваивало тот тип философии, которая была принята большинством профессуры на ведущих факультетах. Представители другого полюса «двухполярной системы мира» также не остались в стороне от этого процесса. Они старательно занимались изучением и освоением философии, которая, по предположению, должна была лежать основе идеологии вероятного противника так же, как в основе советской идеологии лежала марксистско-ленинская философия. Тем самым, однако, оказываясь ее носителями и продолжателями по другую сторону «железного занавеса». В СССР, однако, неопозитивистская традиция была воспринята в самых ортодоксальных версиях, чему способствовал как определенный временной зазор между опубликованием и изучением

(eds.) *Public Intellectuals. An Endangered Species?* Lanham: Rowman and Littlefield Publ., 2006.

² «Логический эмпиризм», «логический позитивизм» и «неопозитивизм» являются практически синонимичными терминами, в отличие от «позитивизма» (так обычно называют «историческую школу» в философии науки).

³ Возможно, кто-то предпочтет сказать, что она просто оказалась неспособной конкурировать со своими концептуальными противниками — здесь формулировка зависит от собственной позиции исследователя и его философских предпочтений.

⁴ Это можно подтвердить, обратившись, например, к выступлениям в 1961 году президентов отделений Американской философской ассоциации (крупнейшей организацией профессиональных философов мира). Речь К. Гемпеля (немца) была озаглавлена «Рациональное действие», Ч. Стивенсона (американца) — «Релятивизм и не-релятивизм в теории ценности», А. Мелдена (американца) — «Причины действия и положения дел». Гемпель являлся одним из ведущих логических позитивистов, Стивенсон и Мелден — одними из создателей этической теории эмотивизма, связанной с логическим позитивизмом настолько глубоко, что иногда воспринимается в качестве его интегральной части. См. *McCumber J. Time in the Ditch: American Philosophy in MacCarthy Era*. Ill., NWU Press, 2001. P. 5–8.

работ⁵, так и известная академическая инертность. Эта же инертность обеспечивает ее сохранение и в постсоветский период⁶.

Оказавшись в новой культурной среде, представители логического позитивизма смогли найти определенные точки соприкосновения с представителями местного академического сообщества. Это произошло благодаря тому, что совпадали не только некоторые базовые интуиции, но и объекты критики. Союз прагматизма (национальной американской философии) и европейского логического позитивизма и породил непохожее на родителей дитя — так называемую «аналитическую философию»⁷.

Методологическое пояснение

Эту трансформацию академической философии в англоязычных странах можно объяснить с двух позиций. Стандартная для историко-философского исследования интерналистская позиция в своих различных версиях состоит в рассмотрении борьбы концептуальных каркасов и эвристических схем, в ходе которой осуществляется меритократический (по определенным критериям) отбор концепций, изменяющих, в свою очередь, интеллектуальное пространство. Однако в рамках этого подхода не всегда удается удовлетворительно объяснить фактическую историю идейных трансформаций. К разновидности

этой объяснительной стратегии можно отнести попытки учета влияния на интерналистскую динамику таких социально-психологических факторов, как, например, «национальная философская традиция» или специфический способ восприятия абстрактных конструкций различными народами⁸. Этот объяснительный прием может приводить, например, к таким нетривиальным выводам, как неприятие американскими факультетами оксфордской лингвистической философии (тоже «аналитической») вследствие чрезвычайной тупости американцев, т. е. неспособности усвоения ими оксфордского жаргона. Тогда как, с другой стороны, элитарность и непрактичность англичан не позволила им в полной мере

⁵ Этот временной зазор нельзя было преодолеть благодаря чисто церемониальным встречам в рамках всемирных конгрессов, где отечественные философы выступали в лучшем случае в качестве учеников.

⁶ Постпозитивистскую направленность различных теоретических конструкций советской и постсоветской философии науки отрицать довольно сложно. Представление о подлинной природе новейшей российской философии можно составить по программам курсов и экзаменационным вопросам, которые разрабатываются в рамках дисциплины «История и философия науки», читаемой в настоящее время российским аспирантам всех научных специальностей. Повторяемость основных тем в разных программах означает принятие определенного философского канона в качестве конвенционально общепринятого в профессиональной среде. Этот современный канон, однако, в основных своих чертах складывается уже в советской философии.

⁷ Дать определение аналитической философии, как показывает обширная литература по вопросу, практически невозможно. Негативное определение (не школа, не традиция, не стиль и так далее) помогает еще менее. Поэтому для настоящих целей можно определить ее остенсивно (путем указания) — как доминирующую с середины XX века позицию на наиболее влиятельных англоязычных философских факультетах. Это сообщество конституировано по критерию возможности коммуникации, что обеспечивает ему стабильность и воспроизводимость. Коммуникация же с представителями иных философских позиций, напротив, является чрезвычайно затрудненной.

⁸ В качестве примера можно привести недавние работы, выполненные в классическом «интерналистском» ключе: *Stroll A. Twentieth-Century Analytic Philosophy*. NY: Columbia, 2000; *Soames S. Philosophical Analysis in the Twentieth Century*. Vols. 1–2. Princeton: UP, 2003; *Никоненко С.В. Английская философия XX века*. СПб.: Наука, 2003; *Никоненко С.В. Аналитическая философия: основные концепции*. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2007.

воспользоваться плодами союза прагматизма и позитивизма. Эти примеры, конечно, являются намеренным гротеском, но их стоит иметь в виду как вполне логичные выводы, следующие из данной позиции⁹.

Вторая, экстерналистская позиция учитывает социальный, политический и т.д. контекст существования и трансформации философских доктрин. Например, согласно выводам некоторых современных исследований, выполненных в экстерналистском ключе, самоустранение американской академической философии из общественной жизни было обусловлено исключительно идеологической обстановкой «холодной войны», репрессиями со стороны создателя и руководителя ФБР Эдгара Гувера, сенатора Маккарти и его последователей¹⁰.

Однако в своем крайнем выражении этот методологический подход ведет к полному игнорированию содержания философских построений. В своей гротескной форме это может принять вид, например, вот такого антропологического по своей сути описания: «После войны центр британской философской жизни переместился в Оксфорд (кембриджские философы, разумеется, сочли бы это высказывание неистинным). Как бы то ни было, но в Оксфорде зародилось некоторое довольно таинственное явление, называемое „лингвистической философией“. Ее основными представителями были Гильберт Райл, прославившийся как заядлый курильщик трубки, и Дж.Л. Остин, не менее прославленный курильщик трубки. Остин был известен устраиваемыми им „субботними посиделками“, на которые собирались все наиболее прославленные философы (прославившиеся, разумеется, тем, что курили трубку). Они сидели, курили трубки и обсуждали всевозможные нюансы обыденного языка — или, иначе, валяли дурака, как это

предпочитали называть некоторые. Например, они могли потратить уйму времени на то, чтобы откопать все значения слова „тачка“, что, естественно, вызывало язвительные насмешки у тех, кто не был допущен на эти посиделки, поскольку или был недостаточно умен, чтобы валять дурака, или не курил трубку»¹¹.

Но и в своей умеренной форме экстернализм не объясняет, почему, например, после уменьшения давления этих внешних факторов, американский философский мейнстрим не восстановил активность в публичной сфере по образцу логического позитивизма 1930-х или классического прагматизма Дьюи. С другой стороны, согласно логике экстерналистского объяснения, союз логического эмпиризма и прагматизма, реализованный в аналитической философии в Америке, является искусственным и, следовательно, неустойчивым образованием, мезальянсом, что, в свою очередь, противоречит наличию чрезвычайно успешной в академических кругах версии прагматизма Уилларда Куайна, сохранившей свое влияние и после устранения давления внешних факторов.

Избегая крайностей обоих подходов, методологическую рамку этого очерка можно определить следующим образом: экстерналистское объяснение динамики логического позитивизма в ходе перемещения его с континентальной на англо-американскую почву будет удовлетворительным в том случае, если мы примем во внимание также некоторые внутренние (интернальные) особенности этого течения. В частности, концептуальную неоднородность, открывающую для него возможность актуализации в разных контекстах тех или иных моделей взаимодействия как внутри сообщества, так и с внешней средой (в частности, выбрать путь изоляции от публичной интеллектуальной сферы).

⁹ Аврум Стролл уже во вполне серьезной академичной манере посвящает немало страниц развенчанию мифа о «холодности» и «аристократичности» Остина. См. *Stroll A. Op. cit.* P. 160–166.

¹⁰ См., например: *McCumber J. Op. cit.*; *Reich G.A. How the Cold War Transformed Philosophy of Science to The Icy Slopes of Logic.* NY: Camb. UP. 2005.

¹¹ Хэнкинсон Д. Философия. Притворись ее знатком. СПб.: Амфора, 2001. С. 67–68.

Политический логический эмпиризм

В истории философии принято выделять несколько связанных между собой центров движения логического эмпиризма¹². Это Венский кружок, Берлинское общество эмпирической философии и Львовско-Варшавская школа. В то время как Венский кружок (М. Шлик) и Берлинское общество (Г. Рейхенбах) были во многом связанными между собой организациями, Львовско-Варшавская школа¹³ являлась генетически сравнительно обособленным от них явлением. Немецко-австрийские объединения основывались на идеях Эрнста Маха, а польские — Франца Brentano и Алексиуса Майнонга (эти источники, конечно, не являются изолированными друг от друга¹⁴), однако между представителями этих центров удалось достичь взаимного признания и приемлемого уровня коммуникации, реализующейся в рамках международных конгрессов, устраиваемых членами Венского кружка, рабочих и учебных поездок польских философов в Вену. Это является следствием общности по крайней мере фрагментов концептуальных каркасов данных движений.

Радикальные различия лежали на уровне социально-политического момента, являвшегося составной частью программ этих движений. Члены Венского кружка придерживались программы социального реформизма левого толка и были тесно связаны с австромарксизмом (Нейрат, Рейхенбах). Воспитанники австрийских университетов, ставшие членами Львовско-Варшавской школы, являлись мыслителями, придерживающимися намного более широкого спектра взглядов — от либеральных до довольно консервативных. Среди них были также и представители католической церкви (о. Бохеньский)¹⁵.

¹² Описание неополитической, «интерналистской» истории логического эмпиризма я здесь опускаю, так это не входит в задачи очерка. Аспиранты и студенты знакомятся с ней вынужденно в рамках курсов по «философии науки», поэтому знание некоторых основных положений можно предположить по умолчанию. В качестве же одной из последних публикаций можно указать подробное «Введение» в историю логического эмпиризма О.А. Назаровой в кн. Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М.: Территория будущего, Идея-Пресс, 2007.

Львовско-Варшавская философская школа. М.: РОСПЭН, 2004.

¹⁴ По поводу «махизма» членов Венского кружка см.: Stadler F. The Vienna Circle. Studies in the Origins, Development and Influence of Logical Empiricism. Wien — NY: Springer, 2001. По поводу связи феноменализма Маха и феноменологии Brentano см. переписку последнего с Махом: Brentano F. Über Ernst Machs «Erkenntnis und Irrtum». Amsterdam.: Rodopi, 1988. S. 201 и далее.

¹³ По мнению польских историков, Львовско-Варшавская школа не является однородным объединением, т. е. Львовский университет четко отделяется от Варшавского в плане используемых концептуальных средств. С другой стороны, данная школа, даже выделяемая в качестве «аналитической», приводится в качестве примера отличной по своему генезису от неопозитивизма аналитической философии. См. Воленьский Я.

¹⁵ Ян Воленьский пишет: «Встреча Львовско-Варшавской школы с марксизмом произошла после Второй мировой войны. В течение нескольких первых лет царил некоего мирного сосуществования. Мировоззренческий плюрализм школы позволял трактовать марксизм наравне с любой другой философской позицией» (Воленьский Я. Львовско-Варшавская философская школа. С. 382).

Рудольф Карнап, один из лидеров движения неопозитивистов, писал в своей автобиографии: «Все мы, члены Кружка, были чрезвычайно заинтересованы в социальном и политическом прогрессе. Большинство, и я в том числе, были социалистами»¹⁶. В философском манифесте Венского кружка «Научное миропонимание — Венский кружок», написанном Карнапом, Отто Нейратом и Гансом Ханом, совершенно недвусмысленно раскрывается научно-прогрессистская идеология австрийского логического позитивизма: «Итак, научное миропонимание близко современной жизни. Хотя ему конечно же предстоят еще тяжелые сражения. Но все же много тех, кто не падает духом, а, напротив, перед лицом современной социальной ситуации с надеждой смотрит в будущее. Конечно же не каждый приверженец научного миропонимания станет бойцом. Некоторые, радуясь одиночеству, станут вести уединенное существование на ледяных, покрытых вечным снегом, вершинах логики; некоторые даже станут обвинять в смешении с народными массами, которое, распространяясь, к сожалению, сопровождается неизбежной «тривиализацией». Однако и их достижения вносят вклад в историческое развитие. Мы видим, как дух научного миропонимания все в большей степени пронизывает формы личной и общественной жизни, преподавания, воспитания, искусства, помогает организовывать формы хозяйственной и общественной жизни на рациональной основе. *Научное миропонимание служит жизни, и жизнь принимает его*»¹⁷.

Несмотря на различия в индивидуальных теоретических программах (например, Карнап и Нейрат были непримиримыми оппонентами практически по всем принципиальным вопросам), представители логического эмпиризма сходились в одном отношении — философия как форма коллективной интеллектуальной деятельности должна служить определенным целям, обладающим большей ценностью, чем она сама. Эти цели не были безусловно новыми. Речь шла о программе освобождения человека средствами рационального переустройства жизни. Новым было сочетание ценностей Просвещения и позитивистской программы объединения наук в единую систему знания. Средства же могли быть модифицированы или заменены.

Филипп Франк и Отто Нейрат являлись наиболее активными в политическом отношении членами кружка, оба стали фактическими его лидерами после смерти Морица Шлика в 1936 году¹⁸. Франк менее популярная в истории философии фигура, чем Нейрат, но в истории логического эмпиризма он играл чрезвычайно большую роль. Будучи

¹⁶ Carnap R. Intellectual Autobiography. Цит. по: Reich G.A. Op. cit. P. 27.

¹⁷ Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М.: Территория будущего, Идея-Пресс, 2007. С. 74. Деятельность Нейрата в области реформ в Баварской социалистической республике освещена

в Stadler F. Op. cit., а работы Рейхенбаха по социалистическому воспитанию молодежи можно обнаружить даже в Ленинской библиотеке.

¹⁸ Шлик был застрелен Гансом Неблеком — своим бывшим студентом и аспирантом.

физиком по образованию, Франк понимал науку и философию как социальные действия, обладающие историческим измерением. Помимо фактов, наблюдаемых и экспериментально создаваемых учеными, наука является «социальной сетью» взаимодействующей с внешней средой — обществом, частью которой она является. Наука, элементом которой является и философия науки (логический эмпиризм), — это, таким образом, часть культуры, что, в свою очередь, открывает дорогу к объединению социальных (гуманитарных) и естественных наук. Это объединение возможно только при помощи обращения к науке как к ценностно нагруженному и динамично видоизменяющемуся проекту. Франк — позитивист, а поэтому ценности означают лишь то, к чему люди стремятся, но не некоторые особые метафизические сущности. Отличительной чертой как философии науки, так и теории Нейрата было стремление к преодолению узкой специализации ученого. Он рассчитывал решить эту проблему путем введения в область рассмотрения науки ценностной и целевой компоненты.

Система ISOTYPE (иконографический способ представления действий и ситуаций), разработанная Нейратом, принесла ему всемирную известность, а его бурная деятельность и социалистические симпатии — множество врагов. В 1934 он совершил поездку в СССР, где он принимал участие в подготовке иконографических средств для пропаганды пятилетнего плана. После этого он вынужден был бежать из Вены в Гаагу (сестра сообщила ему, что в Вене его ждет арест как коммуниста). Хотя Нейрат не являлся сторонником диалектического материализма, он регулярно публиковался в журнале «Борьба» («Der Kampf») — печатном органе Австрийской социал-демократической партии. Результатом объединения наук, по Нейрату, должна была стать не только чисто отвлеченная гармония. «Марксизм есть разновидность научной установки, — писал он, — а пролетариат является носителем науки без метафизики». Чем лучше «пролетариат начнет осознавать социально-инженерные концепции, чем лучше он будет осознавать свои шансы, тем более успешно он сможет бороться»¹⁹. Из Гааги Нейрат переправляется в 1940 году в Великобританию, где только усилиями коллег (в частности, Б. Рассела) оказывается освобожденным из лагеря для интернированных. До конца жизни он покидал Англию только на время непродолжительных поездок в США. Публикуясь в сороковых годах в таких журналах, как «New Commonwealth Quarterly» и «Journal of Education», Нейрат отстаивает необходимость планирования не только в экономике но и в других сферах социальной жизни — с целью предотвращения повторения фашистской угрозы.

Нейрату также принадлежит честь изобличения Платона в качестве «тоталитарного» мыслителя²⁰ (в качестве такового он и сам,

¹⁹ Neurath O. Personal Life and Class Struggle, 1928. ²⁰ Эту сомнительную честь он должен по праву разделить с Расселом и Поппером.

правда, вскоре будет изобличен). В серии статей 1940–1945 годов («Нацистские учебники и будущее» и «„Государство“ Платона и образование в Германии») Нейрат указывал на Платона как на психологический и философский источник нацизма (изучение античной классики, действительно, являлось центральной частью тогдашнего образования, правда, не только в Германии, но также в Америке и Великобритании). В то же время эта критика хорошо согласовывалась с конвенционалистской философией самого Нейрата: она не предполагала существования какой-либо «подлинной» реальности, кроме реальности человеческой жизни, а апелляция к такой подлинной реальности рассматривалась Нейратом как разновидность нацистской пропаганды. К этому стоит добавить, что исследовательская работа Нейрата опровергает характеристику логического позитивизма как направления, отвергающего исторический подход. Последние годы, до своей смерти в 1945 году, он работал над монографией по истории наказаний и преследований, где должны были сочетаться его собственный опыт как беженца от нацизма и философия науки, отвергающая метафизику. Но работа Нейрата не была завершена, а архив остался неопубликованным.

С альтернативным Нейрату и Франку пониманием цели проекта единой науки и способов его воплощения выступил Рудольф Карнап, фактически возглавивший движение логического позитивизма после смерти Нейрата и самоустранения Франка. Карнап приобрел это влияние не только благодаря своим работам, его выдающиеся качества как педагога и долгая жизнь обеспечили «в конечном итоге» успех его взглядам. Обладая более спокойным характером, чем Нейрат, лучшей академической репутацией, чем Франк, имея безоговорочную поддержку Рейхенбаха, Карнап смог на некоторое время стать наиболее репрезентативной фигурой американской философии — до воцарения на философском троне США его ученика Куайна. Начиная от «Логического построения мира» до «Значения и необходимости» и более поздних книг, стиль Карнапа рассматривался как образец профессионализма, задающий стандарт для работ по философии науки.

«В логике нет места морали» — эти слова Карнапа, очень точно выражают суть его философии науки в интересующем нас здесь аспекте. Вопросы прагматики, т. е. отношения между символами (основным предметом аналитической работы Карнапа) и индивидами, их использующими, являются внешними по отношению к собственно анализу языка. Философ-аналитик в рамках своей работы является нейтральным по отношению к этим «внешним» вопросам — морали и политики. Таким образом, среди логических позитивистов Карнап являлся, пожалуй, главным носителем европейской по своему происхождению идеи разделения науки и ценностей. Это, однако, не означает, что он не был приверженцем определенных ценностей и взглядов, а именно взглядов левого интеллектуала.

Карнапу, однако, не всегда удавалось сохранить нейтральность. Так, он был вовлечен Сидни Хуком, одним из лидеров публичных интеллектуалов Америки, в работу комитета «За свободу культуры». Представители этого комитета (а также «Лиги за свободу культуры и социализм»), равно как и многие публичные интеллектуалы того времени, такие как Джон Дьюи, Гораций Келлен, Артур Лавджой и др., совместно подписали манифест Сидни Хука, опубликованный в «Partisan Review», в котором впервые проводилась параллель между сталинизмом и фашизмом: «Под разными ярлыками и цветами, но с одинаковой ненавистью к свободной мысли тоталитарная идея воцарилась в Германии, Италии, России, Японии и Испании... При помощи спонсируемой извне пропаганды, при помощи энергичных сторонников и политического давления тоталитарные государства инфицируют другие страны своими ложными доктринами... Вместо сопротивления и отказа от стрижки под единую гребенку всего разнообразия человеческой мысли, они прославляют, под обманчивыми лозунгами и названиями, ее подавление и сведение к одной форме, а не другой»²¹. Манифест был только началом в борьбе определенной части американских публичных интеллектуалов с Коммунистической партией США и подверженными ее влиянию интеллектуалами. Стоит напомнить, что сталинизм в Америке того времени оказался в благоприятной для его пропаганды ситуации — как союзник Америки по общему антифашистскому фронту. Однако для Карнапа эта политическая акция оказалась последним политическим выступлением — цитированный пассаж раскрывает смысл тех претензий, которые могли быть выдвинуты также и по отношению к сторонникам проекта «единой науки».

Прагматизм и логический позитивизм

Джон Дьюи по праву признавался в тридцатых годах одним из ведущих американских интеллектуалов. Однако его академическое положение в качестве лидера прагматизма не гарантировало ему статус главного американского философа. Прагматизму противостояли с одной стороны, идеалисты, а с другой — американские неопозитивисты. Взгляды Дьюи на связь философии и науки, на важность науки для «жизни» и его противостояние академическим и публичным «рационалистам» привели его к сотрудничеству и участию в неопозитивистском проекте «Энциклопедия единой науки». Связующим звеном между логическими неопозитивистами (прежде всего, Нейратом) и Дьюи был Чарльз Моррис, старавшийся сгладить различия между этими двумя философскими течениями. Камнем преткновения сразу же стал вопрос

²¹ Hook S. Out of Step: An Unquiet Life in the 20th Century. NY: Harper and Row, 1987. Цит. по: Reich G.A. Op. cit. P. 52.

об этике и этических ценностях. Для Дьюи эти вопросы имели особую важность, а возможность их научного, или эмпирического, изучения он отстаивал на протяжении всего своего философского творчества. Однако в том понимании этих вопросов, которого придерживался Дьюи, Карнап и Нейрат видели остатки устаревшей метафизики. Но Нейрат пошел на значительные уступки. Существует легенда, согласно которой Нейрат при встрече с Дьюи отрицал всякую связь проекта «Энциклопедии единой науки» с книгой Альфреда Айера «Язык, истина и логика», по которой Дьюи, как и большинство англоязычных интеллектуалов того времени, получал первое представление о логическом позитивизме. Нейрату даже приписываются следующие слова, обращенные к Дьюи: «Я клянусь, мы не верим в атомарные высказывания»²². Тактический ход Нейрата обеспечил ему сильнейшего союзника в США. Дьюи согласился представить две работы для «Энциклопедии» и войти в ее научный совет. Назревала, однако, неминуемая конфронтация с Карнапом: «Я рад представить работу по аксиологии; однако, я не представляю, как это можно сделать, не затрагивая в той или иной мере вопросы этики, я также не представляю, как я смогу сделать это, избежав столкновения с Карнапом, но Нейрат предложил мне действовать по своему усмотрению, покуда я „навожу мосты“, или хотя бы указываю, где они могут быть»²³.

Две работы, написанные Дьюи, назывались «Единство науки как социальная проблема» и «Теория ценности». Первая, выполненная в типичном для него жанре программы, увязывала проблему, стоящую перед движением за единство науки (т. е. логическим позитивизмом), с вопросом преодоления инерции реакционно настроенной части интеллектуального истеблишмента. Но, метив в неотомистов, Дьюи попал в Карнапа. В тексте содержалась критика «редукции» всех наук к физике, т. е. той теории, которую на протяжении много лет разрабатывал Карнап. Скандал вокруг этого фрагмента вынудил Дьюи изменить характер критики. Теперь она была направлена против сведения всех наук к одной. Карнап тем не менее продолжал дискуссию, вынудив Дьюи признать, что тот не понимает карнаповского различия между редуцируемостью и определимостью одних терминов в других, что являлось одним из основных тезисов его философии науки. Единственным эффективным контраргументом Дьюи была апелляция к пониманию каждого носителя языка. Эта апелляция была сродни одной из тех интуиций, которые легли в основание британской лингвистической философии, и была отвергнута Карнапом в качестве объяснения. Во второй работе Дьюи пытался обрисовать теорию ценности с точки зрения инструментализма. В ней он охарактеризовал попытки

²² Атомарные высказывания по Айеру являлись верифицируемыми, т. е. проверяемыми фактами. Высказывания этики атомарными не являлись и, следовательно, не имели смысла.

²³ Письмо Дьюи, адресованное Ч. Моррису, март 1937 года. Цит. по: Reich G.A. Op. cit. P. 85.

социальных ученых имитировать язык естественнонаучных дисциплин как «глубоко порочные». Здесь уже был задет и Нейрат. Дьюи также попытался оправдываться, что отняло у него довольно много времени и поумерило его интерес к сотрудничеству с неопозитивистами. Но опять оказался затронутым Карнап, так как Дьюи указал на то, что не понимает инструментального значения понятия «вещный язык» (что само по себе звучало как оскорбление для логического позитивиста, рассматривавшего свою работу в качестве образца «ясности и отчетливости» если не стиля, то мысли). В результате им все же удалось покончить дело миром, но эта договоренность дорого стоила и одной, и другой стороне. Дьюи был разочарован в логическом позитивизме. Столкновение с логическим позитивизмом по поводу соотношения ценностей и науки привело к тому, что отрицание ценностной нагруженности научного знания в социальном отношении освободило дорогу противникам и Дьюи, и неопозитивистов — неотомистам, среди которых наиболее значимыми были Мортимер Адлер и Роберт Хатчинс (оба сыграли заметную роль в гонениях против левых в университетах в конце 1940-х — начале 1950-х годов). Если научное знание является ценностно-нейтральным, тогда оно не может служить руководством для принятия моральных решений. Неотомизм же вполне может претендовать на роль руководителя моральной жизни и, таким образом, занимает без боя вакантное место. То есть, в отличие от Карнапа, Дьюи знал, против чего боролся.

С уходом со сцены Нейрата, который и ранее бывал в США наездами, предпочитая оставаться в Великобритании, исчезла последняя связующая цепочка между неопозитивизмом и прагматизмом. Моррис, не обладая таким влиянием, как Нейрат или Карнап, не мог претендовать на право лидерства в проекте объединения позитивизма и прагматизма. До 60-х годов, времени Куайна, Гудмена и Куна, введших в философию науки отдельные положения прагматизма, да и то в урезанном виде, оставалось еще много времени.

«Холодная война» и ее последствия

Еще до войны логический позитивизм, несмотря на то что его создатели выступали как европейские антифашисты, вызвал критику в свой адрес со стороны либерально настроенных интеллектуалов, указывающих на сомнительные политические последствия или, в частности, на содержащийся в программе движения «антиамериканизм». Например, Гораций Келлен уже в 1939 вступил в полемику с Нейратом, обвинив его и все движение в «тоталитаризме». Неприятие со стороны неотомистов было предсказуемым и взаимным, что неудивительно. В свою очередь, логические позитивисты в американской эмиграции даже не попытались установить контакта с другими левыми, такими как Макс Хоркхаймер и Герберт Маркузе, не просто игнорируя, но отказывая в

академическом признании их работы. Характеризуя их метод как «поэтический», Карнап, Герберт Фейгл и Рейхенбах закрыли франкфуртцам дорогу на философские факультеты. Последующая критика Поппером, Хайеком и Уильямом Бакли скрытых форм «тоталитаризма», обнаруженных также в построениях неопозитивистов, привела к тому, что средний путь между коммунизмом и капитализмом, на который претендовали социалистически настроенные логические позитивисты, оказался закрыт. Логика либеральной критики сводилась к тому, что любая альтернатива индивидуалистическому капитализму «свободного рынка» рассматривалась в качестве первого шага по пути, в конце которого неизбежно возникал коммунизм со всеми его недостатками, такими как политическая полиция, власть «зомбирующей» пропаганды и диктатура ограниченного числа партийных функционеров.

Решающим фактором, видоизменившим неопозитивизм и превратившим его в «профессорскую философию для профессоров философии», является, как настаивают современные историки, работающие в русле экстерналистской методологии (Маккамбер, Райх), атмосфера страха перед репрессиями, установившаяся среди политически активной части академического сообщества. Решающее значение при этом придается внешним воздействиям, решающую роль в которых играли Дж. Э. Гувер, основатель ФБР и сенатор Дж. Маккарти. В результате антикоммунистической деятельности последнего на федеральном законодательном уровне было предусмотрено изгнание из профессии тех, кто мог быть заподозрен в «антиамериканских» симпатиях. Но кампания против левых взглядов развернулась и внутри самого академического сообщества. Г. Келлен и С. Хук возглавили академических антикоммунистов, что поставило тех, кто стал объектом критики, в еще более сложное положение: ибо не отвечать на обвинения со стороны коллег является признаком теоретической слабости. Дилемма, перед которой оказались заподозренные в «тоталитарных» симпатиях философы, требовала либо отказа от своих взглядов, либо ухода из профессии.

Положение логических позитивистов осложнялось не просто их политическими симпатиями, но и некоторыми структурными особенностями их научного проекта в целом. Программу «единой науки» развивали не только логические позитивисты. Единство науки с диалектических позиций пропагандируется и в самых разнообразных формах марксизма. Этот фактор стал дополнительным аргументом в пользу квалификации социально-политической подоплеки неопозитивизма как враждебной «истинной демократии». Необходимо, конечно, отметить, что по сравнению с советским контекстом эти «репрессии» не сопоставимы по размаху и жестокости с теми чистками, через которые проходили или под угрозой которых находились советские интеллектуалы. И все же в этой американской истории логического позитивизма не может не удивлять то обстоятельство, что философы, пережившие до своей эмиграции давление фашистского режима, оказались

интеллектуально беспомощными перед теми обвинениями, которые были выдвинуты против них в Америке. Пожалуй, здесь можно предложить такое объяснение. После смерти Нейрата среди логических позитивистов лидирующую позицию заняла группа Карнапа — Рейхенбаха, для которых единственным подлинно публичным форумом являлась кафедра. Невозможность обсуждать социальные проблемы с кафедры означала невозможность обсуждать социальные проблемы в принципе. С другой стороны, Карнап и ранее стремился разводить сферу морали и сферу профессиональной деятельности. В ситуации «холодной войны», даже будучи вызываемым на допросы в ФБР, он не должен был испытывать особенного дискомфорта по сравнению с теми, кто не разделял профессиональную и публичные сферы.

Следствием этого процесса идеологической нейтрализации научных программ, заподозренных в тенденциях к тоталитаризму и коммунизму, и стала, таким образом, аналитическая философия как весьма формальная и высокопрофессионализированная область знаний, далекая от интересов и запросов широкой публики. Проиллюстрируем результат этой трансформации несколькими примерами. Ученик Карнапа Уиллард Куайн — пожалуй, наиболее влиятельный американский философ второй половины XX века — утверждал, что философия является эклектичным набором различных дисциплин и, таким образом, не представляет из себя нечто целое. Из этой позиции следует, что возможно построить всю свою академическую карьеру на исследовании одного-единственного вопроса (более того — одного-единственного аргумента), вне всякой связи с какими-либо другими вопросами или аргументами, а тем более — с каким-то общефилософским мировоззрением. Сол Крипке, ученик, в свою очередь, уже Куайна и один из наиболее известных современных философов Америки, на просьбу высказать свое мнение о возможных способах разрешения палестино-израильского кризиса (он работал некоторое время в Иерусалимском университете) ответил, что его мнение здесь не более ценно, чем мнение любого журналиста. Это позиция узкого специалиста, отказывающегося от суждения по вопросам, лежащим вне его узкой специальной и профессиональной сферы. Но это и есть позиция, противоречащая той, на которой стояли такие протагонисты логического позитивизма, как Отто Нейрат и Филипп Франк.

Литература

- McCumber J.* Time in the Ditch: American Philosophy in MaCarthy Era. Ill.: NWU Press, 2001.
- Reich G.A.* How the Cold War Transformed Philosophy of Science to The Icy Slopes of Logic. NY: Camb. UP, 2005.
- Stroll A.* Twentieth-Century Analytic Philosophy. NY: Columbia, 2000.
- Soames S.* Philosophical Analysis in the Twentieth Century. Vols. 1–2. Princeton: PUP, 2003.
- Stadler F.* The Vienna Circle. Studies in the Origins, Development and Influence of Logical Empiricism. Wien; NY: Springer, 2001.
- Russel Jacoby.* The Last Intellectuals. American Culture in the Age of Academe. NY: Basic Books, 1987.
- Michael J.* Anxious Intellectuals. Academic Professionals, Public Intellectuals and Enlightenment Values. Duham and London: Duke University Press, 2000.
- Wilshire B.* The Moral Collapse of University. Professionalism, Purity and Alienation. NY: State University of NY, 1990.
- Small H.* (ed.) The Public Intellectual. Oxford: Blackwell, 2002.
- Etzioni A. and Bowditch A.* (eds.) Public Intellectuals. An Endangered Species? Lanham: Rowman and Littlefield Publ., 2006.
- Воленский Я.* Львовско-Варшавская философская школа. М.: РОССПЭН, 2004.
- Никоненко С.* Английская философия XX века. СПб.: Наука, 2003.
- Никоненко С.* Аналитическая философия: основные концепции. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2007.
- Аналитическая философия / Колл. авт.; Под. ред. М.В. Лебедева, А.З. Черняка. М., 2006.
- Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М.: Территория будущего, Идея-Пресс, 2007.

Дмитрий Rogozin

ПУБЛИЧНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПО МАЙКЛУ БУРАВОМУ

Разговоры о публичной роли социологии известны с момента ее возникновения. Каждый сколько-нибудь значимый научный сотрудник не только задумывался над аудиторией, востребованностью и осмысленностью производимого знания, но оставил немало страниц, посвященных этим вопросам. И речь в них идет не об оправдании очередного научного предприятия, как может представиться легкомысленному читателю, а о служении другим как высшей ценности познания. В современном социологическом окружении вопрос о публичности социологии тесно связан с одним именем — Майклом Буравым. Именно он инициировал широкую дискуссию о роли социологии в обществе, актуализировал сам термин публичной социологии. Начиная с президентской речи на конгрессе Американской социологической ассоциации и заканчивая многочисленными выступлениями в малых и больших аудиториях, в коллективах, далеко отстоящих от задающих моду на социальные исследования команд, М. Буравой с поразительной энергией продолжает призывать социологов отказаться от псевдоакадемического знания, навязанного теми или иными идолами (по Ф. Бэкону). Тесно связанный с Россией как своими украинскими корнями, так и несколькими продолжительными исследованиями, М. Буравой несколько раз побывал в Москве и Санкт-Петербурге в качестве глшателя публичной социологии. «Каков проповедник», — покивал В.А. Ядов во время выступления Буравого на конференции Ассоциации профессиональных социологов, проходившей в этом году. Действительно, убедившись в правильности, устойчивости и объективности ядра своих теоретических представлений, М. Буравой перешел от их разработки к прямой пропаганде и агитации. Дух публичности полностью захватил некогда погруженного в собственные исследовательские программы профессора. По манере и тембру речи, жестикуляции, используемым риторическим приемам Буравой на кафедре больше похож на пророка, нежели научного сотрудника. Совсем иной он в личной беседе. Взвешенные, подчас амбивалентные суждения, предполагающие согласие с собеседником, сомнение в собственной правоте, ироническая позиция к личным достижениям и нескрываемый интерес к позиции говорящего — таков портрет М. Буравого как собеседника в частном разговоре.

Я встретился с ним в небольшом московском кафе, чтобы поговорить о публичной социологии, о том, откуда возникла идея публичности, как формировалось это знание, каким образом он сам пришел

к убеждению в необходимости преодоления социологией границ академической аудитории. Преклоняясь перед огромной работой, сделанной Б.З. Докторовым по исторической реконструкции развития социальных исследований в области общественного мнения и рекламы, я не вижу более продуктивного подхода для изучения социального знания, нежели биографический метод, основанный на нарративных интервью, архивных изысканиях, библиографическом поиске. Личные встречи, переписка занимают в нем поистине доминирующее место, определяя весь ход последующих интерпретаций. Личностное знание (по М. Поляни) неотделимо от сухого концептуального аппарата, если мы действительно намереваемся разобраться в предлагаемых кем-либо теоретических конструкциях. Не претендуя на широкие обобщения, я практически уверен в этом тезисе по отношению к социологии как наиболее гуманитарной из гуманитарных наук. Итак, начнем.

Интеллектуальная биография

Родители бежали из революционной России. Мама из Петрограда в 1917-м, отец — из Екатеринослава (ныне Днепропетровск) чуть ранее, в 1913-м. Встретились на лекциях в Лейпциге. Оба получили химическое образование, но по специальности успел поработать только отец. После переезда в Манчестер он преподавал органическую химию в Манчестерском колледже науки и технологии. Однако продлилось это недолго. Когда Майклу было девять лет, отец неожиданно умирает от сердечного приступа. Мать с двумя детьми (младшая сестра) вынуждена была выйти на работу. Безмятежное детство на этом закончилось. В 1965 году в восемнадцатилетнем возрасте Майкл уплыл в Америку учиться и смотреть мир, наполненный мечтами о свободе.

Получив в 1968 году первое математическое образование в Кэмбриджском университете (ва Mathematics), М. Буравой переезжает в Африку и приходит на работу в крупнейшую южноафриканскую корпорацию (Anglo American Corporation, 50 тыс. работающих), занятую производством меди в Замбии. А до этого были бурные студенческие годы, многочисленные поездки, неподдельный интерес к жизни студенчества развивающихся стран, шестимесячный опыт работы журналистом в Южной Африке. Именно в этот период в Замбии проходили грандиозные социальные изменения. Достаточно упомянуть об обретении независимости в 1964 году. Работая как математик в департаменте по работе с персоналом (сопровождение сложных схем оплаты труда и премирования), М. Буравой видел, что ни руководство компании, ни кто-либо из среднего звена управления не знал о реальной жизни рабочих, их интересах, идеях, ценностях. Жизнь людей замещалась выхолощенными схемами, вместо персоналий видели лишь рабочую силу, удивляясь непониманием, ленью и корыстными интересами последней. На это накладывалось еще и расовое различие между

управленческим персоналом и рабочими — управленческие позиции могли занимать только белые. Более того, первоначально в корпорации существовали отдельные системы оплаты труда для белых и черных. Перед Буравым стояла задача интегрировать их, создать единую систему, подчиняющуюся общим принципам. Именно непонимание того, что представляют собой люди, казалось бы, легко укладывающиеся в процедуры тарификации, подтолкнуло Майкла в этот же период закончить магистерскую программу по социальной антропологии в Университете Замбии. На 50 тыс. работающих в корпорации приходилось около 5 тыс. специальностей, каждая из которых оценивалась по десятку параметров. Кроме М. Буравого, никто в компании не мог разобраться с построенной им математической моделью расчета заработной платы. И это давало реальную власть, возможность заниматься собственными исследованиями, которые впоследствии сосредоточились на проблеме «замбинизации», или расовой дискриминации, привносимой бурными процессами модернизации, развивающимися в постколониальной стране [Burawoy, 1972]. Более всего М. Буравого интересовало то, как особенности социальных отношений в частной компании связаны с внешней для нее ситуацией: горнодобывающей промышленностью в развивающихся странах, внешней политикой Соединенных Штатов, профсоюзным движением, постколониальным положением Замбии и т.д. Впоследствии Буравой назвал подобный подход «расширенный кейс-методом» (изучение микропроцессов в макроконтексте), который и применял во всех последующих исследованиях (см. подробнее: [Burawoy, 1998]).

После получения диплома магистра по социологии в Университете Замбии в 1972 году, Майкл, по наставлению своего тьютора Эдварда Шилза (Edward Shils), поступает в Чикагский университет на PhD программу, которую заканчивает в 1976 году. Руководит им Вильям Джулиус Вилсон (William Julius Wilson), известный по работам о расовом и классовом строении общества, в недавнем прошлом Президент Американской социологической ассоциации. Афроамериканец по национальности, В.Д. Вилсон как никто другой понимал актуальность проблем, поднимаемых молодым исследователем, приехавшим из Замбии. Хотя обучение М. Буравого нельзя назвать гладким и последовательным. В то время Чикагский университет оставался чрезвычайно консервативным учебным заведением. На факультете социологии никто не интересовался проблемами, возникающими за пределами Соединенных Штатов, по словам Буравого, «факультет с глубоко провинциальными представлениями» интересовался лишь сугубо американскими вопросами. В то время в Чикагском университете уже мало кто занимался этнографическими исследованиями, отходивший в прошлое структурный функционализм сменился символическим интеракционизмом и феноменологическим подходом. В свою очередь, М. Буравой опирался на манчестерскую школу социальной антропологии,

фактически находясь в оппозиции к Чикагскому университету. В последнем научные сотрудники ограничивались изучением микропроцессов, повседневных событий, не выходя за пределы их социального контекста. Манчестерская школа пыталась рассматривать микропроцессы в более широкой перспективе, реконструируя макротеории посредством полевой работы. Никто из Манчестера не мог представить начало этнографической работы с чистого листа. Любому исследованию предшествовала обширная теоретическая и историческая работа, как минимум в нормативных представлениях манчестерских исследователей. В полевой работе можно говорить лишь об обмене перспективами между всеми участниками исследования. Разговор о трансляции «подлинного голоса» изучаемых людей — не более чем мифологема, созданная нерелефлексивным сознанием. Таковы основные постулаты манчестерской школы социальной антропологии. Таким образом, не находя поддержки ни в прошлом, ни в настоящем Чикагского университета, вопреки всему Буравой получил докторскую степень именно в этом заведении. Диссертация была посвящена изменениям в трудовых отношениях в условиях монополистического капитализма, о чем была издана в 1979 году одноименная монография [Burawoy, 1979].

В чикагский период научного творчества Майкл Буравой сформулировал и обосновал расширенный кейс-метод (extended case method), который и развивал во всех последующих исследованиях. Во-первых, расширение конкретного случая, кейса, анализируемого социологом, касалось как микро-, так и макропроцессов, создающих контекст и поддерживающих историческую перспективу изучаемого явления. Во-вторых, расширение исследовательской работы непосредственно затрагивало конструирование или реконструирование теории, с которой имел дело социолог. Любое исследование для М. Буравого — не более чем теоретическая авантюра, позволяющая понять и объяснить рассматриваемое событие, сопоставить его с чередой иных исторических, социальных и индивидуальных интерпретаций.

Размышления об особенностях развития современного западного общества подтолкнули М. Буравого к постановке вопроса о специфичности или всеобщности наблюдаемых явлений индивидуализации, отчуждения, радикальной профессионализации, укрупнению капиталов и т. д. Является ли все это особенностями капитализации или индустриализации? Если капиталистическое общество основано на постоянной смене политических и социальных соглашений, что происходит в лагере социализма? Как формируются и развиваются производственные отношения там? Так появилось основание для следующего грандиозного, почти десятилетнего проекта работы на венгерских предприятиях, с 1981 по 1989 год. Приезду в Венгрию помог известный венгерский социолог Иван Селены (Iván Szelényi). Однако даже он воспринял желание Майкла работать на предприятии как чудачество заокеанского коллеги. Но понимание того, что думают рабочие в условиях государственного

социализма, каково их мировоззрение, просто невозможно вне этнографической перспективы включенного наблюдения.

Затем последовал коллапс всей социалистической системы, и при первой же возможности работать иностранцу на советских предприятиях, Майкл приехал в Советский Союз. Начало 1991 года. Время противостояния Горбачева и Ельцина, бесконечных митингов и надежд на лучшее, рассуждений о демократии и поворот к рыночным, зачастую антигуманстическим отношениям. Драматические события, ошеломляющие богатством материала. Однако российские социологи, с которыми удалось встретиться Майклу в то время, были заняты скорее созданием материала, нежели его изучением. Большие опросы населения, гранд-теории, объясняющие происходящее и дающие прогнозы на будущее — вот чем были увлечены, по мнению М. Буравого, в то время В.А. Ядов, О.И. Шкаратан, В.Г. Андреенков, Ф.Р. Филиппов. И никто из них не хотел смотреть на происходящее в рамках частного, ситуативного набора событий. Обыденная жизнь попросту не могла попасть в социологические тексты. Она не заслуживала не только рассмотрения, но и упоминания.

Сразу уехав из Москвы в глубинку — Сыктывкар и Воркуту, Майкл вместе с аспирантом из Беркли сначала попали на каучуковый завод, затем на деревообрабатывающий комбинат, угольные разрезы. Окунулись в гущу локальных политических событий. Там проходила самая настоящая гражданская война, как рассказывал М. Буравой, между молодыми инженерами, лидерами комсомола и старой партийной гвардией, представленной дирекцией, высшим управленческим составом. «Ежегодно мы приезжали на фабрику, чтобы наблюдать за теми процессами, которые там происходили и вели к ее „кончине“ по мере того, как она получала все новые и новые удары, связанные с переменами на макроуровне...» [Буравой, 1999, с. 62] В это время производство перестало что-либо значить. Все вытеснили обмены, так называемые рыночные отношения, проходящие на дефиците денежной наличности. Достаточно вспомнить схемы взаимозачетов, бартеров, векселей энергетических компаний и дорожных фондов. Все и вся продавалось и покупалось. О производстве просто забыли. Попасть на каучуковый завод помог ему Павел Кротов, по мнению М. Буравого, первый российский социолог, кто был заинтересован в реальном положении дел, с кем можно было сотрудничать¹. Любопытно, что в России о нем ничего не известно. Тогда это был молодой социолог из Сыктывкара, только что, в 1991 году, защитивший кандидатскую диссертацию, работающий в секторе индустриальной социологии В.Г. Андреенкова.

¹ Теперь Павел Петрович Кротов — доктор экономических наук, читает лекции в Университете штата Висконсин. Его сотрудничество с Майклом Буравым вылилось в серию публикаций, см., например: [Burawoy, Krotov, 1992, 1993, 1995].

В России же он так и остался периферийной, невостребованной фигурой. Несколько проходных публикаций и практически полное отсутствие интереса к полевым работам со стороны академического сообщества.

Практически все 1990-е годы М. Буравой провел, изучая ситуацию в России. «Я не очень доволен результатами этой работы», — упомянул Майкл в разговоре. Вдохновившие его работы Карла Полани были хороши в теоретическом плане (особенно в части описания рыночных отношений и перераспределительной экономики), но плохо объясняли текущую российскую ситуацию. Многочисленные разговоры о трансформациях остались на уровне разговоров, поддержанных сотнями публикаций, так и не вышедших за круг их авторов. Основная причина — политический характер таких исследований. Их адресатом была власть, которая должна что-то сделать, прислушаться к голосу социолога. Именно власть, ее обслуживание находилось в фокусе транзитологических исследований. Другое дело, что власти подобные работы нужны были лишь для воспроизводства публичного дискурса, легитимирующего собственные мотивы в глазах населения. Транзитивные переходы российского постсоциалистического общества М. Буравой назвал инволюцией (в противовес эволюции и революции), то есть деградацией, постепенным, эволюционным разрушением существующего социального порядка [Буравой, 1999; Burawoy, Krotov, Lytkina, 2000], экономическими отношениями, направленными на собственное потребление без каких-либо элементов воспроизводства [Буравой, 1999, с. 68]. Общий глобальный контекст оставался политическим, хотя многие научные сотрудники пытались объяснить происходящее в экономической терминологии. Не удивительно, что игнорирование макроконтракста приводило к далеким от реальности и подчас ошибочным выводам.

Испытав глубокую депрессию, в 1998 году М. Буравой возвращается в Африку и работает там год. В центре внимания все те же политические процессы. Центральный вопрос: каким образом объяснить происходящее, сопоставить глобальные процессы с жизнью рядовых рабочих и руководителей?

В двухтысячные годы М. Буравой получил полное признание в Америке. На его публикации обратили внимание, стали цитировать, узнавать на конференциях. Он дважды избирался деканом социологического факультета Калифорнийского университета (Беркли) в 1996–1999 и 2000–2002 годах. И наконец, в 2002 был выбран Президентом Американской социологической ассоциации. Первое, что было сделано в этом ранге, — объявлена настоящая война бюрократической, иерархической системе, пронизывающей ассоциацию. В этот период окончательно оформились представления Майкла о публичной социологии. Всемирную известность ему принесло президентское выступление на конгрессе Американской социологической ассоциации [Burawoy, 2005]. Однако мало кто знает, что впервые идеи публичной социологии были озвучены в стенах Калифорнийского университета (Беркли) и первыми оппонентами стали слушатели и коллеги, работающие на старейшем социологическом факультете (основан в 1946 году).

Идеальные типы социологического знания

Большинство коллег, с кем приходилось работать, М. Буравой относит к публичным социологам: Вильям Вильсон (William Wilson), Роберт Белла (Robert Bellah), Эрли Хочшилдс (Arlie Hochschild), Кристин Лукер (Kristin Luker), Джерри Карабэл (Jerome Karabel) и т. д. Он не считает себя основателем направления. Проводя исследования в Венгрии, России, Африке, Майкл не был публичным социологом. Он пытался собрать данные и должным образом представить их исключительно в академической среде. Например, по его словам, исследование в Сыктывкаре никому не было интересно, оно шло в разрез с существующей модой и было представлено разве что в профессиональных социологических журналах на английском языке. Это была позиция критического или профессионального, но не публичного социолога. Президентское выступление 2004 года как раз построено на обсуждении различных ипостасей социологического знания. М. Буравой предложил два критерия: для кого проводится исследование, для академической среды или внешней по отношению к ней группе (общественности); для чего проводится исследование, для решения какой-то социальной задачи или для совершенствования метода ее решения. В результате конструируется четыре идеальных типа социологического знания: профессиональный, заказной, критический и публичный (табл. 1).

Профессиональная социология в основном занята решением методологических задач. Центральный вопрос — как возможно получить надежное и валидное знание об обществе. Эмпирические методы подчинены теоретическим представлениям о возможном и допустимом научном знании. Пожалуй, наиболее полное и законченное описание профессиональной социологии дано Р. Мертоном, согласно которому социология как наука руководствуется четырьмя принципами: универсализмом, коммунизмом, незаинтересованностью и организованным скептицизмом. Хотя с момента публикации мертоновской статьи о науке и социальном порядке, в которой впервые описывались принципы научного (читай профессионального) социологического исследования [Merton, 1938], прошло семьдесят лет, ничего принципиально нового предложено так и не было. Все попытки фальсифицировать (по Попперу) четыре принципа Мертона давали лишь дополнительную аргументацию в их пользу (см. подробнее: [Демина, 2005]). Универсализм — внеперсональность в оценке результатов исследования, отсутствие любых физиологических или статусных различий между участниками дискуссии. Коммунизм — всеобщность знания, принципиальная открытость и доступность результатов научных исследований, отсутствие каких-либо прав ученого на сделанное открытие. Незаинтересованность или эмоциональная невовлеченность исследователя в собственную работу, позволяет нивелировать иные, вненаучные интересы, связанные с религиозными, политическими, экономическими и личными

Таблица 1. Типология социологического знания *

	Академическая среда	Неакадемическая среда
<i>Инструментальное знание</i>		
	Профессиональная социология	Заказная социология
Знание	Теоретическое / эмпирическое	Конкретное
Истина	Соответствие результатов	Прагматика
Легитимность	Научные нормы	Эффективность
Ответственность	Коллеги	Клиенты
Заказчик	Профессиональный интерес	Вмешательство заказчика
Патология	Самореферентность	Подобострастие
<i>Рефлексивное знание</i>		
	Критическая социология	Публичная социология
Знание	Фундаментальное	Коммуникативное
Истина	Нормативная	Консенсус
Легитимность	Моральные установки	Релевантность
Ответственность	Критические интеллектуалы	Разные группы населения
Заказчик	Внутренние дебаты	Публичный диалог
Патология	Догматизм	Кратковременность

* Источник: Burawoy, 2007, p. 43.

взглядами. Организованный скептицизм—это установка на тотальное сомнение в правильности полученных данных, приведение всех аргументов как за, так и против собственной позиции. Однако существенным ограничением ареала применения принципов научного этоса остается наука, следовательно, они распространяются лишь на коллег. Профессиональная социология закрыта для профана, она живет в мире собственных концептов и операциональных определений.

Как только возникают внешние по отношению к профессиональной среде мотивы для применения социологического инструментального знания, следует говорить о *заказной социологии*. Заказчиком могут выступать правительственные организации, бизнес, частные фонды, любые заинтересованные лица, обладающие властью и денежными ресурсами, достаточными для организации исследования. Прагматическая направленность получаемых результатов—основная черта такой социологии. Другими словами, наука должна быть кому-нибудь нужна. Отсюда качество исследования измеряется не валидностью и надежностью инструментария, а эффективностью дальнейших решений, применяемых по результатам проекта. Типичный пример трансформации профессиональной социологии в заказную—электоральные опросы. Первоначальные разговоры о качестве выборки, анализе систематических смещений, эффекте интервьюеров и т. д. замещаются простым сопоставлением результатов опросов и выборов. Главная задача социолога—обеспечить заказчика своевременной информацией о наиболее вероятном исходе предвыборной кампании.

Критическая социология ставит под сомнение легитимность научного знания как такового. Стремление к объективности зачастую приводит к сокрытию последней за изощренной методикой или хорошо поставленной риторикой. Воля к власти и доминированию, которую обнаруживает критическая социология в научных институтах, приводит к замещению научной программы статусными играми. Анализ научного дискурса, выделение из него политических элементов, критика фундаментальных теоретических основ научного знания—вот область работы критических социологов.

Публичная социология строится на основе рефлексивного знания, подобно критической социологии, и на выходе за пределы академической среды, подобно заказной. В ней доминирует коммуникативная функция. Основная задача публичного социолога—добиться не объективного, надперсонального знания, а консенсуса. Поскольку понятие истины определяется как общее, разделяемое в общении знание, социолог теряет статус верховного жреца и толкователя социальных отношений. Социолог становится лишь помощником в обретении людьми понимания происходящего. Многочисленные призывы к социологам быть публичными, печататься и выступать в средствах массовой информации, как правило, исходящие от функционеров и чиновников от науки, не имеют никакого отношения к публичной социологии по

Майклу Буравому. Публичность определяется не попаданием на страницы многотиражных изданий, а установлением равной, долгосрочной и согласованной коммуникации между значимой социальной группой и ее окружением. «Публичная социология подталкивает социологию на общение с публикой, на конструирование понимания, аналогичного пониманию обычных людей, вовлеченных в такое общение» [Burawoy, 2007, p. 28]. Публичным можно быть и в повседневных встречах с весьма ограниченным числом людей, объединенных в некоторую социальную группу. Напротив, публикации заведомо заказных исследований в массовых изданиях, навязывание монологичного дискурса широкой общественности — не более чем разновидность поднаторевшей в манипуляциях заказной социологии.

Институционализация публичной социологии

М. Буравой весьма осторожно высказывается об институциональных границах публичной социологии, утверждая, что в среде социологов по-прежнему доминируют традиционные типы социологического знания: профессиональный, критический и заказной. Ален Турен более оптимистичен и отчасти радикален в своих взглядах о роли публичного знания в современном мире. На его взгляд, публичная социология уже стала общей социологией [Touraine, 2007, p. 72], переместив на периферию научного знания прежние устремления к объективности или критицизму. Доказательством этого служит размывание объекта и предмета социологии, замещение представления о социологии как единой науке различными исследовательскими направлениями, позиционирующими себя как отдельные отрасли гуманитарного знания: культурные исследования, гендерные исследования, феминизм и т.д. Это позволяет А. Турену говорить о десоциализации и деинституционализации классической социологии [Touraine, 2007, p. 69] и видеть в новых формах социологического знания иные, внеакадемические основания. Социолог становится действующим субъектом в социальных отношениях, его роль уже не сводится лишь к описанию и наблюдению происходящего. А. Турен занимает позицию проповедника «новой» активистской парадигмы. Описание социальной жизни в работах успешных социологов замещается (по А. Турену) ее трансформацией и преобразованием.

Не удивительно, что развертывание такой социологии перемещается из традиционных центров США и Западной Европы в страны Африки и Азии. П. Коллинз отмечает, что публичность в социологии по большей части достигается посредством особого взгляда на социальное неравенство, невключенностью в существующие иерархические порядки [Collins, 2007, p. 103]. Социология ли это или подпудренная научной риторикой форма социального активизма — другой вопрос. Важно не отождествлять позиционирование публичной социологии

с подобным явлением. Хотя М. Буравой соглашается, что развитие социологии как публичной дисциплины более заметно именно в модернизирующихся странах, это связано отнюдь не с доминированием активистской позиции. Изменение и преобразование мира заложено в формуле коммуникативной открытости, диалогичности и равнозначности даже конфликтующих позиций. Конфликт переносится в дискурсивную область, его разрешение требует языковых, а не физических средств. Отсюда роль социолога ограничивается исключительно дискурсивными практиками, а его компетенция определяется способностью организовать, поддержать и связать различные формы коммуникативной активности. Но и это вовсе немало. Эксплуатация сознания посредством создания внешних языковых норм, определяющих правильные и неправильные выражения собственных мыслей и эмоций, привела к атрофии базовой потребности человека в общении, навыков эффективной коммуникации. «Занятно, но большинство аргументации не является таковой. Она относится к абсолютно иным предметам. Даже среди интеллектуалов я очень часто наблюдаю подобное несоответствие», — замечает К. Пламмер [Plummer, 2003, p. 87]. Люди не слышат друг друга, воспроизводят монологичные способы общения, оставаясь одинокими даже в абсолютно интерактивных сферах.

Социолог не выходит за рамки институций, связанных с традиционными формами научного знания. Он лишь теряет роль верховного жреца в трактовке тех или иных событий и текстов. Его роль становится более скромной, но не менее значимой. Это роль библиотекаря, организующего хранение локальных знаний и эффективный доступ к ним. Умение общаться и помогать общению другим, не наделенными профессиональными статусами людьми, и определяет, по Майклу Буравому, профессионального социолога, создает его габитус. Принципиальным элементом здесь выступает коллективный характер общения, направленный на достижение консенсуса как истинного локального знания данного сообщества, которое может и должно проходить согласование в иных коммуникативных контекстах.

Отнюдь не случайно М. Буравой отводит огромную роль в развитии публичной социологии университетам. Основная и наиболее распространенная сфера занятости профессиональных социологов — это лекции и семинары, обучение студентов и аспирантов. Именно здесь может реализовываться публичная функция социологии. Общение со студентами на равных позициях, прививание им интереса к обыденной, окружающей их жизни является основной характеристикой публичности. Другими словами, публичная социология не нуждается в принудительной институционализации. Институты уже созданы. Все, что требуется от социологов, — это обживание существующих учреждений, преодоление их постоянной бюрократизации, выстраивание горизонтальных отношений, демократизация общения.

Как видим, ничего нового. Подобные суждения можно обнаружить у многих обществоведов. Новым является принципиальный отказ от ролей, привычных для профессионального сообщества: количественников и качественников, макро- и микросоциологов, позитивистов и интерпретативистов [Burawoy, 2007, p. 34]. Споры, которые, по мнению Ш. Хэйз, скорее разрушают хрупкую институциональную общность, нежели создают основание для консолидации [Hays, 2007, p. 81], Майкл Буравой предлагает заменить двумя принципиальными вопросами: кому и какое социологическое знание адресуют обществоведы.

Пролиферация понятия публичности

Зачастую, замечает М. Буравой, публичность не афишируется действительно публичными социологами. Напротив, разговоры о публичности часто ретушируют «казачные» мотивы, тщательно скрывающие воспроизводящиеся иерархические отношения. Такая зеркальная ситуация создает дополнительную сложность для идентификации публичной социологии. Так, пожалуй, наиболее распространенный в массовом сознании институт публичной социологии отождествляется с опросами общественного мнения. Конвейерная процедура сбора данных на репрезентативных выборках с последующим подсчетом ответов и сведению их в табличные формы создает иллюзию абсолютной публичности проводимых процедур, направленных на репрезентацию гражданских мнений. Однако за внешне безупречной формой скрываются многочисленные допущения, которые зачастую направлены на закрытие коммуникативных практик, навязывание властного дискурса, подмену локальных объяснений клишированными словоформами. Более того, все большая часть населения отказывается от подобных коммуникаций, что приводит к попаданию в публичное пространство чрезвычайно узких, отшлифованных властью (в первую очередь, через средства массовой информации) представлений.

У многих еще не стерлись из памяти публичные опыты российских обществоведов конца 1980-х — начала 1990-х. Участие в создании медийного дискурса, формирование новой власти, экономическое просвещение, взятая на себя роль интеллигентов-посредников между придуманным народом (трудно себе представить интеллектуала, отдающего отчет, о ком он говорит, употребляя это понятие) и отнюдь не придуманной властью. В перестроечный котел медийного производства попали и социологи, на короткий период возомнившие себя свободно парящей интеллигенцией. Для Ш. Хэйз быть интеллектуалом и публичным социологом — одно и то же. Публичная социология — не наука и не профессия, а свободное и дополнительное гражданское влечение к справедливости, выраженное в дополнительных усилиях к просвещению и гражданскому участию [Hays, 2007, p. 85–86]. Поэтому социология должна быть предельно простой и понятной, стремиться к

репортажному жанру, подражать хорошей журналистике [Stacey, 2007, p. 99]. Больше заблуждение трудно себе представить. М.Буравой отдельно подчеркивает свою неприязнь к энциклопедически образованным интеллектуалам, способным высказываться по любым вопросам, а на деле играющим роль легитимных марионеток властных режимов. Публичный социолог — прежде всего профессионал, основывающий свои суждения на теоретических посылах, разбирающийся в методологическом багаже науки и не выходящий за рамки очерченной специализации. «У нас нет публичной социологии отличной от профессиональной. Каноны профессионального знания в равной мере распространяются и на публичную социологию», — утверждает наставник и коллега Буравого Вильям Джулиос Вилсон [Wilson, 2007, p. 121]. Иначе просто не приходится говорить о социологии.

Понятие публичности не является новым в российском общественно-политическом дискурсе. Применение его в самых разнообразных контекстах, зачастую не имеющих отношения к дискурсивной, диалогичной публичности, предлагаемой М.Буравым, ставит под вопрос осмысленность использования этого термина в дальнейшем. Возможно, в российских реалиях, в которых публичность ассоциируется с чрезвычайно ограниченными, поставленными в жесткие рамки и контролируемые теми или иными властными элитами сми, следует выбрать иной концепт для обозначения этой области. Гражданская социология, нелинейная социология, дискурсивная социология, открытая социология и т.д. Вопрос не в дефиниции, а в том, кто действительно занимается публичной социологией. Многочисленные разговоры об изучении социальных проблем, как правило, инициируются властью. Отсюда и набор проблем типичен и предсказуем. Принимает власть государственную форму или транслируется через благотворительные организации, суть не меняется. Человек остается предметом для изучения, воспитания, преобразования или развития. Коммуникация у таких исследователей заведомо принадлежит к доминирующему властному типу, они заранее знают, что нужно сделать для надлежащего исполнения намеченного ранее проекта. Какими бы теоретическими обоснованиями ни пользовались исследователи, ничего не меняется в базовых предпосылках, согласно которым мир рассматривается сквозь инструментальную призму сбора релевантных данных. Можно ли говорить в данном случае о равной коммуникации и дискурсивной истине? Можно ли говорить о публичной, в понимании М. Буравого, социологии? Безусловно, нет.

Место в «большой» науке?

Многочисленные публикации, всемирное признание, дискуссия с общепризнанными авторитетами в области социальных наук, статусные позиции в ведущих социологических организациях и журналах... Казалось бы, полный успех и полное признание публичной социологии в пантеоне социальных наук. Но...

Профессиональные теоретики относятся к его построениям с нескрываемой иронией. Слишком уж убого, на их взгляд, выглядят наивные призывы к построению «народной» социологии, принципиально открытой для любого профана. Заказные социологи, работающие на многочисленных проектах, смотрящие поверх голов коллег и с нескрываемой гордостью демонстрирующие многочисленные благодарственные письма, просто не понимают, о каких гражданских группах идет речь. Все так просто и очевидно. Возьмем, например, Россию. Гражданское общество представляет Общественная палата, бизнес — Правительство России, политическую среду — «Единая Россия», государство — президент и премьер... Какие еще группы могут быть? Марксисты и апологеты критического направления недоумевают над совершенно бессмысленными потугами Буравого совместить макроэкономический анализ с детальной этнографической работой. Расширенный кейс-метод, разработанный еще в далеком чикагском прошлом Майкла, так и остался в глазах многих неомарксистов пустой забавой профессора, не сумевшего преодолеть юношеские увлечения. Наконец, казалось бы, публичные из публичных... Социологи, несущие эту гордую идентичность в народ, сражающиеся за права женщин, чернокожих, гомосексуалистов, диких и домашних животных и просто за права всех тех, кто был замечен на подворотне истории, видят в работах Буравого лишь дополнительное подтверждение собственным безумным прожектам по преобразованию общества.

Вот и остается лишь разводить руками. Как в типологии социологического знания, озвученной Майклом на широко известном президентском выступлении в Американской социологической ассоциации (2004), ему попросту не осталось места. Публичная социология Буравого, попавшая в топ наиболее обсуждаемых тем 2000-х годов, дискурсивно состоявшаяся и обеспечившая вертикальную мобильность не одной сотне научных сотрудников, фактически осталась без места в корпусе социологии как научной дисциплины.

Литература

- Буравой М. К теории экономической инволюции: исследование российской эксплояционной экономики // Неформальная экономика / Под ред. Т. Шанина. М.: Московская высшая школа социальных и экономических наук, 1999. С. 61–83.
- Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной геометрии норм // Социологический журнал. 2005. № 4. С. 5–47.
- Burawoy M. For Public Sociology // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 23–64. (Впервые опубликована: Burawoy M. For Public Sociology: 2004 Presidential address // American Sociological Review. 2005. Vol. 70. P. 4–28.)
- Burawoy M. Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Burawoy M. The Colour of Class on the Copper Mines: From African Advancement to Zambianization. Manchester: Manchester University Press, 1972.
- Burawoy M. The Extended Case Method // Sociological Theory. 1998. Vol. 16. No. 1. P. 4–33.
- Burawoy M., Krotov P. Behind Russia's Crisis: A Report from Vorkuta // New Left Review. 1993. Vol. 198. P. 58–80.
- Burawoy M., Krotov P. Class Struggle in the Tundra: The Fate of Russia's Workers' Movement // 1995. Antipode. Vol. 27. No. 2. P. 115–137.
- Burawoy M., Krotov P. The Soviet Transition from Socialism to Capitalism: Worker Control and Economic Bargaining in the Wood Industry // American Sociological Review. 1992. Vol. 57. P. 16–39.
- Burawoy M., Krotov P., Lytkina T. Involution and Destitution in Capitalist Russia // Ethnography. 2000. Vol. 1. No. 1. P. 43–65.
- Merton R. Science and the Social Order // Philosophy of Science. 1938. Vol. 5. P. 321–337.
- Plummer K. Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues. Seattle: University of Washington Press, 2003.
- Touraine A. Public Sociology and the End of Society // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 67–78.
- Hays S. Stalled at the Altar? Conflict, Hierarchy, and Compartmentalization in Burawoy's Public Sociology // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 79–90.
- Stacey J. If I Were Goddess of Sociological Things // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 91–100.
- Collins P.H. Going Public: Doing the Sociology That Had No Name // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 101–113.
- Wilson W.J. Speaking to Public // Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-First Century / Ed. by D. Clawson, R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, M. Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 117–123.
- Burawoy M. Antinomian Marxist // The Disobedient Generation: Social Theorists in the Sixties / Ed. by A. Sica, S. Turner. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 48–71.

ОБ АВТОРАХ

Веретенников Андрей Анатольевич (1980 г. р.) — кандидат философских наук, сотрудник Института философии Российской академии наук и Центра феноменологической философии Российского государственного гуманитарного университета.

Дмитриев Александр Николаевич (1973 г. р.) — кандидат исторических наук, редактор журнала «Новое литературное обозрение», старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники Российской академии наук.

Дмитриев Тимофей Александрович (1971 г. р.) — кандидат философских наук, доцент кафедры наук о культуре факультета философии Государственного университета — Высшей школы экономики, главный редактор издательства «Праксис».

Кирчик Олеся Игоревна — PhD (социология), младший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (Исран, Москва), ассоциированный сотрудник Высшей школы социальных наук Парижа (EHESS, Paris).

Куренной Виталий Анатольевич (1970 г. р.) — кандидат философских наук, заведующий отделением культурологии Государственного университета — Высшей школы экономики, научный редактор журнала «Логос», эксперт фонда «Наследие Евразии».

Кустарев Александр — публицист, член экспертного совета Центр политической философии.

Мартыанов Виктор Сергеевич (1977 г. р.) — кандидат политических наук, доцент, ученый секретарь Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург).

Михайловский Александр Владиславович (1977 г. р.) — кандидат философских наук, доцент философского факультета Государственного университета — Высшей школы экономики, сотрудник Центра феноменологической философии Российского государственного гуманитарного университета.

Никулин Александр Михайлович (1962 г. р.) — кандидат экономических наук, руководитель научно-исследовательского отдела «Интерцентр» Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Рогозин Дмитрий Михайлович (1972 г. р.) — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.

Сергеев Сергей Михайлович (1968 г. р.) — кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Москва».

Турчик Анна Васильевна — Master of Arts in Sociology — ма (социология), научный сотрудник «Интерцентр» Московской высшей школы социальных и экономических наук, аспирант Института социологии Российской академии наук.

Филиппов Александр Фридрихович (1958 г. р.) — доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии Государственного университета — Высшей школы экономики.

Ястребцева Анастасия Валерьевна — кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии Государственного университета — Высшей школы экономики, заместитель декана факультета философии.

О ФОНДЕ «НАСЛЕДИЕ ЕВРАЗИИ»



Некоммерческий фонд «Наследие Евразии» — ведущий центр анализа и прогнозирования политических и социально-экономических процессов в новых независимых государствах (ннг).

Деятельность Фонда направлена на содействие развитию интеграционных процессов и исследование конкурентных преимуществ России и других ннг на евразийском пространстве.

Основная цель Фонда — создание эффективной системы коммуникаций между интеллектуальными, экономическими и политическими элитами новых независимых государств.

Фонд «Наследие Евразии»:

- создал эффективную организационную структуру и экспертную сеть, имеет успешный опыт управления международными проектами в ннг;
- создал наднациональную дискуссионную площадку, признанную экспертными и политическими кругами ннг, — информационно-аналитический портал «Евразийский Дом»;
- участвует в развитии неправительственного сектора в ннг, взаимодействует с органами государственной власти, рядом ведущих нпо в России и за рубежом.

Основные исследовательские проекты Фонда включают подготовку аналитических материалов и рекомендаций по конкретным вопросам взаимодействия России и ннг для органов государственной власти РФ и интеграционных объединений, бизнес-структур и нпо. Одним из ключевых условий запуска каждого проекта Фонда является участие экспертов из стран, профессионально отслеживающих тематику.

С 2004 года Фонд готовит периодические информационно-аналитические материалы о событиях и процессах в новых независимых государствах, которые используют в своей деятельности представители органов государственной власти, бизнеса, эксперты по ннг, журналисты.

Фонд оказывает грантовую поддержку проектов исследовательским нко и институтам, молодым ученым и экспертам, специализирующимся по странам снг и Балтии, а также оформляет подписку на мониторинговые и аналитические сборники, проводит стажировки, тематические мероприятия.

Фонд «Наследие Евразии» является одним из учредителей Делового центра экономического развития снг; ассоциированным

членом Форума доноров России, корпоративным членом Евразийской академии телевидения и радио, одним из учредителей Союза независимых экспертов СНГ.

Некоммерческий фонд «Наследие Евразии» в 2004 году зарегистрирован в Российской Федерации. В 2005 году Фонд открыл свое представительство на Украине.

Президент Фонда — Елена Борисовна Яценко.

Сайт фонда «Наследие Евразии»: www.fundeh.org

Информационно-аналитический портал «Евразийский Дом»:
www.eurasianhome.org

Информационно-аналитический ресурс «Мыслящая Россия»:
www.thinkingrussia.org

Адрес: Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая, 44, стр. 1

Тел. / факс: +7 (495) 728-49-59; e-mail: info@fundeh.org

Представительство Фонда «Наследие Евразии» на Украине:
01024, Киев, ул. Академика Богомольца, 7/14, офис 100

Мыслящая Россия: История и теория интеллигенции и интеллектуалов

Редакционный совет серии «Мыслящая Россия»
Елена Козиевская, Виталий Куренной, Елена Яценко

Общая редакция
Виталий Куренной

Дизайнер
Владимир Виноградов, © 2006–2008

В оформлении книги использованы графические
работы художника **Евгения Телишева**

Некоммерческий фонд «Наследие Евразии»

Подписано в печать 21.05.09. Формат 70 × 100 ¹/₁₆ Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Печ. л. 23. Тираж 1000 экз. Заказ №

Отпечатано в ООО «Аванти. Издательство и типография»
127287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23